

5423
1490

Библиотека Казахской Литературы

С а б и т М У К А Н О В

Школа жизни



УДК 821.512.122
ББК 84(5Каз.)
М 90

ВЫПУЩЕНО ПО ПРОГРАММЕ
«ИЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ВАЖНЫХ ВИДОВ ЛИТЕРАТУРЫ»
КОМИТЕТА ИНФОРМАЦИИ И АРХИВОВ
МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Редакционная коллегия:

Каскабасов С.А. (*председатель*), Кул-Мухаммед М.А.,
Кирабаев С.С., Елеукенов Ш.Р., Исагулов Ж.И., Нургалиев Р.Н.,
Абдрахманов С.А., Исмакова А.С., Бейсенгалиев З.Г., Абдезулы К.,
Майтанов Б.К., Шаймерденов Е.Ш., Болтанова Ж.К.

Муқанов Сабит

М90 Школа жизни. Роман. Кн. 2/ Сабит Муқанов.
Перевод с казахского А. Брагина.
Астана: Аударма, 2011. – 472 стр.

Список книг серии “Библиотека Казахской Литературы”
утвержден Ученым советом Института литературы и искусства
им. М.О. Ауэзова (протокол №9 от 26 июня 2009 г.).

В оформлении суперобложки использованы фрагменты из картин
художников **М. Акмамедова и Н. Карахана.**

ISBN9965-18-325-2
ISBN9965-18-327-9

УДК 821.512.122
ББК 84(5Каз.)

ISBN9965-18-325-2
ISBN9965-18-327-9

© Издательство “Аударма”, 2011
© Иллюстр. “Музей современного
искусства”

Я ЕДУ УЧИТЬСЯ

ЗИМОВКА СТЕПНОГО МИЛЛИОНЕРА

Впервые в моей маленькой жизни я в такой большой дороге. Путь из родного аула лежит в Кзыл-Жар, как называли казахи в те далекие времена Петропавловск. Мои спутники – Бакен и Боржабай. Как они не похожи друг на друга! Худощавый Бакен, сын известного в наших краях бая Торсана, слегка сутулится. Белизну его бритого лица подчеркивают густые черные усы. В татарской каракулевой шапке, украинской рубашке, шерстяном костюме, наброшенном на плечи широком австрийском офицерском плаще, в шагреневых щегольских сапогах и новых калошах он напоминает франтоватого городского купеческого сынка.

А Боржабай в своих лохмотьях ничем не отличается от аульного бедняка. Но Боржабай не бедняк. У него сотни полторы овец, больше двадцати лошадей и по крайней мере пятьдесят коров. Лицо его круглое и бесцветное, но на редкость самодовольное.

Я вспоминаю последний час прощания.

– Что это значит, Боржабай? Почему ты так вырядился?– подшучивали провожающие.– Разве не говорят: «По одежке встречают, по уму провожают»? Тебя по дороге в чужих аулах засмеют, а в Кзыл-Жаре и подавно. Как ты выйдешь в город, как покажешься на базаре в таком чапане? Если бы в твоих сундуках ничего не было, мы помолчали бы, но ведь у тебя найдется одежда и получше. Зачем прибедняешься? Сними поскорее старье!– советовали ему земляки.

Но Боржабай сначала только отшучивался:

– А зачем мне наряжаться? Мой отец не Торсан, известный и в Оренбурге, и в Сибири, а Топыш, его знают только в соседних аулах. Пускай уж наряжается Бакен-мырза, а мне и эти отрепья хороши.

В конце концов Боржабай рассердился:

– Оставьте меня в покое! Богатейте вашим умом!

Сказать по правде, и я был одет не лучше Боржабая. Старая мерлушковая шапка с ситцевым верхом, рубашка и штаны из мешковины и домотканый стеганный халат, на ногах сапоги из сыромятной лошадиной кожи.

– Куда он поедет таким оборванцем?– говорили про меня.– Неужели две старшие сестры не могли приодеть мальчонку? Ведь зять Сулеймен – человек состоятельный, неужто поскупился он продать одну из пятидесяти овец, чтобы снарядить Сабита?

– Кто же видел, чтобы богач помогал бедному!– засмеялись провожающие.

– А деньги-то у него есть?– спросил один из них.

– Немного есть,– ответил за меня Бакен.– Рублей сорок-пятьдесят.

– Ой-бой! Как он проживет? Этих денег в городе и на месяц не хватит.

Земляки, желая ободрить меня, вспоминали народные пословицы: «Кому не суждена голодная смерть, тот и в сухом песке поймает рыбу!», «Пища мужчины и волка – на дороге!», «Стремящийся к цели – достоин благодати!»

Я сижу на козлах, над головой степное небо, впереди пыльная, серая дорога. В плетеном тарантасе дремлют Бакен и Боржабай.

Коренником идет крупная и ленивая кобыла Боржабая, а в пристяжке – шустрый темно-серый конек Бакена. Боржабай еще в ауле потихоньку предупредил меня:

– Налегай, сынок, на пристяжного! Путь дальний! Береги силы коренника. На него только и надежда! Выбьется из сил – придется пешком тащиться. А пристяжка пристанет – не беда, возьмем на повод.

Впрочем, пристяжка бойко тянет и без понукания. Порой даже удила закусывает, и тогда я ее придерживаю. Бакену это очень нравится. Он перестает дремать и незаметно подмигивает мне. А когда просыпается Боржабай, то втайне от Бакена подает знак больше нажимать на пристяжку.

К вечеру шустрый конек Бакена стал приставать. Но это не очень огорчает и нас, и хозяина, потому что еще в ауле Бакен решил коня оставить по пути у своего приятеля Сулеймена Тайкотова и выпросить взамен лошадь покрепче.

Если бы не притомились кони, мы могли доехать до аула Тайкота, но теперь Боржабай стал настаивать на том, чтобы мы переночевали в ближайшем селении. Завязался обычный дорожный спор: к кому же заехать. Бакен назвал имя Хамзы Таштитова.

– Какой Таштит? – любопытствовал я.

– Сколько же Таштитов ты знаешь? – недружелюбно процедил Боржабай.

Общительный Бакен охотно ответил:

– Одного Таштита, сына Табая.

Мне и прежде приходилось слышать от старших, что бий Таштит Табаев получил от белого царя офицерский чин и почетный халат. При ага-султане Есенее он был бием – заседателем, жил в роскоши и веселье. Я даже песню припомнил про него:

Сын бая Табая веселый Таштит
Пирами и скачками был знаменит,
Но не было сына, как он ни хотел,
Племяшу богатство досталось в удел.

– У него не было сына. А Хамза? – недоумевал я.

– Хамза – племянник Таштита, – пояснил Бакен. – Таштит усыновил его.

– Богатство любит крепкие руки, – сказал Боржабай, – а приемыш Хамза оказался неразумным, легкомысленным. Он увлекся тоями и соколиной охотой и все богатство пустил на ветер.

Эти слова не пришлись по душе Бакену – ведь и он со своими братьями предпочитал пиры делу.

– Когда решило уплыть богатство, оно не глядит на то, что ты проворен! – запальчиво возразил Бакен. – Разве казахи не говорят: «Богатство до первого джута»? Разве мало богачей разоряется за один джут?

– Разоряются глупые, – усмехнулся Боржабай. – Почему у Альти и Сапы не гибнет скот? Даже в тот большой джут, перед войной, у них не сдохла ни одна

скотина. И не сдохнет, потому что они каждое лето припасают вдоволь сена. И зачем нам ехать к этому приемышу, что из того, что он когда-то был твоей родней? Путник стремится туда, где его хорошо накормят. Разве можно сравнить Альти с неразумным Хамзой? Поедем к Альти – у него уж мы досыта наедемся.

Альти! Знакомое имя. Это он когда-то отнял у меня, у сироты, единственного теленка, припомнив никому не известный долг отца. О сказочном богатстве Альти я слышал много удивительных рассказов. И заманчиво было увидеть своими глазами, как живет знаменитый бай. Я сразу сообразил и другое. Ведь я еду в Омск не на базар, а учиться, и мне нужно раздобыть в волостном управлении удостоверение личности. А волостной управитель Сейтак – на мою удачу – один из сыновей Альти. Разве согласились бы мои спутники ради мальчишки свернуть в сторону? А разве можно жить в большом городе без бумаги с печатью?

Мы сворачиваем к аулу богатого бая.

– Говорят, у него чуть ли не две тысячи лошадей, – не без зависти смаковал Бакен, – и коров немало, да не простых, а швицких, белоголовых, красной масти. Каждая из них дает три ведра молока и одна перетянет на весах трех коров казахской породы. А овец – так больше тысячи!

– Что ты его расхваливаешь? Разве скот – богатство?! Настоящее богатство – деньги. А денег у него куры не клюют! – причмокивая, заговорил Боржабай. – Самый верный его приказчик Ысыман Копабаев был моим закадычным приятелем, мы ничего не скрывали друг от друга. Так вот, по его словам, Альти был одним из четырех миллионеров – хозяев Курганского торгового банка. В прошлом году после свержения царя Альти услышал, что бумажные деньги теряют цену, и решил обменять весь свой капитал, хранящийся в банке, на золотые монеты. Он послал в Курган своих сыновей, и управляющий банком за большую взятку согласился на обмен. Рассказывали, он получил около миллиона рублей золотом. Сыновья положили золотые монеты в железный сундук, обернули сундук в грязный войлок и тайком вернулись в аул. А сундук с золотом где-то зарыт. Где именно – знают только сам Альти и его сыновья.

– Найти бы нам этот клад!– воскликнул Бакен.

– Да! Миллион рублей золотом не пустяк!– вздохнул Боржабай.– Вот бы пустить их в оборот!.. А мы с тобой начали торговать с десятью тысячами колчаковских рублей. Наторгуешь тут, а, Баке?

– Ой-бой!– сокрушался Бакен.– Этот Альти каждый год закупал на ярмарках в Атбасаре и Куянде по тысяче быков и сдавал на бойни в Кургане. Но нынче что-то притих, дома отсиживается. Как ты думаешь, почему?

– Да что тут гадать,– откликнулся Боржабай,– время-то беспокойное, неизвестно, кто победит – белые или красные. Пока небо не прояснится и власть не установит твердых денег, зачем ему рисковать? Шея у него крепкая, миллион рублей золотом под боком – чего ему еще нужно?

– Но зачем мы-то лезем в торговлю? Только себя мучаем!– не успокаивался Бакен.

– Сравнил верблюда с мухой! Наше дело – как апрельский снег: сегодня выпал, а завтра растает. Сумеем выручить копейку на харчи – вот и вся наша прибыль.

Зимовье Альти было защищено от ветра березовым леском. Оно не походило ни на один казахский аул, виденный мною прежде. Зимовье вытянулось по примеру русских сел прямыми улицами, застроенными рядами высоких бревенчатых домов под железными крышами. Между домами находились деревянные сараи, склады, кухни.

– Вот что значит капитал!– Боржабай прищелкнул языком.– Какие дома, какие постройки!

Но Бакен не разделял восхищения своего приятеля. Завистливо и грустно он посматривал на владения Альти. Когда-то и у Торсана, его отца, были такие же постройки. Но отец стал беднеть, и все его богатство пошло на распродажу и попало богатым русским мужикам в соседние села и станицы. Вместо высоких сосновых домов в ауле отца появились низкие землянки. Только сам Торсан продолжал жить в деревянном доме, а его сыновья вместе со слугами ютились в землянках. Как же Бакену было не позавидовать процветающему Альти!

Когда мы приблизились к зимовке, она гудела, как огромный улей. Каждому находилась работа. Одни загоняли табуны, другие разгружали сено из арб,

третьи складывали дрова. Мычание коров, ржание лошадей, блеяние овец, людские голоса сливались в один нестройный, временами то нарастающий, то стихающий шум.

Мои спутники остановились у Садвокаса, старшего сына Альти. Его жена Ыкыш приходилась Бакену двоюродной сестрой.

В доме хлопотала только пожилая работница. По ее словам, Садвокас возил сено, Ыкыш помогала работникам загонять скотину.

Бакен брезгливо поморщился.

– Сколько работников держат и сами работают. Чего им не хватает? Лежали бы себе на одеялах.

– У Альти свои расчеты, свой порядок, – сказал Боржабай. – Надеялся бы он только на приказчиков и работников, был бы одним из тех баев, каких много в степи. Он и сам не чурается черной работы и другим покоя не дает. Здесь все работают. Сами хозяева встают раньше и ложатся позже своих батраков!

– И чего ты их только хвалишь? – досадовал Бакен. – Какой прок от золота, когда оно не приносит удовольствия и покоя?

В доме Садвокаса было пять больших комнат, обставленных богатой, по моим тогдашним представлениям, мебелью. Боржабаю, привыкшему только к казахскому убранству, такая обстановка не понравилась.

– А где же у них ковры и одеяла? – недовольно спросил Боржабай.

– В тюках и кладовых, – снисходительно ответил Бакен. И продолжал: – Прошлым летом сюда приезжали заправила Алаш-Орды набирать молодых жигитов в армию. Мне тоже довелось быть там в то время. Альти принял на себя все расходы по приему начальства. А этого начальства понаехало больше ста человек... И что ты думаешь? Их всех бай разместил в трех летних юртах и угощал по-городскому – каждого из отдельной посуды. Он вытащил из своих сундуков до сих пор невиданные в ауле и хрусталь, и фарфор, и серебро. Даже омские и петропавловские начальники диву дались: «О! Оказывается, и в глухой киргизской степи можно встретить такую роскошь!» Вечером слуги Альти разостлали в юртах бархатные ковры, и каждый гость

получил отдельную постель, с шелковым одеялом, пуховой периной, горой подушек.

– А обычно они не хвастают богатством, не кичатся нарядами, – сказал Боржабай, – одеты скромно, роскошь утаивают.

Бакен неприязненно усмехнулся:

– Альти не богаче Карымбая, помнишь сказку, как был он наказан за свою скупость? Весь скот его превратился в диких зверей и разбрелся по белу свету, а самого Карымбая поглотила земля. Как бы и с Альти такого не случилось. Пользы от скупого бая немного. Аульные старики правильно говорили: «У скупого бая воды не напиться, в мелком овраге не укрыться!» А такого скрягу, как наш Альти, не скоро найдешь. Не веришь – попроси у него немного денег для нашего сироты, – он кивнул в мою сторону, – пусть хоть одну зиму проучится. Убедишься сам – ни копейки не даст.

– А зачем же ему раздавать свои копейки? – Боржабай даже удивился такому легкомыслию своего спутника. – Он еще в своем уме и не станет разбрасывать деньги.

...Садвокас пришел домой только поздно вечером, когда мы уже собирались отдыхать. Я с любопытством разглядывал его. Высокий, смуглолицый, с большим носом и густыми вислыми усами, в пыльной заплатанной одежде, он мало чем отличался от своих слуг. Поздоровавшись с гостями, наспех умылся и сразу же заговорил о своих делах и заботах.

На зиму мы решили оставить здесь часть скота и еще никак не управимся с вывозкой корма. Приходится самим помогать работникам выгружать сено. Вы уж извините меня! – сказал он.

– А сколько скота надумали оставить? – спросил дотошный Боржабай.

– У нас около пятисот волов для продажи. Половина будет зимовать в степи, половина здесь. Из дойных коров остается в стойлах голов сто. Ну, там еще овцы, козы, телята.

– О! Сколько же корма потребуется! – воскликнул Боржабай так испуганно, будто ему самому надо запастись для них сено. – Разве не выгоднее продать волов, пока они еще жирные, чем всю зиму хлопотать о корме?

Садвокас степенно погладил усы и усмехнулся!

– Продашь – получишь деньги, а зачем они теперь? Я ведь не знаю, кто победит – белые или красные. Ведь в цене будут только деньги победителей. Я продам сейчас волов, а вдруг колчаковские деньги окажутся пустыми бумажками? Что тогда делать? Уж лучше я попридержу волов. Сена у нас хватит, в следующем году что-нибудь прояснится...

Вскоре в дом зашел и Сейтак, младший брат Садвокаса. Небольшого роста, невзрачный на вид, одет он был, не в пример брату, как городской щеголь. Я и прежде знал его. Характером и внешним видом они не походили друг на друга. Старший, Садвокас, говорил мало и только о хозяйстве, а Сейтак отличался общительностью и насмешливостью. Узнав, что я еду учиться, он спросил у Бакена:

– Так чей же он сын?

– Я же сказал – сын Мукана.

– Это какой Мукан? Говорят, когда-то был Мукан – правитель, так уж не его ли отпрыск?

– Сын Мукана из Жаман-Шубара.

– А-а-а! Этого Мукана! И о нем я тоже слышал. Смотри ты, какой шустрый! Выучится вот такой и начнет управлять народом...

Бакен не был расположен к шуткам.

– Ну и что же удивительного! Может, и управлять будет. Если завтра придут красные, власть дадут таким, как он, а не тебе или мне.

Сейтак резко оборвал его:

– А что со мной сделают красные? В моем роду алашордынцев, борющихся против Советов, нет!

Бакен посерел от злости. Намек Сейтака попал в цель. Казый, младший брат Бакена, был одним из вожakov омских алашордынцев, оставить без ответа ядовитый укол Сейтака он не мог.

– Придут красные – они не помянут и тех, кто в своем доме угощал целый табун алашордынцев!

Дерзкий ответ взорвал Сейтака, и он хотел отплатить такой же злой колкостью. Но Садвокас воспользовался правом старшего и решительно запретил пререкания.

Ссора гостя и хозяина едва не повредила мне. Когда Боржабай попросил Сейтака выдать мне бумагу с

печатью, он стал ссылаться на законы военного времени и строгий приказ не выдавать удостоверений на выезд за пределы области лицам призывного возраста.

– Дорогой мой Сейтакжан, – сказал Боржабай, – ведь он круглый сирота, жить-то ему надо. Пожалей его, аллах тебя благословит. Не отказывай мальчику в клочке бумаги.

Сейтак пробовал упорствовать, но вмешался Садвокас:

– Чего там, выдай. Только выдай без своей подписи – пусть подписывает писарь, а ты приложишь печать.

Сейтак не стал перечить старшему брату, вызвал своего писаря и приказал выдать мне удостоверение о том, что я еду в Омск учиться.

Отдав писарю колчаковскую трехрублевку, я получил желанную бумагу с подписью и печатью.

Вскоре после чая принесли мясо. Мяса было вдоволь, но на блюде отсутствовали традиционные лакомые кусочки, обязательные, по обычаю, для такого почетного гостя, как сын Торсана, к тому же ужин был приготовлен из вяленого мяса – Садвокас не счел нужным зарезать барана, нарушив правила аульного гостеприимства. Обиженный Бакен нахохлился и еле притрагивался к пище.

– Паренек, – обратился ко мне Бакен, когда после еды сыновья Альти ушли к себе, – наверное, лошади уже простоялись, задай им корму. На рассвете отправимся.

Я повел лошадей к скирде сена, в глубину скотного двора.

– Эй, ты куда это? – раздался из темноты чей-то властный голос.

Присмотревшись, я узнал Сейтака.

– К сену, – ответил я.

– Куда?

– К сену, на скотный двор!

– Ты что, одурел? Вся степь полна травы, а ты скирду будешь портить. Проваливай отсюда! Веди своих кляч в поле.

Я привязал лошадей на прежнее место и, вернувшись в дом, рассказал Бакену и Боржабаю о поступке Сейтака.

– Этот скупой черт еще накличет на себя беду. Жалко ему охапки сена. Ну что ж, попаси в степи, только рано,

на заре, возвращайся. Надо выехать пораньше!– сказал Бакен.

В степи было печально и тревожно. Небо заволокли сгустившиеся темные облака. Только над самым горизонтом тускло просвечивала одинокая звезда. С севера дул холодный ветер. В такую погоду не только человек, но и скот чувствует себя беспокойно. Мои стреноженные кони, с жадностью набросившиеся на влажный и мягкий типчак, часто приподнимали головы, стригли ушами, оглядывались по сторонам и негромко ржали, тоскуя по табуну.

После полуночи ветер стал стихать и тучи рассеялись. Посреди расползавшихся облаков быстро плыла ущербная луна, струящая холодный матовый свет. В это время лошади, наевшись, приготовились к отдыху; меня и самого начала одолевать дремота. «Что же мне тут сидеть одному в степи?– рассудил я.– Вернусь в аул, привяжу лошадей, а сам посплю».

«Аул, наверное, спит»,– думалось мне, но, оказалось, я ошибся. В полутьме всюду сновали озабоченные люди. Я незаметно проскользнул мимо них, привязал коней к нашему тарантасу, стоявшему неподалеку от одной длинной, как барак, землянки. В ней жили рабочие Альти. Я еще в сумерках приметил, как в одиночку и группами с разных концов сюда сходились одетые в разную рвань люди. Когда я уводил коней в поле, возле землянки почти никого не было, но из узких, похожих на щелки окон тоскливо мерцали огоньки прикрученных керосиновых лампочек. Временами из землянки доносились громкие голоса.

Теперь, когда я возвратился с пастбы, голоса уже стихли, но свет продолжал гореть, и сквозь щели окон можно было разглядеть на серой стене колыхавшиеся тени. Смутно доносились до меня обрывки приглушенных разговоров и шум, похожий на жужжание.

Меня потянуло в людское тепло, захотелось прикорнуть где-нибудь в уголке именно этой землянки.

Когда я вошел туда, никто не обратил на меня внимания.

Землянка была просторной, с расставленными в ряд толстыми подпорками. Изголовьем к стене, в два ряда, здесь спали или просто лежали люди. Слышался плач

детей. Очевидно, по углам нашли приют семейные. Кто-то всхрапывал, кто-то вскрикивал спросонья, порой раздавались стоны, кто-то шептался.

Я с трудом отыскал свободное место, протиснулся между спящими и прилег.

Рядом со мною шептались двое мужчин. Один из них повернулся ко мне и спросил:

– Эй, кто это?

– Путник, – ответил я.

– Откуда путник?

Глаза мои привыкли к полутьме, и я разглядел пожилого, с обильной проседью в бороде человека. Он достал из-под подушки пузырек с табаком, заложил щепотку за губу, сплюнул, испытующе посмотрел на меня из-под огромных в полутьме мохнатых бровей и повторил свой вопрос:

– Так откуда же ты, паренек?

– Из аула Торсана.

– А сын чей?

– Сын Мукана.

– В том ауле никакого Мукана, кажется, нет.

– Сарсеке, что ты его спрашиваешь? Не все ли равно, чей он сын? – перебил его русобородый сосед.

– Узнать никогда не мешает! Так какого же ты Мукана сын?

– Сын Мукана из Жаман-Шубара.

– Мукана, сына Шукее?

– Да.

– Дорогой мой, это ты, сиротка моя родная, единственный сын покойного Мукана? Подвинься ближе, дай я тебя приласкаю.

«Этот добрый старик, наверно, родня моему отцу!» – мелькнуло у меня в мыслях. Я привстал, протянул к нему руки, и старик прижал меня к груди и расцеловал в обе щеки.

– Долгие годы мы дружили с твоим отцом, вместе пасли табуны Сапы, вместе нанялись к этому Альти. Мукан умер и освободился от мук, а я продолжаю батрачить.

– Вы из какого рода? – спросил я.

– Меня зовут Сарсеке, я из рода Токмамбет-Сыйбан. Ты еще маленький, откуда можешь знать меня? Я не

бай и не мырза, а горемычный батрак, кроме горба, ничего не наживший.

– Не мешай спать, Сарсеке!– раздался чей-то голос.– Напрасно ты разболтался с мальчишкой. Чем он тебе поможет? Вот, говорят, скоро придут красные, они сравнивают бедняков с баями, тогда и пожалуешься им на судьбу.

– Сам не знаешь, что говоришь!– с досадой проговорил невидимый в темноте третий, зло и резко повернувшись на своей неуютной постели.– Откуда еще выдумал красных?

Слово «красные» было как огонек, попавший в сухой валежник. В землянке разгорелся спор. Отовсюду неслись восклицания:

– А что, и слова сказать нельзя?

– Ты что, не слышал: всех, кто хвалит красных, нынешняя власть забирает и карает?

– Кто это карает?

– На днях из соседнего Бакыральгана¹ человек десять русских увезли за разговоры про них. Говорят, некоторых уже расстреляли.

– Слышать-то слышали. Но всем заткнуть рты у начальства затычек не хватит. Разве вся беднота – и русские и казахи – не ждет с нетерпением прихода красных?

– Прикуси свой поганый язык!– И тот, кто это сказал, с головой накрылся халатом.

– Ты сам бойся, а мы не из пугливых!– прикрикнул русобородый.– Альти нас не застращаешь!

– И чего нам его бояться? Нас, кошебовцев, тридцать семей, и все, от малых ребят до седых стариков и старух, гнем на него спину. А что толку, если он даже наши заработанные копейки зажуливает!

– Ты о жалованье говоришь?– донеслось из дальнего угла землянки.– А как он нас кормит? Добрый хозяин и собакам своим дает кусок пожирнее. Что у нас? Жидкая болтушка без айрана. Хоть бы лепешек было вдоволь...

– И не говори! Ведь даже к болтушке стали подавать не хлеб, а овечий сыр.

¹Так казахи называли соседний русский поселок Петровку (Прим. автора).

– Ты-то чего лезешь? Пусть говорят люди из родов Нуралы и Сыйбан, а ты Кошебе!

– Кто это еще вздумал делить нас на роды?– хрипло молвил в сердцах какой-то бородач в изорванном чапане. Поднявшись во весь рост, он продолжал:– Разве Альти издевался только над нуралинцами и сыйбанами? Вот я его сородич, разве он пожалел меня когда-нибудь? Разве он ради родства жирнее похлебку дает? Здесь, у Альти, работают люди пяти аулов рода Кошебе-Отынши, Салкай, Маманай, Айдабол, Танат. Я сам тоже Кошебе из аула Мамбет. Альти наш родич и тоже из мамбетовцев. Смотрите сами, как он жалеет нас. Что ему родичи? Разве он не накинул на наши шеи петлю еще покрепче? Душит она нас, эта петля! Спроси-ка, кто из жителей пяти кошебовских аулов не обижен им, кого он не ограбил до нитки? Вот увидите, придут красные, заступятся за бедняков – и первыми бросятся на Альти эти самые мамбетовцы!

– Ну, заладили одно: красные, красные!– крикнул тот, кто трусливо спрятался под халат.– Вот услышит Альти, он вам задаст!

Спор полыхал, как разгоревшийся костер. Но тут вошел кто-то из старших слуг и строго сказал:

– Вставайте и собирайтесь, скоро рассвет! Сарсеке вышел во двор вместе со мной.

– Ишь как расшумелись, даже поговорить с тобой всласть не дали. Так куда же ты путь держишь?

Я рассказал доброму старику о своей мечте.

– Вот молодец!– похвалил он меня.– В народе говорят: скоро все переменится к лучшему, дождутся бедняки вольготной жизни. Кто знает, выучишься, найдешь свое счастье, большим человеком будешь...

– Сарсеке, не правда ли, все эти батраки ненавидят Альти?

– А как же ты думаешь! Тут многие проработали не год и не два, а с детских лет до седин. Альти держит всех впроголодь, одевает в лохмотья и даже их жалкие гроши норовит недодать.

– А много работает на него?

– Только здесь, в ауле, больше сотни. Эх, наступил бы скорее светлый день для нас – набросились бы на бая бедняки и разорвали бы на части.

Попрощавшись с добрым стариком, я пошел к моим спутникам. Они уже одевались. Когда я запряг лошадей, Бакен сказал:

– Куда делась Ыкыш? Разыщи-ка ее, паренек, нужно попрощаться.

С трудом я нашел Ыкыш в деревянном сарае возле большого сепаратора, освещенного фонарями «летучая мышь». Такой сепаратор однажды я видел в казачьей станице, на маслозаводе. Как и там, его ручку с трудом крутили два дюжих жигита. Две женщины вычерпывали ведрами молоко из больших сосновых бочек и подливали его в сепаратор. Из двух рожков сепаратора били непрерывные струи, одна – тонкая, чуть отсвечивающая желтизной – шла в широкую кадушку. Это были сливки, из которых потом делали сладкий айран. Другая – широкая, голубоватая – направлялась в огромные корыта. Это был обрат – обезжиренное молоко.

– Что с ним потом делают?– шепотом спросил я у мальчугана, очутившегося рядом со мной.

– Кормят телят. Их здесь больше сотни,– ответил он.– И овец около пятисот.

– И овец доят?

– Еще бы! Они доили бы и собак, если бы можно было получить масло!

Я узнал, что в маслобойном хозяйстве главная не Ыкыш, а сама Дильдабай, жена Альти. И молоко, и масло, и овечий сыр поступают в ее руки.

Я подошел к Ыкыш и сказал, что Бакен хочет с ней проститься.

– Тоже выдумал! Тут без вас тошно!– недовольно проворчала она.– Эй, вы, живее поворачивайтесь! Я сейчас приду!– И сердито покачала головой.

После короткого и прохладного прощания мы тронулись в путь.

Вот мы снова на большой дороге. Боржабай и Бакен, прищелкивая языком, ахая, злясь и умиляясь, продолжают свой завистливый разговор об Альти и его миллионе.

– Да, богатство идет к тому, кто каждый день его добывает,– философствовал Боржабай,– потому Альти и стал миллионером. Скажи, Бакен, а мы добудем свой миллион? Нет, не умеем мы еще так вести хозяйство.

А я думаю совсем о другом, и такими чужими, ненужными кажутся мне жадные мечты моих спутников.

Темные осенние облака плывут над степью.

ТАЙНА АУЛЬНЫХ КООПЕРАТОРОВ

Дорога становится труднее.

Тучи заволокли небо, и скоро пошел дождь. В сырьё, в непогоду всегда беспокоит дума о ночлеге. Помня намерение моих спутников навестить Сулеймена Тайкотова, я разузнал в ауле Альти, как туда проехать.

Неподалеку от зимовки большая дорога разветвляется на две. Вправо лежит путь в аулы рода Даулетимбек, через небольшой русский поселок Толыбай; налево дорога ведет в Кпитан, как повсюду в казахских аулах называли тогда казачью станицу Пресновку.

Доехав до развилки, я решительно повернул направо.

– Налево!– приказал Бакен.

Едва я успел спросить, почему «налево», как Боржабай грубо закричал:

– Почему, почему? Какое твое дело! Поворачивай, куда сказано, и погоняй лошадей!

Свернули налево.

Приумолкшие было, мои спутники снова продолжили разговор. Из него я узнал то, что они тщательно скрывали от других.

Вначале беседа вертелась вокруг Сулеймена Тайкотова.

– Правда ли, что Тайкот, дед Сулеймена, из черкесов?– спросил Боржабай.

– Говорят, так.

– Ведь черкесы живут где-то очень далеко, по ту сторону Атырау¹. Как он попал в наши края?

– Черкесы живут на Кавказе, Тайкот, кажется, был выслан оттуда, а за что, не знаю.

– Наверно, за воровство,– сказал Боржабай.– Говорят, и его сыновья отъявленные разбойники. В отца пошли.

– Про Тайкота ничего не скажу, но вот его сын Садакпай, отец Сулеймена, был настоящим разбой-

¹Атырау – казахское название Каспийского моря.

ником, злым человеком, кровожадным. Однажды волостному управителю Молдагулу пришло распоряжение от начальства задержать Садакпая и отправить в город. Молдагул послал на поимку своих аткаминеров. А Садакпай связал их всех по рукам и ногам, а потом выволок за косы свою взрослую дочь и зарубил ее топором. А слух распустил, что это дело рук Молдагула.

– Спаси нас, аллах, и помилуй!– испуганно воскликнул Боржабай.– Какой он зверь!

– Из-за этой страшной клеветы беднягу Молдагула несколько лет таскали по судам. Только большими взятками он сумел выпутаться от беды.

– Говорят, Сулеймен самого шайтана не боится?

– Да, он хитрее лисы и яростнее барса,– ответил не то с восхищением, не то осуждая Бакен.

– Ох, злодей, ох, злодей!– ахал и охал, изображая возмущение, Боржабай, а Бакен бесстрастно и неторопливо вел свой рассказ о страшных степных нравах.

– Правда ли, что теперь Тайкотовы в бегах?

– Э, как же иначе! Не ждать им помилования, если поймают. Слышал я, их жен и детей уже арестовали и увезли в город, в тюрьму. Наверно, расстреляют.

– Ну, мужья не допустят до этого. Чтобы спасти семьи, они сами явятся с повинной.

– Жди их!– уверенно сказал Бакен.– Ведь они из волчьего племени. Смог же Садакпай зарубить свою дочь.

– Собаки! Хуже собак! Но как же вы не погнушались вести с ними знакомство?

– Первым подружился с Тайкотовым наш Шери. Что я буду от тебя скрывать? Когда наше богатство пошло на убыль, Шери содержал у себя даже шайку конокрадов,– сказал Бакен.

– Знаю, знаю!– оживился Боржабай.– Было время, он пригонял целые табуны лошадей и стада волов. Как-то летом он скрывал около сорока коней в камышах у берегов Шалман-Кулака. Неужто он взял этих коней у Сулеймена Тайктова?

– Может быть,– смущенно согласился Бакен.

– Все-таки это богатство, добытое нечестным путем, не пошло вам впрок.

– Верно! Что пошло на убыль, то уже ничем не пополнишь, как дырявый мешок.

– Нет уж, лучше приобретать честным путем.

– Эх, друг, а у кого богатство накоплено честно? – возразил Бакен. – Какой богач не наживается на чужом горбу? Уж не хочешь ли ты сказать, что и мы с тобой едем для честных дел?

Боржабай испуганно посмотрел по сторонам.

– Сам посуди: вот мы как будто завели у себя кооперацию, пообещали привезти мануфактуру, чай, сахар, забрали у доверчивых людей их последние гроши.

– Почему забрали? Они сами давали, никто их не принуждал.

– Разве могли они не дать? Четыре года тянется война, и за все это время в магазинах не появлялось ни аршина сукна или ситца, ни цибика чая. А спекулянты продают втридорога, и то из-под полы. За осьмушку чая в аулах дают овцу. Рубашку не достанешь и за барана. А народ, особенно беднота, пообносился, на иных такие лохмотья, что смотреть стыдно.

Впрочем, «кооператоры» особого стыда не испытывали.

– Так ведь мы и едем для того, чтобы помочь им хоть что-нибудь купить, – схитрил Боржабай. Он уже перестал притворно ахать и охать.

– Черта с два, будешь ты им помогать! – расхохотался Бакен. – Помнишь, ты еще летом привез мануфактуру, что ты тогда сделал? Каждый отрез на платье менял на годовалую телку. А не забыл ты, как за пять иголок брал по фунту масла?

– Нет, не забыл, – ответил Боржабай, уже окончательно расставшись с притворством, – но ты сам должен помнить: кто первый научил нас этим делам? Не твой ли родной брат Казый? Не он ли придумал составить от имени общества подложный договор о создании кооперации, чтобы получить в городе товар и потом им торговать? Не по его ли советам мы оба с прошлого года стали заниматься этим нечистым делом? Если уж он, считавшийся одним из благодетелей и заступников народа, учит нас наживать капитал, то что нам печалиться и сомневаться!

– Ну хватит!– прервал его Бакен с досадой.

Однако разговор продолжался. Под мерный дождик, тихо поругиваясь, они обвиняли друг друга и своих сородичей. Оказалось, большая часть денег, за исключением членских взносов пайщиков, принадлежала Боржабаю, меньшая – Бакену. Бакен, считая себя товарищем Боржабая, разделяющим с ним все трудности пути, претендовал на половину будущей прибыли, но хитрый Боржабай не соглашался и настаивал на разделе барыша в соответствии с вложенными деньгами. От этого они и были недовольны друг другом.

О пайщиках они думали меньше всего. Хотя я и мало соображал в этих делах, но ясно понял, что из общей прибыли возьмут себе долю аткаминеры – байские прислужники и подхалимы. А пострадают от этих проделок прежде всего бедняки.

На эту поездку Боржабай и Бакен возлагали большие надежды, но у них были основания и тревожиться. Они уже не раз ездили в Петропавловск и Омск и привозили оттуда для своего лжекооператива немало товаров, наживая на этом большие барыши. Пока им все сходило с рук. Но так могло быть до поры до времени. Кроме того, по дошедшим до них слухам, дела Колчака были неважными и запасы товаров могли иссякнуть.

Мои спутники решили проверить этот слух в Пресновке – Кпитане. По словам Бакена, там жил богатый купец и лекарь Опанас Боярский, давнишний приятель Торсана и его семьи.

Пресновка была видна издалека. Расположенная на взгорье, по берегу большого озера, станица огибала его юго-восточный край.

Озеро и лес, украшая Пресновку, отличают ее от других линейных станиц. Дома, сараи и дворы были построены из добротных, толстых бревен, благо, в те годы леса вокруг было вдоволь. Радовала глаз и планировка станицы. Дома стояли в ряд, образуя, как в городах, четкие, хотя и довольно узкие, улицы.

Впервые я побывал в Пресновке зимою, когда улицы ее были замечены сугробами, а озеро сковано льдом. Сугробы на улицах своими гребнями едва не доходили до крыш. Даже тогда Пресновка показалась мне самой красивой станицей на свете. Теперь же была ранняя

осень, и я с любопытством всматривался вдаль, ожидая, когда покажется Кпитан во всей своей красоте.

– Поезжай шагом, пусть кони немного отдохнут. Не дай бог, еще остановятся на улице и опозорят нас, – сказал Бакен.

Я пустил лошадей мелкой рысью, а Боржабай и Бакен стали припоминать вслух, как возникло название Кпитан. Вот что я узнал.

Лет полтораста тому назад, вскоре после принятия казахами русского подданства, царское правительство начало строить между Троицком и Петропавловском линию казачьих станиц. Пресновка, одна из самых больших станиц, стала местопребыванием офицера в чине капитана. «Кпитан» и есть искаженное «капитан».

В Пресновке – Кпитане – было несколько двухэтажных и даже кирпичных домов, не встречавшихся в других станицах. Один из таких домов и принадлежал Опанасу Боярскому, у которого хотели остановиться Боржабай и Бакен. Нас встретил у ворот казак с густыми и длинными русыми усами.

Как и многие другие сибирские казаки, он хорошо знал казахский язык и говорил с небольшим акцентом, перемежая русские и казахские слова. Он сразу признал Бакена.

– Э-э! Ты Торсана сын? Отец, мать здоровы? Здоровы ли дети? – бойко затрещал он, здороваясь за руку с Бакеном.

Однако имени его припомнить не мог.

– Звать-то тебя как? – спросил он.

– Бакен.

– Э-э!.. У Торсана пять сыновей. Всех я видел. Жена у него красавица, и все сыновья красавцы. Бог дал Торсану хороших детей.

Боржабай тоже прыгнул с тарантаса, с угодливой вежливостью поздоровался, залебезил перед казакom, но Боярский с усмешкой взглянул на его обтрепанную одежду и перестал обращать на него внимание.

Нам отвели пустующий деревянный сарай.

– Здесь раньше хранились пшеница и овес, почему же нынче так пусто? – спросил Бакен.

– Один бог знает, что с нами будет, – грустно ответил Боярский. – Плохие времена настали. Большевики

здорово дерутся. Боюсь, боюсь, как бы они все не захватили. Поэтому мы и сеяли мало. Зачем большевикам давать хлеб?

Хозяин наш с горечью пустился рассуждать о положении на фронтах. Я немного представлял себе географию страны, да и речь Боярского была мне понятной. Если он не присочинял от страха, то большевики на всех фронтах действительно перешли в наступление и продвигаются вперед. Но, немного постращав и себя, и нас, он неожиданно сказал:

– Все равно белые победят большевиков. Нам помогает Антанта, помогают Америка, Англия. У них много ружей, пушек, патронов и снарядов.

Но намерение моих спутников ехать в Петропавловск не получило поддержки Боярского.

– Колчак сейчас производит патроны, ружья, но не выпускает мануфактуры, на это у него нет силы. Чаю, сахару тоже нет. В Омск и Петропавловск ты зря едешь. Ничего не раздобудешь, только напрасно изведешь лошадей.

Трусоватый Боржабай, как всегда в таких случаях, заколебался, но Бакен был не из робкого десятка.

– Едем! Может, не нужно было совсем выезжать из аула, но уж если выехали, стыдно возвращаться с полдороги. Да и тратимся мы не из своего кармана, а из кооперативных денег. Повернуть лошадь обратно не к добру. Съездим в Петропавловск, там видно будет.

Уж вечерело, и мы заночевали в Кпитане, у Опанаса Боярского. Моросивший весь день дождь к вечеру перестал, и наступила ясная, звездная ночь.

Это было воскресенье. Воскресный вечер молодежь в русских поселках и станицах, по давнишней традиции, проводит на улицах, на гулянках, с песнями под гармошку. Так и на этот раз молодые казаки и казачки медленно ходили по улицам целыми толпами; повсюду звучали песни, гармонь; охотники до танцев пускались в пляс. Вся станица была охвачена странным в эти смутные дни беспечным юным весельем. Издавна не мог я оставаться к нему равнодушным. Я с детства страстно любил музыку, подолгу жил в русских поселках, обожал гармонь и душевные, простые русские народные песни.

Никак не сиделось мне в сарае Опанаса. Я всей душой стремился к молодежи. Но как же мне пойти? Попросить разрешения – Бакен, конечно, не откажет, но Боржабай обязательно будет препятствовать. Пусть я его случайный дорожный спутник, но он уже относится ко мне, как к своему безответному батраку, командует мной, заставляет ухаживать за конем. Вступать с ним в пререкания я побаиваюсь – он может прогнать меня с тарантаса и оставить на полдороге. Боржабай способен на все. Мне очень досадно, я злюсь, но спорить с Боржабаем пока не решаюсь. Однако сегодня я думаю поступить по-другому. Прикажет мне пасти коней в поле – помчусь с радостью и уже на этот раз перехитрю Боржабая. Стреножу коней в степи, пушу на сочную траву, сам вернусь в станицу слушать гармонь, а на заре приведу коней во двор.

Но, как говорится, в беде и кислое молоко сворачивается. Моему хитроумному замыслу не суждено было осуществиться. Когда я заявил, что пойду пасти коней, и стал собираться, Боржабай распорядился:

– Сегодня не ходи. Работник Опанаса сам положит сена и посмотрит за лошадьми.

Тогда я осторожно намекнул, что хотел бы пойти послушать песни.

– Ах ты, голодранец!– заорал Боржабай.– Подымаешь с голоду, а туда же, на гулянку захотелось!.. И слышать не хочу про это! Ложись спать. Тронемся на рассвете. Выспись ночью, а то будешь, целый день дремать на козлах.

Расстроенный, я лег в уголке и долго слушал звуки гармонии и девичьи песни, доносившиеся с улицы, и уснул только тогда, когда молодежь разбрелась по домам и станица затихла.

КЗЫЛ-ЖАР

Из Кпитана – Пресновки – мы поехали в Кзыл-Жар – Петропавловск – по так называемой «линии» через казачьи станицы; почти все они, помимо русских названий, имели и казахские прозвища. Ночлеги наши были краткими, мы вставали рано, на рассвете, ехали целый день и останавливались только с заходом солнца.

Ночные переезды были опасны. Боржабай и Бакен побаивались, как бы их не ограбили и не убили разбойники. По дороге мы слышали немало рассказов о грабежах и убийствах.

В свое время Торсан часто ездил в Омск и Петропавловск и считал дорогу по «линии» более спокойной; в каждой попутной станции у него было много знакомых и приятелей, в большинстве случаев из станичной знати – богатеи и станичные атаманы.

Ближе к Петропавловску сильнее чувствовалось дыхание гражданской войны. Хозяева богатых домов, где мы останавливались на ночевку, были настроены против большевиков. Но, несмотря на воинственный крик: «Мы их побьем, уничтожим!», в самом поведении богатеев чувствовалась тревога и страх. «Если придут красные, удерем в Китай», – говорили многие, а у некоторых уже были связаны узлы и нагружены сундуки на тот случай, чтобы в любую минуту хозяева могли покинуть насиженные места. Особенно близкие Торсану друзья говорили Бакену:

– Передай саям отцу, пусть собирается. Придут красные – ему несдобровать. Пусть едет с нами в Китай. Такие же саямы многие передавали Альти.

Гражданская война сказывалась, понятно, не только в тревоге наших богатых хозяев, но и в бедах простого народа. Продуктов и фуража не хватало. За всю дорогу нам удалось купить только в одном месте несколько пудов овса, и лошади кормились сеном и травой. Размытая дождями дорога была тяжелой. Отощавшая на скудном корме лошаденка Бакена давно обессилела и еле-еле тащила сама себя. Из-за нее мы часто останавливались посреди пути, чтобы она отдохнула и пощипала придорожную траву.

Зато гнедая лошадь Боржабая не знала усталости. Она шла равномерной мелкой рысцой, не утомляя себя, но упорно преодолевала расстояние. Правда, кнут на нее не действовал, бег она не ускоряла, но и без кнута не сбавляла рысистого аллюра.

– Вот это конь! – хвалился Боржабай. – Вот какой конь нужен в хозяйстве! Разве твой серый – конь? Зачем мне его красивая масть, когда у него нет сил? Чем

ехать на твоём сером в дальнюю дорогу, лучше тащиться на серых быках. Медленно, зато верно!

Насмешки над конём Бакен воспринимал как личную обиду.

– Болтай, болтай! Пока что тебе везет! – угрюмо ворчал он.

– Как трудно становится жить! – сетовали наши «кооператоры». – Чем только все это кончится?!

Но ни они, ни их приятели не могли ничего ответить. А я уже не раз слышал, что большевики защищают бедноту и помогают ей. В душе я давно сочувствовал красным и желал их скорого прихода, но никому об этом не говорил.

В Дубровном я встретил старика по имени Жама. Он хорошо знал моих родителей и чем-то удивительно напоминал мне моего отца. Позднее я узнал, что он был незаконным сыном моего деда Шукея. Дядя Жама был известен под именем Жама Разбойник. Я об этом тоже слышал. Сочиненная им песенка о себе начиналась словами:

Русский бог Жаму не полюбил –
К пуговкам казённым присудил.
Спрятали начальники Жаму,
Словно вора спрятали в тюрьму...

Дальше в стихах описывается его ссылка в Сибирь и жизнь на каторге вплоть до возвращения на родину. Эту песенку я знал наизусть и исполнял её на особый, сложенный им самим же мотив.

Жама, как и мой покойный отец, был человеком богатырского сложения, но не кроткий и скромный, как он, а проворный и ловкий, шутник и балагур, домбрист и талантливый импровизатор. Он хорошо знал не только моих родителей, но даже дедов и прадедов. Как я слышал от старших, мои родители сперва жили в Мамлютке, вблизи Петропавловска, потом на берегу реки Ишим, недалеко от села Мусина – Явленки. Эти места находятся в ста пятидесяти километрах от нашего последнего пристанища Жаман-Шубара. Когда мои деды откочевали в Жаман-Шубар, здесь, в близких и дальних аулах, осталась часть нашей родни – выданные замуж старшие сестры, тети, дяди,

племянники. Мне давно хотелось познакомиться с родными, которых я знал только понаслышке.

По словам Жамы, мои родичи – среди них и моя старшая сестра Дамеш – живут совсем недалеко от Дубровного.

– Зачем тебе, Сабит, без денег, без хорошей одежды ехать куда-то учиться?– советовал Жама.– Время тревожное, жизнь трудная, еще умрешь с голоду. Лучше поезжай к родным. Я тебя отвезу. Пока все не утихнет, не определится, поживи у них. Знающие люди утверждают, что на следующий год все уже будет в порядке, народ успокоится.– И добавил тихо и доверительно:– К твоему счастью, может, придут красные, тогда и учиться сможешь, чтобы стать большим человеком.

Бакен и Боржабай, понятно, по совсем другим соображениям, тоже одобрили этот план. Но моя душа, упрямо стремившаяся к знаниям, бунтовала. Я решительно отверг совет дяди Жамы и не изменил своих намерений. «Учиться, Учиться!»– подсказывало мне мое сердце.

Да и сам Жама не настаивал?

– У тебя хорошая цель, мой мальчик! Да сбудутся твои желания!

Мы поехали дальше. У станции Кондратьевка я увидел железнодорожный мост. Раньше я только слышал о чудесной железной дороге, по которой быстро катится сказочная «огненная телега», но никак не мог представить ее.

И вот она пролегает передо мною. У всех дорог, которые я до сих пор видел, колея была вдавлена в землю, а у железной дороги она шла по земле. Как же может проехать по ней телега, хотя бы и огненная? Не соскользнут ли ее колеса? А может, колеса огненной телеги устроены как-то по-особому?

Все это я хотел немедленно узнать и поэтому, проехав через мост, остановил лошадь.

– Еще успеешь насмотреться! Впереди этих дорог – как волн на озере!– сказал Боржабай и велел погонять дальше.

За Кондратьевкой открылась огромная котловина. Все дно впадины было усеяно какими-то черными точками, напоминающими издали отары пасущихся овец.

– Что же это такое?– удивился Боржабай, всматриваясь слезящимися от напряжения глазами вдаль.

Бакен насмешливо хмыкнул.

– Приишимские луга. А на лугах скирды сена.

– Ой-бой, их и не пересчитаешь!– воскликнул Боржабай со смешанным чувством восторга и своей обычной зависти.

Буйным был той весною разлив Ишима. Оттого и поднялись на лугах густые травы, оттого и было где разгуляться косарям.

И мне захотелось скорее увидеть Петропавловск, расположенный на благодатных берегах такого щедрого в половодье Ишима.

– Когда же покажется этот Кзыл-Жар?– нетерпеливо спросил я.

– Ты что, ослеп?– сказал Боржабай.– Даже я, пожилой человек, ясно вижу его. Ты спрашиваешь, когда же будет виден большой город, а он стоит у тебя под носом.

И все равно я ничего не мог разглядеть, пока Бакен, никогда не шутивший со мною, не показал:

– Вон, видишь рыжевато-красную неровную полосу?

– Ну, вижу! А что это такое?

– Ишимский яр. Он крутой, почти отвесный. На яру вышки, а дальше белые пятнышки. Разглядел?

– Да,– подтвердил я, впиваясь вдаль и обнаруживая и яр, и вышки, и какие-то белые пятнышки.

– Это и есть Кзыл-Жар. Он и получил свое название от красноватого высокого яра – отвесного берега Ишима.

– А почему его еще называют Петропавлом?

И тогда Бакен рассказал одно из тех народных преданий, в которых черты исторической правды удивительно переплетаются с неудержимой сказочной выдумкой.

– Когда-то в старину эти края принадлежали баю Даулеткельдею из рода Атыгай. Здесь, у Ишима, были его зимовки. В те времена казахами управлял хан Аблай. Однажды к нему в ставку, находившуюся в Боровом, пришли двое русских, братья Петр и Павел, и попросили отдать им клочок земли с воловьей шкурой во владениях Даулеткельдея у крутого ишимского яра. От души посмеявшись, Аблай исполнил просьбу братьей. Хитроумные Петр и Павел разрезали воловьей шкуру на

тонкие ремешки и отмерили этой мерой огромный участок земли. Аблаю поздно было отказываться от своих слов, и он подтвердил свое решение. Вот здесь братья и построили городок, названный их именами.

– Видишь, над самым обрывом большое белое здание?– спросил меня Бакен.

Я кивнул головой.

Это здание известно как «белый дом Аблая». Рассказывают, его построили и подарили Аблаю по велению русского царя за добровольное принятие русского подданства.

– Значит, хан и царь дружили между собой!– с прежней глубокомысленностью заметил Боржабай.

Всеведущий Бакен продолжал меня удивлять рассказами о городе:

– Белый дом только отсюда кажется маленьким. Он построен в три этажа и занимает целый квартал. В нем бессчетное множество комнат. Раньше он служил караван-сараям, и в нем останавливались бухарские и хивинские купцы, приезжающие в Кызыл-Жар по своим торговым делам. Позднее царские правители устроили в нем тюрьму. Я слышал, что и Колчак загоняет туда, как в овечий заkut, своих противников. Тысячи там томятся.

– Спаси и помилуй нас, аллах! Рассказывай о чем-нибудь другом!– перепугался Боржабай.

В легкой закатной дымке над горизонтом слабо поблескивали остроконечные вершины каких-то зданий, и словоохотливый Бакен не замедлил объяснить, что это колокольни церквей и минареты мечетей. Он даже привел строчки песенки, сложенной петропавловскими татарами:

Пять церквей в Кызыл-Жаре есть,
А мечетей – целых шесть...

На самом деле и церквей, и мечетей было несколько больше. Мечети строились главным образом татарскими купцами. На средства казахских баев в городе была открыта всего одна мечеть, да и та с невысокий деревянный дом.

– Да, наши казахи не очень богомольны,– вздохнул Боржабай.

– А ты посмотри на себя, – засмеялся Бакен, – какой же ты правоверный мусульманин? Молитв не знаешь, постов не соблюдаешь.

Всматриваясь в приближающийся город, Бакен озабоченно покачал головой.

– Раньше, бывало, из всех труб валил дым, а сейчас заводы и фабрики стоят. И кожевенный завод не работает! Видишь высокую трубу над прудом? Какой хром здесь выделявали, какие спиртовые подошвы! Теперь, я слышал Колчак покупает обувь у американцев.

«Откуда только он все это знает», – думал я. А Бакен болтал без устали:

– Сперва мы въедем в подгорную часть города, а потом поднимемся в нагорную. Город был заложен под горой. Наверху стояли лишь воинские казармы и меновой двор. Нагорная часть застроилась позднее, когда наши отцы были уже жигитами.

– Эх, Бакен, забавный ты человек! – усмехнулся Боржабай. – Дался тебе этот Кзыл-Жар! И зачем это знать Сабиту?

– Эх, Боржеке! Сегодня ты приедешь в город, а завтра вернешься в свой аул. Тебя интересуют только базар, магазины и ночлег. Но пареньку надо все знать. Может быть, ему придется здесь жить и учиться.

В подгорную часть Кзыл-Жара мы въехали перед самым заходом солнца. То, что я увидел, не привело меня в восторг. Город мало чем отличался от Пресновки. Разве что было немного больше деревянных домов с кирпичными фундаментами да гуще тянулись провода от столба к столбу.

Наши утомленные лошади остановились у крутой горки, за которой начиналась нагорная часть. Боржабай и я пошли пешком, вожжи принял Бакен, Боржабай, несмотря на свои седины, всегда оказывал уважение Бакену.

Мы поднялись на горку и снова уселись в тарантас, каждый на свое место.

– Вот этот дом, – показал Бакен на трехэтажное кирпичное здание, – построен в тысяча девятьсот тринадцатом году, в честь трехсотлетия царствования дома Романовых. В старое время здесь была гимназия,

где учился наш Казый. А теперь, кажется, Колчак отобрал его под солдатскую казарму.

– Говори, все говори о Кзыл-Жаре, – посмеивался Боржабай, – ничего не оставляй у себя в запасе. Кто знает, может, Сабит в будущем станет правителем этого города.

За романовской гимназией – широкая площадь с высокой церковью. А за церковью начиналось пепелище. Это все, что осталось от большого магазина богатого купца Ганшина. Видно, крепко он насолил народу, если в дни Февральской революции жители города разграбили и сожгли его магазин.

– Ну, Сабит, смотри во все глаза! Вот и главная улица города. Здесь есть такие дома, что, если посмотреть снизу на их крыши, шапка на голове не удержится! А если с крыши посмотреть вниз, закружится голова.

Боржабай поддакивал Бакену:

– Ах, какой город, какое богатство! Здесь один каменный дом стоит всего аула Альти!

Главная улица города – ныне Ленина – в те годы именовалась Вознесенским проспектом. Двух- и трехэтажные дома ее казались мне тогда дворцами, крыши которых подпирали небо. Да, именно так представлялось моим удивленным глазам. Глазая по сторонам, я открыл рот и выпустил из рук вожжи.

– Мальчишка! Ты потерял остатки ума! Наедешь на столб, перевернешь нас, опозоришь. Давай сюда вожжи! – И Боржабай с оскорбленным видом стал править сам.

Когда половина города осталась позади, я увидел рощу тополей и берез, обнесенную дощатым заборчиком с каменными столбиками. В роще возвышалась кирпичная восьмиугольная башня со шпилем.

– Апырай, что это такое? – спросил я, ошеломленный.

– Русские называют этот дом водокачкой. Здесь по подземным трубам качают из Ишима воду и снабжают ею весь город. Башня в Петропавловске видна отовсюду. Высотой она равна девятиэтажному дому. Случайно заблудишься – прежде всего ищи башню, а потом легко найдешь квартиру. Да вот мы и приехали, – указал Бакен на деревянный домик, показавшийся мне маленьким верблюжонком в стаде дромадеров.

Как я узнал позднее, даже Бакен, бывавший чаще других наших земляков в городе, не подозревал, что у каждой улицы есть свое название, а у каждого дома – номер, и нужное ему место запоминал, как степняк, по окрестным приметам.

На город спускались густые августовские сумерки. И вдруг в окнах домов и на уличных столбах разом вспыхнули яркие, как мне показалось, огни. В действительности они светили довольно слабо. И после обстоятельного объяснения Бакена, что это электрические фонари, я долго не мог уразуметь, как же они горят без масла.

Тускловатый свет фонарей не рассеял, а словно подчеркнул сгустившуюся темень. Крыши домов, еле заметные на черном фоне августовского неба, мне показались выше. И я восхищался величием увиденного мною города. Так вот он какой, известный всей степи Кзыл-Жар!

ГРУСТНЫЕ СОВЕТЫ ДОБРОГО ЖУМАБАЯ

Бакен, как и всегда, остановился в домике толстухи татарки, которую все называли бабушкой Хадишой. Ее привлекательное лицо и в семьдесят лет хранило следы былой красоты. Бабушка Хадиша жила с уже немолодой дочкой Махитаб и племянником Гарифом.

Эту квартиру облюбовал еще Торсан, отец Бакена. При жизни мужа Хадиша с дочкой и племянником жили в достатке – хозяин держал мелочную бакалейную лавку. Но после смерти мужа торговлишка окончательно захирела, и все трое жили на скудный заработок Гарифа, занимавшегося ломовым извозом. Бедность бросалась в глаза. И Бакен предложил:

– Не купить ли нам баранчика, Боржеке? И сами будем сыты, и бабушке Хадише с Махитаб достанется по чашке супа.

– Я еще не сошел с ума, чтобы резать барана и кормить вдов и сирот незнакомого татарина. Мы прокормимся маслом и сыром, привезенными из аула.

Жадность одних и нищета других раскрывались передо мной во всей своей наготы. Эти первые

впечатления от городской жизни волновали и смущали меня. Пугала дороговизна, пугал путь в Омск, куда я должен был ехать. Там говорили, жизнь была еще труднее, Что значат жалкие сорок-пятьдесят рублей, запрятанные в моем кармане! Где добыть средства? Я рассказал о своих волнениях Бакену.

– Здесь живет твой родич Каскулак. Ты слышал о нем?– спросил он.

– Слышать слышал, но не видел. А вот его отца, Жумабая, знаю!

– Говорят, Каскулак совсем разбогател, и его младший брат Кокери тоже живет как бай. Обратись к ним, пожалуй, не откажут.

Я помнил по рассказам стариков биографию Каскулака. Он мой родич в шестом колене. Звали его Айтжаном, но еще в детстве он получил прозвище Каскулак, что значит Лопухий. Прозвище это сохранилось за ним на всю жизнь. Его отец, Жумабай, когда-то батрачил у Торсана. Там же пас овец и Каскулак. Однажды на отару напала волчья стая, много овец было растерзано. Торсан избил Каскулака до полусмерти и угрожал отправить его, как вора, в Сибирь. Напуганный Каскулак бежал в Петропавловск, к своему родственнику Ералы. Ералы его воспитал и женил. Позже к нему перебрались и отец, Жумабай, и младший брат, Кокери.

Кокери я знал особенно хорошо. Аманжол – так было его настоящее имя – в детстве измучил семью частым плачем, и домашние прозвали его «Кокери-кок», в подражание кукареканью беспокойного петушка. Когда мне было лет тринадцать, он жил в нашем ауле, женился на татарке Хатире и по ее желанию переехал в город. Там они и стали жить вместе с Каскулаком.

С детских лет я был убежден: «Что вырастает из одного корня, то разделить нельзя». Если есть у тебя единокровный родич, он не должен оставить в нужде. Почему не навестить мне Каскулака и Кокери, не обратиться к ним за помощью?..

И вот я приоткрыл калитку во двор, в глубине которого стоял новый высокий деревянный дом под зеленой железной крышей. По двору проходила с небольшим кувшином – кумганом – тощая татарка. «Наверное, это Маугиза», – подумал я и подошел к ней.

– Бог мой, как мне надоели эти нищие!.. Проваливай, проваливай, бог подаст!– закричала она мне.

– Мне нужно видеть дядю Айтжана и тетю Маугизу,– робко промолвил я.

– Бог мой! А вы кто будете?– спросила она.

– Я брат дяди Айтжана.

– Брат?! Какой такой брат?

– Из Жаман-Шубара.

– У казахов все братья!.. Проваливай, говорю тебе!– совсем разозлилась она.

В это время из дома вышел мужчина средних лет с туго закрученными кверху усами, оттенявшими рябоватое лицо и бритый подбородок, в бархатной тюбетейке и татарском бешмете. Я поздоровался с ним, но он, даже не кивнув головой, холодно спросил:

– Кто такой? Чей сын?

– Сын Мукана. А вы не дядя Айтжан?

– Да, это я. Как ты сказал, чей сын?

– Мукана. Я ваш родственник.

– Какой родственник?

– Жаман-шубаровский. Племянник Нуртазы.

– Значит, племянник Нуртазы. А сын чей?

– Мукана.

– Мукана?.. Мукан... Мукан... Какой же это Мукан?– пренебрежительно думал он вслух.– Э! Наверно, тот черненький старишка!

– Нуртаза и мой отец Мукан – двоюродные братья, разжигал я последнюю искорку надежды.

Но и эту искорку гасил ледяной тон Айтжана:

– Пусть это так, но почему ты оказался здесь?

Я рассказал о желании учиться и посетовал на свою бедность.

– Ой, аллах, и этот лезет учиться!– всплеснула руками тетка и решительно направилась в дом.

На мое счастье, во дворе появился хорошо знакомый мне дед Жумабай. Мы приветливо поздоровались. Разузнав, в чем дело, он спросил сына:

– Почему ты его не приглашаешь в дом?

Айтжан не ответил отцу. Дед Жумабай, бросив на него гневный взгляд, показал мне на флигелек, приютившийся на задворках:

– Зайдем туда, дорогой мой!

В тесной комнатке флигелька я увидел слегка поплневшего Кокери, который, впрочем, был уже не Кокери, а снова Аманжолом, но чванливым, надутым.

Как ни бился дед, он так и не захотел понять, кто я такой. Он противно упорствовал, не признавая меня своим родственником, так же как и Айтжан. А ведь еще так недавно он жил в нашем ауле.

Я попробовал ему рассказать о своих намерениях, но он нетерпеливо перебил меня и на малопонятном языке, составленном из татарских, казахских и русских слов, предложил мне остаться у него – помогать в торговле.

– Но предупреждаю: ни копейки жалованья платить не буду. Конечно, харчи будут мои, одену тебя – вот и все. Ну, и ночевать найдется угол – и баста!

Я наотрез отказался. Кокери выругался и указал мне на дверь.

Я хотел было попытаться зайти к Айтжану, но дед Жумабай сказал:

– И туда не ходи.

– Почему?

– Так уж заведено в городе, сынок. Здесь даже напиться воды нельзя без денег. И Айтжан, и Аманжол знают и тебя, и твоего отца не хуже меня, но видишь, какими они стали притворщиками! Даже чашки чая не предложили тебе – так быстро забыли аульный обычай. В городе все покупают, запомни, сынок!

Но я рассказал деду Жумабаю, что и в ауле меняются обычаи, и никто, даже первый богач Нуртаза, не пожелал мне помочь.

– Что правда, то правда, – вздохнул дед Жумабай. – Когда ты в достатке, родные завидуют, когда ты в нужде, тебя презирают. Дорогой мой, я на себе испытал заботу сородичей. Когда я уходил из аула в этот Кзыл-Жар, из пятидесяти андабай-отарбайцев, моих сородичей, не нашлось и одного, кто бы помог мне добраться до города. А ведь все мои пожитки вмещались в ручную тележку. Теперь же, когда у нас есть свой дом и сыновья начали выходить в люди, родичи снова появились, и каждый из аула норовит назвать себя другом. Но оступись я сейчас – опять никто не протянет руки, не поможет встать на

ноги! Только на себя и можно надеяться. А на милость аульных и городских сородичей не рассчитывай.

– Жумеке, я и сам уже это вижу!

– Значит, ты упорно хочешь учиться? Да-а... Трудновато тебе будет...

– А что же мне делать?

– У меня есть один совет, если только он понравится тебе. Сейчас в Кзыл-Жаре много вдовушек, особенно среди татар. Ведь татар берут в солдаты. Война-то уже идет пять лет, и на фронте погибло немало татарских жигитов. Их дома остались без хозяев. Пожелаешь войти в один из таких домов – тебя всегда хорошо примут...

– Приемным сыном, что ли?

– Ой-бой, какой ты еще ребенок! – засмеялся Жумабай. – Какие красивые молодухи пропадают без мужей. Любая приголубит такого, как ты, здорового и молоденького паренька... Моя старшая сноха, жена Айтжана, тоже была вдовушкой со своим домом и полным хозяйством. Покойный Ералы помог Айтжану стать хозяином прохладного дома и мягкой постели. Слава богу, он сразу поднялся на ноги. И ты станешь таким, как он. Уж я похлопочу за тебя, отыщу хороший дом. Не приемным сыном, а зятем войдешь туда.

Горько задумался я, ошеломленный таким советом. «Всю свою короткую жизнь я бедствую, придавленный нуждой. Не довольно ли этих мук? Если тебя ждет богатый дом с молодой хозяйкой, зачем отказываться? Неужели ты настолько глуп, чтобы выплескивать вкусную пищу, приготовленную для тебя?.. Если у тебя есть хоть капля разума, прими совет доброго Жумабая». Так говорил мне рассудок.

Но горячее юношеское сердце упорно подсказывало строки Абая:

Добро, без труда нажитое, не впрок;
Оно испарится, как стаявший снег.

И еще его строки:

Лишь знаньем жив человек,
Лишь знаньем движется век.
Лишь знание – светоч сердец.

Мудрость поэта и зов собственного сердца на чаше весов перетягивали советы доброго Жумабая, и я не стал скрывать этого от деда.

– За совет спасибо, но я хочу учиться. Я готов вытерпеть все трудности на этом пути!

И Жумабай, видимо, понял меня.

– «Стремящуюся вперед молодость тянет назад отступающая старость» – так говорили прежде, сынок. Есть и другая древняя пословица: «Стремящийся к цели – обретет ее!» Дай бог тебе удачи и счастья!

– Прощай, Жумабай-ата! – сказал я и пошел.

Но не сделал я и трех шагов, как он меня вернул.

– Сколько у тебя денег, сынок?

– Рублей сорок...

– Э, бедняга! Тебе их не хватит даже на билет до Омска.

– Как-нибудь... Не пропаду, Жумабай-ата. Печалься не печалься, а денег мне никто не даст.

– Сынок мой, пойдем вон в ту мечеть, что в городском саду.

– Зачем, Жумабай-ата?

– Скоро час полуденной молитвы. Сегодня пятница. Народу соберется много. Перед началом я тихонько расскажу мулле о тебе, и он после молитвы обратится к верующим, чтобы помогли тебе.

Но я отказался и на этот раз, памятуя, что милостыню подають калекам и старцам, а я здоровый жигит.

– Эх, сынок, сынок! – сокрушенно покачал головой Жумаке. – Что ж, доброй тебе дороги!

НА ОКРАИНАХ ПЕТРОПАВЛОВСКА

После встречи с дедом Жумабаем я решил отыскать Жампеиса – того казаха-урядника с револьвером на красном шнурке, которого я однажды вез в санках снежной степной дорогой. Я разузнал, что дом Жампеиса находится на западной окраине города, под высоким яром, у кирпичных заводов. Правда, мне сообщили, что Жампеис в тюрьме, и я мог бы не ходить к нему. Но я так берег в памяти нашу ночную

поездку по степи поздней осенью, что мне захотелось подробнее узнать о судьбе Жампеиса и познакомиться с его женой Жаныл, с которой, говорили, он сошелся по любви, а не по аульному обычаю.

В поисках дома Жампеиса я больше и больше узнавал город Петропавловск.

«Апырай, бывают же на свете такие чудеса!» – так восклицал я про себя, любуясь его главными улицами – Вознесенской и Торговой. Мощенные булыжником, с деревянными тротуарами вдоль домов, они совсем не походили на улицы городских окраин.

Забрел я и в петропавловский городской сад. Прямые широкие аллеи, обсаженные тополями и березами, в этот осенний полдень были совсем пустынными.

В одной из таких аллей я и повстречал пожилого казаха, наверно, садового рабочего, судя по фартуку из мешковины и метле. На его лице с редкими черными усами и бритым подбородком красовались, к моему удивлению, в позолоченной оправе очки. Утомленный и задумчивый, он одиноко сидел на скамейке под березами. По аульному обычаю, я громко поздоровался с ним. Он внимательно взглянул на меня поверх очков.

– Откуда ты, молодой жигит?

Я ответил и в свою очередь стал расспрашивать его.

– Ты слышал что-нибудь о Бейсеке? – спросил он.

– Нет...

– Весь город знает Бейсеке, – гордость звучала в его словах. – Бейсеке знает даже твой Торсан, отец Бакена.

– Интересно, кто же он такой?

– Это я! – ткнул он себя в грудь от мороженым пальцем.

– Вы? – удивился я и подумал про себя: «Должно быть, чудака, если сам себя так расхваливает!»

– Да, я и есть Бейсеке. Я двадцать пять лет прослужил в окружном суде рассыльным! Все бумаги разносил я. – Бейсеке степенно стал подкручивать свой седенький ус. – Это, брат, серьезное дело, не каждому можно его доверить.

Я никогда не видел суда и судью, слышал о них только краем уха и преисполнился к Бейсеке огромным почтением, посчитав его важной фигурой.

– Вы сейчас там работаете?

– Нет, теперь я подметаю сад,– вздохнул Бейсеке.– Нет работы.– И тотчас поправился:– То есть работа есть, но нет справедливости. Колчак никаких законов не признает. Всех, кто против него, он сажает в тюрьму и расстреливает.

– Так он вас не берет на работу?

– Он бы, может, и взял, да я сам не хочу, Подлый Колчак, убийца!

– Ой, как вы не боитесь произносить такие страшные слова?!

– По твоему виду ясно, кто ты. Ты еще не испорчен ложью и продажностью города.

– У вас есть родственники?

– Нет, я одинокий. С детства остался сиротой и попал в город. С тех пор тут и живу.

– И хватает вам жалованья на житье?

– Как бы не так!

– На что же вы живете?

– Э, ты еще не представляешь себе, что такое Кзыл-Жар!– воскликнул странный мой собеседник.– Ты знаешь татарскую пляску «Апипа»? Оказывается, ты совсем невежественный парень! Это же замечательный танец!– Он, притопывая и подпевая себе, стал показывать мне этот танец.

Топни, дочка Апипа,
А не топнешь – топну я,
И-эх!..

Бейсеке быстро закружился, выделывая ногами замысловатые кренделя, и зачастил:

Эх, эх, Бейсеке!
Эх, эх, Бейсеке!
Топни крепче,
Топни крепче,
Топни крепче, Бейсеке!..

– Нет, ты этого сейчас не поймешь!– остановился Бейсеке, тяжело отдуваясь.– Ты не поймешь, почему я никогда не умру с голода в Петропавловске.

На дальнем конце аллеи показались две фигуры и сразу исчезли.

– Колчаковцы!– испуганно воскликнул Бейсеке.– Убегай! Быстро!

– Зачем?

– Убегай, говорят тебе!– уже с досадой крикнул Бейсеке.

Не совсем понимая, что случилось, я струхнул и исчез в густых, чуть желтеющих березах.

Впоследствии я узнал, что Бейсеке в 1917 году служил в Петропавловском совдепе курьером, сочувствовал большевикам, а при Колчаке, опасаясь ареста, был на полулегальном положении и, незаметно наблюдая за колчаковцами, держал связь с революционным подпольем.

Когда же Советская власть в Петропавловске была восстановлена, он помогал разоблачать многих скрытых врагов.

Я ходил по магазинам, безуспешно пытаюсь купить себе рубашку и штаны. Кто-то посоветовал мне заглянуть на толкучку.

На площади между подгорной и нагорной частями города сновали взад и вперед сотни людей. Мне показалось, они ничего не делали, только суетились и сновали из стороны в сторону.

Из-за дороговизны страшно было прикасаться к вещам, они обжигали, как огонь. С грустью я убедился, что всех моих денег не хватило бы даже на поношенную рубашку.

Отчаявшись купить одежду, я пошел в обжорный ряд в надежде что-нибудь поесть. Но в продаже не оказалось ни хлеба, ни булочек. Небольшие кусочки мяса продавали с рук. Изредка кто-нибудь выносил ошипанную тощую курицу. Но и она была не по моим деньгам. Рынок сильно омрачил мои первые впечатления о городе, и дороговизна подействовала на меня, как ведро холодной воды.

Я отправился на окраину искать жилье Жампеиса. Это место именовалось Кирпичными сараями. Хибарки и глубоко вырытые в земле землянки были разбросаны где и как попало. У крутого берега Ишима, в жалких землянках, каких не было не только в Кпитане, но и в нашем Жаман-Шубаре, ютилась городская беднота. Правда, и в Жаман-Шубаре не было улиц, но там даже самые убогие землянки имели жилой вид. А здесь эти лачужки походили

на пещеры, вырытые прямо в крутом, высоком склоне речного берега. Среди этих жилищ поднимались холмистые насыпи, чернели глубокие ямы и выемки, виднелись следы земляных работ.

Здесь делали сырой кирпич и вывозили его для обжига на заводы. Кирпич делали и в одиночку, и артелями продавали его на заводы по казенной цене. Почти все кирпичные дома Петропавловска построены из кирпича, сделанного здесь.

В этом лабиринте землянок, не всегда приметных с виду, среди ям и гор вынудой глины, нелегко было найти дом Жампеиса. То и дело я наткался на груды мусора и отбросов. От помоев и падали исходило зловоние. Кирпичные сараи походили на громадную свалку.

Еще несколько часов назад Кызыл-Жар представлялся мне городом-раем, и центральные улицы были полны чудес. Но окраина сразу охладила мои восторги: оказалось, что неподалеку от рая находится сущий ад. Никогда не встречалось мне такое обнаженное убожество: «О город! Оказывается, и у тебя, как в ауле, бывают не только белые юрты, но и черные от копоти кибитки!»

Казахская пословица, похожая на русскую: «Язык до Киева доведет», гласит: «Расспрашивая встречных, доберешься до Мекки». Так и я нашел жилье Жампеиса – маленькую землянку, вырытую в яру.

Встретила меня тетя Жаныл – статная смуглолицая женщина с большими и печальными карими глазами. У Жаныл, измученной долгой тревогой за мужа, брошенного в тюрьму, мой приход вызвал волну воспоминаний о родном ауле, и она, крепко обняв меня, как принято в ауле, громко запричитала. Обливаясь слезами, она рассказывала о Жампеисе; слушая ее, прослезился и я.

Может быть, кому-нибудь покажется странным, что бывший конокрад и урядник был арестован колчаковцами как защитник Советской власти. Что ж, люди разными путями приходили к правильным решениям. Так и Жампеис стал честным человеком.

Жампеис находился в тюрьме уже больше четырех месяцев. Его обвинили в принадлежности к партии Уш жуз (единое название казахов всех трех жузов – орд).

Об этой партии я кое-что знал. По сообщениям алаш-ордынских газет «Сары-Арка» и «Жас азамат», Уш жуз была непримиримым врагом Алаш-Орды. Несколько номеров газеты «Уш жуз», издававшейся в Петропавловске с марта по май 1918 года, были получены и Торсаном. В номере восьмом этой газеты была напечатана статья под названием «Хитрецы из партии «Алаш», разбив свои носы, свалились в пропасть». Автор статьи, лидер «Уш жуз» (он же главный редактор газеты) Кольбай Тогусов, последними словами ругал главных воротил Алаш-Орды. «Черный дьявол, вышедший из казахов, Галихан (Букейханов.– С.М.) 12 декабря 1917 года, прибыв в Омск, соорудил из гнилых жердей стены и потолок кибитки, готовой свалиться при первом дуновении ветра. Этой кибитке без окон и дверей он дал название «алаш» и убрался восвояси... Мы просмотрели семипалатинский список (алашордынцев,– С. М.). Все нечестивые стервятники, захватив с собой отбившегося осенью от своей стаи журавля с подбитыми скулами – хитреца Халила Габбасова,– составили остов партии «Алаш»...

Дальше автор статьи сообщал, что 12 февраля 1918 года петропавловским совдепом был ликвидирован местный комитет Алаш-Орды и арестованы его главари. Статья заканчивалась словами: «Заглох голос проходимцев из партии «Алаш», они поломали свои зубы, разбили носы и, презираемые людьми, свалились в пропасть».

Значительно позднее, уже по историческим материалам, я узнал, что партия Уш жуз, организованная в Петропавловске в 1917 году, имела сравнительно немного последователей. Из нескольких номеров ее газеты «Уш жуз», успевших выйти за два с половиной месяца, становится очевидным, что эта партия тоже принадлежала к националистическому направлению и по своей платформе была близка к эсерам. Уш жуз при Советской власти входила в контакт с совдепом, поэтому в 1918 году, после чехословацкого мятежа, ушжузовцы вместе с членами совдепа были арестованы, а некоторые главари партии, вместе с их лидером Кольбаем Тогусовым, были расстреляны колчаковцами.

Жампеис и вправду был членом «Уш жуз». Позже он избавился от националистических заблуждений, работал в советских учреждениях. В 1928 году был замучен и убит байскими наймитами.

Семья Жампеиса, существовавшая лишь на его скромное жалованье, после ареста кормильца жила впроголодь..

На столе уже дымился небольшой самовар, и мы прихлебывали скромный чай без молока и сахара, когда в комнату вошел худощавый, с глубокими морщинами и продолговатом лицом человек средних лет.

– Проходи за стол, Адамкул, – пригласила Жаныл. Он поблагодарил и сел на край сундука, стоявшего возле двери.

Душевная обстановка в комнате Жампеиса очень скоро сблизила нас. Адамкул оказался человеком, который на многое открыл мне глаза.

– Так, значит, какие газеты ты читал?

– «Жас азамат» и «Сары-Арка».

– А еще?

– Больше никаких...

– Мало же ты тогда смыслишь, – сказал Адамкул. – Ты скажи мне прямо: разбираешься ты или нет, кто такие белые и красные, большевики и меньшевики?

– Слабо.

– Как же мне тогда объяснить тебе?

Слегка обиженный его снисходительным тоном, но чувствуя себя вполне взрослым человеком, я упросил Адамкула помочь мне понять происходящие события.

– Ты любопытен и прямодушен, это хорошо, – согласился Адамкул. – Ты ведь знаешь, что большевики защищают права бедняков и сирот, таких, как ты?

– Слышал.

– Вот они-то и помогли народу свергнуть царя с престола и совершили революцию.

– И про это я догадывался.

– В нашем Кызыл-Жаре издавна существовала подпольная большевистская организация. Ты когда-нибудь слышал о Куйбышеве?

– Нет, ничего не слышал.

– Куйбышев – один из видных большевиков. Родился он в нашем крае, в Щучьем, около Кокчетава, учился в

Омске, с юности стал революционером и еще в тысяча девятьсот пятом году в Петропавловске сколотил из рабочих подпольную большевистскую группу. Эта группа в дни Февральской революции и организовала у нас совдеп. Ты представляешь себе, что это такое?

Не очень уверенно я объяснил Адамкулу сущность совдепа. Должно быть, в моих словах было много наивного, но все же в общем я рассказал правильно. И Адамкул продолжал меня просвещать:

– Удержать совдепу власть помешала отдаленность от Москвы и Петрограда. Местных сил было мало. А потом вспыхнул чехословацкий мятеж. Ты не мог не слышать о нем. После подписания в Бресте мира корпус военнопленных чехословаков, находившийся в России, под командованием генерала Гайда решил через Дальний Восток вернуться на родину. Белые их вооружили, и они помогли укрепиться власти Колчака во всех городах между Самарой и Ново-Николаевском. Теперь тебе понятно?

Я кивнул головой.

– А лучше объяснить тебе и сам не могу, не хватит знаний, – сознался Адамкул.

Несмотря на мои настойчивые попытки, о себе он почти ничего не рассказал, отделившись малозначащими фразами. Мне только оставалось догадываться, что он сам работал в совдепе. Но зато он нарисовал довольно подробную картину временной победы Колчака.

– После Февральской революции в Петропавловске, как и повсюду, боролись две власти. К контрреволюционерам примкнула Алаш-Орда, большевиков поддерживала партия Уш жуз. Восемнадцатого мая на станцию Петропавловск прибыл вооруженный чехословацкий эшелон. Было созвано экстренное заседание совдепа. Сил у совдепа, в том числе и вооруженных, насчитывалось немного. Конечно, Советам сочувствовало большинство рабочих, но они не имели винтовок. Вооружен был только батальон Красной гвардии, наполовину составленный из пленных мадьяр. Белые немедленно установили связь с командованием чехословацкого эшелона. Глубокой ночью их объединенные войска захватили здание Совета,

арестовали охрану. Белые рыскали по городу, вылавливали красных и многих расстреливали тут же, на месте. Тюрьма была переполнена.

Белые особенно зверски расправились с большевиками – учителем Каримом Сутюшевым и восемнадцатилетним юношей Хафизом Базарбаевым, сыном рабочего кожевенного завода. Хафиз был одним из деятелей, руководивших в совдепе молодежью города.

Сутюшева привязали арканом к лошади и поволокли по улице. Двое верховых скакали рядом и избивали его плетьюми. Уже мертвого, залитого кровью, его продолжали таскать напоказ. А Базарбаева приковали цепями к железному столбу возле паровой мельницы татарского купца Муратова, облили керосином и заживо сожгли. Жителей города насильно сгоняли к месту жестокой казни. Охваченный пламенем Хафиз Базарбаев крикнул из последних сил:

– Да здравствует пролетарская революция!

Я был потрясен. Слезы застилали мне глаза. Казалось, я сам принимаю невыносимые муки, сгорая на костре... Но в то же время с гордой радостью я думал: «Это настоящие люди, сильные духом!»

– Теперь ты знаешь, какими бывают большевики! – закончил свой рассказ Адамкул. – Ну, я тороплюсь, до свидания, мой жигит! – пожал он мне руку. – Хорошо помни один совет: стремись быть таким, как Хафиз!

Восхищенный новым своим знакомым, я стал спрашивать о нем Жаныл. И она рассказала, что раньше Адамкул работал конюхом у одного татарского богача Даулеткельдеева. Кажется, его преследуют за сочувствие большевикам и он находится в бегах. В Кирпичных сараях легче скрыться, чем в центре города.

В доме Жампеиса я напал на след еще одного своего родича. Случайно заглянувший к Жаныл старик, оказалось, хорошо знал моих родителей.

– Я из аула Шопан, Андагульского рода, – сказал он. – Твой отец был у нас в ауле родным человеком. В детстве и юности мы с ним очень дружили. Потом он уехал к своим. Твою бабушку, мать твоей матери, звали Кагаз. А дочь ее брата, Айша, значит, твоя тетка, живет неподалеку отсюда со своим мужем Тюребаем.

Жаныл повела меня в дом Тюребая – обычную землянку, вырытую в склоне холма. Тетя Айша оказалась малоразговорчивой, нелюдимою женщиной средних лет, одетой в старые лохмотья. Тюребай работал мясником на городской бойне. Пока муж не вернется домой с требухой и кусками мяса, прихваченными им из бойни, у них в доме нет ни крошки. Айша попросила подождать его, если уйду не покушав, то очень обижу хозяев.

В доме поднялась знакомая мне суматоха. Тетя Айша принесла из колодца воды; едкий дым кизяков заполнил комнату: зашумел котел, вмазанный в печь. Мальчишки-погодки лет десяти, Шугайып и Мухаммеджан, стали точить ножи.

Приготовление к обеду были в разгаре, когда в землянку вошел коротконогий, полный, плосколицый человек с редкими усами и совсем жиденькой бородкой. На нем были измятая, выдавшая виды фуражка и фуфайка, заправленная в шаровары, из невыделанной кожи, шерстью вверх. Одежда Тюребая была перепачкана кровью.

Он молча протянул мне широкую ладонь с короткими мясистыми пальцами и пошел за печь.

– Жена, корыто готово?

Айша поставила к его ногам старое железное корыто и медный чайник, загородив от нас мужа старым халатом из мешковины.

– А теперь уносите корыто и сваливайте все на чистую траву! – распорядился Тюребай.

Мухаммеджан и Шугайып вытащили корыто, наполненное легкими, печенью, брюшиной, Тюребай украл эти куски, рассовав их за пазухой и в шаровары.

– Как же мне не красть, сынок! – словно оправдывался он передо мной. – Заработанного все равно не хватит. Деньги обесценились. Я и пошел на бойню из-за этой требухи. А поймают – так что же делать...

Нет, он не испытывал стыда, произнося эти горькие слова. И я начал постигать страшный смысл бедности, готовый на все, чтобы накормить свою голодную семью.

И когда Тюребай уже умылся и привел себя в порядок, с волнением слушал я его печальный рассказ.

– Мне в этом году исполняется пятьдесят шесть лет. Мой отец, Сарыбай, жил тоже здесь и делал кирпичи. С десяти лет, оставшись сиротою, я, как и отец, трудился без отдыха и зимою и летом. Посмотри, дорогой мой, на ту большую, как высохшее озеро, яму, что лежит за этим холмом. Я своими руками вырыл ее, вынимая оттуда глину. Месил, разделявал глину и, бывало, сдавал подрядчику по пятьдесят тысяч кирпичей в год. Но за каждый кирпич подрядчик давал полкопейки, а пол-копейки клал себе в карман. Значит, он мог разбогатеть, а я – нет.

– Почему вы сами не сдавали кирпич заводу? – перебил я Тюребая.

– Ой-бой, мой милый, так откуда же я взял бы силы? Где лошадь, где подвода? Но и за те полкопейки я был благодарен богу. Когда же настали трудные времена, кирпичные заводы остановились. Где взять работу, как прокормить жену и сыновей? Вот я и поступил на бойню. Прежде чужую щепку не брал, на чужой кусок не зарился. Но, как говорится, богатый любое слово скажет, бедный съест все, что голод прикажет... Нужда побеждает человека. Когда голодная смерть на пороге, где уж там разбираться, что честно или нечестно! Вот там жарятся куски требухи. Разве я их купил? Нет, украл!.. Нечистое это мясо, но что делать? Может быть, сам и вытерпел бы, но детки, жена. Не знаю, как буду держать ответ перед богом, а пока давай кушать краденый куырдак!

Айша поставила перед нами глубокое деревянное блюдо, наполненное жареными кусками мелко нарезанной требухи. Ах, каким вкусным показалось мне это жаркое, этот куырдак! Я проглатывал жирные куски и запивал крепким бульоном, черпая его щербатой ложкой.

– Кушай, кушай! – угощал меня Тюребай, поднося мне прямо ко рту кусочки мяса. – Не взыщи, дорогой! Ешь досыта!

Как мы ни налегали на куырдак, не смогли осилить и половины блюда. После сытной еды стали пить черный густой чай. За чаем и беседой время незаметно перевалился за полночь.

– У казахов есть поговорка: «Говори – «приходи» не говори – «уйди», – сказал Тюребай, когда я взглянул на

ходики и стал собираться на квартиру Бакена.– Ты сегодня переночуй у нас, а на рассвете вместе пойдем! В такое время в наших Кирпичных сараях опасно ходить – много злых людей вокруг.

Меня не надо было долго уговаривать. Я слишком долго бродил по городу и очень устал. Клонила ко сну и обильная пища.

Я проснулся от тихого разговора. Тюребай и Айша уже были на ногах. При тусклом свете семилинейной лампы он собирался на работу. Айша разогрела завтрак – вчерашний куырдак.

За столом Тюребай ласково посмотрел на меня.

– Не думай, что говорю для красного словца, мой дорогой: если тебе некуда спешить, погости у нас и сегодня! Живи хоть неделю! Каждый день будем есть куырдак, а в остальном – не обессудь!

Я от всей души поблагодарил Тюребая, и мы вместе вышли на улицу.

В горькой и трудной моей юности Тюребай показался мне самым благородным и щедрым человеком Кзыл-Жара. Да, может быть, оно так и было. Мы прощались, долго не выпуская наших рук. Тюребай по извилистой тропинке пошел к подгорной части, а я вчерашним путем стал подниматься к городу.

ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ!

Солнце было еще высоко, когда я вернулся в дом бабушки Хадиши. Чем-то рассерженный Боржабай суетился во дворе, возле коней. Он набросился на меня с проклятиями и руганью:

– Где ты шатался?! Ведь я приказал тебе вернуться в полдень. Ты должен был пасти лошадей за городом до вечера. Шайтан!– визгливо кричал он.– Из-за тебя кони остались голодными, негодяй!

Я смолчал. Да и что я мог ответить, если знал, что спорить с ним бесполезно, а дня через два нам все равно придется надолго расстаться?

Позднее, когда проснулся Бакен, мне стало понятно, что Боржабай только срывал злость на мне, а действительная причина его дурного настроения была совсем

иной. Дело в том, что еще в ауле один торгаш насулил им в Кызыл-Жаре, как говорится, золотые горы. Но вчера вместо золотых гор этот торгаш раздобыл всего тысячу плиток кирпичного чая, да и к тому же десятую долю взял себе за труды. В то время и тысяча плиток была огромным богатством – в степных аулах каждую плитку можно было обменять на овцу. Но у алчных моих спутников разгорелся аппетит, и возможная прибыль показалась им ничтожной.

– Знал бы я, – угрюмо ворчал Боржабай, – меня и на аркане никто не затащил бы в этот Кызыл-Жар!

Жадность и скупость вороватого «кооператора» не имели границ. Он по дороге в Петропавловск занял у меня пять рублей на покупку овса, притворно сославшись на отсутствие мелочи. И теперь, слушая ругань Боржабая, ловя на себе его взбешенный взгляд, я с грустью понял, что и этих пяти рублей обратно мне не получить. Как же отомстить Боржабаю? Тут мне пришла на помощь юношеская изобретательность.

«Послушаюсь Боржабая, – думал я, – пойду пасти коней. Лошадь Бакена стреножу и пуцу на лужайку, а на лошади Боржабая целый день буду кататься...»

Решив во что бы то ни стало осуществить свой хитроумный план, я выехал со двора.

Пастбище находилось за городом, неподалеку от элеватора. Пришлось проехать множество пересекающихся рельсовых путей, прежде чем удалось попасть на широкий луг с густыми, еще зелеными травами. Я стреножил серого коня Бакена и пустил его пастись, а сам взобрался на гнедую Боржабая и присвистнул от удовольствия.

Но куда ехать, я и сам не знал. Посмотреть бы поближе поезд, который должен повезти меня в Омск... Ведь совсем недавно я впервые увидел издали это железное чудовище на станции Кондратьевка.

Вот с такими мыслями я покачивался на гнедой, не представляя себе толком своего маршрута. И неизвестно, чем бы окончилась эта прогулка, если бы мне не повстречался верховой казах. Я, конечно, рассказал ему о себе и своих намерениях.

– Ой-бой, братец, ты еще совсем зеленый! Подумать только – в поезде никогда не ездил! А поезд – это тебе не казахская арба, сел и поехал, куда хочешь. На ходу в него не прыгнешь – под колеса можешь попасть. И без билета тебя в поезд не посадят.

Билет? А что такое билет? Никогда в жизни мне не приходилось им воспользоваться. А когда узнал, что стоит он, пожалуй, не меньше двухсот рублей, то просто перепугался. Ведь читатель помнит, какие крохи мне удалось собрать на дорогу.

– Что же делать?

– Что делать? – участливо переспросил всадник, видя мою растерянность. – А вот что, зелененький, иди-ка ты ко мне в подпаски. В тридцати пяти верстах отсюда я пасу скот городской бойни.

И долго он еще уговаривал меня так ласково и горячо, что я уже начинал колебаться, но тут же представил себя в Омске на курсах и отказался идти в помощники пастуха.

– Дурак же ты, братец! – рассердился казах. – Пусть мне отрежут нос, если из тебя выйдет что-нибудь путное!

И он, не оборачиваясь, поехал своей дорогой.

После кратких раздумий я решил сам узнать, когда отправляется поезд и как приобрести билет до Омска.

Подгоняя ленивую гнедую Боржабая, плутая между сплетениями железнодорожных путей, я взял направление на вокзал. Неожиданно раздались паровозные гудки. Пока я оглядывался и соображал, что же делать, два встречных поезда стремительно приближались ко мне с двух сторон. Я остолбенел от страха; казалось, земля уходит из-под ног моей гнедой. Я схватил повод и яростно погнал лошадь. Я скакал неведомо куда, не глядя по сторонам. Не знаю, сколько продолжался бы этот безрассудный бег, если бы кто-то не остановил на скаку мою гнедую. В то же мгновение, обдавая меня горячим паром, мимо промчались с грохотом поезда. Оглушенный лязгом и ревом, я почувствовал головокружение и усталость.

– Глупый ты мальчишка, – спокойно и насмешливо произнес пожилой русский человек в перепачканной машинным маслом одежде, придерживая повод моего

коня.– Жизнь тебе, что ли, надоела? Ты ведь мчался прямо под паровоз.

Я забормотал что-то невнятное, но мой спаситель даже не захотел меня слушать, огрел гнедую по крупу, отпустил поводья и добродушно выругался:

– Айда к черту, вон туда!

Я довольно скоро добрался до вокзала. На площади слонялись и о чем-то спорили встревоженные суетливые люди. Привязав гнедую к решетке привокзального скверика, я протиснулся в здание, переполненное народом. Потолкавшись среди пассажиров, я узнал, что мне надо обратиться в кассу. Кассу, как поезд и сам вокзал, я видел впервые в жизни. Но у кассы вытянулась такая огромная очередь, что нечего было и думать о билете. Нашлись случайные советчики – по их совету решил ехать «зайцем».

Народ в зале заволновался – скоро должен был подойти поезд. Я выскочил на перрон. Тут я вспомнил стихотворение Баймагамбета Зтулина «От-арба» («Огненная телега») – в нем поэт описал свои первые впечатления о поезде.

Взвился дым вдали завитком,
Раскатился над степью гром,
И увидели чудо мы –
Мчится вихрем за домом дом.

Приближается черный дым,
Прикасаясь к травам степным.
Вижу, огненная арба
Тянет кош по путям стальным.

Так тревожно земля дрожит,
Невозможно ветер гудит.
Караван по путям стальным
Мчит быстрее, чем в байге жигит,

И огнем опаляет нас
От-арбы единственный глаз.
От-арба сотрясает путь,
Поднимает железный лязг.

Жарким паром меня обдав,
На ходу, как зверь, зарычав,

Эта дьявольская арба
Пролетела мимо стремглав.

Пых-дых-тых. Подойти не смей!
То шипит арба, словно змей,
То вздыхает так тяжело,
Что пугает силой своей.

Так описывает Баймагамбет приход поезда. А дальше показав сутолоку вокзала, он рисует картину отправления поезда в этом же наивном аллегорическом духе:

Но арба чудесная тут,
Как атан – холощенный верблюд, –
Так вздохнула, готовясь в путь,
Будто воздух вбирая в грудь.

Задышала арба-атан,
Взвился снова над ней туман,
Медный колокол зазвенел –
В путь помчался вновь караван.

В заключение поэт писал назидательно:

Так в одно мгновенье она,
Скрылась в быстром движенье она.
С изумлением думал я:
«Не арба – сновиденье она!»

Думал долго я в тишине:
«Ведь такое бывает во сне!
Может, черт попутал меня?
Может, все показалось мне?»

Голос разума мне в ответ:
«Это правда, Баймагамбет,
Ты сегодня в этой арбе
Новых знаний увидел свет,

Если знания добудешь ты,
Удивляться не будешь ты, –
Все постигнешь, и все поймешь,
И невежду осудишь ты».

Как мне захотелось после этих стихов самому увидеть город, как я мечтал учиться у хороших учителей!

На всем моем пути к знаниям было множество преград и почти никакой поддержки. Только стихи Баймагамбета согревали мне сердце. Вот почему на Петропавловском вокзале я повторял их про себя строка за строкой, в такт движению приближающихся вагонов. Все было, на мой взгляд, описано очень точно, кроме разве той части, где речь идет о посадке. В стихах она проходила гладко, а здесь, на вокзале, было шумно, бестолково, были забиты вагоны и большинство желающих, несмотря на все свои усилия, так и не попали на поезд.

...На следующий день погода переменилась. Редкие облака, безмятежно кочевавшие с утра, к вечеру заволокли небо. Ветер, мягкий и легкий накануне, упрямо задул с севера, крепчая с каждым часом. Все предвещало либо холодный осенний ливень, либо первый буран.

В сумерки посыпалась мокрая снежная крупа. Но я не захотел откладывать поездку и, как младший, попросил у своих спутников разрешения на немедленный отъезд.

– Может быть, подождешь хорошей погоды? – сказал Бакен.

– «Дорогу осилит идущий!» – возразил ему пословицей Боржабай. – Не нужно останавливать парня. Здоровье у него есть, вещей нет, а до вокзала рукой подать. Добежит... – В словах Боржабая слышалась, как и всегда, насмешка.

– Был бы дома Гариф, он отвез бы Сабита до вокзала. Может быть, вы запряжете свою лошадь? – обратилась Хадиша к Боржабаю.

– С какой стати в такую погоду мучить себя и коня из-за этого оборванца, – даже оскорбился Боржабай. – Его никто не гонит, а желает сдохнуть – пусть! Какое нам до него дело!

Всех покорили эти желчные, злые слова, бабушка Хадиша даже плюнула.

Бакен молча протянул мне сорокарублевую керенку и посмотрел на Боржабая.

– Ну, а теперь твоя очередь, пошарь в карманах!

– Довольно с него и того, что ты дал, – отвернулся Боржабай. – Пусть благодарит, что мы довезли его бесплатно.

– Тогда верни ему пять рублей...

– От этих пяти рублей я не пообедаю, Баке, – сказал я. – Если бородачу не стыдно, пускай их присвоит!

И я попрощался со всеми, кроме Боржабая.

Я бежал, не оглядываясь, сквозь ветер и мокрый снег, находя дорогу на ощупь. Когда я наконец добрался до вокзала, то вымок до нитки.

Здесь было еще многолюднее, чем вчера. Разговоры, споры, ругань, плач сливались в один многоголосый гул.

Щемили сердце слезы детей, продрогших под дождем на перроне.

Пройти в здание мне не удалось, и я, как многие другие, мерз под открытым небом.

Поезд на Омск пришел с опозданием, далеко за полночь. Свободных мест не было. Даже владельцы билетов напрасно стремились пробиться в двери. И тогда пассажиры полезли на крыши вагонов. Вместе с ними вскарабкался на крышу и я.

Во мраке ничего нельзя было разобрать. Дождь, словно сжалившись над нами, пошел слабее, но ветер не утихал.

Железнодорожники и колчаковские солдаты пытались сталкивать людей с крыш. Пассажиры не сдавались, народ в это трудное время научился ничего не бояться.

Поезд отходил под ругань и крики. И снова я вспомнил те строки в стихотворении Баймагамбета, где описано, как медленно и нехотя трогается огненная арба. Чем скорее двигался поезд, тем сильнее становился ветер. Если бы лежавшие на крышах не держались за толстую веревку, протянутую вдоль поезда и закрепленную за трубы отдушин, их сбросило бы на землю.

К чему только не привыкает человек! Прошло немного времени, и мы уже приспособились лежать на покатых и неудобных крышах. Ветер крепчал, поезд дальше и дальше уходил во тьму степной ночи; мы только сильнее прижимались к мокрому, холодному железу и судорожно стискивали в кулаках веревку. Никакая сила не могла оторвать нас от крыши.

ПОД ВЛАСТЬЮ ПРАВИТЕЛЯ ОМСКОГО

СПАСИТЕЛЬНЫЙ СОН И ПЕЧАЛЬНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

Дождь, смешанный со снегом, падал реже и реже, а после станции Еселькуль перестал совсем. Ветер утихал. Но с каждым часом становилось морознее, и промокшая одежда быстро обледенела. Не выдержав лютого холода, пассажиры один за другим покидали крышу. Когда мы тронулись со станции Москаленко, на крыше оставалось всего пять-шесть человек. Пока нас было много, мы еще кое-как согревались, прижимаясь друг к другу. Но теперь мороз пронизывал нас до костей и я трясся в ознобе.

Мне стал понятен смысл старинного изречения: «Что из того, что просторен мир, если тесны сапоги!» Увы, мои сыромятные сапоги сперва размякли, а теперь, скованные морозом, сжимали ноги.

Я совсем было околел, но, на мое счастье, поезд задержался на одном из разъездов. Мы быстро спустились с крыши и кое-как пробрались в один из вагонов. Нам удалось только войти в дверь, но нельзя было и мечтать найти место на полке. В душливой, непроглядной темноте то и дело раздавались сдавленные возгласы, ругательства, стоны, плач. Кому-то наступили на ногу, у кого-то исчез мешок, кто-то остался без чайника. В одном углу затевалась драка, в другом громко плакал ребенок. Дышать было нечем.

Но даже этот тяжелый воздух и оглушающий уши шум после всех наших злоключений на крыше, после лютого холода показались мне раем.

Как ни тесно было в вагоне, но, упрямо проталкиваясь и ругаясь, я с трудом, протиснулся куда-то в середину. Дышать было тяжело, но спасительное

тепло разливалось по жилам. Некоторые, не выдержав духоты, выходили на остановках, я же не выходил из своего уголка, опасаясь, что его займут.

Вдыхая смрадный воздух, я мучительно боролся со сном. Сквозь дремоту я слышал, как чьи-то руки поспешно обшаривали меня. Но я был спокоен. Пусть ищут... Мой капитал, запрятанный в мешочек, надежно пришит к халату.

Брань и стоны не мешают завязаться и мирной беседе. От обычных разговоров о дороговизне переходят, как водится, к политике. И я жадно вслушиваюсь, хотя многое мне непонятно.

Один из собеседников, по-видимому, человек бывалый и знающий, сыплет разными именами и названиями, доказывая, что большевики непременно победят Колчака.

– Народ за ними. Теперь люди уже познали сладость свободы и не уступят на нее своего права.

– Да, все идет к тому, – соглашается сосед. – Из генералов, воюющих с большевиками, держится один Колчак, но и он не осилит красных. Может быть, он и добился бы победы, будь у него свои оружейные заводы. Без них он как без рук.

– Чепуха! – восклицает третий. – Разве дело в оружии? Колчаку помогают и Япония, и Америка, и Англия, и Франция. За большевиками – сила народа, вся Россия...

– Кто там разводит большевистскую агитацию?! – заглужал всех разгневанный бас.

– Если ты колчаковец, – пренебрежительно ответил мой сосед, – так не пугай, а докажи, что ты прав!

– Я на твоей морде докажу! – не унимался бас. – Я тебя научу, как спрашивать доказательства!

– Кто кого научит – покажет будущее!

– Э, черт, – вмешивается четвертый, – не все ли равно, кто кого победит! Лишь бы с голоду не сдохнуть. Но если Колчак продержится еще год, мно-ого народу погибнет от голодной смерти.

Чем кончился этот спор, я так и не узнал. Меня одолел сон.

Я проснулся от криков и толкотни. Не разобравшись спросонья, в чем дело, я тоже стал кричать и

размахивать руками. Кто-то довольно больно одарил меня кулаком в грудь. Тогда я очнулся и понял, что мы приехали в Омск.

Поезд остановился. В спешке и толчее, с трудом, работая локтями, выбрался я из вагона. Утро еще не наступило. В безветренной предрассветной тишине мороз усилился. Если ночью, после крыши, вагон мне показался раем, то морозный воздух после душного вагона был еще восхитительнее.

Понравился мне и омский вокзал, показавшийся и просторнее и красивее петропавловского. Только вот до города здесь было верст пять-шесть, и приехавшему ночью приходилось ждать утреннего местного поезда – «ветки», как говорили там.

Должно быть, по запаху, я отыскал небогатый вокзальный буфет, распорол свой халат, извлек заветный мешочек и заморил червячка. После завтрака, поджав по-казахски ноги, прислонился к жарко натопленной печке. Я согрелся и снова незаметно заснул. Помню, как-то во время поста – уразы – я плотно поел на закате солнца и проспал ровно сутки, до заката следующего дня. Почти так же случилось со мной и на омском вокзале. Только вечером меня разбудила уборщица. Оказывается, я растянулся на полу, широко раскинув руки, как в отцовском доме. Приподнявшись, я вспомнил о деньгах и суетливо начал ощупывать подкладку, но увы, заветного мешочка уже не было. Пропали мои деньги, бумаги и адреса знакомых. Я опустил на пол возле печки и горько заплакал...

В ЗЕМЛЯНКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Несчастье казалось непоправимым.

Ко мне подошел пожилой, бедно одетый казах и, миролюбиво браня, стал утешать. Я ему, конечно, рассказал, что со мною случилось.

– Если ты такой слабый, – журил он меня, – зачем тебе было ехать учиться? Неужели ты, здоровый парень, боишься умереть с голоду? Брось хныкать! Ты и грузчиком можешь работать, грузчиком, как я. Без куска хлеба не останешься!

Я перестал плакать, пришел в себя и познакомился со стариком. Он рассказал, что зовут его Кадыром Кенербековым, а работает он грузчиком на станции. В этот поздний час, объяснял мне Кадыр, пустить ночевать незнакомого человека, как это принято в ауле, в городе никто не решится, да и опасно ходить по ночным улицам.

– Пойдем-ка лучше ко мне, – пригласил Кадыр. – На обильный обед не рассчитывай, но в радушии недостатка не будет.

Я поспешно согласился, и мы вышли из вокзала.

В густом вечернем тумане уже за несколько шагов ничего нельзя было различить. Мы переходили через замысловато переплетающиеся железнодорожные пути, напоминавшие паутину. Гудели паровозы, грохотали поезда. Где-то вдали расплывались мигающие пятна красных, зеленых, желтых фонарей. Словом, все очень походило на Петропавловск, где я на коне Боржабая чуть не попал под поезд. Мною нет-нет и овладевал прежний страх.

– Не бойся, – успокаивал Кадыр, – когда идешь со мной, никакой паровоз тебя не задавит.

Я едва поспевал за стариком, но, верный своей привычке, задавал ему вопрос за вопросом обо всем встречающемся на пути.

– погоди, дорогой мой, не все сразу. Многое ты еще не сможешь понять. Так, говоришь, ты приехал учиться? Куда же?

– На учительские курсы.

– Значит, потом сам будешь учить детей?

– Да.

– А зачем тебе это? – удивился Кадыр. – Такой здоровяк – и вдруг будет возиться с малышами, как с жеребятами? Учись лучше на железнодорожника, быстро человеком станешь!

Кадыр от души советовал мне поступить в железнодорожную школу, однако тут же добавил, что эти школы, как и многие другие, Колчак закрыл.

– Как же вы предлагали мне там учиться?

– А ты подожди. Не всегда будет так тяжело. Времена меняются.

– Когда? Когда прогонят Колчака?

– Это покажет будущее.

– А пока время не переменялось, я и поучусь на этих курсах, – и я хитро прищуриваю глаза.

– Но ведь ты сказал – курсы открыты Алаш-Ордой? А где у нее сила, где у нее средства?

Я не совсем понимаю вопрос Кадыра, и он мне терпеливо объясняет:

– Разве ты видел, чтобы приживальщик жил богато? Ведь Алаш-Орда у Колчака на положении бедного родственника. А когда сам барин голоден, ему не до слуг.

Нет, Кадыр был далек от мысли, что Алаш-Орда связана с казахским народом. Он подшучивал над моей наивностью, над моими представлениями, почерпнутыми из алашордынских разговоров аульной знати.

– Все это болтовня! – говорил он. – Алаш-Орда покровительствует только казахским бекам и баям, подмазывается к Колчаку. Но народ не потерпит долго Колчака и свергнет его, как свергнул царя Николая. А с ним вместе конец и Алаш-Орде.

Так беседуя, мы добрались до жилья Кадыра, оказавшегося тесной, как шалаш, землянкой. Все вокруг напомнило мне район Кирпичных сараев – такие же маленькие землянки, грязь, отсутствие дворов и улиц. Землянки были разбросаны на тесной площадке, окруженной со всех сторон рельсовыми путями.

Жена Кадыра болела и, по-видимому, уже давно не вставала с постели. Бедную и без того комнатку омрачали грязь, беспорядок, запустение.

Старый Кадыр разогрел чай и разыскал немного черного хлеба.

– Вот так пока и живем, дорогой мой, – вздохнул он. – Что ж поделать! Деньги стали дешевы. Колчак, кроме копеечных марок, других денег не выпустил. Перебиваемся керенками. А что на них купишь? И прежде не купались в масле и меду, но и голодными не скудели.

Кадыр заботливо поправил постель жены, а сам прикорнул рядом со мной в уголке землянки. Мне не спалось. Я уже хорошо выспался на вокзале. Да и шумно очень было в землянке. За ее стеной с грохотом пробегали поезда, то и дело раздавались гудки паровозов.

Кадыр же захрапел, как только привалился к подушке. Но спал он чутким, беспокойным сном, как спят обычно табунщики. Вернувшись из табуна в кош, табунщик пристроится в уголке и сразу засыпает. А уже спустя несколько минут проснется, подымет голову, начинает прислушиваться. Снова вздремнет и опять подымет, выйдет во двор и, только убедившись, что в табуне все в порядке, продолжит свой краткий, прерывистый сон.

Кадыр стонал, бредил, просыпался, озирался вокруг и – в который раз! – погружался в дремоту. Вдруг ему опять почудилось что-то неладное, и он вышел из землянки. Я отправился за ним.

Туман был еще гуще вечернего. В нем едва просвечивались фонари. Когда мы вернулись в землянку, Кадыр тихо заговорил со мною:

– Знаешь казахскую поговорку: «После простуды грудь точит червь, после тумана наступает джут»? Плохой сегодня туман, тревожный.

– Это в ауле, аксакал, надо бояться джута, а вам какое горе? У вас ведь скота нет.

Старый Кадыр покачал головой.

– Наш скот – вагоны и паровозы. Выпадет снег, обледенеют рельсы – останятся поезда. Колеса скользят, буксуют. Вот тебе и джут. Раньше у нас такие машины были – снегоочистители, а теперь их в Омске не сыщешь. И заводов нет у Колчака, чтобы эти машины строить. Паровозы наши уже старые, вагоны расшатаны. И золота у Колчака нет, чтобы покупать их у Америки или Японии. Только оружие ему гонят капиталисты. Но одними пушками не победить! Да и для паровозов не ветер нужен, а уголь. На ветре далеко не уедешь, а в Кузнецке шахты одна за другой закрываются.

Кадыр говорил не столько для меня, своего случайного, юного знакомого, сколько себе самому, словно проверяя вслух свои долгие думы.

– Кончится Колчак, обязательно кончится! К этому все идет...

На кровати простонала больная жена:

– Дал бы поспать другим и сам выспался бы. Ведь тебе рано идти завтра на работу.

Всю ночь я видел какие-то бестолковые сны. Когда Кадыр меня разбудил, уже рассветало.

– Ну, паренек, мне пора. Пойдем, посажу тебя на «ветку». А пока покушай немного!

Я выпил чашку чаю и почти не притронулся к хлебу.

– Теперь ты знаешь, где я живу, – сказал Кадыр, – если у тебя ничего не выйдет с учением, приходи сюда, будем вместе работать и жить. Помни: Колчак продержится недолго, наступят лучшие времена. А если будешь учиться, приходи почаще ко мне.

Усаживая меня в вагон городской «ветки», Кадыр продолжал свои напутственные речи:

– Я уже тебе говорил, мой милый, что в комитете Алаш-Орды никогда не был и не знаю, где он находится. Но расспрашивай встречных и доберешься до этой Мекки! А если не найдешь, потеря небольшая, возвращайся к нам!

Я смутно догадался, что Кадыр читал русские газеты и книжки и разбирался в сложной жизни тех лет лучше, чем обычный простой человек. Меня растрогало его радушие, я долго и сердечно пожимал его огрубелые руки.

На клочке бумаги Кадыр написал свой адрес и заодно смущенно сунул мне три рубля.

«ВОТ ТЕБЕ И АУЛЬНАЯ РОДНЯ!»

Вышел я из вагона на городской окраине и зашагал вместе со всеми к центру. Я расспрашивал каждого встречного – русских, и казахов, и татар, – где помещается областной комитет Алаш-Орды, но его адреса никто толком не знал. Одни отделявались коротким «не знаем», другие пугались, третьи, вероятно потешаясь над моим забавным видом, посылали меня в прямо противоположную сторону. Так я до полуночи скитался по незнакомому городу. В отчаянии я решил было возвратиться к Кадыру, но пригородные поезда уже не ходили. Снова сгустился туман. Ночевать в одном из заброшенных домов было страшновато.

В надежде, что казахи и татары, по мусульманскому обычаю, должны помочь мне, я стучался в ворота, за которыми, думалось, живут мои единоверцы. Но если они и откликались, то лишь для того, чтобы сердито прогнать со двора.

Пешеходы уже не встречались даже на большой освещенной улице. Лишь изредка проезжали запоздалые извозчики. Вот и еще один поравнялся со мной. В тусклых лучах фонаря он показался мне казахом, и я нерешительно окликнул его:

– Дяденька, постой!

– Ну, что тебе нужно?– Он придержал лошадь.

– Я приехал из аула учиться. Деньги и документы у меня вытащили. Замерз, проголодался.

– Откуда, говоришь, приехал?

– Из Кызыл-Жара.

– У тебя здесь есть знакомые?

– Есть. Сам Казый Торсанов.

– Казый Торсанов? Я знаю контору, где он работает,– живо откликнулся извозчик,– но вот где он живет, понятия не имею.

– Дяденька, позвольте мне сегодня переночевать у вас. А завтра поможете мне найти Казыя.

На мое счастье, извозчик – звали его Бексеитом – оказался сговорчивым человеком. Он усадил меня в пролетку и повез к себе, пугая по дороге мрачными историями о шпане, как стали в те времена называть всяких темных людей, промышлявших кражами и разбоем.

– Развелось их теперь много, смотри не связывайся с ними. Если у тебя с учением ничего не получится, лучше уж в аул возвращайся, не то сам шпаной станешь.

Бексеит воспользовался случаем рассказать и о себе. Еще недавно работал он на пимокатном заводе, но завод в дни колчаковщины закрылся. Ему с трудом удалось обзавестись лошадью и заняться извозом.

Землянка Бексеита внутри была немного опрятнее и богаче жилища Кадыра. Жена его Мафтуха оказалась наполовину татаркой. Сын Максут, гимназист, несмотря на позднее время, еще учил уроки. Белокурая

пяtilетняя дочурка, любимица отца, спала в кроватке. Он осторожно и нежно ее поцеловал.

Вскоре Мафтуха поставила на скатерть небольшой чугунок с лапшой. За вкусным ужином в дружной семейной обстановке после моих скитаний я почувствовал себя почти счастливым.

Наутро Бексеит отвез меня в Акмолинский областной комитет Алаш-Орды. Он занимал второй этаж небольшого дома, а в первом этаже был винно-водочный магазин, в котором было куда оживленнее, чем в комитете. В комнатах важно бездельничали служащие. И напрасно я вежливо справлялся у каждого о Казые Торсанове. Меня никто не удостоивал ответом, пока я наконец не добрался до молодого человека, заведовавшего канцелярией комитета. Он, правда, не разрешил мне войти в кабинет, но, по крайней мере, указал дверь, за которой находился Торсанов. Это был кабинет заместителя председателя комитета Алаш-Орды Ережепа Итбаева.

Стоило только молодому человеку отлучиться из комнаты, как я немедленно открыл запретную дверь и юркнул в кабинет Итбаева.

Удивительная картина предстала передо мной. За большим письменным столом против Казыя Торсанова – я его узнал сразу – сидел чернобородый казах с опухшими, мутными глазами. На столе вместо бумаг виднелась початая бутылка водки и какие-то закуски.

Казый растерянно прикрыл газетой этот необычный завтрак. А чернобородый привстал, зло всматриваясь в меня тусклым, непонимающим взглядом, спросил Казыя:

– Это что за щенок?

Так я впервые увидел известного алашордынца Ережепа Итбаева, бывшего переводчика Омского окружного суда, запойного пьяницу, умершего впоследствии от белой горячки.

– Откуда ты свалился? – более миролюбиво встретил меня Казый.

Я быстро, как мог, рассказал Торсанову, в чем дело, но Итбаев не унимался, выкрикивая заплетающимся языком:

– Выгони щенка!

Мне с трудом удалось договориться с Казыем, и я вышел из кабинета.

Казый не заставил долго ждать себя и вскоре вынес небольшую записку.

– Ты ведь знаешь Исхака и Мухаммеджана, сыновей Ибрая-хаджи из нашего аула?

– Знаю.

– Так дочь Ибрая Камиля несколько лет назад сбежала с посыльным уездного начальника Атымтаем, но теперь ушла от него и вышла замуж за Сейтахмета. Вот я живу в их доме. Иди туда, после поговорим обо всем.

По дороге я прочитал записку: «Каке!– писал Казый.– Это паренек из аула Жаман-Шубар, сын Мукана, из рода сыйбанов. Прошлой осенью, когда я был в ауле, он приходил ко мне. Я обещал его устроить на курсы, вот он и приехал в Омск. Примите его и накормите!»

Долго я стучал в калитку. Ее открыл высокий молодой казах с глубоко запавшими глазами и заметным шрамом на носу. Он выругался, принимая меня за нищего, и захлопнул калитку. Я снова постучал.

– Убирайся к черту!– крикнул он из-за ворот.

– Сейтахмет здесь живет?– спросил я.

– Зачем он тебе?

– Я принес записку от Казыя Торсанова...

Калитка опять открылась. Сейтахмет – это был, очевидно, он – стал читать письмо. А со стороны приземистого деревянного дома к нам подходила дородная, румяная женщина. Под легкой пуховой шалью чернели брови и искрились большие глаза. Она была очень нарядной: в лисьей шубе, крытой черным бархатом, и в мягких сапожках – ичигах – из цветного сафьяна.

С удивлением она вытаращила на меня глаза, как коза, увидевшая волчонка.

– Кажется, твой братец это, Камиля,– ткнул в меня пальцем Сейтахмет.

– Что ты болтаешь пустое?– недоверчиво улыбнулась женщина и от улыбки, обнажившей белые зубы, стала еще красивее.

– Так Казый-мырза пишет.

– Вот еще новости!– Камиля пристально посмотрела на меня и попросила мужа прочитать записку,– Эх, Казый-мырза!..– недовольно пробормотала она, приподымая плечи.

И меня не слишком-то радушно пригласили в дом.

– Сюда, сюда!– крикнула Камиля, почти проталкивая меня в полутемную холодную комнату.

Здесь стояли кадка с водой, лари и мешки с продуктами, сломанные стулья и еще какая-то обветшавшая утварь.

– Сбрасывай здесь верхнюю одежду!– приказала Камиля.

Смущаясь, я снял халат и остался в рубашке из мешковины.

– И сапоги снимай!

– Я их не могу снять, апа,– как можно вежливее отказался я,– там только портянки.

– Зачем же ты приехал в Омск?– удивленно и надменно спросил она.

– Учиться.

– Учиться?! В таком виде?!

– Для ученья нужен не вид, а голова, апа!– не смог я побороть обиды и раздражения.

И Камиля, и Сейтахмет не ожидали от меня такой прыти.

– Вот еще, аульный бродяжка!– выдавила сквозь зубы Камиля. – А все-таки сапоги придется тебе сиять. Ноги, наверно, чище сапог.

Я заупрямился.

– Смотрите, как он капризничает, как с родственницей!– засмеялся Сейтахмет. – Что же ты брезгуешь им? Пусть войдет в комнату.

Дальше кухни, правда, теплой, меня не провели и указали на самую крайнюю, стоящую у порога кривую табуретку. Я снова обиделся, имея другое представление о казахском гостеприимстве.

Сейтахмет с усмешкой взглянул на меня и на жену.

– В старину один молодой жигит приехал навестить замужнюю сестру,– вспомнил он побасенку. – Сестру разозлил его приезд. «Раз приехал, пускай уж проходит!»– огрызнулась сестра. «Знала бы ты, какие подарки есть для тебя в его коржуне!»– шепнули ей. Она обрадовалась и выбежала встречать со словами: «Кто у него есть кроме меня?» Совсем как ты, Камиля. Парень не виноват, что в его мешке нет для тебя гостинца. Покормила бы ты его, мырза просил.

Камиля поставила на плиту подогревать незакрытый чугу́н. Но эта давнишняя лапша в богатом доме оказалась настолько прокисшей, что я не стал ее есть.

И снисходительная насмешливость Сейтахмета, и раздраженное пренебрежение Камили претили мне. Не хотелось оставаться среди своих родственников, и я решил до возвращения Казыя побродить по городу.

Омск!..

Этот город, основанный в 1716 году по указу Петра Первого, в течение двух столетий был экономическим, культурным и административным центром сибирских казахов. Первый просветитель моего народа Чокан Валиханов, как оперившийся орленок, вылетел из гнезда Омского кадетского корпуса. И после него в институтах и школах Омска оперялись и расправляли крылья многие птенцы-казахи, выросшие потом в деятелей просвещения и культуры казахского народа. Разве не из Омска на протяжении двух веков освещала своими лучами сибирских казахов мудрая и светлая русская культура?.. Какой казах, хотя бы понаслышке, не знал этого города, не стремился посмотреть на него своими глазами!

Увидеть Омск мечтали и мои земляки из Жаман-Шубара, но немногим это удавалось. Ведь сперва нужно было ехать на лошади больше ста верст до ближайшей станции и пятьсот верст – по железной дороге. Ни один бедняк не мог совершить такую далекую поездку. Да, признаться, и ехать ему было незачем. Для торговых дел капиталов не хватало, а жалобы везти было бесполезно.

Из таких дальних казахских аулов, как Жаман-Шубар, до революции Омск посещали только богатые торговцы и казахи-чиновники, находившиеся на царской службе.

С детских лет я берег мечту побывать в сибирской столице.

И вот теперь моя мечта исполнилась. Я – в Омске! Его нельзя было и сравнить с аулом, с русскими селами, виденными мною, со станицей Кпитаном – Пресновкой, Кзыл-Жаром – Петропавловском. Омск показался мне великаном. Меня поразило своими размерами самое большое здание Омска тех лет –

здание управления железной дороги. Самый высокий дом Кызыл-Жара рядом с ним выглядел бы, как овца возле верблюда. А четырехэтажный кадетский корпус, занимавший целый квартал! Что в Петропавловске могло бы сравниться с ним?

В Омске тоже были подгорная и нагорная части, разделенные небольшой речкой Омью, которая, огибая город с западной стороны, вливается в Иртыш.

Я целый день бродил по улицам города и возвратился в дом Сейтахмета уже в сумерках. Казый отдыхал. Он проснулся только к полуночи и, расспросив меня об ауле, о знакомых, сказал:

– С осени, с той поры, когда я приезжал в аул, обстановка ухудшилась. В то время Колчак был с нами ласковее и щедрее. Теперь красные начали большое наступление. Захватив Казань и Самару, они двигаются на Урал. Все свои средства Колчак расходует только на войну. Разрешение на открытие в Омске курсов для подготовки казахских учителей мы получили в июне. Тогда правительство Колчака согласилось принять все расходы по содержанию курсов на себя, а теперь от всего этого оно отказалось. Общежития не будет, стипендий тоже. Курсанты должны надеяться только на себя – самим найти квартиру и питаться за свой счет.

– А как же я?

– Откуда я знаю! – пожал плечами Казый и, чуть помедлив, сказал: – Я понимаю, что такой ответ тебя не обрадовал. Плохо возвращаться ни с чем. Но как же ты сможешь учиться без всяких средств? Как это ни грусто, надо уезжать обратно.

– Нет, я не вернусь. Буду работать и учиться.

– Если только найдешь работу.

– В таком большом городе и не заработать себе на хлеб! – удивился я.

– Ой-бой, дорогой мой, что ты понимаешь! Тебе знакомо такое слово – безработный? Так вот, половина всех живущих в Омске не находит сейчас себе работы. И давай сейчас не будем говорить об этом. Я уезжаю. Ты сегодня переночуй здесь, а завтра что-нибудь придумаем.

Вскоре за Казыем прислали лошадь. Камиля, прео-долевая неприязнь, сказала:

– Наверное, хочешь спать?

– Можно, – сказал я.

– Я тебе постелю в сарае.

Я снова заулыбался и довольно откровенно сказал аульным сородичам, что в холодном сарае спит только скотина.

– Ой-бой, что он говорит! – начала выходить из себя Камиля.

– Не трогай его, – сказал Сейтахмет. – Видишь, какой он говорун, его не переспоришь! Взял бы за шиворот и выбросил за ворота, как щенка. Сегодня переночует в кухне. И пусть не визжит, как хорек. А завтра проваливай, куда хочешь!

Камиля молча прошла в другую комнату, бросила мне кусок старой кошмы.

«Вот тебе и аульная родня!» – подумал я с горечью.

Я КУРСАНТ, И КОНЮХ, И ДВОРНИК

Утром Казый Торсанов привез меня к директору курсов Магжану Жумабаеву, деятелю Алаш-Орды и поэту, как я позднее понял, глубоко антинародному, контрреволюционному. Я читал его сборник «Шолпан», вышедший в 1913 году, и некоторые стихи, напечатанные в журнале «Абай», в газетах «Сары-Арка» и «Жас азамат». Он был молод и привлекателен. Я запомнил бритое смуглое лицо и выющиеся волосы.

С Казыем он был очень почтителен. И только когда Казый заговорил о моих стихотворных опытах, Магжан сдержанно и, как мне показалось, язвительно улыбнулся.

– Так вот, Магжан, мой молодой землячок нуждается в работе, а у меня ничего подходящего на примете нет. Может быть, вы придумаете что-нибудь для своего будущего курсанта?

В тот же день Магжан Жумабаев устроил меня дворником к своему родственнику Газизбаю, у которого снимал квартиру. Наедине со мной он был уже далеко не таким вежливым и сурово предупредил меня, что я должен работать без отказа и во всем слушаться своего хозяина.

– Хорошо, буду слушаться!– сказал я.

Дом и двор Газизбая были огорожены тесовым забором. Сам хозяин встретил меня приветливо, но лицо его не вызывало симпатий. Красно-багровое, похожее на нарыв, обросшее щетиной редкой черной бородки и таких же усов. Гнойные, воспаленные глазки его слезились, а круглый нос отливал синевой. Жена его Фатима болела туберкулезом и не вставала с постели. По всему было видно, что дни ее сочтены.

Единственная их дочь, семнадцатилетняя Газиза, хорошенькая гимназистка, которой посвятил стихи сам Магжан, и прислуга, сибирская казачка Маруся, миловидная, голубоглазая блондинка, вместе с Газизбаем, Фатимой и Жумабаевым были обитателями этого большого деревянного дома.

Газизбай и его домочадцы употребляли местный, татаро-казахский жаргон. Казахские слова выговаривались на манер татарских, а татарские – на манер казахских. Но объясненные и на этом жаргоне мои обязанности сперва показались мне и понятными, и легкими.

Я должен ухаживать за рысистой породистой кобылой вороной масти и пегой коровой с рогами, торчащими в разные стороны, да еще за старой собакой Бойсиком. И в самом деле, было нетрудно напоить животных, задать им корм, съездить на санках к Иртышу за льдом для питьевой воды, убрать дворик. Тяжелым для меня оказалось другое.

Занятия и на учительских курсах, и в Вардинской женской гимназии начинались в одно время, в девять часов утра, и заканчивались к четырем дня. Газиза не ходила пешком – мне надо было отвозить и привозить ее на санках. Поэтому я опаздывал на первый урок и уходил с последнего.

Мне ежедневно приходилось пользоваться записями товарищей и заниматься дополнительно.

Мы изучали казахский и русский языки, географию, арифметику, природоведение, педагогику, историю и вероучение. Кроме того, были у нас уроки пения и гимнастики. Магжан Жумабаев преподавал четыре предмета – казахский язык, русский язык, педагогику и

вероучение. Мы не только запоминали заповеди ислама, но под руководством самого Магжана учились совершать богослужение – намаз. Историю древнего мира – Египта, Греции, Рима – я усваивал лучше других предметов, быть может потому, что мне, выпало на долю помогать Магжану в составлении конспектов. Происходило это так. По вечерам он звал меня к себе в комнату, удобно располагался на диване, раскрывал русский учебник и диктовал мне казахский перевод. Записанный мною арабскими буквами конспект на следующее утро давался курсантам для переписывания. Я получал на первых порах главным образом пятерки. Учение шло бы совсем хорошо, если бы Магжан Жумабаев не изменил резко своего отношения ко мне.

Зная от Казыя, что я сочиняю стихи, он однажды снисходительно разрешил мне почитать ему свои произведения.

Я записывал тогда стихи на оборотной стороне корешков налоговых квитанций в огромную, с картонным переплетом тетрадь. В тетради этой были стихотворные послания девушкам, айтысы – стихотворные состязания – и стихи о жизни аульной бедноты. Послания и айтысы Магжан похвалил. Но, читая мои стихи об аульной бедноте, он поморщился и совсем переменялся в лице, когда прочитал мои дорожные впечатления в пути от Жаман-Шубара до Омска, изложенные также в стихах.

– Ишь ты, куда загнул! – пробормотал Магжан и с раздражением спросил меня: – Ты, может быть, и Горького читал?

Но в те времена мне не было даже известно имя Максима Горького.

– Тебе бы надо знать, – с издевкой разъяснил Магжан, – этот русский писатель пишет главным образом о жизни босяков. Да, босяков. Бездомных, беспризорных бродяг. Ну вот таких, как ты.

Я обиделся и, кажется, готов был бежать куда угодно. Но мой учитель с деланной улыбкой попытался успокоить меня:

– Одумайся, Сабит! Твои стихи направлены против правительства. Ты, наверно, забыл два золотых правила: «Молчание спасает от бед», «Будешь ходить

спокойно – сытым будешь». Эти стихи сожги, а о любви пиши, сколько хочешь. И пожалуйста, не спорь со мной. Еще надо подумать тебе об Алаш-Орде. В ней – будущее казахского народа. Если ты настоящий казах, вот чему посвящай свои стихи!

Перечить Магжану я не стал, зная, что разубедить его невозможно. Но в душе я уж начинал понимать, что такое Алаш-Орда.

Магжан познакомил меня со своими стихами. Его лирические произведения мне очень понравились. Но стихи, воспевавшие Колчака и Алаш-Орду, вызывали во мне молчаливый протест. И однажды я не мог сдержаться, слушая рифмованные похвалы казахам, решившим сразаться против Советской власти в рядах армии Колчака.

– Если еще раз скажешь так, очутишься не на курсах, а в тюрьме. Понятно?– пригрозил мне Магжан.

И хотя я сделал вид, что раскаялся, но своих стихотворений он больше мне не показывал.

Учиться и работать становилось все труднее. Надо было вставать задолго до рассвета, чтобы расчищать после снегопада или бурана двор Газизбая. А вечером приходилось запрягать вороную кобылу в легкие беговые саночки и везти Газизбая – к тому времени он овдовел – на прогулку.

В те времена многие жители Омска, особенно богатые, увлекались ездой на санях с колокольцами под дугой. На главной улице города устраивались чуть ли не состязания. В заключение Газизбай ехал ужинать в модный ресторан «Золотой рог», часто напивался там до бесчувствия, а в иную ночь требовал везти себя на улицу с красным фонарем. И в том и другом случаях я подолгу ожидал его на улице, коченея на лютom сибирском морозе.

Немало бед принесло мне знакомство с Газизой и Марусей, прислужой Газизбая.

Скромная на вид, красивая гимназистка, оказалось, благосклонно принимала ухаживания кавалеров, впрочем отдавая предпочтение сынку одного богатого казахского бая, известному под именем «графа». Запомнились мне одни стишки, написанные, кажется, Магжаном:

Жигит аульный, он однажды
Быть графом горячо возжаждал.
Теперь он с нами, «граф природный»,
Усы закручивает модно
И утоляет, нам на зависть,
Желанья тайные красавиц.

Этот доморощенный «граф», которому не давала покоя честолюбивая мечта прослыть тонким аристократом и щеголем, был студентом Сельскохозяйственной академии и носил бог весть почему, скорее тщеславия ради, мундир кавказского офицера. Танцевал он действительно отлично и был недурен собой.

Мне пришлось быть не только почтальоном между Газизой и «графом», но и катать их по городу на рысаке, и даже возить в «Золотой рог». Грешным делом, я иногда читал их письма. Газиза и «граф» в своих отношениях заходили значительно дальше, чем это хотелось Магжану Жумабаеву, имевшему свои виды на красивую девушку. Так я оказался меж двух огней.

А тут, на мою беду, меня стала допекать частыми придирадками прислуга Газизбая Маруся, свалившая на мои плечи и свои обязанности. Она стала заставлять меня растапливать печь и мыть полы.

Словом, мне было очень трудно жить в доме Газизбая и продолжать учение. Что же делать, с кем посоветоваться? И я решил поговорить со своими товарищами по курсам. Среди них было трое, внушавших мне особенное уважение и симпатию. Это Кундакбаев, бывший шахтер Экибастузских копей, впоследствии горный инженер в Караганде. Балабек был старше меня лет на семь-восемь. Дружил я и с Нигматуллой Нургалиевым, моим ровесником, татарин по национальности, теперь заслуженным учителем республики. Третьим моим приятелем был кустанайский уроженец Дармен Алин. Им я и поведал о своих несчастьях.

– Ты пишешь стихи, – сказал Нигматулла, – вот и сочини стихотворение про эти беды. А мы его будем читать курсантам и соберем тебе нужную денежную помощь.

Так я написал стихотворение «Томление». Мои друзья читали его курсантам, но, увы, денег, собранных для меня, оказалось совсем-совсем мало.

Опечаленный Дармен уже хотел было, чтобы я вернулся домой.

– Нет, так делать нельзя, – возразил Балабек. – Сабит должен вытерпеть, найти выход и продолжать учиться. Хозяину нашей квартиры, Жанбырши, как будто нужен дворник. Я сегодня же с ним поговорю.

Жанбырши охотно согласился взять меня на работу. Но Магжан и Газизбай были рассержены. Магжан даже пригрозил, что выгонит меня с курсов. С большим трудом я уговорил его не осуществлять своей угрозы.

В доме мелкого торговца Жанбырши, старого и довольно добродушного человека, мне было жить сравнительно легче. Хозяйки – мать и дочь – оказались куда скромнее Газизы. Да и работы было меньше. Убирать маленький дворик мне было нетрудно, без особых усилий справлялся я и с уходом за единственной коровой.

Веселее пошла учеба. И времени для уроков прибавилось, и житье с моими однокурсниками приобщило меня к беседам, спорам, книгам. Я даже записался в литературный и хоровой кружки и стал появляться в общественных местах. Но смущал меня уж очень жалкий мой наряд. Из аула я уехал, можно сказать в лохмотьях, а в Омске Газизбай подарил мне свой изношенный до дыр костюм. Но когда я уходил, он и его отобрал. Жанбырши помог мне приобрести на толкучке старую солдатскую рубашку и штаны. Дармен подарил свое заплатанное пальто, а на ногах у меня были стоптанные ботинки Магжана. Никто из курсантов не носил такой убогой одежды.

Помнится мне, уединившись в нашей комнате, я гадал, как лучше положить заплатки на мои совсем ветшающие брюки из синего сукна. В это время дочь хозяина Гайныш через открытую дверь крикнула, что во дворе меня дожидается какой-то родственник. Но сразу выйти навстречу гостю, по вполне понятным причинам, я не мог. Родственнику моему, видимо, наскучило ждать во дворе, и он сам зашел ко мне. Это был Умит Балкашев. Умит учился в татарском медресе «Вазифа» города Троицка и приехал в Омск продолжать учение. Он рассказал мне, что Красная Армия прибли-

жается к Уралу и правительство Колчака закрыло все учебные заведения в городах прифронтовой полосы.

В Троицком медресе вместе с Умитом учился и поэт Баймагамбет Зтулин. Баймагамбет выехал из Троицка вместе с Умитом, но направился в свой родной аул. С Умитом он мне прислал короткое дружеское письмо:

«Дорогой Сабит! Из твоих писем я знаю, как трудно тебе учиться. Но будь упорным и не бросай курсов. Помни народное изречение: «Венец терпения – червонное золото. Терпение и надежда помогают достигнуть цели. Нетерпеливого ждет позор». Твоим горестям скоро придет конец. Остальное расскажет Умит».

– На что он намекает?– спросил я гостя.

– Он намекает на скорый приход красных. Советская власть – хорошая власть для таких, как я и ты! Скоро откроются наши глаза!

На мои нетерпеливые расспросы о красных он кратко и многозначительно ответил:

– Ждать осталось совсем недолго.

Вскоре Балкашев, не устроившись на учебу, уехал в свой родной аул. А я по-прежнему учился, убирал двор Жанбырши и в редкое свободное время навещал своих омских друзей – железнодорожника Кадыра и извозчика Бексеита.

АМЕРИКАНСКИЙ АУКЦИОН

Колчак собирался в поход на Москву. В начале 1919 года об этом неустанно трубила омская газета «Заря», хвастая, что белые армии теснят с помощью Антанты большевиков с юга, севера и Украины. И если со стороны Сибири последует решительный удар, то наступит конец Советской власти. Колчак, именуя себя «верховным правителем и верховным главнокомандующим всеми сухопутными и морскими вооруженными силами России», издавал приказ за приказом о новых сборах средств, о новых мобилизациях.

Хвастливый шум в меру своих силенок поддерживала и алашордынская газета «Сары-Арка». Она утверждала, что в Прикаспии, Тургае, Семипалатинске, Семиречье созданы национальные части, «сокрушающие больше-

виков». Особенно превозносились на ее страницах «доблесть алашского полка на гнедых конях», сражающегося с Советами на Семиреченском фронте.

Но никто всерьез не принимал этих победных реляций.

– Если Колчак и в самом деле так могуч, то почему же он еле дышит и в тылу и на фронте? – посмеивались омские жители, читая газеты, и дружно ругали правителя за растущие налоги и дороговизну.

Алаш-Орда потягивала Колчаку, как комнатная собачка, но никакой существенной помощи оказать ему не могла. Еще минувшей осенью Казый Торсанов выезжал в казахские аулы для сбора лошадей колчаковской армии, но баи, несмотря на все красноречие Казыя, пожертвовали меньше сотни голов. Это была капля в море.

Правитель омский, потерпев неудачу в добровольных сборах, чаще и чаще применял более надежный способ прямого грабежа. Однако алашордынцы, желая выслужиться перед колчаковским правительством, все же решили создать фонд в помощь походу на Москву.

В клубе учительской семинарии собрались главари Алаш-Орды совместно с представителями казахской учащейся молодежи, в том числе и наших курсов. Разговор шел о проведении большого вечера-концерта с дорогими платными билетами, чтобы весь сбор был передан в дар колчаковской армии.

Докладчик усердствовал, предсказывая, что Колчак, конечно, победит красных и уже весной Москва будет взята. И тогда, мол, наступят золотые времена для Алаш-Орды.

Докладчику вторили и другие ретивые ораторы.

Решено было поставить в театре спектакль, организовать национальный буфет: в нарядных кошах самые красивые девушки будут продавать пресный и квашеный сыр – курт, курдючное сало с печенкой, толченый сыр с маслом и сахаром – коспа-жент, жирную конину и конскую колбасу. Устроители вечера задумали в фойе театра провести американский аукцион, на который возлагали особенно большие надежды. Там должны были продаваться женские украшения из драгоценных металлов и камней, дорогая столовая утварь, часы, табакерки. И еще решено было послать специальных сборщиков байских

пожертвований в казну Колчака в казахские волости Акмолинской и Семиреченской губерний.

Чтобы все это осуществить, алашордынские заправилы создали большую комиссию, в которую вошел и Казый Торсанов как старший распорядитель вечера. Он-то мне и предложил постоять в этот вечер вместе с другим курсантом у вешалки.

– Заработаешь, паренек. Деньги «на чай» так и посыплются в твой карман.

Готовились к вечеру долго. Спустя месяц-полтора после первого организационного собрания состоялось второе, на котором мне тоже довелось присутствовать.

Благотворительные дела складывались далеко не так блестяще, как были задуманы.

– Вместо тысячи голов скота, – огорченно рассказывал один алашордынец, – собрали мы около пятидесяти бараньих и двадцати коровьих туш, двести мелких и крупных кож и с полсотни желудков сала. Такой жалкий дар даже стыдно предложить правительству. Что только думают наши бай? Ведь их судьба зависит от судьбы Колчака.

Нечем было похвастаться тому алашордынцу, который собирал у городских баев ценные вещи для американского аукциона. Под общий смех он потряс небольшим мешочком.

– Я не буду, – сказал он, – показывать вам его содержимое. Если жертвовали – не стыдились, то мне стыдно перед вами. Все ценности в этом мешке напоминают подаяния скупого бая на поминках давно надоевшего ему старого отца. Здесь вы не найдете драгоценности стоимостью в хорошего скакуна. А многое не стоит даже хромой козы.

Собравшиеся снова рассмеялись, но всех отрезвил сердитый голос председательствующего:

– Господа, мы не для забавы находимся здесь! Подумайте о своем будущем, о славной колчаковской армии. А теперь к делу. Так сколько же стоит содержимое этого мешочка?

– Смотря на какие деньги. Николаевские, керенские или колчаковские?

Все дружно потребовали оценить в николаевских.

– Ну, тогда около тысячи рублей.

– Пустяки! Мало! Ну и расщедрились! – слышались голоса.

– И все-таки омские баи пожертвовали больше аульных.

– Господа, поймите – это американский аукцион.

И тут же было разъяснено, что если так, к примеру, продавать сторублевые серебряные часы, то цену их можно довести и до трехсот.

Пожалуй, лучше всех чувствовал себя организатор буфета. С гордостью перечислял названия закусок, которых, по его словам, хватило бы на десяток благотворительных вечеров. Правда, пыл организатора буфета был несколько охлажден чьим-то соображением, что на вечер явятся те, у кого и дома вдоволь продуктов, вряд ли они набросятся в театре на курт и конину.

Короче говоря, алашордынский вечер не предвещал больших пополнений колчаковской казне. Но отступать устроителям было уже нельзя.

Мне и другим юношам, таким же, как я, неопытным гардеробщикам, заранее показали наши несложные обязанности по приему одежды и выдаче номерков.

И вот наконец этот вечер наступил. Мы явились в театр часа на два раньше всех остальных. Старший предупреждал нас:

– Ребята, ради бога, будьте внимательны и осторожны, не путайте номерки, не смешивайте одежду.

Когда появились первые посетители, мы, чуть ли не священнодействуя, принимали их шубы и пальто. Публика прибывала. В зале уже гремел духовой оркестр, как бы приглашая и нас войти туда и хотя бы одним глазком взглянуть, как веселится избранное общество. Но вот музыка прекратилась, стало тише, и один из нас юркнул в зал разузнать, в чем дело. Оказалось, к буфету почти никто не подходил, плохо работал и американский аукцион. Зато спектакль уже начался.

Мы, гардеробщики, по очереди бегали в зал. Я поспел ко второму антракту. Снова играл духовой оркестр. В танцах кружились пары, осыпаемые конфетти и лентами серпантина. Среди танцующих были и русские офицеры, и несколько офицеров-казахов.

К этому времени в дальнем углу большого зала начал работать и американский аукцион. Важный гимназист, байский сынок, прозванный своими сверстниками

Рыжим Чайном – Скорпионом, – стал на стул и показывал собравшимся золотой браслет. Он бойко выкрикивал цену и повторял: «Кто больше?» Покупатель нашелся довольно быстро. Потом Скорпион продемонстрировал круглые серебряные серьги на поношенной красной ленточке. Но эти серьги уже не приглянулись никому, рыжий гимназист тщетно потрясал ими.

Еще скучнее было в буфете. Молодые казашки, дочки и невестки омских и петропавловских баев, в богатых национальных костюмах должны были исполнять роль гостеприимных хозяек, однако гости обходили их пышные юрты – коши, пренебрегая жирными закусками.

По залу и фойе, за кулисами театра прошелестела весть, что на благотворительный вечер приехал сам Колчак. Передавали шепотом, что он явился в сопровождении своего начальника штаба.

И конечно, мне, по юношескому моему любопытству, захотелось увидеть Колчака и его свиту. Я проник за кулисы, и один из знакомых артистов показал мне ложу, в которой они сидели. Прильнув к дырке занавеса, я разглядел в полусвете затененного зала худощавое хищное лицо с горбатым носом и острым подбородком. Это и был правитель омский, который показался мне похожим на породистого легавого пса, какие встречались тогда у ханских отпрысков в кокчетавских аулах. Рядом с Колчаком сидел большеусый, с расплывшимся, кошачьим лицом офицер.

– Ну как, увидел самого? – спросил артист.

– Увидеть-то увидел, но темновато. И что-то не слишком он мне понравился.

– Чтоб ты откусил язык! – прошипел артист. – Услышат такие слова – тебе голову оторвут.

...Вечер подходил к концу. Уже некоторые гости покидали театр. Как меня научил изощренный в лакействе Казый Торсанов, я чуть смущенно и тихо говорил, подавая пальто и калоши:

– За охрану!

Одни улыбались, другие презрительно смеривали меня взглядом, третьи извлекали из бумажников лист колчаковских денег, похожих на почтовые марки, и отрывали мне, смотря по щедрости своей, большую

или меньшую купюру, Карманы мои начинали уже распухать. Мы уже договорились сообща сложить и по-братски разделить чаевые деньги.

Когда на вешалке оставалось совсем немного одежды, ко мне подошел щеголеватый гимназист из алашордынцев и сунул номерок. Я подал ему пальто, ушанку и калоши. И вдруг гимназист начал скандалить:

– Это не мои калоши! Мои были новые. Где хочешь находи или плати мне!

Я попытался утихомирить гимназиста, но он не унимался. Чувствуя себя оскорбленным, разволновавшись и растерявшись, я выгреб из кармана все, что собрал за вечер, швырнул в лицо гимназисту и убежал из театра.

Так закончился для меня благотворительный вечер с американским аукционом. Мне неизвестно до сих пор, остался ли доволен гимназист моими деньгами, но легко догадаться, что пожертвования Алаш-Орды не принесли Колчаку никакой пользы.

ТРЕВОГИ, ВОССТАНИЕ, ПОЖАРЫ

Хотя Казый Торсанов не поддерживал меня ни духовно, ни материально, я по юношескому своему недомыслию продолжал считать его «казахом своего аула» и заходил изредка к нему домой.

В тот вечер, о котором я хочу рассказать, Казый, как обычно, отдыхал на кровати. Я же, усевшись на полу, услаждал его песенками, аккомпанируя себе на домбре.

– Казый-мырза, – перебил игру вошедший в комнату Сейтахмет, – там на конной паре подъехали к воротам двое и спрашивают вас.

– А что за люди? – спросил Казый.

– Говорят, баржаксынды.

– А-а-а! – протянул Казый. – Значит, из рода уак. Может, земляки. Не из наших ли краев?

– По-моему, да, мырза. Одного из них зовут Нурке.

– Нурке? – При упоминании этого имени лицо Торсанова изменилось, на щеках вспыхнул и тут же исчез румянец. – Так ты говоришь, они хотят заехать к нам?

– Нет, они только спрашивали о вас. И я сказал, что узнаю, дома вы или нет. Они даже не вылезали из саней.

– Скажи, что меня дома нет.

Удивленный этим нарушением аульных обычаев, я не мог удержаться от восклицания:

– Как же так, дядя Казый?

Но дядя Казый метнул на меня гневный взгляд.

– Не твоего ума дело!– И, уже обращаясь к Сейтахмету, повторил:– Скажи, что меня нет дома.

Я выскользнул на улицу вместе с Сейтахметом. За воротами от покрытых инеем проделавших далекий путь лошадей шел легкий пар. Заиндевели усы и борода старшего путника, другой был еще юношей.

– Казый-мырзы дома нет...

– Ошибаешься, наверно, дорогой,– без обиды принял слова Сейтахмета старший.– Мне ведь говорили, что он вернулся. Ты объясни ему еще раз: мол, приехал Нурке, отец Жумабая, по очень важному делу. Я недолго поговорю с ним и поеду на другую квартиру.

Сейтахмет продолжал упрямиться и настаивать на своем. И его вранье начинало меня возмущать. Жестами незаметно, я намекнул Нурке, что его обманывают.

– Дорогой мой,– уговаривал Нурке Сейтахмета,– ты ведь тоже наш сородич. Мы приехали издалека,– видишь лошадей загнали. У нас вся надежда на Казыя. Шайгоз и Баржаксы, главы наших подродов, были родными братьями. Кроме того, Казый – сверстник моего сына. Я мог зайти к нему без спросу, но соблюдаю городской обычай. Доложи еще раз, передай мои слова.

– Ничего ты не понимаешь, упрямый человек! Зачем меня уговаривать? Езжай своей дорогой!– И Сейтахмет с сердцем хлопнул калиткой и пошел обратно во двор.

Я остался наедине с приезжими.

– Иди, аксакал,– посоветовал юноша,– иди и узнай сам. Казый всегда бы нас принял. Этот сторожевой пес, верно, ему ничего не сказал о нашем приезде.

Но я не пожелал скрыть правду и подробно рассказал все, как было.

– А сам-то ты кто?– спросил меня старший.– Из рода сыйбан.

– Из какого аула?

– Жаман-Шубар.

– Что же ты тут делаешь?

– Учусь.

Старик хотел и дальше продолжать расспросы, но юноша поторопил:

– Нурке, скоро ночь. Торопись, иди к Казыю и не задерживайся там. Ведь нам нужно найти ночлег.

Я тут же подумал об извозчике Бексеите и пообещал баржаксынцам устроить квартиру. И старик решительно направился в дом Сейтахмета. Я опередил Нурке и провел его в комнату Казыя.

Торсанов, озабоченный и раздраженный, торопливо одевался, собираясь куда-то уйти. Он подчеркнуто холодно поздоровался с Нурке.

– Казый, дорогой мой, я ничего не понимаю! Ты находишься дома, а приказываешь говорить, что тебя нет.

Старик хотел еще что-то добавить про свою обиду, но Казый грубо оборвал его:

– Аксакал, надо бросать казахские привычки! Говорю откровенно – я служу Алаш-Орде и Колчаку, а ваш сын большевик. Что между нами общего? Прошу, оставьте меня в покое!

– А-а-а! Вот как! – печально и зло протянул баржаксынец. – Отпрыски Тлемиса при нужде не брезговали питаться мясом своих детей. Оказывается, ты выбрал эту дорогу. Добро! – с угрозой сказал он напоследок. – Пусть это будет началом нашей вражды. Мы еще схватимся!

Он быстро вышел, оставив бледного, оторопевшего Казыя. Я тоже поспешил за ним.

– А ты куда? – бросил мне вдогонку Торсанов.

– Домой.

Когда я выбежал за ворота, баржаксынцы были уже в санях. Я попробовал им объяснить, где находится дом Бексеита.

– Нет, уж лучше ты садись с нами и сам покажи туда дорогу! – попросил Нурке.

Бексеит, как я и предполагал, тепло встретил путников, а после короткого рассказа о цели приезда отнесся к ним совсем по-родственному. И Бексеит, и Нурке в знак благодарности за скромную мою услугу никак не хотели отпускать меня домой.

– Мы привезли из аула немного вкусной пищи, поужинаем вместе. И оставайся ночевать! – говорил Нурке.

Но меня и не надо было долго уговаривать. Сердце подсказывало мне, что здесь мои настоящие друзья.

В памяти у меня звучали слова Казыя: «Я служу Алаш-Орде и Колчаку, а ваш сын большевик». Какую ненависть внушают колчаковцам и таким, как Торсанов, эти неведомые большевики! Они их прячут в тюрьмы. А за что? Вот сын этого хорошего старика – большевик. Как он стал на этот путь? Где он сейчас?

Так думал я, и мне хотелось, чтобы Нурке скорее все объяснил. Он не заставил себя долго ждать и после ужина рассказал нам о своем сыне. Старик не скрывал ничего, но ему самому было известно очень немного.

Жумабаю – так звали сына старика – было двадцать восемь лет, он сидел сейчас в Омской тюрьме.

– Первенец мой, единственная моя радость и утеха, зрачок моего глаза... – вслух горевал старик, задумчиво глядя куда-то в угол. – Я ли не работал зиму и лето у русских купцов, я ли не батрачил, не пас чужой скот? Последних медных грошей, заработанных в поте лица, не жалел я, чтобы учился мой Жумабай. Маленьким он пошел в русскую школу, шесть лет проучился в Тлесе – Федоровке – и стал аульным учителем. Два года воспитывал ребят, а потом поступил в Омскую учительскую семинарию. Вернулся он в аул на каникулы, и вижу – парня словно подменили. Рассказывал он: «Царя свергнут, будет свобода!» А я, темный человек, аульный бедняк, что я мог знать! Непонятными, опасными показались мне слова сына «Ой-бой, светик, – говорю ему, – не пугай меня! Кто царь, а кто мы?.. Дойдут твои страшные слова до начальства – не будет жизни ни тебе, ни нам». Упрашиваю его, сам чуть не плачу. А сын так спокойно и ласково улыбается: мол, не волнуйся, отец, все будет так, как я сказал. Вернулся он в Омск, и с тех пор я его не видел. Семинарию он окончил, поехал учителем в Акмолу. Писал мне редко и только о своем здоровье. Тут произошли в жизни перемены, о которых говорил мой сын. Царя свергли, все стали вслух толковать о свободе. Народ стал делиться на белых и красных. Мой Жумабай, как до меня дошли вести, примкнул к красным. Я уже было стал радоваться, но случился белый переворот, белые одержали верх, и я узнал, что сына схватили, привезли в Омск и бросили

в тюрьму. Родное дитя, частица моего сердца... Сколько я ехал по степи лютой зимой, только чтобы повидаться с сыном... А увижу ли? Печальные мои дела, дорогие. Одна надежда осталась, ею живу: говорят в аулах, что колчаковские начальники лакомы до легкого барыша, за взятку и заключенного могут освободить. Я вот и собрал у родичей немного денег – может быть, удастся выручить Жумабая.

Душевным рассказом, своим горем Нурке так разволновал меня, что я уже не мог оставаться безразличным к судьбе старика и его сына.

После этой встречи почти каждый день я виделся с Нурке у Бексеита. Надежда его не сбывалась. Осенью еще можно было сунуть взятку тюремщикам – они ухитрялись тайком освобождать узников, но эти проделки были раскрыты высшим начальством, и режим стал более суровым.

Родственникам арестованных большевиков в свиданиях отказывали, разрешались только передачи. Иногда я ходил вместе с Нурке, когда он носил пищу сыну. Окруженная высокой каменной стеной, серая и зловещая тюрьма стояла на высоком, обрывистом берегу Иртыша. Стражники не подпускали родственников даже к большим железным воротам. Порой приходилось часами простаивать на жестоком морозе в ожидании начала приема передач. Люди коченели от холода, и промерзала пища, купленная, может быть, на последние крохи. Тяжко было смотреть на Нурке. Он не умел скрывать свое горе. Крупные слезы капали из глаз старика, застывая сосульками на бороде и усах. Переживая его горе, я в мыслях своих проникал за каменные стены угрюмого серого каземата и старался представить себе сына доброго Нурке, Жумабая. Как хотелось мне его повидать!

Арабскими буквами под диктовку Нурке я написал его сыну записку, в которой кратко было рассказано и о приезде отца, и о том, как его встретил Казый Торсанов, и об отзывчивости Бексеита. Записка была ловко скрыта в передаче.

День ото дня крепло мое желание встретиться с Жумабаем. И неожиданно оно исполнилось.

В один воскресный день мы сидели за чаем, дома у Бексеита. Вдруг во дворе неистово залаяла собака:

– Кажется, пришел кто-то чужой, – сказал Бексеит жене. – Пойди посмотри.

В комнату вошел незнакомый человек, странно позвякивая железом. Тетя Мафтуха, да и все остальные растерялись.

– Ой-алла! – воскликнула она, побледнев.

Человек, позвякивавший железом, был закован в кандалы. Следом за ним вошли два вооруженных солдата.

– Не пугайтесь! – тихо произнес человек в кандалах. Его лицо, обросшее густой бородою, было землисто-серым.

– Боже мой! Сынок, Жумажан, ты ли это? – И Нурке рванулся ему навстречу.

– А я, отец, думал, ты не узнаешь меня!

В первые мгновения старик не верил, что перед ним его Жумабай, но сомнения пропали, и, плача, он хотел обнять своего первенца. Но солдат, правда не очень решительно, преградил ему дорогу.

– Отец, подожди пока, нельзя! – вздохнул Жумабай. – Давайте попробуем пригласить солдат к столу.

И все принялись их дружно упрашивать.

– Только недолго! – согласился наконец один из конвоиров.

Солдаты присели. Перед ними появилась бутылка самогонки.

– Вот теперь и поговорить можно! – И Жумабай рассказал, что во время работы за чертой тюрьмы, неподалеку от дома Бексеита, ему удалось уговорить конвоиров зайти на обратном пути к отцу.

– А вы, отец, и не пробуйте обращаться к Торсанову. Зря вы к нему ходили, – втолковывал ему Жумабай. – Сородичи, такие, как он, не помогут. Между нами мира не будет. Сегодня он не жалеет нас, завтра мы его не пожалеем.

Конвоиры в это время с удовольствием разогревались самогонкой, не понимая, да и не стремясь понять этот разговор.

– Мы обязательно победим, власть будет нашей, – продолжал Жумабай. – Осталось ждать немного, не волнуйся отец. И жив я останусь.

Нурке успел познакомить сына со мной.

– Это он тебе писал записку, Жумабай.

– А тебе, жигит, советую уехать в аул. Отец тебе поможет добратсья. Не надо мучить себя на этих курсах. Придет срок – другие курсы откроются, наши. На будущий год уже откроются. Понимаешь?

Я кивнул головой.

– Сейчас ты про это слушаешь, а скоро увидишь сам. Своими глазами. Вот тогда и наукой овладеешь! Ты знаешь, по какому пути мы идем? Мы, труженики, бедные люди, такие же, как ты, идем к счастью.

Из рассказов своего отца Жумабай узнал, что я увлекаюсь стихотворством, и даже в эту короткую и необычайную встречу он успел поинтересоваться моими литературными знаниями и попросил меня прочесть несколько стихов. Некоторые ему понравились, и он пожалел, что мне их негде печатать. Но он нисколько не огорчился, что мои стихи не пришлось по вкусу Магжану Жумабаеву.

– Так оно и должно быть, – рассуждал он. – Было б очень плохо, если бы ты обрадовал его стихами.

И Жумабай поторопился объяснить мне свои слова. Тут я впервые услышал от него имя другого казахского поэта – Сакена Сейфуллина. Оказалось, что Жумабай учился с ним в Омской учительской семинарии и после ее окончания с ним же уезжал в Акмолинский уезд. Там, в городе Акмолинске, они вместе организовывали совдеп и были одновременно арестованы колчаковцами. Они вместе подвергались мучительным пыткам белых палачей, брошены были в вагоны смерти атамана Анненкова, доставлены в Омск и посажены здесь в тюрьму.

– Вот это уже настоящий революционный поэт! – с восхищением говорил Нуркин о Сейфуллине. – С ним бы тебе познакомиться, почитать бы его стихи!

Жумабай назвал мне имя еще другого своего товарища по совдепу – Абдоллы Асылбекова, который лежал в тюрьме, сраженный пытками и тяжелой болезнью.

– Вот это действительно люди!

И тут Жумабай произнес имя Ленина. Хотя конвоиры уже совсем раскраснелись от самогонки и были увлечены своей беседой, при этом имени они вздрогнули, поднялись, как по команде, и увели Жумабая.

Наверно, впервые в жизни я тогда подумал о том, какой могучей силой духа и верой в свою правоту наделены настоящие люди. Ослабевший физически –

трудно было забыть его землистое лицо, – измученный, одетый в тюремные лохмотья Жумабай Нуркин показался мне героем. «Так вот они какие бывают, большевики», – мысленно повторял я, стараясь представить себя на месте Жумабая.

Этот день еще сильнее сблизил меня с Нурке. Я продолжал бывать у него и ходил с ним вместе к тюрьме. Старик горевал и волновался, как и раньше. А мне казалось, что он зря так мучит себя. Не лучше ли ему было переждать в ауле тяжелое время? Ехал бы домой – ведь все равно он не сможет пока вызволить сына. Раздумывая над этим, однажды я напрямик высказал Нурке свои мысли.

– Что поделаешь? Растерялся я, дорогой. Выходит, слабой надеждой утешаюсь, – говорил мне в своей печали Нурке.

Но вот однажды он как будто бы начал сборы. Осматривал сани, сбрую, подправлял, где нужно, подшивал, стал лучше подкармливать лошадей. Он выглядел решительнее обычного, на лице появились складки новых забот. Что бы это могло означать? Но сперва мой вопрос только смутил Нурке.

– Да нет, ничего особенного, – пробовал возразить он. – Надо быть всегда готовым к дальней дороге.

– Пусть я молод еще, но вы не так говорите. Не надо ничего скрывать, дядя Нурке. Неужели вы мне не верите? – обиделся я.

– Ах, сынок зачем ты меня так прижимаешь? – еще больше смутился старик.

– Как хотите, – не унимался я. – Если нельзя сказать – не надо. Но разве я в чем-нибудь провинился перед вами? Разве был нечестным?

И Нурке, помявшись немного, открыл мне свою тайну.

– Я полюбил тебя, Сабитжан, как родного, – разволновался он, – я ничего не буду скрывать. Кажется, надежда загорелась. Ох, как легко потушить ее, сынок, неосторожным словом!

Нурке так волновался, что я уже пожалел о затеянном разговоре.

– Успокойтесь, Нурке! Трудно вам говорить – молчите. Но если вы доверяете мне, помните, что я душу отдам, но сохраню вашу тайну.

– Спасибо на добром слове, сынок, но только пойми – многого я и сам не знаю. В этом доме мне сказали, что

скоро произойдут большие перемены, и мой сын будет освобожден. А о подробностях Бексеит умолчал. Вот и все. И смотри не спрашивай его ни о чем.

События, на которые намекал Нурке, произошли довольно скоро.

Однажды ночью мы все в доме Жанбырши проснулись от поднявшейся в городе стрельбы, криков, топота коней. Испуганные, мы все сбежались в одну комнату. Особенно волновался наш хозяин. Он-то и произнес заплетающимся от страха языком:

– Неужели это восстание?

Догадка Жанбырши оказалась верной. Утром, как только утихла стрельба, мы узнали, что большевистское омское подполье подняло рабочих заводов, фабрик и железной дороги на вооруженное восстание против правительства Колчака. Из-за измены очаги восстания были подавлены и вожаки его арестованы. Но потушить восстание оказалось нелегким делом. Повстанцы успели захватить тюрьму и освободить многих заключенных. Было разграблено несколько складов оружия и боеприпасов. Рассказывали, что повстанцы направились к резиденции самого Колчака, но встретили там сильный отпор. На улицах много убитых. Регулярной армии белых удалось подавить основные силы повстанцев, и сейчас сопротивляются только разрозненные кучки.

«Как там Бексеит, как Нурке?– с тревогой думал я.– Освободился ли из тюрьмы Жумабай?»

Пройти к Бексеиту в первые дни было невозможно. Город был объявлен на военном положении, день и ночь шли обыски и аресты. В ответ на восстание красных Колчак объявил белый террор. Газеты каждый день опубликовывали списки задержанных и расстрелянных большевиков. Колчак издавал приказ за приказом, призывая всех быть беспощадными к «бунтовщикам».

И когда наконец я прибежал в дом, ставший для меня родным, мне стали известны горькие вести. Домашние не знали судьбы Бексеита. Он был арестован как участник восстания. Белые, приходившие с обыском, избили до полусмерти тетю Мафтуху. Она лежала в

постели. Уже три дня, как исчез Максут. Дом был разграблен. Куда скрылся Нурке, никто не знал. Жумабай тоже больше не появлялся в этом доме.

Потеряв себя от горя, я отправился на курсы. Но и там было тревожно. Белые арестовали нескольких курсантов. Магжан Жумабаев был назначен членом правительственной следственной комиссии. Рассказывали, что Казый Торсанов выехал в погоню за бежавшими из тюрьмы большевиками.

Курсы возобновили занятия через неделю после восстания, но и это продолжалось недолго. Кто-то поджег здание курсов. Оно сгорело дотла в одну ночь. Так пришел конец моей учебе в Омске.

Курсантам объявили, что занятия могут возобновиться только на будущий год, потому что, по утверждению дирекции, трудно было найти сразу подходящее помещение. Но дело было не только в этом. Сама обстановка на фронтах складывалась не в пользу Колчака – красные перешли в наступление. И подготовка казахских учителей не очень-то волновала и чиновников «правителя омского» и перепуганных деятелей Алаш-Орды.

Крах Колчака приближался. Даже дети на улицах играли в красных и белых. А в городе после восстания продолжались обыски и аресты. По улицам шагали патрули. Круг близких мне людей поредел. Колчаковцами был схвачен и первый мой добрый знакомый в Омске – железнодорожник Кадыр.

С продовольствием становилось все хуже и хуже. Подвоз продуктов из деревень и аулов почти прекратился – на дорогах стояли заставы, в селах реквизировали мясо, скот, картофель.

Надвигалась трудная весна.

Мне ничего не оставалось делать, как возвращаться домой. Пожар спалил не только курсы, пламя его грозило испепелить все старые устои.

Жумабай Нуркин был прав. Мне, бедняку и сыну бедняка, надо было ждать победы новой власти. Уж это курсы будут по-настоящему полезны для меня!

И в надежде на эти перемены я решил возвратиться из Омска в Петропавловск.

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА

ПОЧЕМУ ХИТРИЛ АБЛАЙ-ХАДЖИ

В Петропавловске я остановился у моего родича Каскулака. Каскулак был обходительней и приветливей, чем в прошлый мой приезд. Отправить меня в родные места ему самому было трудно, но он помог мне неожиданным советом.

– Ты знаешь Аблая-хаджи?

Да, я знал в лицо этого человека, хотя он вряд ли помнил меня. Прошлой осенью в ауле Альти Аблай вместе с другими представителями Алаш-Орды вербовал молодых жигитов в ряды добровольческой алашской милиции. Аблай-хаджи, больше известный под именем Аблая Рамазанова, был членом Петропавловского уездного комитета Алаш-Орды, деятелем алашской общины «Талап каумы» – «Общество стремления» – и молодежной алашской организации «Молодой гражданин» – «Жас азамат», издававшей одноименную газету.

– Так, значит, ты знаешь Аблая-хаджи? – повторил свой вопрос Каскулак. – Я его разыщу, а он тебе поможет уехать в аул.

Аблая Рамазанова мы нашли в двухэтажном деревянном здании Сухотинского русско-киргизского двухклассного училища. Любопытна, между прочим, судьба этого дома. В середине 1920 года он был перенесен на урочище Шолак-Достан, и в наши дни в нем находится казахская школа-десятилетка.

Тогда здесь проходило какое-то заседание, и в холодном коридоре плавал табачный дым и туман от дыхания многих десятков людей. Присмотревшись к Аблаю, я подошел к нему.

О, какой он был огромный и плечистый! Только хитрые, пронзительные глаза были очень маленькими

по сравнению с крупным носом и густыми черными бакенбардами, сливавшимися с лихо закрученными кверху усами и клинообразной бородкой. Аблай был в шубе на волчьем меху, лохматой папахе и красных казанских валенках. Я вежливо поздоровался с ним по-казахски, но он, не отвечая на мое приветствие, гулким, громоподобным басом спросил:

– Кто ты такой?

Я как можно короче рассказал о себе, а он, молчаливо и придирчиво разглядывая меня с ног до головы, наконец изрек:

– Выйди на улицу и позови Габдоллу Кемикпаева. Он мой кучер. Найдешь его – приведи ко мне.

Я довольно скоро отыскал маленького рыжебородого Габдоллу и вместе с ним возвратился к Рамазанову.

– Вот что, Габдолла!– пробасил Аблай.– Вези этого жигита на толкучку. Купи ему пальто, костюм, сапоги, ушанку и белье. Заведи в парикмахерскую – пусть его там подстригут под полку. Понял?

– Понял!– ответил Габдолла, хотя не только ему, но и мне была не совсем понятна внезапная доброта Аблая.

– А из парикмахерской отправляйтесь в баню,– продолжал Рамазанов,– с мылом вымой его – пусть вместе с грязью уйдет прилипшее к нему упрямство. А лохмотья, что висят на нем, как попона на шелудивом верблюде, свяжи в тряпку и выбрось подальше, на свалку. Понял?

– Понял,– послушно кивнул Габдолла, мало что уразумевший и на этот раз.

– Тогда поезжайте, а после бани возвращайтесь ко мне.

Отказываться от этой неожиданной щедрости, понятно, не было никакого смысла.

Мы ехали в легкой кошевке. Серый рысак быстро домчал нас до рынка. Там в обычной сутолоке и толчее продавали самое что ни на есть старье, непригодное для носки. Габдолла хотел уже купить мне одежду, мало чем отличающуюся от той, что была у меня на плечах. Слуга не поощрял щедрости хозяина, но я упорно настаивал, чтобы каждое распоряжение Аблая было выполнено в точности. После довольно длительных поисков и споров пальто, сапоги, костюм, ушанка и белье были

куплены. Сводил меня Габдолла и в парикмахерскую, и в баню. Я совершенно преобразился и чувствовал себя настоящим городским франтом. Осматривая меня, Габдолла с удивлением прищелкивал языком.

– Откуда ты взялся такой и очаровал хаджи?

Но когда я поведал кучеру все свои злоключения и горести, он призадумался, помолчал. После моих слов иначе он посмотрел на причуды Аблая:

– Нет, это неспроста, парень. Я недаром так удивлялся сперва. Не такой человек наш хаджи, чтобы тратить копейку без расчета.

– Без расчета? А при чем здесь расчет? – удивился я.

– Баи поджимают хвосты, боятся прихода красных, – совсем откровенно стал объяснять мне Габдолла. – Придут красные, и тогда народом управлять будут такие бедняки и сироты, как ты, а самих баев возьмут в крепкую узду. Аблай-хаджи видит далеко и думает о завтрашнем дне. Он и тебя решил задобрить и вокруг себя славу создать. Подачка невелика, а выгода может оказаться большой. Расходы на тебя с победой красных многократно окупятся. А то для чего же он все это затеял? Кто ты ему? Чужой.

Я слушал, ушам своим не веря, но все запомнил, а Габдолла продолжал свой рассказ про Аблая:

– Происходит наш хаджи из рода кошебе, ответвления убмет. Предки его большим богатством не владели, но славились красноречием и хитростью и были судьями – биями рода. Так, дед его Майлы считался одним из самых известных биев и ближайших советников хана Аблая. В честь этого знаменитого Аблая наш хаджи и получил свое имя. А Жамак, его отец, учился в Бухаре, и вся степь знала его как ученого – уляма.

– Жамак! – вспомнил я и прочитал наизусть строфу слышанного когда-то стихотворения:

Жамак достоин похвалы,
Духовных полон сил.
Не зря он юным у муллы
Плоды наук вкусил.

«Вам нужен знания запас,
Как плов и бешбармак», –

Перед своею смертью нас
Учил мудрец Жамак.

– Значит, отцом Аблая был умудренный науками Жамак? Но в таком случае почему Аблай носит фамилию Рамазанов?

– Рамазан – старший родной брат Жамака, после смерти отца он усыновил Аблая.

– Аблай, говоришь, не очень богат?

– Богатством он прежде особенно не славился.

– А как же он стал хаджи – паломником?

– О! Это целая история...

Охотник до интересных историй, я попросил Габдоллу не утаивать ни одной подробности.

– Наш хаджи в юности был большим озорником и доставлял немало беспокойства и чужой, и своей родне. Ему было пятнадцать лет, когда он тайком увел чужую невесту. Опозоренный отец вынужден был откупаться почти всем своим скотом. А когда Аблаю исполнилось восемнадцать лет, он вступил в спор с Самтыком, бывшим долгие годы влиятельным бием. Оспаривая звание у Самтыка, стремясь занять его место, Аблай снова едва не разорил вконец своего отца. Но в эти же годы он познакомился с простоватым и кротким богачом Андамасом, помогал ему торговать, конечно, не забывая и себя и сам стал богатеть. На деньги Андамаса он и совершил паломничество в Мекку.

Тут я прервал Габдоллу, вспомнив, что имя Андамаса слышу уже не впервые. В детстве, в аульные вечера, я уже слышал рассказы о его приключениях, полные забавного степного юмора, почти фантастические и тем не менее вполне достоверные.

Так разреши мне, читатель, сделать краткое отступление и передать тебе эту необыкновенную историю, в которой, быть может, ты найдешь не только зерна развлечений, но и семена полезных знаний о темноте баев и их самодурстве.

Я должен вначале оговориться. В казахские аулы, кочевавшие на протяжении веков, ислам, если верить календарю, проник очень давно. Но, по существу, эта религия вплоть до прошлого столетия была чужда большинству казахов.

Одним из таких казахов и был простоватый, казахский бай Андамас. Он никогда нигде не учился, не знал, как говорится, что арабская «А» похожа на палку, не читал молитв, не соблюдал постов, о догмах веры и понятия не имел. Словом, этот невежественный человек, кроме скотоводства, ни в чем не разбирался.

Иное дело – Аблай. В молодости он учился помусульмански, да и русскую грамоту неплохо знал. Ворочая торговыми делами Андамаса, он задумал совершить паломничество в Мекку, конечно, на средства своего хозяина. Аблай начал рассказывать Андамасу о Мухаммеде и его учении, о Мекке и после долгих бесед убедил его предпринять путешествие в Аравию, в святые места.

В те времена баи обычно ездили в Мекку на своих собственных лошадях вдоль южного берега Каспия, через Иран, Ирак и Палестину, тратя на такое путешествие около полутора лет. Но у Андамаса денег было достаточно, и Аблай повез его на поезде, сперва до Одессы, потом пароходом по Черному, Средиземному и Красному морям прямо в Медину. Вот от Медины-то и начинаются приключения Андамаса, о которых потом долго вспоминали со смехом степные рассказчики.

Из Медины в Мекку было принято ездить на верблюдах – это путешествие занимало двенадцать дней. Аблай и Андамас поступили так же, как все паломники.

Как утверждает ислам, Мухаммед родился в Мекке и там же возвестил миру о своей пророческой миссии. Но земляки пророка не только не поверили новому учению, а даже пригрозили убить его. Мухаммед на верблюде бежал из Мекки в Медину. По дороге его усталый верблюд прилег отдохнуть. Именно на этом освященном легендой месте паломники обыкновенно делали привал и заставляли своих верблюдов на короткое время ложиться. Но, по степным представлениям Андамаса, принуждать верблюда ложиться в пути без особого повода значило накликать на себя беду.

Когда караван-баши паломников, соблюдая религиозный обычай, остановил верблюдов и заставил их лечь на священное место, Андамас, посчитавший это дурным предзнаменованием, полез в драку с арабом –

вожаком каравана. Появились полицейские, схватили разбушевавшегося паломника и посадили в тюрьму. Аблаю только за большие деньги удалось выкупить взбунтовавшегося Андамаса.

Второе происшествие случилось с ним в самой Мекке, у священного черного камня хажир-асват, пристроенного к Каабе. Мусульмане тут должны обнажаться, оставшись в одном переднике, семь раз обойти вокруг Каабы. Все разделись, кроме, разумеется, Андамаса, Негодую, он сказал:

– Я не такой дурак, чтобы за тридевять земель от родной земли обнажаться на чужбине и потерять свой стыд! И потом, – добавил он, – здесь такая жара, что если я совсем разденусь, то погибну от солнца.

Аблай и другие паломники стали его уговаривать:

– Если вы не разденетесь, как требует мусульманский обычай, бог не услышит вашей молитвы.

Но упрямство Андамаса было не в пример прочнее его благочестия.

– Черт с ней, с молитвой, – ругался он, – пусть она не будет услышана! Но во имя звания паломника – хаджи – я не хочу терять стыд и тем более умереть здесь от жары!..

Третье приключение произошло на горе Гарафат, с вершины которой, по преданию, Мухаммед разговаривал с богом. В память этого события паломники и совершили восхождение на Гарафат. В исламе есть четыре основных секты. Одна из них, к которой принадлежат казахи, секта имама Агзама, так называемая Сунни. Паломники-сунниты, по обычаю, не должны подниматься выше половины горы. Но Андамас не пожелал считаться с религиозным запретом и полез выше установленной для суннитов черты.

– Ой-бой, выше нельзя! – крикнул Аблай, останавливая его за полу.

– А почему другие поднимаются?

– Им разрешает ислам.

– А вера у них наша?

– Наша.

– Ну, тогда и я пойду за ними! – вновь заупрямился Андамас и, ударив Аблая, вырвался и взобрался на самую вершину.

Четвертое происшествие случилось при заклании жертвенного барана. В Мекке, где скапливается много бедных, нищие, по принятому обычаю, держат барана за ноги, и как только паломник, владелец барана, перерезает ему горло, сразу же уносят его домой. Так хотели нищие сделать и с бараном Андамаса, но наш бай раскричался, сжал кулаки, разогнал нищих и отобрал у них своего барана.

Его стали уговаривать, но он был непреклонен.

– Мы в этой Мекке прожили долго, но никто не пригласил нас в гости, не зарезал для нас даже тощего козленка, – к чему же я им буду отдавать жирного барана? Лучше уж мы его съедем сами!

– Это ведь священная жертва, она принадлежит беднякам, это по праву их доля! – пробовали его снова наставить на путь благочестия.

– Свою долю бедные получают у меня в ауле, а этим оборванцам я и куска не дам! – отвечал упрямый бай.

У колодца со святой водой – зямзям – в пятый раз проявил бай свой строптивый характер. По преданию, этот источник открылся на месте рождения пророка ислама, сына Авраама. Кто, сказано, изопьет святой воды, тот будет удостоен райских блаженств. Поэтому паломники на немалые деньги покупают эту воду и в круглых запаянных флягах привозят домой и угощают по глотку родных и знакомых.

Аблай и Андамас тоже стали в очередь к священному источнику.

– Это еще что за невидаль? – спросил Андамас.

– Святая вода, – ответил Аблай и объяснил ему происхождение источника.

Тогда Андамас попробовал глоток на вкус и запах.

– Да ведь она воняет, как вода Итбалыка – Тюлень его – в нашем крае! – поморщился он.

– И все же надо купить! – говорит Аблай.

– Ах, если так, покупай! Эти хитрые арабы, считая паломников простачками, продают им втридорога даже вонючую воду. Но они богаче не станут. Вот что, Аблай, берем сразу целую бочку! – решил похвастать Андамас.

И отговаривать его было бесполезно. Перед самым отъездом из Мекки Андамас отличился в шестой раз.

– Слушай, Аблай, признаться, я забыл, как звали этого араба, которому мы приехали поклониться?

Аблай не сразу понял, в чем дело, и наконец гордо ответил:

– Мухаммед!

– Так вот скажи – ты больше меня ходил по Мекке и должен все знать, – остались ли у него потомки?

– Кажется, семей сорок еще живут! – пошутил Аблай.

– Ты немедленно сходи к ним, побеседуй – пусть с десяток семей переселяются за мой счет в нашу степь.

– А зачем они вам понадобились?

– Здешняя земля и люди мне не нравятся. Скучно разглядывать голые пески. На солнце жарко, как в крошечном аду. Народ тут бедный, голодный и оборванный. Пускай лучше переселятся в наши края! Всем нашим кереевским родом поможем, дадим юрты, скот на первое обзаведение – пусть живут аулом Мухаммеда.

Рассказывали еще об одной, седьмой, выходке бая Андамаса, когда он уже вернулся из паломничества домой. Собрались у него по случаю возвращения близкие, родичи, друзья и знакомые, стали его расспрашивать о священной земле Мекки и Медины, о народе, что живет там. А бай Андамас, ставший теперь Андамасом-хаджи – паломником, – усмехнулся и ответил:

– Послушайте меня, не теряйте ум и здоровье, не ездите туда, не обрекайте себя на мучения. Там даже собака на привязи жить не станет!

Вот так впервые путешествовал Аблай по святым местам на средства нечестивого бая Андамаса. Второй раз, когда он сопровождал в Мекку уже известного читателю миллионера Альти Кокенова, ему удалось повидать несравненно больше. Альти не скупился на затраты. Паломники из степного аула побывали не только в Мекке и Медине, не только объехали многие страны Востока, но и посетили даже Западную Европу. Было это накануне первой империалистической войны.

– Неужели это все правда? – спрашивал я Габдоллу, когда мы после бани были уже на пути к квартире Аблая.

– Что ты хочешь от темного человека? Разве я могу все знать? – увиливал от прямого ответа Габдолла. – Но если люди говорят, что он объездил весь белый свет, то почему бы им не верить?

Зато на мой вопрос о нынешних делах Аблая Габдолла отвечал с завидной точностью:

– С прошлого года, с той поры, как он занялся торговлей, хозяйство его стало крепнуть и дела пошли на лад. Он имеет около тридцати породистых лошадей и двадцати дойных коров, да еще около трехсот овец.

– А капиталы у него велики?

– Это он держит в тайне, – улыбнулся Габдолла. – Впрочем, теперь деньги обесценились. Аблай их, конечно, не копит, предпочитая бумажкам вещи, которые не потеряют цены при любой власти.

Так мы незаметно приехали к дому Дюйсембая, где во время моего пребывания в городе останавливался Аблай.

Гостиная одноэтажного большого дома, сложенного из сосновых бревен, была полна народу. Вдоль стен на коврах и одеялах, подогнув под себя ноги по-казахски, сидели или, опираясь локтями на подушки, полулежали гости Аблая. Сам он находился в центре комнаты и поддерживал веселый, судя по его громкому смеху, разговор.

Стоило нам только войти, взгляд Аблая сразу остановился на мне.

Я выкрикнул слова положенного приветствия и хотел, по обычаю, обойти всех с рукопожатием, но Аблай самодовольно хохотнул и сманил меня к себе.

– Ишь ты, курносый, вырядился, как городской фронт! Ну, иди же сюда, садись рядом!

И он, слегка подвинувшись, показал на место возле себя.

Удивленные таким вниманием, гости стали наперебой задавать вопросы обо мне.

– Моя близкая родня! – многозначительно и кратко ответил Аблай.

Хотя мне еще не было понятно до конца такое заботливое внимание Рамазанова, я в тот же вечер напрямик его спросил, когда же он может отправить меня домой.

– Не торопись, жигит, – успокаивал он меня, – закончу свои дела – их у меня хватит еще на неделю – и поедем вместе.

Вскоре я узнал, что «дела» Аблая мало чем отличались от «дел» Бакена и Боржабая, доставивших меня

в прошлую осень в Петропавловск. Так же, как и они, Аблай раздобыл бумажку с разрешением приобретать товары для аульной кооперации. Но Аблай действовал решительнее и рискованнее моих бывших нерасторопных спутников. Он уже нашел здесь надежных и сильных покровителей и сумел получить из их рук много товара, часть которого уже была отправлена на нескольких подводах.

Аблай решил ехать не напрямик, а южным берегом Ишима, чтобы проведать родню жены в Андагульской волости. Нам предстояло ехать туда от Петропавловска больше восьмидесяти верст через казачьи станицы и казахские аулы.

Установилась теплая погода. Снег в степи стал грязновато-серым и начинал быстро рыхлеть. Кое-где уже темнели проталины.

– Рано тает в этом году, – сказал Аблай, – к концу марта степь будет чистой.

Ехали мы неторопливо, давая отдых и себе и лошадям. Когда на нашем пути встречались казахские аулы, Аблай останавливался у баев полдневать и на ночлег. Каждый бай оказывался старым приятелем Аблая. И всегда случалось так, что Аблай, покончив с чаепитием и чуточку отдохнув, уединялся с хозяином и вел долгую беседу. О чем только они могли говорить?

По дороге Аблай рассказал мне о родне своей жены.

– Не доводилось ли тебе слышать про Зильгару и Шопана? – начал он, по обыкновению, с вопроса.

Я подтвердил, что слышал.

– А что ты о них слышал?

– Были, говорят, такие богатые люди...

– Что правда, то правда. Шопан – дед моего тестя. У Шопана было семь сыновей. Один из них, Сандыбай, ездил в Петербург и участвовал в коронации Александра Второго. Он был щедро одарен царской казной, получил на плечи почетный халат и был пожалован офицерским чином. Долгие годы Сандыбай прослужил волостным управителем. Остальные его братья, в том числе и Салик, могли с ним соперничать в богатстве, но оставались в тени. Сын Салика, Жусуп, – отец моей жены. Одного ее брата, Абу, ты мог видеть в Петропавловске – он инспектор просвещения уездного

комитета Алаш-Орды. Другой, младший брат, Билял, живет в ауле. Когда я женился, он был зажиточным, а сейчас обеднел. Мы к нему и едем.

Иногда у меня с Аблаем возникали разговоры и на политические темы. Здесь он был куда как меньше словоохотлив. Покровительствуя мне, изображая заботливого, доброго дядю, он, однако, не очень-то мне доверял. И, сдержанно пытаясь при мне оправдать Алаш-Орду, говорил о ней как о жертве тяжелого, неустоявшегося времени.

– Мы все шли против царя, – убеждал меня Аблай, – и за это много вытерпеть пришлось нам. Когда царь был свергнут и наступили свободные дни, мы подняли алашское знамя во имя независимости нашего народа. Это правда, но времена опять меняются, и, скрывать нечего, красные приближаются в наши края. Если и у нас будут Советы, мы пристроимся к ним и, убедившись, что новая власть подходит и для казахов, не откажемся от ее поддержки.

– А вдруг по-другому будет: новая власть окажется подходящей не для всех казахов, а только для бедноты, как же тогда быть? – с невинным видом спросил я Аблая.

– Ах ты, курносый хитрец! – Он толкнул меня в бок с шутивым заигрыванием. – А кто тебе сказал, что я богач?! Подумай только – разве богатый человек поедет в Мекку на чужие деньги? Вот приезжай в наши аулы и сам узнаешь, кто настоящий друг бедноты, кто ей помогает. Да будь потеряна у меня совесть и доброта, с какой бы стати повез я тебя лишним грузом в такую даль? Кто ты мне и для чего ты мне? Неужели ты не видишь во мне благородства и жалости к людям? Разве Советская власть не разберется в моих поступках?.. Разве ты сам, наконец, сможешь сказать обо мне что-нибудь плохое?

Его гулкий, громоподобный голос становился тихим и журчащим, словно медленный ручеек. Временами он переходил в робкий, вкрадчивый шепот:

– Разве ты не расскажешь о моей доброте?

– Расскажу, если меня спросят, – не слишком-то уверенно отвечал я, думая про себя: «Значит, туго тебе приходится, Аблай-хаджи, коли ждешь ты заступни-

чества от таких, как я, бедняков и сирот. Да, я расскажу все, я ровным счетом ничего не утаю, но будет ли тебе от этого легче?»

Брат жены Аблая, Билял, к которому мы ехали, и в самом деле оказался бедняком. В этой семье жила и жена брата Абу – статная, приятная лицом женщина.

Остановившись у своего шурина, Аблай редко бывал дома, предпочитал гостить у всех окрестных баев, обильно потчевавших его мясом. Он, понятно, продолжал скрытные свои разговоры, но не забывал и обо мне. Аблай хотел приблизить меня к себе, пригласиться, приручить, а потом устроить учителем в одном из соседних аулов. Впрочем, все это мало ему удавалось. Я был достаточно сдержанным с ним, не всегда ему угождал и временами задавал щекотливые, двусмысленные вопросы. Он так и не сумел раскусить меня до конца и, справедливо сомневаясь в моей преданности, не стал настаивать на осуществлении своих планов.

Однажды я случайно узнал, что близкие мне люди, о которых я давно тосковал, живут неподалеку от зимовья Биляла. Оставалось только дожидаться удобного случая, чтобы отправиться к ним. Аблай уже не стеснял меня. И такой случай скоро представился. Один из здешних жигитов собирался ехать за своей невестой как раз в этот аул, где жила моя старшая сестра Дамеш.

Надо было торопиться. Снег быстро таял, уже чернели степные бугорки, и зеленоватая вешняя вода рябила под солнцем над ишимским льдом. Еще несколько дней промедления – и связь с другим берегом реки могла быть прерванной.

Жених поспешно собирался в дорогу и вместе с дружками на нескольких санях выехал за невестой. Одновременно пустился в путь и Аблай, решивший переправиться с нами через Ишим и от поселка Плоское, или Пласкеу, как говорят казахи, продолжать свой маршрут.

Мы с трудом переехали Ишим, полозья саней не раз погружались в воду, потрескивал лед, готовый тронуться с часу на час. Плоское было недалеко от берега. Старший дружок жениха Кожамет, поравнявшись саними с Аблаем, сказал ему:

– Да, одежда ваша намокла. А у меня в поселке есть богатый приятель Семен Сычной. У него можно остановиться, высушиться и, понятно, согреться.

Аблая не надо было долго уговаривать.

Среди саманных, крытых соломой, многочисленных домиков Плоского возвышались кое-где и большие деревянные дома. В одном из них жил Семен Сычной. Кожахмет постучал в ворота. Навстречу нам вышел здоровый, богатырского сложения, рыжебородый, краснолицый мужчина. Увидев Кожахмета, он расплылся в улыбке. Это и был сам Сычной.

Он предложил нам отдохнуть на кухне, стоявшей в стороне от большого дома. Ее жарко протопили, словно к нашему приезду, и в ней удобнее было обсушиться. Спутники мои сбросили верхнюю одежду и устроились около печи, но у меня все было сухим, и я вышел во двор взглянуть на хозяйство Сычного. Благо, там было на что посмотреть.

В конюшне переминались с ноги на ногу упитанные, чистокровные аргамачи. Я поднял руки и едва дотянулся ладонью до холки рысака.

Но то, что я увидел в коровнике, было достойно не меньшего восхищения. Красные, с рыжеватым отливом и белыми лысинами коровы и быки показались мне ростом чуть ли не с верблюда. И таких животных было голов пятьдесят. Соседний телятник был закрыт, но я догадался заглянуть в щель и рассмотрел годовалых телят, равных размерами трехлетним бычкам местной казахской породы.

Откуда-то послышалось хрюканье. Не подозревая об опасности, я приоткрыл дверцу загончика, вошел и ахнул. Прямо передо мной огромный, подобный быку, кабан шевелил большими ушами. И вдруг, свирепо хрюкая, он бросился на меня. Испуганный, я выскочил из свинарника и запер дверь.

– Ну как, добрый кабан? – спросил меня внезапно появившийся дожий парень, по всем приметам работник Сычного.

– До-о-обрый! – протянул я. – А сколько пудов этот добрый тянет?

– Недавно мы взвешивали одного кабана чуть поменьше – то он вышел на десять пудов. А этот потянет еще больше.

Во время нашего разговора к свиарнику подошла плотная и краснощекая молодая женщина с полным ведром в сильной руке. В легкой шали и в черной бекеше из домотканого сукна, она выглядела почти нарядной. Рабочие сапоги плотно обтягивали ее мускулистые ноги. Не задерживаясь около нас, женщина скрылась в свиарнике.

– Кто это?– спросил я шепотом.

– Хозяйская дочь.

– Замужняя?

– Нет, только просватана. Уже должны были сыграть свадьбу, но жених, офицер, ушел в армию. И свадьбу пришлось отложить.

– А сколько ей лет?

– Двадцать четыре.– Парень ехидно улыбнулся.– Собственно, зачем тебе все это знать?

Ну как я мог объяснить ему юношеское свое любопытство...

– Я думал – сноха.

– Почему же?

– Уж очень полная, похожа на бабу.

Парень рассмеялся низким, грудным смехом. Это даже рассердило меня.

– Ты чего хохочешь?

Он подмигнул мне:

– Да что там говорить, спелая девка!

Разбитной парень, как я и предполагал, работал у Сычного конюхом.

– Большое хозяйство. Как вы только управляетесь?

– Хозяин управляется!

– Да нет, я же о работниках спрашиваю.

– А-а! Ну и работников хватает.

– Кто же они?

– Эх ты, несмышленная голова! Кто они! Бедняки, конечно. Особенно много их теперь, в военное время. И на германской, и на гражданской сколько мужиков погибло! Трудоспособных в Плоском осталось совсем мало. Теперь больше работают бабы-солдатки да девки. У многих уже нет ни рабочего скота, ни плуга, свою землю пахать нечем. А жить чем-то надо! Вот и остается работать на кулаков, таких, как мой хозяин. Кулаков мало, а бедняков много. Во время посева,

сенокоса, обмолота беднота валом валит к кулакам. И хозяину выгодно: у него есть выбор, и платить он может дешевле. Да что платить! Ведь многие идут работать просто за харчи. Видал нашего Сычного? Он прожорливее этого кабана! А жадный – и не говори!

– Все богачи одинаковы, – вздохнул я. – Вот скажи лучше: почему ты не попал в солдаты?

Конюх плутовато оглянулся.

– Я слышу только тебя, а для других глух на оба уха. Сообразил?

Я понимающе кивнул головой, считая, что с моей стороны было бы не совсем вежливо углубляться в эту тему.

– А у Сычного есть сыновья?

– Четверо. Трое живут в отделе, своим хозяйством, а младший был еще не женат. Теперь все четверо служат в белой армии у Колчака, и все офицеры. Один, говорят, даже подполковник.

– Ах, вот почему засиделась эта девка!

– Не-е-ет, ты не все понял, – растолковал мне парень. – Раньше, при сыновьях, он не выдавал своих дочерей раньше тридцати лет. Выдерживал девок, хотел сперва сыновей обеспечить наделами. Да и эту рано не рассчитывал отдать. И только уговорили папашу, как, к несчастью девушки, жениха забрали в армию накануне свадьбы.

Жизнь русской кулацкой семьи становилась мне яснее и яснее. Но меня продолжал интересовать скот Сычного.

– Сколько же у него овец?

– Более двухсот. Но какие, парень, овцы! Одна стоит четырех или пяти овец, что у вас в аулах разводят. Как на подбор, чистокровные мериносы, с каждой стрижет фунтов по десять шерсти. А шерсть – что шелк.

– А еще что у него есть?

– Верблюдов у него нет, не любит он и коз. Зато в птице души не чает. Ты видел его гусей, уток, кур? Один гусь стоит овцы! Сотню с лишним гусынь завел он, почти столько же уток и вдвое больше кур. Хочешь посмотреть?

Я уже было охотно отправился вместе со своим провожатым на птичник, но слышался голос

Габдоллы, звавшего меня в дом по поручению Аблая. Но я не особенно торопился и продолжал расспрашивать разбитного конюха.

В прошлом году Сычной посеял всего сорок десятин. Однако лето вышло урожайное, по восемьдесят пудов собрал на круг с десятины. Оставил себе и на корм скоту сколько нужно, а все остальное сдал властям.

– Властям?– переспросил я.– Каким властям?

– Вот же чудак!– пристыдил меня конюх.– Другой власти, кроме колчаковской, у нас пока нет.

– Что же он, добровольно сдавал?

– А как же! Он даже денег за хлеб еще не получал. И за скот тоже. Хотя пригнал Колчаку тридцать свиней, двенадцать быков, голов пятьдесят овец.

– И за скот ничего не заплатили?

– Заплатят, как же!– Конюх ехидно ухмыльнулся.– Ведь у Колчака казна пустая, только мыши бегают.

– Почему же твой хозяин так благоволит Колчаку?

– Как же ему иначе быть?– Тут он заговорил вполне серьезно:– Все богачи смертельно боятся прихода красных. Они готовы отдать не только свиней и овец, но и законных жен, лишь бы Колчак победил Советы.

– А что говорит Сычной? Кто, он думает, победит?

– Он-то говорит, что белые. Да ведь болтать можно что угодно. На словах все они вояки.

– Это значит, белые на словах вояки?

– И ты еще спрашиваешь!

– А как ты думаешь?

Конюх лукаво и проницательно взглянул на меня, но ничего не ответил.

Разговор наш был прерван появлением Аблая и Сычного. Очевидно, хозяин тоже показывал гостю свой двор.

– А ты что тут делаешь?– зычным своим голосом оглушил меня Аблай.

– Да вот знакомлюсь с хозяйством.

– И что же увидел ты?

– Замечательный у него скот, Аблаке!

– Ишь ты, глазастый! Уже успел все разглядеть!– засмеялся Рамазанов.– А ведь верно подметил. Я с тобой согласен, Сабит. Разве у нас, у казахов, настоящий

скот? Куда там! Одно название, а не скот! Племенной, породистый скот, приносящий доходы, – у русских! В дальней дороге казахская лошадь с трудом осилит больше двадцати пудов, а вот его лошадь и шестидесятипудовый груз повезет без натуги. В ауле корову подоят – только дно ведра закроют, а у Сычного от каждой коровы удой ведрами считают.

К нам присоединился Кожамет. Аблай и с ним поделился своими впечатлениями.

– Я думаю, Аблай-хаджи, вы тоже решили взять с него пример? – нащупал Кожамет больное место у Рамазанова.

– Нет, мы люди скромные, на такие дела у нас духу не хватит. Да я ведь недавно и занялся животноводством.

– Впереди еще долгая жизнь!

– Ох, не знаю, не знаю, долгая ли она будет! – разоткровенничался Аблай. – Да будет ли?

– Почему ж это так? – И Кожамет сделал вид, что ему непонятны сомнения Аблая.

– Разве не видишь, жизнь стала беспокойной, словно ртуть, – снова тяжело вздохнул Аблай. – Вот ты сегодня едешь на свадьбу, а знаешь ли ты, что будет завтра?

Аблай так и не закончил своих горестных размышлений – нас пригласили в дом, к столу.

Кожамет медлил, не притрагивался к закускам, смущенно и лукаво улыбался.

– Ну, шурик, что это ты тянешь? – заметил Аблай его озорное смущение.

Кожамет не растерялся! Ему только и надо было, чтобы на него обратили внимание, и он начал напрямик:

– Зная ваше паломничество в Мекку и сан хаджи, я должен был при вас молчать. Но на правах родственника скажу откровенно: день сегодня прохладный, в Ишиме мы чуть не искупались. Словом, не мешало бы нам немного... – И Кожамет, не окончив фразы, воровато подмигнул и Аблаю и Сычному.

– Я понимаю, чего жаждет твоя ненасытная утроба. Недаром ты атыгаевец, про которых говорят, что если уже продал в Кызыл-Жаре воз дров, то мимо монопошки спокойно не пройдет. Что ты, впрочем, меня

спрашиваешь? Возьми да и выпей!– Аблай, посмеиваясь, взглянул на своего томящегося родича.

В эту же секунду Сычной перемигнулся со своей женой, и, очевидно заранее предупрежденная и Сычным и Кожахметом, она выплыла из комнаты и очень быстро возвратилась с объемистым глиняным кувшином, заткнутым пучком сена. Кожахмет принял драгоценный сосуд и вытащил травяную затычку. Комната сразу наполнилась кисловатым, остро бьющим в нос запахом самогона.

– Теперь полагается это разлить!– сказал Кожахмет, приготавливая чашки.

– Итак, жезде,– с напускной суровостью обратился он к Аблаю,– следует муллу свалить и в его горло лить! Это не мои слова, так говорил сам мулла! Хаджи и мулла – все вы одного племени... И еще есть пословица? «Отраву пить – так в компании!» Я думаю, вы не отстанете от нас. Первую чашу вам!

Аблай приличия ради немного помолчался, но, когда все стали его шумно упрасивать, махнул рукой.

– Ах ты, атыгаевец, только что чуть не потопил меня в Ишиме, а теперь решил потопить в грехе!

С этими словами он взял чашку и осушил ее до дна, не крикнув и даже не поморщившись.

После самогонки и чая принесли горячее блюдо. Это была настоящая гора жирной гусятины и утятин. Толстая супруга Сычного, желая угодить своим аульным гостям, приправила мясо крупно нарезанной лапшой. Получился настоящий бешбармак.

– Про моего друга Сычного ничего худого не скажешь,– нахваливал подвыпивший Кожахмет хозяина,– душу отдаст, а в гостеприимстве не уступит уважающему обычаи казаху!

Обед закончился. Однако Аблай и не думал отдыхать. По заведенному им правилу он уединился для беседы с хозяином дома. Остальные путники в это время собирались в дорогу. Давно были накормлены и напоены лошади, казалось, все уже готово к отъезду, но Аблай и Сычной никак не могли наговориться.

– И чего они только прилипли друг к другу?– возмущался один из нетерпеливых дружков жениха.–

Неужели им не надоело болтать? Кажется, совсем чужие люди, едва успели познакомиться – и сразу так подружились, что водой не разольешь.

Кожамет посмеивался в усы.

– Разве ты забыл старую казахскую поговорку: «Если на тырле за пригорком заныли рога у тридцати коров, то в открытой степи болят рога у сорока коров». Крепчает буря, шатается власть Колчака – у баев ломит кости и в степи, и в ауле. У них одна печаль, как у блудных баб: и казахский бай, и русский кулак вместе жалуются на судьбу.

– Они не только печалются, не только жалуются, – сказал кто-то с уверенностью в голосе, – они еще совет держат, как бы не допустить сюда красных. Вы думаете, они уже готовы признать большевистскую власть и подчиниться ей? Как бы не так! Они ведь только с виду невинные овечки, а на деле хищники, припрятавшие свои когти. Придет пора – они еще их покажут, попробуют нас когтями разорвать на части.

ГОРЕМЫЧНЫЙ САУЫТ

В аул Хусаина-хаджи, где жили мой зять Сауыт и сестра Дамеш, мы приехали на закате. Мне показали на небольшой домик, возле которого низенький бородастый человек расчищал грязный, подтаявший снег.

– Ассалам алейкум! – приветствовал я бородача, протягивая ему обе руки.

– Алейкум ассалам! – произнес он, нерешительно принимая мои ладони и с удивлением вглядываясь в меня. – Кто ты, молодой жигит, откуда, чей ты сын?

– Не ошибся ли я, – отвечал я вопросом на вопрос, – это ведь дом Сауыта?

Бородач кивнул головой, продолжая испытующе всматриваться в мое лицо. Имя моего отца Мукана положило конец его недоумениям, и он несколько раз с восторгом повторил:

– Сын Мукана? Правду ли ты говоришь? Верить мне или нет?

Едва я собрался рассказать ему по порядку о всех своих злоключениях, как он притянул меня к себе.

– Ничего не надо говорить больше, сиротинушка моя!– обнял он меня и с отцовской нежностью, по казахскому обычаю, дотронулся губами до моих щек.– Милосердный аллах! Мне сообщили в Мамлютке, что прошлой осенью ты уехал учиться в Омск. Мы тогда думали, что это болтовня, а теперь видим тебя своими глазами.

Широким рукавом халата он смахнул набежавшие слезы. Поодаль за нашей встречей внимательно следил мальчуган лет семи-восьми.

– Иди сюда, Габдош, скорее иди сюда, не бойся своего дядю, не смущайся. Вот, Сабит, твой младший племянник.

Мальчуган, пугливо поглядывая исподлобья, пятился назад, к дому. Вероятно, родственники редко ездили сюда в гости.

– Сестра твоя Дамеш дома. Она так хотела тебя повидать, так волновалась и плакала, что я боюсь вести тебя к ней сразу. Подожди немного, лучше я сбегаю и подготавливаю ее.

Он скрылся в доме и через несколько минут возвратился с высокой плачущей женщиной.

– Где же он, где? Неужели это он? Сабит, дорогой мой!– причитала она.

Я долго не мог ее успокоить, а она ласкала меня, выплакивая вслух свою тоску по родным, жалуясь на горькую женскую судьбу. Дамеш не выпускала меня из своих рук, и если бы нас не разняли прибежавшие на плач сестры соседи, кто знает, сколько бы еще причитала она...

– Дамеш, не лей слез! Разве так можно? Ведь это большая радость, что у тебя объявился брат, вспомнивший свою сестру. Благодарим милостивого бога, пославшего тебе ближнего.

Сестра понемногу успокаивалась, а тем временем Сауыт послал за своим старшим сыном Ашкером.

Мы вошли в однокомнатный домик с низким потолком. И хотя в углу жарко пылала печь, красноватые отблески пламени все равно не могли победить наступивших сумерек. Кто-то попросил зажечь лампу. Но Сауыт растерянно заметил:

– Кажется, у нас нет керосина. Пойщи коптилку, Дамеш.

Старик сосед дружески корил Сауыта:

– Дорогого гостя нельзя встречать с коптилкой! Пусть кто-нибудь сбегает к нам и принесет нашу лампу.

Пока шла в сумерках эта суета, в комнату один за другим заходили новые люди. И вдруг, расталкивая всех, ко мне подбежал юноша, мой ровесник, чуть повыше меня ростом и посильнее, что я очень хорошо почувствовал, когда он принялся меня тискать своими крепкими руками.

Тут принесли и зажгли лампу, и все принялись разглядывать меня, сравнивая с племянником Ашкером.

– Что ни говорите, одна кровь! Посмотрите, как похожи...

– Только у нашего Ашкера нос прямее.

А я смотрел на свою старшую сестру, очень напоминавшую мне другую сестру – Ултуган. В свое время сестры мои были красивыми женщинами. Теперь лицо Дамеш избороздили морщинки, по которым можно было вести счет трудно прожитым годам. Да и располнела она, отекала, начинала сказываться старость.

Рядом с Дамеш Сауыт выглядел маленьким, жалким, сутулым. Движения его отличались вялостью, говорил он тихо, неуверенно, производя впечатление смиренного, забитого нуждой и заботами человека. В семье, кажется, верховодила сестра.

Старик, вмешавшийся в разговор и посылавший за лампой, оказался братом Сауыта – Саду. Сперва он давал шуточные указания:

– Ничего, Дамеш, не жалеяй на угощение брата!

А когда на скатерти – дастархане – появились хлеб, мясо, сыр, курт, он предостерег сестру в том же шутовском тоне:

– Смотри, Дамеш, истратишь на угощение брата все свои запасы, краснеть перед другим поздним гостем придется. Чем ты его будешь кормить?

– А если и совсем не накормлю – невелика беда. Мои родители не встанут из своих могил, а живой единокровный брат у меня один. Пожалее я что-нибудь для него – пусть собакам достанется.

Так бойко сыпала словами сестра, а в котле между тем варилось мясо, и скоро его дымящиеся большие куски были поставлены перед нами на старом деревянном блюде. Мясо было годовалого теленка, и уже по одному этому я догадался, что моего зятя Сауыта нельзя было причислить к зажиточным: теленка на зиму мог зарезать только бедняк.

Долго продолжалась наша трапеза, а ранним утром Сауыт был уже на ногах. Вместе с ним прошел во двор и я. Сауыт убирал хлев, задавал корм стельной корове и тощей кобыле-двухлетке, нескольким овцам и козам.

– Курносый не скроет носа, плешивый – лысины, добрый человек – достатка, – говорил мне Сауыт, продолжая хозяйничать по двору. – Мудро придумали старики, мой милый. Вот и мне от тебя нечего скрывать. Я ведь с десяти лет батрачил и после женитьбы тоже работал у чужих. Вместе с нею, с Дамеш. Однажды я подсчитал: сорок два года пришлось мне батрачить, а твоей сестре – больше тридцати. Вокруг не найдется бая или русского кулака, на которых бы я не гнул шею. Удивляюсь я одному: много жил я у русских, а ни одного русского слова не знаю. И по-казахски неграмотен. Должно быть, родился я бестолковым.

Сауыт передохнул, опираясь на лопату.

– А потом, в год Коровы, появился на свет твой племянник Ашкер. В одно время с тобой. Вы одногодки. Я приезжал тогда провести вас. После Ашкера твоя сестра долго не рожала сына, а потом подарила мне младшего – Габдоша. А до него у нас было пять девочек. Трех вырастили и выдали замуж, а две девочки умерли еще в детстве. Когда Ашкер стал подрастать, я решил: пускай мне не довелось увидеть светлого детства и с малых лет тянул я чужую лямку, зачем же сыну повторять мою горькую судьбу... Так я бросил батрачить и переселился в свой родной аул. Но, увы, правдивы старые пословицы: «Богатому родственнику завидуют, бедного презирают!», «Плакать хорошо с ближними, угощаться с чужими!» Когда я был далеко от родного аула, родичи жалели меня, но стоило мне возвратиться и попытаться стать на ноги, как они отвернулись от меня. Как я не люблю споры и

раздоры! Я хотел жить тихо и скромно, в мире и согласии со всеми, трудиться в меру своих сил и никому не мешать. Но ничего по-моему не вышло, Простоту и честность не очень-то у нас уважают. Сильный всегда стремится обидеть слабого. А богатый родич сочувствует тебе, когда ты далеко от его аула... Если же он станет твоим соседом, то первый сядет тебе на шею. Я это вот к чему говорю. Самый богатый и потому почетный человек в нашем ауле Оспан, сын Хусаина-хаджи. И в речах его никто не переспорит. Оспан и я – оба из рода андагул. Утемис – наш общий праотец в четвертом или пятом колене. Стало быть, мы единокровные родичи. Но Оспан стал моим непримиримым врагом. Прежде, бывало, он сам приглашал меня: «Переселись в мой аул, голодными или сытыми – проживем вместе». Но пустыми оказались его слова.

С тех пор, как я переселился сюда, не только добра от него не видел, но и злобу его испытал. Оспан не пожелал мне выделить даже клочка земли, чтобы я мог накосить сена вот для этой клячи и коровенки... А в лугах по берегу Ишима вдоволь травы. Руки мои, пожалуй, до нее достали бы, но и там не позволяют нашему брату косить.

Сауыт волновался все больше и больше.

– Бедняки, вроде меня, косят сено в оврагах да по склонам балок. Показал бы я тебе доставшийся мне участок, ты возмутился бы, дорогой мой. В дождливый год там еще можно взять стожок сена, а в засуху не накошишь и воза, даже если выберешь все до последней травинки. К тому же мой сенокос лежит на пути караванов, кочующих на джайляу. Два раза в год – весной и осенью – скот поедает и вытаптывает траву. Если я не успеваю вовремя скосить и свезти сено во двор, моя скотина остается без корма. А вовремя скосить не всегда сил хватает. Так вот из года в год и попадаю в беду. Ашкер теперь, можно сказать, жигитом стал, но баловал я его прежде, жалел. Не хотелось, чтобы он, как я, с юных лет наживал себе горб. А Дамеш постарела, в поле она уже не работник, трудно ей косить, как прежде. Вот все хозяйственные заботы и падают на мои плечи. А я что? Старый, изношенный сапог! Прежнего здоровья нет.

Подходит старость. Сорок лет богатеи вытягивали из меня душу. Иной раз верчусь волчком от боли. А порой так заломит в пояснице – ни лечь, ни встать не могу. Или зануют ноги в суставах, начнут дрожать. Вот и скосил я прошлым летом всего-навсего один небольшой воз сена. Вижу, им моей скотины не прокормить. Жалей не жалей, но пришлось мне тогда отдать моего Ашкера внаем одному русскому кулаку из соседнего поселка Аркалык. Заработал он немного соломы – она и пошла на корм. А вот там, в углу, – он показал на кучу зеленого сена, – раздобыл немного клевера для коровы после отела. Берегу его, как топленое масло.

Невеселые шутки его таили в себе правду. Сестра Дамеш на радостях опустошила свои лари и положила в котел весь остаток телятины. Два дня мы еще угощались супом, а на третий пришлось подтянуть животы. Зятю было стыдно передо мной, он бегал по аулу в поисках мяса, но безуспешно – денег у него не водилось, а в долг не давали. И запасы муки в доме Сауыта тоже подходили к концу, хлеба и то не пришлось есть вволю.

Я не захотел быть лишней обузой сестре Дамеш и горемычному Сауыту и решил подыскать себе работу. Мне казалось самым подходящим устроиться где-нибудь в ближнем ауле, учить детей грамоте. Вскоре мои поиски завершились успешно.

Перед выездом на место работы мне хотелось повидать деда Жабая, самого старого из моей ближней родни.

Как мне было известно, Жабай приходился родным братом Кагаз – матери моего отца Мукана. По словам Сауыта, Жабая уже перевалило за девяносто лет, но он еще хранил бодрость тела и ясность ума. Жил он в большой нужде в ауле Сактаган, на расстоянии всего семи-восьми верст от аула Хусаина-хаджи.

Я уже давно собирался навестить его, но идти в ростепель пешком было нельзя, а сауытовская двухлетка еле держалась на ногах, нечего было и думать ехать на ней по размякшим, непроезжим дорогам. Но вот снег сошел, и земля стала подсыхать. В степи появилась первая зелень, и я отправился к деду Жабая.

ДЕД ЖАБАЙ, ЗНАТОК СТАРИНЫ

С Толебаем, сыном Жабая, иду к берегу Ишима. Ноги вязнут и скользят в липкой грязи. Пронзительный ветер проникает своими ледяными руками под одежду и обшаривает тело. Чем дальше мы идем, тем упрямее и свирепее становится ветер. Он словно отталкивает нас назад. Но мы упорнее его. Мы подвигаемся вперед и в единоборстве с ветром иногда оказываемся побежденными. Он часто останавливает нас и заставляет передохнуть. Собрав силы, мы снова идем вперед.

– Такая буря случается в годы сильного разлива Ишима, – с трудом произносит Толебай: ветер мешает ему говорить.

– Но где же река? Ее что-то не видно! – кричу я в ответ.

Толебай забегает вперед и становится спиной к ветру.

– Мы идем к высокому отвесному берегу. Вода может перехлестнуть и через него. А тот берег пологий. Он весь зарос тугаем.

Ветер относит слова Толебая далеко назад. Мы двигаемся дальше и выбираемся наконец на подсохшую тропку, идущую вдоль гребня слившихся в невысокую цепь холмов. Мы идем разыскивать моего самого старого родича – аксакала Жабая.

– Далеко еще? – Я уже задыхаюсь от усталости.

– Порядочно...

– И зачем только аксакал ушел в такую даль?

Когда мы снова останавливаемся передохнуть, Толебай рассказывает мне о своем отце. Каждый год Жабай любит наблюдать ледоход на Ишиме. Как только с верховьев, со стороны озер Алаколь и Салтык, приходят вести, что Ишим вот-вот тронется, старик на заре, потеплее одевшись, уходит к берегу. Он давно облюбовал себе удобное место, и его можно всегда застать там в эти весенние дни.

– Но ведь труден путь для старика. Мы с тобой молодые, а задыхаемся. Едва сумели выбраться из грязи.

– Э-э, наш аксакал крепок и заткнет за пояс не одного жигита.

Мне не верится.

– Постой, Толебай, а сколько ему лет?

– Девяносто третий идет.

– А тебе?

– Тридцать один.

– Стало быть, ты родился, когда старику было шестьдесят два года?

– Выходит, так. Да не улыбайся ты, ради бога! Запомни: моей матери Бубек – ты ее видел – шел всего шестнадцатый год, когда она стала женой отца, а ему было уже пятьдесят шесть. Я третий ребенок у нее. И после, меня она родила еще троих. Теперь она выглядит куда старше отца...

Так, беседуя на коротких остановках, мы подошли к самому берегу. Перед нами открылась река, разлившаяся до самого горизонта. Сталкиваясь и громоздясь друг на друга, стремительно плыли огромные льдины. К ним прибивало мусор, охапки камыша, какие-то бревна. Вырванные с корнем деревья мчались в низовья.

– Ишим!– воскликнул Толебай.– Ох, и разлился, могучий! Такого половодья я еще не видел.

Для меня, выросшего у небольшого степного озера, эта картина безбрежной и яростной воды представлялась необыкновенной. Гневная и богатырская сила вырвалась на волю. Едва я останавливал взгляд на каком-нибудь обломке дерева, как стремительная волна уносила его дальше, и через несколько мгновений я уже не мог отыскать его в хаосе воды и льда...

– Посмотри, посмотри!– слышу я крик Толебая.– Да на середину реки, дальше!

На небольшой льдине уплывал одинокий волк.

Для жителей скотоводческого аула нет врага опаснее и злее волка. Серый хищник досаждал и мне не однажды.

Но здесь, на обломке льдины, он, плывущий к своей неминуемой гибели, беспомощный и мокрый, впервые вызвал у меня жалость. Присев на задние лапы, схожий с муллой во время молитвы, он, казалось мне, жалобно смотрел на нас, умоляя о спасении.

Позднее нам довелось увидеть еще более скорбное, хватающее за душу зрелище. На стрежне разлившейся реки неслась большая плоская льдина. Скользя и падая, по ней метался человек, видимо чабан, врасплох застигнутый бедствием. Сжавшиеся в кучку овцы оглашали реку тревожным блеянием. Что-то напоминающее детский плач слышалось в нем. А льдину уносило дальше и дальше. И вот она уже скрылась. Но в глазах продолжала метаться одинокая фигура чабана. Боль сжимала мое сердце. Но что мы могли сделать?

– Ишим, Ишим!– тяжело вздохнул Толебай. – Он и в милости щедр, и в гневе неистов. Случалось, в половодье он сносил целые аулы. Гибли люди, табуны, жалкое аульное имущество...

Толебай с горечью махнул рукой. Весь остальной путь до заветного места Жабая мы не обмолвились и словом.

И только когда показалось раскидистое одинокое дерево, Толебай всмотрелся, вытягивая шею, и сказал:

– Отец, наверно, там, на иве...

Ива? Что это за ива? В нашем ауле некий Кымбатбаксы, лекарь-шаман, лечивший заклинаниями многие болезни, начинал обычно свои причитания словами:

Волшебной силой кобыз наделен, –
Из корня ивы, значит, сделан он,

Мы подходили к нему все ближе и ближе.

«Так вот она какая, ива!» – подумал я рассматривая дерево. Видно, его корни вдоволь получали воды – так широко оно разрослось, образуя приземистый шатер, под которым мог укрыться целый дворик. В четыре-пять обхватов был его невысокий ствол, от которого отходили ветви, способные выдержать любую тяжесть. Ива стояла на самом краю высокого и крутого яра, нависая над Ишимом. И без листьев дерево выглядело густым.

– Ну вот и отец.

Удобно пристроившись в чаще веток, спиной к нам сидел человек в теплой шубе и в старой лисьей шапке – тымаке.

– Отец, отец!– крикнул Толебай, но шум ветра и ледохода заглушал его слова.

Наклонившись ко мне, Толебай шепнул, что Жаке немного туговат на ухо, и еще громче позвал отца.

Старик повернул голову, и я увидел лицо, обрамленное космами седых волос. Из-под кустиков белых бровей внимательно и пронзительно глядели маленькие выпуклые глаза. Вместе с небольшим ястребиным носом они придавали лицу напряженность и какую-то птичью зоркость.

– Толебай мой, это ты?– Голос его был глуховат, но отчетлив, каждое слово старик выговаривал отдельно.– А с тобой кто?

– Ты, отец, сперва спускайся к нам, а потом я тебе все скажу. Дай я тебе помогу.

И Толебай осторожно подсобил отцу выбраться из своего уютного гнезда на землю. Я почтительно поздоровался и протянул руки аксакалу. Но он обратился не ко мне, а снова к сыну:

– Так ты не сказал мне, кто этот жигит...

– Племянник твой,– похлопал меня по плечу Толебай.

– Какой племянник?!

– Ведь у тебя были близкие родичи – Мукан и Тайжаки. Он сын Мукана.

– Что ты говоришь!– совсем другим тоном, радостно и удивленно, воскликнул старик.

– Это истинная правда, отец! Он возвращается после учения из Омска. Думает теперь пожить дома, а перед этим решил показаться тебе. Не застал тебя в ауле и вот пришел сюда.

– О боже, милый мой, подойди сюда! Старик крепко обнял меня. По его морщинкам к седой бороде бежали слезы. Не сдержал своих слез и я.

– Здесь, под ивой, и сухо, и тихо, как в юрте. Она оберегает нас от ветра. Давайте посидим!

Старик, смахивая слезы, сел прямо на землю, рядом расположились мы с Толебаем.

– Моя память хранит многих ушедших,– тяжело вздохнул аксакал.– Я видел твоего отца – Мукана, отца Мукана – Шукея, отца Шукея – Бектемира. Видал твою мать – Балсары и ее отца – Байтилеу. Никого из них нет уже в живых. Как старый козел, забытый откочевавшими хозяевами на стоянке брошенного аула, жду я моего последнего часа. Вот уже и за девяносто

перешагнул. Трудно мне ходить по земле. Твои родители в расцвете сил ушли из жизни, не знали тяжести долгих годов, да будет им пухом земля! Сколько раз я собирался поехать после смерти Мукана к вам и помянуть покойного, но не сумел завязать в узел нитку, не навестил вас. Одна кляча была в моем хозяйстве, не поедешь на ней в далекий путь. Дети мои умерли, и только одного Толебая пощадила смерть. Он одна моя опора, круглый год он гнет спину, чтобы прокормить меня и старуху.

В это время неподалеку от берега проезжал на серой лошади, запряженной в легкий ходок, светлородый русский человек.

– Это же Андрей, – узнал путника Толебай, – добрый наш тамыр¹, он и довезет нас до аула!

При имени Андрея Жабай кивнул головой.

Путник подъехал к нам, и все трое оживленно заговорили, перемежая русские и казахские слова и одинаково хорошо понимая их.

Мы удобно устроились в ходке Андрея и поехали обратно к аулу. Дорогой разговор шел о разливе Ишима. Наблюдательный суеверный Жабай считал большое половодье хорошей приметой.

– Это к народному счастью, не иначе, – говорил он, убежденно поблескивая из-под лохматых бровей желтоватыми, птичьими глазами, – река разлилась на радость людям.

И, немного помедлив, стал расспрашивать Андрея о знакомых мужиках, об обычных сельских делах весною, а потом понизил голос, словно мы были не одни:

– Ну, а что слышно о красных?

Андрей замахнулся кнутом на лошадь, бросив в мою сторону беглый, настороженный взгляд, который сразу перехватил Толебай.

– Можешь не сомневаться, наш близкий, родня!

Но и тут Андрей ответил после продолжительной паузы:

– О красных спрашиваете? Это смотря по тому, кому верить. Колчак утверждает – красные бегут к Москве,

¹Тамыр – буквально, корень, а в переносном смысле приятель, друг.

а есть и другие слухи – будто они двигаются уже из Челябы сюда, в нашу степь.

– Вот это будет вернее, – поддакнул Жабай.

– Вернее? А почему? – По лицу Андрея пробежала лукавая усмешка.

– Кто убегает – задыхается, кто догоняет – дышит свободнее, – почти пословицей отвечает Жабай. – Разве вы не видите, что Колчак уже задыхается?

– Но откуда вы это взяли, аксакал?

– А у меня свои приметы есть. Непокойными стали колчаковцы. Что о них сказать, если они и мою последнюю клячу забрали? На ней далеко не уедешь. Верно, уж околела где-нибудь.

– Что же они увели у вас единственную лошаденку, когда у баев Сахипкерея и Капшаса гуляют целые табуны?

На вопрос Андрея не последовало прямого ответа, да и сам Андрей не настаивал на продолжении разговора. Я догадался, что он соблюдал осторожность, не очень доверяя мне. А позднее мне стало известно, что Андрей был красногвардейцем и выполнял поручения подпольной организации. Так мы доехали до жилища Жабая. Андрей, несмотря на радушные и настойчивые приглашения остаться покушать, продолжал дальний свой путь.

Землянка старика, в которой я уже побывал с утра, поражала своей теснотой. Рослый человек мог подпереть, головой ее потолок, а растянувшись на полу, занимал пространство от стены до стены. Маленькое оконце было затянуто вместо стекла сухой, желтоватой оболочкой бараньего желудка. Свет едва проникал сюда, а в этот час здесь и вовсе царил полумрак из-за густого пара, поднимавшегося от котла. С трудом разглядел я, что этот котел был вмазан в маленькую печку, прилепившуюся в уголке. Кусок старой кошмы составлял чуть ли не единственное убранство землянки.

Пар, поднимавшийся от котла, наполнял жилище Жабая запахом вареного мяса.

– Старуха! – произнес Жабай, входя в землянку.

Она откликнулась тихим, глуховатым голосом, звучавшим еще слабее в этой тесноте и чаду.

– Хорошо, старуха, что у тебя мясом запахло. Я думал, ты последние косточки вытрясла из ларя. Значит, наш жиен не будет голодным. Ведь он у нас гостит первый раз.

Старик усадил меня на почетное место, соблюдая обычай и в убогом своем жилище. И чтобы время ожидания обеда не показалось, тоскливым ни мне, ни ему, он сразу начал рассказывать одну из тех бесчисленных историй, которыми была так богата его память.

– Знаешь ли ты, дорогой мой, что бий Токсан из вашего рода керей, уезжая на разрешения тяжб, всегда брал с собой бия Киикпая, которого называл «своим ключом»? Киикпай отличался необыкновенным красноречием и во время родовых споров всегда брал первое слово и излагал во всех подробностях суть дела. После выступления острослова Киикпая Токсану оставалось только вынести решение. Так вот однажды завязался большой спор между верхними аргынами и найманами. За Токсаном прислали гонца. Токсан, как и всегда, решил взять с собой Киикпая. Ранним утром, когда выводили на пастбища овец, он подъехал к его аулу, в котором раньше никогда не был.

Стал он разыскивать жилище бия и вдруг заметил человека в накинутом на плечо халате, только что вышедшего из юрты с кумганом. Токсан подъехал ближе, взгляделся. Оказывается, это был Киикпай. Он спешился, пошел навстречу «своему ключу», ласково поздоровался с ним. С грустью сказал Киикпай стихами?

О мой Токсан! В несчастный час
Ты навестить приехал нас.
Грозя отточенным мечом,
Опасный враг ворвался в дом.

Токсан разгадал смысл стихов, понял, что Киикпай не готов к приему гостя, и попробовал его утешить: «Но зачем так огорчаешься, Кийке?»

Тогда Кийке продолжал свой стихотворный ответ:

Пойми меня, мой добрый гость:
Пшена у нас всего лишь горсть,
Торсук, где должен быть кумыс,
Пустым на кереге повис.

И сам я, мой тамыр и друг,
Давно уж пуст как тот торсук,
Меня зовет в страну могил
Посланец смерти Азраил.

Ты понял, мой жиен, почему я все это вспомнил? Моя землянка сейчас очень похожа на юрту Киикпая. И если ты слышишь приятный запах мяса, то не думай, что наше угощение будет слишком жирным. Сдается мне, что твоя тетя варит постные косточки. Будь доволен не обильной пищей, а нашим радушием.

Я поблагодарил Жабая за доброе слово и успокоил его, что приехал не угощаться, а повидать своего самого старого, уважаемого родича.

После чая, предшествующего, по обычаю, обеда, Жабай снова усадил меня рядом, на почетном месте, и сказал:

– Не суди меня старого, жиен, не называй меня болтуном. Ты ведь знаешь, что старые люди любят поговорить.

Но я от всей души заверил аксакала, что для меня ней ничего слаще хорошей беседы. Мое признание обрадовало старика.

– Значит, хорошим человеком ты будешь, Сабит! В старину хан Аз-Жанибек говорил бию Кошкару: «Вижу я, ты красноречив и отважен. Поведешь воинов – вернешься с добычей, в спорах победишь остро-словием».

Старик передохнул, как бы что-то припоминая, и спросил:

– Слышал я, что в вашем ауле есть острослов Нуртаза. Жив ли он теперь?

– Прошлой осенью, когда я уезжал из аула, он был здоров, а что сейчас с ним, не знаю.

– Мне не доводилось встречаться с ним, но отца его, Оспана, я знал хорошо. Он был большим знатоком старины. Говорят, что Нуртаза пошел в отца. Он тебе не рассказывал твою родословную?

– Еще бы, дедушка! Я даже записывал.

– Ну, а если записывал, перескажи мне ее.

Я стал бойко рассказывать: мой отец – Мукан, его отец – Шукей, отец Шукея – Бектемир, отец Бекте-

мира – Байбарак, отец Байбарака – Сырымбет, отец Сырымбета – Отарбай, отец Отарбая – Косай, отец Косая – Сыйбан, отец Сыйбана – Танаш...

– Довольно!– перебил старик.– Это хорошо, что ты знаешь.

Мы приступили к обеду, а закончив скромную трапезу, снова вернулись к рассказам о старине. Я расспрашивал Жабая о нем самом, и скоро в мою память вошла его жизнь, примечательная не только долголетием, но и многими интересными событиями.

Он родился в 1826 году. Отец Жабая, Байгулы, работал у бая Шопана. Бай Шопан, посылая своего племянника Жаркымбая в Петропавловск учиться русской грамоте, дал ему в слуги молодого Жабая. Жаркымбай оказался на редкость тупым и ленивым учеником, зато Жабай был способным и прилежным. Прошло несколько лет. Оба вернулись в аул. Жаркымбай как был, так и остался неграмотным, а слуга Жабай научился и говорить, и писать по-русски. Султан здешних мест Муса Зильгарин взял сообразительного и грамотного Жабая к себе на должность толмача – переводчика. Жабай недолго служил у султана и стал приказчиком богатого бая Кошигула; по его торговым делам где только не пришлось побывать Жабаю: и в русских городах – Екатеринбург, Самаре, Оренбурге, и в городах Средней Азии – Хиве, Ургенче, Коныре и Кульдже.

Много пространствовав в юные и зрелые годы, Жабай с наступлением старости стал лесничим.

Умерла первая жена Жабая и все дети от нее. Вторая его жена Бубек, худая и очень некрасивая, трогательно любила своего старика и, как только могла, заботилась о нем. Их дочери были замужем, и под одной крышей с престарелыми родителями жил их единственный сын Толебай.

Несколько дней я гостил у Жабая и долгие часы беседовал с ним, привыкая к мудрой и неторопливой его речи. Уже в те годы немало я встречал бывалых рассказчиков, но такого знатока народной старины еще не попадалось мне на моем пути. В его памяти хранилось огромное богатство сказаний, запечатлевших вековую народную мудрость. К тому же, зная

русскую грамоту, он прочитал порядочно русских книг, и художественных и исторических, и был сведущ в том, о чем и понятия не имели аульные жители.

Он мне казался живой историей моего народа.

Прежде в степных аулах нередко можно было встретить бывалых, знающих старину людей. Их называли шежере – летописцами – за глубокое знание подробностей многих исторических событий и умение увлекательно рассказывать о них. Богатой, памятью шежере отличался и Жабай даже в преклонном возрасте. В своих стихах «Вот он, аул колхозный», описывая деда, который

В свой ум, как в книгу памяти народной,
Вместил все песни, сказки прошлых лет, –

я видел перед собой моего самого старого родича Жабая.

Обычно шежере за свою жизнь не писали ни одной строчки. Природный ум, пытливость и память помогали им ясно представлять события более поздних лет. Что касается отдаленных времен, то здесь они запоминали из уст других лишь разрозненные случаи и эпизоды, не умея их связывать в одно стройное целое. И не мудрено, что шежере часто противоречили друг другу, рассказывая по-разному одни и те же эпизоды.

Но были и другие шежере, знавшие арабскую или русскую грамоту. Они записывали слышанное и прочитанное, умели последовательно излагать события минувших веков, и их рассказы отличались большой достоверностью. Именно таким шежере и был дед Жабай. Он умел читать по-арабски и был довольно силен в русской грамоте. И, знакомясь с историей по русским и тюркским книгам, одновременно запоминал и устные народные предания.

Дед Жабай некоторое время записывал прочитанное и услышанное. Но еще до моей встречи с аксакалом эти записи выпросил у него старый аульный учитель Мейрам Исхаков. Позднее я познакомился с Мейрамом и очень огорчился, когда узнал, что ему не удалось сохранить тетрадки Жабая. Однако он часть этих материалов поместил в книжке «Казахские

пословицы и поговорки», которую, составил и издал в дореволюционное время.

Старый Жабай потому и любил историю, что часто задумывался над судьбой своего народа и печалился о нем. Но и в рассказах Жабая правда часто перемежалась с вымыслом.

– Знаешь ли ты, – говорил он мне, – что многие шежере утверждают: жил один человек по имени Аламан, и два сына было у него – Сейлхан и Жайлхан. От Сейлхана берут начало туркмены, от Жайлхана – казахи и каракалпаки. Как ты думаешь об этом?

Я уже в те времена был немного знаком с историей и сказал Жабая, что едва ли может быть верным утверждение, что народ произошел от одного человека.

– Правильно, жиен, – согласился аксакал, – но эту родословную следует знать как сказку, легенду.

И дальше рассказывал Жабай:

– Наш казахский народ, как ты, наверное, знаешь, делится на Большой, Средний и Малый жузы, или орды.

Тут он добавил, что и его род аргын, и мой род керей относятся к Среднему жузу. И заметил полушутя, что отцом керея считают чалого кобеля. Чтобы ненароком я не обиделся, он успокоил меня, что не только у кереев, а во многих легендах отцом человека называют животных. И он привел много интересных рассказов об этих вымышленных «отцах» казахских родов.

– Три эти жуза, – продолжал он, – никогда не были объединены. Непрерывно происходили у них раздоры и междоусобицы. И от этого еще сильнее страдал народ. Было время – казахов завоевали монголы, мы подпали под иго Золотой Орды и Синей Орды. Потом казахов делили между собой ханства Хивы, Бухары и Коканда. И настало время, когда казахи распались на две неравные части: большинство присоединилось к России, меньшинство – к Китаю. Бывал я в молодости на Коныр-Кульджинской ярмарке и там встречался с китайскими казахами. Их, как они сами считают, живет в Китае около двухсот тысяч дымов – семей. Это около миллиона душ. А в России, по крайней мере, в три раза больше.

Принятие казахами русского подданства Жабай считал большим счастьем.

– А как же, сынок, иначе? Ведь мы были невежественным народом, кто только нами не помыкал... Кто только не нападал на нас, кто не грабил... Слышал ли ты о том страшном разгроме, который произошел в пору великого переселения – Актабан шубырынды? Два века назад страшные беды обрушились на наш народ. – И Жабай глубоко вздохнул. – Так слышал ли ты об этом?

– Слышал, – ответил я, – но мне очень хотелось, чтобы вы рассказали подробнее.

– Так вот, дорогой мой, кому у нас в степи не известны города Верный и Капал. Случалось и мне там побывать во время странствий по торговым делам Кошигула. Двести лет тому назад в этом крае был центр ханства джунгарских калмыков. Вокруг Верного и Капала в Семиречье я видел сам джунгарские курганы и развалины ханских ставок. Оттуда джунгары и нападали на соседние казахские аулы. Последний их набег, как я узнал из книг, был в тысяча семьсот двадцать третьем году. Но в народной памяти и без книг сохранились рассказы об этой большой беде. Засушливым было лето в год джунгарского набега. Ни одна капля дождя не упала на землю, пропадали травы, скот начинал голодать. Наступила зима, сулящая по всем приметам джуг – гололедицу. И вот в это тревожное время войска джунгарского хана напали на казахские аулы. Они грабили и сжигали их, захватывали скот, убивали людей, а оставшихся в живых уводили в рабство. Джунгары овладели почти всеми родами Большого жуза, казахи Малого жуза бежали на Волгу и Яик, аулы Среднего жуза откочевали в долины Ишима и Иртыша. Малый и Средний жузы нашли себе защиту у русских, встретивших их дружелюбно и тепло. С той поры казахские аулы смогли зажить мирной жизнью. Вот почему, мой жиен, наш народ подчинился России.

Я спросил Жабая о русских царях и их слугах:

– Ведь они тоже угнетали наш народ?

– Цари всегда остаются царями, – отвечал Жабай, – а тут удивляться нечему. А разве казахские ханы и султаны, слуги русского царя, не угнетали своих сородичей? Но при чем тут русский народ? Я тебе расскажу, Сабит, о твоих предках. Много невеселого можешь ты узнать.

И хотя я не в первый раз слышал рассказы о своих предках, я чутко внимал Жабаю, потому что многое он знал так, как никто другой.

– Известна ли тебе, сынок, гора Сырымбет? – спрашивал он меня.

– Хорошо известна. Я даже видел ее в детстве, когда ездил в Кокчетав.

– А почему она так зовется? –

Но тут я уже ничего не мог ответить Жабаю.

– Разве ты не слышал, что твой праотец в пятом колене носил имя Сырымбета! И эта гора была его становищем.

– Но ведь наши предки покинули гору Сырымбет?

– Ты совершенно прав, сынок. После смерти Аблая ханство Среднего жуза досталось его старшему сыну Вали. Он пленился красивой природой горы Сырымбет, согнал оттуда твоих праотцев и занял их становище. Твоим предкам пришлось откочевать в урочище Маулют. Русские называли его Мамлюткой. Теперь там железнодорожная станция.

– Однако моим предкам пришлось бежать и оттуда.

– Верно, мой жиен, верно. И случилось так по вине Зильгары. Слушай меня внимательно. Царские власти уничтожили ханство и разделили сибирских казахов на шесть округов – дуанов: Кусмурунский, Кокчетавский, Акмолинский, Баянский, Каркаралинский и Аягузский. Во главе каждого дуана были поставлены ага-султаны – правители. Не все из них принадлежали к высшему ханскому роду, кое-кто относился и к черной кости, но все они были богатыми баями. Зильгара Каракотов, несмотря на черную свою кость, слыл одним из самых владетельных султанов. К тому же он был хитер и услужлив. Царские власти не забывали о нем и щедро одаривали его чинами, грамотами, дорогими халатами. Ему было пожаловано дворянство и первому из казахских баев нарезаны земельные угодья. Чувствуя царскую милость и защиту, Зильгара творит с простым народом, что ему вздумается. Никакой управы не было на него. И дважды он жестоко обидел твоих предков. Ты прадеда Бектемира знаешь?

Я кивнул головой и поторопил Жабая рассказать дальше.

– А слышал ли ты, что у него было два младших брата – Беккара и Токкары?

И о младших братьях я тоже слышал.

– А ведомо ли тебе, что Беккара был силачом – палуаном?

И это было ведомо мне.

– Но знал ли ты историю о том, как он стал палуаном?

Я попросил Жабая продолжать, потому что об этой истории ничего не знал.

– Как тебе, возможно, приходилось слышать, Байбарак умер молодым, и его сыновья Бектемир, Беккара и Токкары остались сиротами. А Зильгара в ту пору отдавал свою сестру замуж баянаульскому баю и собирался везти невесту в аул жениха. По старым обычаям, вместе с приданым невесты жениху дарили осиротевших детей в качестве его рабов и рабынь. Султан Зильгара и решил отправить в Баян-аул младшего брата Бектемира – Токкары. Бектемир вступил в спор со своевольным баем, но из этого спора ничего не вышло. Зильгара своею властью вырвал мальчика из его семейного гнезда и вместе с другими рабами послал в Баян-аул. Да, Бектемир не отличался решительным нравом, но брат его, Беккара, уже тогда был не только настойчив и изобретателен, но и могучую силу чувствовал в своих руках. Потерпев поражение в споре с баем, он не оставил мысли вызволить своего младшего братца из рабства и вместе с караваном невесты тоже отправился в Баян-аул.

Несколько дней продолжался в Баян-ауле свадебный праздничный той, устроенный родителями жениха. Богатый пир был завершен играми и состязаниями. Победителю в борьбе был предназначен приз – «каска тогыз» – на выбор девять любимых вещей. На схватку с сильнейшим борцом вышел молодой Беккара. Добрые силы помогли ему одолеть противника, и тогда он потребовал отдать ему младшего братца Токкары и спас его от рабства.

Но нелегко было забыть жестокую обиду, нанесенную Зильгарой.

– Я расскажу тебе, – сказал мне в другой раз Жабай, – еще одну историю, связанную с одной короткой песней. Может быть, ты ее слышал.

На яблоне яблоки зреют. Их пять.
Нельзя никому эти яблоки рвать.
Кочует аул твой чужой стороной,
Когда же я милого встречу опять?

Я вспомнил свое детство и эту песенку, но я не знал, по какому поводу она была сложена, и попросил Жабая продолжать рассказ.

– «Пять яблок» – так были прозваны пять сыновей твоего деда Бектемира, – говорил Жабай. – Они не славились богатством, но были на редкость красивыми и мужественными жигитами. И если они не имели тысячных отар овец, то уж своими верховыми конями могли гордиться по праву. Сильные, высокие и стройные, как на подбор, братья казались одноклассниками. Разница между старшим и младшим не достигала и десяти лет. Но, похожие друг на друга внешне, братья отличались между собой своими характерами. Старший – кроткий и домовитый Омар – был всегда погружен в хозяйственные заботы. Второй, Оспан, острослов и рассказчик, любил читать, немного изучал русскую грамоту и хорошо постиг законы. Третий – Мужен – слыл неутомимым спорщиком, задирой и драчуном. Четвертый – твой родной дед Шукей – был самым веселым из всех братьев, лихим наездником, щеголем, певцом и домбристом. К тому же Шукей владел даром акына-импровизатора. Пятого брата, Смаила, рожденного от младшей жены, я почти не знал. Тебе не доводилось его встречать?

– Нет, Жаке, он умер до моего появления на свет. Я встречал только его единственного сына – Касыма.

Едва коснулись ушей Жабая слова о смерти Смаила, он, по мусульманскому обычаю, пробормотал молитву, провел ладонями вдоль щек и бороды и продолжал рассказ:

– Так вот, сыновья Бектемира чтили своего старшего брата Омара как родного отца. Омар воспитал братьев и, когда пришло время жениться, выкупил за калым свою невесту. Оспан и Мужен выкрали себе жен. Оспан скрылся у русских и, воспользовавшись своим умением толковать законы, освободил от калыма и себя, и брата.

– А мой дед Шукей?– не сдержал я нетерпения.

– Прежде чем рассказать о Шукее, я должен вспомнить моего отца Байгулы. Ты потом поймешь почему. Жил Байгулы в достатке. Было у него немного лошадей, десятка полтора верблюдов и отара овец. Грамоты отец не знал и считать, как мы, не умел. Но счет животным он вел по-своему. Он хранил в особом мешочке столько овечьих шариков, сколько у него было овец. Сдохла овца или ее зарезали – он выбрасывал шарик из мешка. Появлялись ягнята – он сыпал шарики в мешок. Когда он проверял отару, перед ним прогоняли овец, и он пересыпал шарики из одного мешка в порожний. И если число шариков было больше, чем овец, он ходил туча тучей и придирался ко всем. Но это не была скупость. О щедрости Байгулы хорошо знали в окрестных аулах, и гости в нашей юрте не переводились. Самой большой странностью моего отца было презрение к деньгам. Он никогда не продавал скот за деньги и до самой смерти их не имел. А мы, его дети, хорошо понимая цену денег, ухитрялись воровать скот из отцовских отар и продавать его на стороне.

– Так ведь он считал шарики?

– Ну и что ж? Сперва мы выкрадывали шарики из мешка, а потом по их числу уводили овец из отары. Байгулы не мог узнать о нашей проделке, потому что число шариков и овец неизменно сходилось. В ауле у нас бывал бухарский купец Ораз-хаджи, осевший в Петропавловске. Отец ему обычно отдавал шерсть и шкуры, а Ораз-хаджи отдаривал отца четырьмя-пятью фунтами чая, головкой сахара и несколькими аршинами дешевого ситца. Байгулы много терял при такой мене. Да что Ораз-хаджи! Вот про Данияра-хаджи рассказывали, что он приехал из Ташкента в Петропавловск с попутным караваном на единственном ишачке и, обманывая невежественных степных баев, нажил огромный капитал.

– Но ведь не все баи были такими простоватыми. Вы же сами рассказывали о Кошигуле, который вел торговлю от Оренбурга до Кульджи.

– Верно, жиен, верно, но не об этом я сейчас веду речь. Приехал однажды к отцу моему, Байгулы, стар-

ший сын Бектемира, Омар, и сосватал старшую сестру Кагаз твоему деду Шукею. Ты свою тетю Зейнеб, дочку Кагаз, помнишь?

– Помню, Жаке.

– Так вот, тетя твоя Зейнеб, слышавшая в молодости красавицей, как две капли воды походила на свою мать Кагаз. И не только белым, румяным лицом, но и скромностью и смирением. А Шукей, как я тебе говорил, был отчаянным жигитом, любителем веселых тоев и легких удовольствий. Что скрывать, он не только заглядывался на молодых женщин. Но Кагаз никогда не упрекала его, молча смиряясь с проделками мужа.

– Почему же молчали родичи Кагаз?

– Старший брат Бабай напоминал отца своим простодушием и сговорчивостью; их интересовали только овцы. Другой брат, Татке, был совсем пустым человеком, а Шол в ту пору был еще маленьким. Ты, конечно, хочешь, спросить, а где же был я? Отвечу откровенно: мы с Шукеем были неразлучными друзьями, и я его считал больше своим ровесником-жигитом, чем зятем. Он, родившийся в год Собаки, был всего на два года старше меня, родившегося в год Коровы. Он долго, еще мог бы прожить.

– Так отчего же он умер так рано?

– Будь терпелив, сынок... Об этом я и веду речь. Слушай же меня! Султан Зильгара – о нем я тебе говорил не раз – от трех жен имел четырнадцать сыновей и единственную дочь Балжан. Сыновья к тому времени уже жили отдельными аулами, а красавица Балжан все еще нежилась под крылом отца. Она полюбила Шукея, Шукей – ее.

– Но ведь должны же вы были обидеться за свою сестру...

– Э-э, мой милый, я же объяснил тебе, что Шукей был мне дорог как друг, а не как зять! В честном признании нет стыда. Я не только не обижался, не ревновал, но старался помочь Шукею. Ты понимаешь, я служил у Мусы Зильгарина толмачом, вот почему мне часто удавалось передать весточку от Балжан Шукею. Я радовался их любви и делил с ними их беды. Многое мешало молодым соединить свои жизни. Разве мог

Зильгара, владетельный казахский бай, обласканный русскими властями, отдать свою дочь простому казаку Шукее? Да кроме того, Балжан еще с колыбели стала невестой родственника – самого Турулбека, советника губернатора, управлявшего шестью уездами. Словом, мало хорошего сулила молодым людям их любовь. А тут в аул Зильгары хмурым, дождливым днем приехал жених знакомиться со своей невестой. В первую же ночь после приезда жениха Шукей и Балжан исчезли из аула. Однако скрыться от погони им не удалось: беглецов выдали следы коней, обнаруженные на размякшей дороге. Следы вели в небольшой лесок на ишимском берегу.

Старик призадумался, как бы вспоминая далекую молодость.

– Дальше, Жаке, дальше! Я хочу знать все до конца.

– Ты слишком нетерпелив, сынок... Что ж, конец самый грустный. Сыновья Зильгары решили мстить за своего опозоренного отца. Они раздели Шукее, связали его по рукам и ногам и оставили в ледяной воде у берега, чтобы на следующий день привязать ему камень на шею а утопить в реке, на глазах жителей окрестных аулов. Но у Шукее нашелся друг, который освободил его от пут и помог бежать к братьям. Однако сыновья Зильгары не унимались. Пустив в ход клевету, они заточили в тюрьму брата Шукее Оспана, а брата Мужена вынудили преследованиями скрыться у родичей сыйбанов.

– Но что же случилось с Шукеем и Балжан?

– Балжан отправили в аул к жениху. Там она и сложила песню «Пять яблок». И ничего больше к рассказу о ее судьбе я прибавить не могу. А Шукее тяжело заболел. Он простудился, когда лежал связанный в студеной воде Ишима, и как слег в постель, так уже не встал. Он мучился осенью и зимой, а весной ему стало совсем плохо. Однажды я навестил своего друга. Желтый, исхудавший, он тяжело дышал и с трудом произносил слова. «Жабай, приподними мне голову», – попросил он меня. Я исполнил его просьбу. «Теперь дай-ка мне», – и он показал на домбру, лежавшую у изголовья. Но когда я дал ему домбру, оказалось, что обессиленные пальцы

моего друга, еще так недавно летавшие по грифу иноходцами, еле гнулись теперь. Струна дрогнула, слабо прозвучала и смолкла. Он попробовал запеть, но вместо прежнего лебединого голоса из его сухих, потрескавшихся губ вырвался хриплый стон и начался удушливый кашель. Я поправил подушки, глядя в его глаза, полные слез. Снова зашевелились губы. Я почти приложил к ним свое ухо и различил лад песни. Один его куплет запомнился мне на всю жизнь. Вот он:

Берет мой разум смерть и тяжело душит грудь,
В последний раз моим глазам дано сверкнуть.
И пальцы, что неслись по струнам скакунами,
В могильном саване, стуча, закончат путь.

Я и теперь вижу Шукея таким, как в день нашего последнего свидания. Почти семьдесят лет прошло с тех пор, но передо мной его глаза и посиневшие губы, еле слышно произносящие печальную песню.

Жабай умолк на несколько мгновений, вздохнул и продолжал более спокойно:

– Шукей умер в марте, в год Коровы. Ему было двадцать семь лет. От него остались четырехлетний сын Ахмет и двухлетняя дочь Зейнеб. А твой отец Мукан родился в тот же год, спустя два месяца, когда уже сошел снег и аулы собирались откочевывать в степь, на весенние джайляу.

...Так я узнал историю двух песен. В один из вечеров, накануне своего отъезда, я обратился к Жабая с одной просьбой:

– Дедушка, вспоминая чье-нибудь рождение или, смерть, вы обозначаете год названием какого-нибудь животного. Так, вы говорили, что мой дед Шукей умер в год Коровы. Объясните мне подробнее этот счет.

– Разве ты его не знаешь, жиен?

– Плохо знаю, Жаке. Слышал, но не уразумел.

– Тогда я тебе расскажу подробно. Правда это или ложь – суди сам, но говорят, в древние времена в начале весны с неба на землю спускался Год. Вся живая тварь выходила его встречать. И вот что произошло однажды, когда все животные уже приготовились к этой встрече Года. Верблюды, понадеявшись на свой

высокий рост, сказал: «Я все равно раньше всех его увижу», – и стал беспечно пастись. В это время юркая мышь пожаловалась богу: «Ты создал меня маленькой, как же я увижу Год?» Но бог успокоил мышь: «Взберись на горб верблюда, и ты его увидишь раньше других!» А ты, жиен, знаешь, что такое улу?

– Нет, дедушка! – ответил я.

– На берегах озер встречаются небольшие раковинки, внутри которых лежит мягкое, липкое, плоско-головое существо. Русские называют их улиткой, а мы, казахи, – улу. Так вот, улитка – улу тоже пожаловалась богу: «Я живу не на воде и не на земле. Передвигаться с места на место не могу – нет у меня ног. Всю жизнь обречена я лежать в своей скорлупе. Как же мне увидеть Год?» – «Не печалься, – ответил бог, – в этот день я взволную озеро и выброшу тебя на высокий берег, оттуда и увидишь!» И когда новый Год начал обход земных просторов – его увидели двенадцать живых тварей: мышь, корова, барс, заяц, улитка, лошадь, змея, овца, соболь, курица, собака и свинья. Первой увидела Год, взобравшись на горб верблюда, мышь. С мыши и начинается счет годам. Самонадеянный верблюд так и не увидел Года, поэтому в названиях годов его имя отсутствует. Двенадцать лет, названных именами животных, увидевших Год, и составляют полный цикл в народном казахском летоисчислении.

– Значит, как же считают возраст человека?

– Вот ты с моих слов знаешь, что твой отец Мукан родился в год Коровы. Проходит двенадцать лет – мушель. Снова наступил год Коровы. И детство кончилось. Еще один мушель – и отцу исполнилось двадцать четыре года. Так по порядку до девяноста шести лет. Дальше и считать не стоит. Немногие люди переживают этот срок.

Я попросил Жабая перечислить мне казахские названия месяцев – их уже и в ту пору начинала забывать молодежь.

– Слушай тогда и записывай. Начну с января. Помнишь, как его зовут? Акпан. А дальше следует науруз, отамалы, саур, кокек, шильде, тамыз, киркуек, караша, сумбеле, казан, кантар. Науруз, – добавил Жабай, –

связан с большим праздником Науруздамы, в честь приближающейся весны, в честь нового Года, спустившегося на землю. Из ларей извлекаются последние, сохраненные для праздника зимние запасы мяса и сала. Кто побогаче, устраивает той. Каждый стремится получше угостить гостей, а потом в аулах переходят на молочную пищу.

Слушая Жабая, я вспоминал зимние уроки древнегреческой истории. Греки также думали, что в начале весны бог спускается с неба на землю и оплодотворяет всю живую природу. Чтобы бог не поскупился на оплодотворение, в его честь устраивались большие пиры и увеселения. Именно так объясняют происхождение дионисийского театра греков.

Я загостился у Жабая. Приближался срок отъезда. Но мне не хотелось покидать моего самого старого родича, не расспросив его о дальнейшей судьбе детей Шукее.

На мою просьбу Жабай ответил вопросом:

– А как там поживает в вашем ауле старик Тоганас? Живой еще?

– Живой.

– Крепонец Тоганас. Он, кажется, родился в год Соболя. От Соболя до Соболя – восемьдесят пять лет, Курица – восемьдесят шесть, Собака – восемьдесят семь... – и старик продолжал бормотать про себя названия годов, определяя возраст Тоганаса. – Да, ему, наверно, девяносто шесть.

– Но в прошлом году, Жаке, волосы и бороду у него только чуть затронула седина.

– Да, Тоганас с юности отличался крепкой костью. Он сам рассказывал мне, как ходил со своим отцом охотиться на кийков. А отцу в ту пору было восемьдесят лет, и ему ничего не стоило на лыжах перемахнуть черные сопки Одырая. Брат Тоганаса, Рыскул, тоже был человеком крепкой кости и железных жил. Вся их порода отличалась могучим здоровьем и не поддавалась старости.

– Почему вы вдруг вспомнили о нем? – спросил я.

– Всему свой срок, сейчас узнаешь, – ответил Жаке. После смерти Шукее Тоганас перевез к себе в аул его семьи и родственников. Это случилось сразу же, как

только были проведены годовые поминки. Омар остался в Мамлютке и получил крестьянский земельный надел. А младший брат Мужен, сбежавший из родных мест после ареста Оспана, переехал в аул к Тоганасу. Потянулись туда семьи Оспана и Смаила. Тогда, как полагалось по аульным обычаям, Тоганас выдал жену покойного Шукея, Кагаз, за Мужена.

– Доводилось мне слышать рассказы стариков, – перебил я Жабая, – что мать моего отца, бабушка Кагаз, возвратилась в свой аул. Так ли это было, Жаке?

– Что правда, то правда. Не прошло и пяти лет совместной жизни Кагаз с Муженом, как получили мы дурную весть, и я поехал в аул Тоганаса. Да, сестре жилось тяжело. После несчастья с братьями и разорения семейного очага Мужен начал запивать и скоро стал пропойцей. Он бил жену, держал в страхе детей. Горе сестры отягощалось позором. Ведь в те времена казахи еще не знали что такое водка, и смертельно ненавидели пьяниц. Я посоветовался со старшими и привез Кагаз вместе с детьми в наш аул.

Вместе с Кагаз приехали к нам и ее дети: Ахмет, Зейнеб и Мукан, рожденные от Шукея, и Мустафа – сын Мужена. Кагаз поселилась у моего старшего брата Бабая, самого зажиточного в нашей семье. У меня своего хозяйства почти не было, и после истории Шукея и Балжан я рассорился с сыновьями Зильгары и поступил в лесничество. Кагаз с детьми жила у Бабая, не зная нужды. Подросла Зейнеб – ее выдали замуж за известного тебе пучеглазого Копжасара. Его отец, Бектибай, помог им обзавестись своим хозяйством. По-иному сложилась судьба Ахмета. И обличем своим, и характером он удивительно походил на своего отца Шукея – легкомысленный, красивый, весельчак с беспокойным горячим сердцем. Поблизости от нашего аула жил большою семьей степенный и оборотисты Байтилеу, приятель – тамыр Бабая. Бабай заплатил своему тамыру калым и женил Ахмета на дочке Байтилеу – шестнадцатилетней Балсары. Но Ахмет, как и его отец Шукей, недолго пожил на этом свете. Он оставил Балсары с тремя дочерьми, из которых две умерли в раннем детстве, а третья, Дамеш (настоящее ее имя Даметкен –

Надежду сулящая), здоровствует, как ты знаешь, и сейчас. Балсары как велит казахский обычай, стала женой брата Ахмета, твоего отца – Мукана.

Тут Жабай сделал передышку и внимательно посмотрел на меня.

– А ты пошел в мать, такой же круглолицый, с маленьким носом. И глаза ее. Но ты смугл, а Балсары была светлой и русоволосой. Младшая в своей семье и первая девочка, она и названа была Балсары – Желтым медом – за цвет своих волос.

Жабай опять вздохнул.

– Нет, ты мало похож на отца. Разве что смуглым цветом кожи. Но Мукан был худощавый и высокий, а про тебя этого не скажешь. Однако продолжу рассказ. Женившись, Мукан все силы отдавал работе. Бабаю не надо было нанимать батрака – с хозяйством справлялся один Мукан. А Мустафа, сын Мужена? Мустафа вырос забиякой и драчуном. Он выкрал жену Слеусин, двоюродную сестру твоей матери. Но в это время над ним разразилась гроза. Подросшую красавицу Дамеш сосватал за своего сына Саду зажиточный Ыхлас из соседнего аула Отемис. Все на первых порах шло хорошо. Ыхлас строго соблюдал обычаи, выплатил калым, привозил подарки, скоро должна была состояться свадьба. Но вдруг – это было неожиданным нарушением всех правил – Ыхлас выкрал законную невесту своего сына. В нашем ауле все были удивлены и огорчены. А случилось вот что. Жених Саду, пока его собирались женить, полюбил другую девушку и привел ее к себе. Ыхлас же рассудил, что если за невесту уплачен калым и преподнесены подарки, то ее терять нельзя и надо сделать женой старшего брата жениха – Сауыта. Мустафа пробовал выручить опозоренную Дамеш. Но Ыхласа поддерживал сын всесильного Зильгары, Аю, и ничего сделать не удалось. Мустафа был разгневан и оскорблен. В порыве отчаяния он взял с собой Мукана и уехал в родные края. Но злой и мстительный, он и в своем ауле продолжал помнить нанесенную ему обиду. Однажды Мустафа украдкой пробрался в аул Отемис и убил известного конокрада, одного из участников похищения Дамеш. После

убийства Мустафа избегал наши места и только на склоне лет, в последний год Зайца, навестил и моих родичей. А Мукана с тех давних пор я так и не видел...

Наступило молчание. Потом мы поменялись ролями. Я стал рассказчиком, Жабай – слушателем. Все, что знал – об отце и матери, о их жизни и смерти, о несчастьях моих сестер, – поведал я старику. Не умолчал и своих горестях.

– Судьба бедняков всем знакома, – в лад словам Жабай горестно покачивал головой. – И прежде так было, да и теперь пока мало что изменилось.

Но я вспомнил, как говорил он о разливе Ишима, вспомнил русского тамыра Жабая, Андрея, и спросил, что думает старик о красных.

– А ты, сынок, слышал ли о них? Что же, не буду и я от тебя скрывать: отец Андрея мой старый друг, за Андреем охотятся колчаковцы, но он прячется от них. Это умный и сердечный жигит. Он часто ночевал у нас и рассказывал, что для всех рабочих и бедняков наступит хорошая жизнь, если придет Советская власть.

– Скоро ли она придет?

– Андрей говорит – скоро. А ты что думаешь?

И я поделился со стариком всем, что слышал.

– Скорее бы уж пришла! – Желтые глаза старика под лохматыми бровями слабо заискрились. – Скорее бы пришла! Может быть, тогда наш народ, веками одолевавший гору страданий, наконец бы перевалил ее, обрета покой и счастье.

СРЕДИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ

Я стал учителем в ауле Балтабай. За полгода труда мне было положено жалованье – стоимость одной коровы. Его мне обещали уплатить осенью, собрав к тому времени деньги за обучение детей. А пока я должен был жить и питаться, еженедельно переходя из одного дома другой.

Жили в ауле Балтабай небогато. Самый зажиточный его хозяин, Ахмет Балтабаев, имел десятка два овец, около десяти лошадей и того меньше коров. Другие

владели двумя-тремя коровами и дойной кобылицей, а у многих кроме коровы, не было ничего. Зато в Балтабае все сеяли хлеб. В моих родных местах сами казахи почти не занимались хлебопашеством. Они одалживали рабочий скот безлошадным крестьянам соседних русских поселков, и те в оплату за услугу запахивали и засевали пшеницей по клочку земли своим аульным тамырам. А в Балтабае не было двора, который не засеивал бы, по крайней мере, десятины. Хлеба здесь было вдоволь. Весной, когда я пришел в аул, даже у бедняков Султакая и Абу хранилось по несколько мешков пшеницы с прошлогоднего урожая. Что же касается Ахмета или Сердалы, самых зажиточных в этом ауле, то они продолжали возить зерно на продажу в Петропавловск и ближние станицы.

Но хотя аул Балтабай и другие соседние аулы уже становились земледельческими, больше всего они испытывали нужду в добротной пахотной земле. Особенно страдали от безземелья аульные бедняки. Здесь горько сказывались последствия царской колонизаторской политики. Все лучшие земли Прииртышья и Приишимья царское правительство отбирало для переселенцев. Начиная с 1890 года, из России в казахские степи переселялись целые деревни. Царской власти было на руку разжигать межнациональную вражду. Но даже постоянные распри между казахскими аулами и русскими селениями не могли помешать дружбе казахской и русской бедноте. Сама жизнь толкала бедняков обрабатывать землю совместными силами. К тому времени, о котором я рассказываю, это стало прочным обычаем. Но в этих же краях бросались в глаза результаты столыпинской политики поддержки кулака. Процветали так называемые отруба. Как нигде, здесь было много кулацких хуторов и помещичьих заимок. На своих обширных и плодородных землях петропавловские богатеи Поляков, Смолин, Кондратьев и другие засеивали сотни десятин хлеба и выпасали несметные табуны и стада породистого скота. Я только здесь увидел настоящих кулаков и помещиков. Был здесь, например, Бажанов, бежавший впоследствии в Китай.

На бажановской заимке через несколько лет после установления советской власти организовался колхоз «Орнек», который впоследствии присоединился к колхозу «Амангельды» Приишимского района Северного Казахстана. Имущества, брошенного бежавшим кулаком, его скота, построек и инвентаря с избытком хватило для первой сельскохозяйственной артели в здешнем краю, объединившей восемьдесят дворов. Вот чем была бажановская заимка.

Но и лучшими участками земли, остававшейся в казахских аулах, владели местные баи. На пойменных ишимских лугах безраздельно хозяйничали такие представители аульной знати, как Кулым-хаджи, сыновья баев Юсупа, Хусаина, Зильгары, Шопана. Для бедных их заливные земли были недоступны так же, как и пахотные участки. Излишки земли баи предпочитали сдавать в аренду русским кулакам или продавали бедноте. А когда земля все же оставалась свободной, сеять на ней никому не разрешалось. Споры из-за земли приобретали все более ожесточенный характер, чаще и чаще возникали стычки, заканчивавшиеся нередко буйными драками с человеческими жертвами.

В ту весну в ауле Балтабай земельные распри разгорелись особенно жарко. Бедняки, шумно требуя справедливого раздела пахотных угодий, отправились толпою на пашни. Но баи призвали в помощь колчаковских солдат, и они плетью разогнали «бунтовщиков». В конце концов бедняки вынуждены были засеять хлеб, собрать из последних сил и уплатить хозяевам земли арендную плату.

В эту горячую пору я впервые услышал имя Жакыпа Кыстаубаева. Как рассказывали, он был сыном бедного пастуха, всю свою жизнь пасшего скот у русских кулаков. Пастух Кыстаубай отличался безропотным, незлобивым нравом. Но смелый Жакып характером вышел не в отца и никогда не позволял байским сынкам глумиться над собой.

В 1916 году, когда царское правительство мобилизовало казахов на тыловые работы, в список попал и совсем юный Жакып. Вместе с другими сверстниками

ему пришлось рыть окопы в лесах Белоруссии. Фронт находился рядом, Жакып общался с солдатами, среди которых все сильнее брали верх революционные идеи. В 1917 году, после свержения самодержавия, он был отпущен и вернулся на родину убежденным в правоте большевиков.

Позднее мне довелось узнать, что Жакып был членом Совета рабочих и крестьянских депутатов и по его поручению приезжал в родные места для революционной работы. Он был участником земельных споров и однажды во время покосов помог бедноте отобрать у баев хорошие участки.

Весной 1918 года, когда вспыхнул контрреволюционный чехословацкий мятеж, совдеп был разогнан и установилась власть Колчака, – Жакыпу едва удалось скрыться от преследований.

Время от времени в ауле возникали слухи, передававшиеся с величайшей осторожностью, что Жакып собрал из бедноты и скрывавшихся в селах советских людей партизанский отряд в тылу Колчака. Партизаны то сжигали военные склады, то пускали под откос воинские белогвардейские эшелоны или уничтожали колчаковские карательные отряды. Может быть, в этих рассказах была и доля преувеличения. Аульной бедноте Жакып представлялся отважным батыром, которого не берут ни пуля, ни шашка. Но где он скрывался, понятно, никто в точности не знал. Без этого краткого упоминания о Жакыпе – в следующих главах я подробно познакомлю с ним читателя – мой рассказ о друзьях из аула Балтабай был бы неполным.

Меня, молодого и неопытного учителя, родители учеников встречали в каждой семье с душевным гостеприимством. Сказалось, вероятно, то, что раньше ребят здесь учили старым способом – кадым, и ученики годами оставались неграмотными, и не отличая «А» от «Б». Я же учил проще и живей, и уже после первого месяца дети начинали понемногу читать.

Я привязался к людям аула Балтабай, но особенно полюбился мне Ахмет Балтабаев. Рыжеусый, с голубыми глазами на бледном худощавом лице, он всем своим видом напоминал русского крестьянина. Две

страсти уживались в нем: охота и конь – крыло жигита. Во всех ближних аулах не было скакуна, который бы мог соревноваться на байге с его Жаворонком.

В летние месяцы Ахмет предпочитал всему на свете охоту с ловчей птицей – соколом-шапшаном (быстро-летным). Плосколобый, с желтоватым, изогнутым, как тигриный коготь, острым клювом, с выпуклыми черно-сливинками глаз шапшан имел небольшое, с кулак, но широкогрудое тело, которому мало соответствовали тонкие, жилистые ноги с когтистыми грязно-желтыми пальцами. Особенно примечательны были его крепкие, стрелчатые, как у ласточки, крылья. Усеянные пятнами, они отливали то бурым, то стальным блеском. По-сорочьи узкий и длинный хвост вместе с крыльями придавал птице привлекательный, мирный вид. Не верилось, что шапшан берет уток, а тем более гусей и дроф. Но после поездок с Ахметом я уже не сомневался в ловчих качествах птицы.

Ахмет выезжал на охоту со своим шапшаном на утренней заре и перед вечером – до захода солнца. Он хорошо знал, где какие птицы пасутся в эту пору, и, желая доставить удовольствие своему спутнику, предоставлял ему выбор: «Куда хочешь ехать – за утками или гусями? А может быть, за дрофами?» Как ты ответишь, так он и сделает.

Уток шапшан брал особенно ловко. Птица эта в степном краю водится главным образом в стоячих озерах и топких болотах. Если бы утки плавали между высокими зарослями камыша, не то что наш шапшан, но даже сказочный, существующий только в пылком воображении охотников ястреб – бидайык – не мог бы их обнаружить. Но в когти шапшана они попадают по своей глупости. Каждый охотник с соколом обзаводится немудрящим барабаном – дабылом – куском высушенной кожи, натянутой на ободок. По этому-то дабылу охотник ударяет черенком плетки, производя оглушительно громкие звуки. В казахской народной песне говорится:

Я охотился птицей, в дабыл ударял,
Его грохотом уток озерных пугал.

Это и есть охотничий дабыл, который я описал. Стоит только ему загреметь, как скрытые в камышовых зарослях утки пугаются и всей шумной стаей взлетают над озером. В это самое мгновение Ахмет снимает с головы шапшана колпачок и, прищипорив послушного стремительного коня скачет навстречу взлетевшим уткам и сильным взмахом руки запускает сокола.

Сокол мой! Он вначале кругами парит,
Жертву зорко наметит и камнем летит.

И я убедился в достоверности этой песни во время наших совместных поездок. В первое мгновение кажется, что шапшан падает на землю, — он не взмывает вверх, проносится низко, над самой землей, с быстротой промелькнувшей звезды. Он преследует разлетающихся уток не прямо, а в обход, улетающая в сторону по кривой. Но так продолжается очень недолго. Сокол развивает скорость, готовится к решительному удару.

Трудно заметить, даже внимательно следя за его полетом, как он оказывается вдруг под летящими утками. Особенность ловчего полета шапшана в том, что он не набирает высоты до тех пор, пока не очутится ниже своей жертвы. И вот тут-то он неожиданно взмывается вверх пущенной без промаха стрелой. Все это происходит так молниеносно, что уловить миг схватки сокола с его жертвой почти невозможно.

Но не все шапшаны, как рассказывал мне Ахмет, поступают одинаково. Одни, схватив добычу, сразу опускаются с ней на землю; другие тут же, в воздухе, перерезав глотку или предплечье своей жертвы, швыряют ее вниз, бросаясь на вторую, третью, четвертую утку, и так добывают сразу по несколько штук. Такой хваткий шапшан и был в ту пору у Ахмета — молодая, только однажды линявшая птица, но уже хорошо обученная в прошлое лето.

— Но самым хватким, — говорил мне Ахмет, — бывает шапшан между второй и третьей линьками. До этих пор он еще глуповат и рассеян. Однако, продолжая таскать птицу, после третьей линьки он уже начинает лениться.

Гусей шапшапу брать труднее, чем уток. Если сокол собьет гуся вдали от охотника, то вся гусиная стая опускается на выручку пострадавшему. Гуси бьют сокола крыльями и, случается, забивают до смерти.

Сокол может брать и дрофу. Но не всегда эти схватки заканчиваются его победой.

Так, сопровождая Ахмета, я узнавал много любопытного об охоте с ловчей птицей. Самое лучшее время для этой увлекательной забавы – конец лета, начало осени, когда утки и гуси жиреют. Тогда мой друг лишался покоя, забывал о сне, отдыхе и пище и все дни напролет проводил вблизи озер. Он и ночевал часто в степи. Спросишь, бывало, его: «Ты что же это о своем хозяйстве совсем забыл?» – он улыбнется, подмигнет и ответит народной притчей:

– Когда-то, в давние времена, у одного охотника, похожего на меня, смертельно заболел его верблюд. Охотник, понятно, был на охоте, когда до него дошла эта весть. И он спокойно сказал: «Если подыхает верблюд – прирежут, но разве будет еще такая большая охота!» Что мне мое жалкое хозяйство? С ним и без меня легко справится мой братишка Алпысбай! А на охоте он меня не заменит.

Много лет прошло с той поры, но я хорошо помню дни, проведенные на охоте с Ахметом.

Наш путь обычно начинался от берега большого озера Алуа, вокруг которого становились на летовку около десяти аулов рода Андагул, в том числе и аул Балтабай. К озеру со всех сторон сбегали маленькие ручейки, пересыхавшие летом. Они брали свое начало в дальних озерцах и болотах, богатых мхом и мягкой травой – лакомой пищей водоплавающих птиц. Туда и отправлялся Ахмет на охоту.

Птицы выходили на кормежку на рассвете. С шумом, криканьем, гоготом слетались они со всех гнездовий и сразу тучей опускались в траву. Каждая стая, начиная пастись, выставляла своих дозорных. Нелегко было взять их обманом. Мы приближались к ним крадучись, бесшумно и неприметно.

Бывалые охотники утверждают, что дикие животные чуют опасность благодаря развитому обонянию.

Поэтому звери, не видя и не слыша приближения врага, угадывают по запаху опасность, надвигающуюся с наветренной стороны. Иное дело – птицы, обладающие острым зрением, тонким слухом. Это очень хорошо знал Ахмет, и поэтому он принимал все меры, чтобы обмануть слух и зрение пасущихся птиц.

Как ни любил он своего Жаворонка, но чаще всего отправлялся на охоту пешком, с неизменным соколом на руке. Верховым легче попасть на глаза птицам и распугать их. Однако и пешему следует быть осторожным. И вот как охотились мы, соблюдая это правило.

Западный берег озера Алуа образует высокий отвесный яр. Спустившись по этому яру, мы продолжаем свой путь береговой кромкой и, стараясь не шуметь, добираемся до облюбованной нами балки. Глубокая и сухая балка ведет нас к месту птичьей кормежки. Мы сбрасываем верхнюю одежду и сапоги, засучиваем шаровары крадемся к пастбищу. Как ни бдительны сторожевые птицы, хитростью и осторожностью и их можно обмануть, приблизиться к стае почти вплотную.

Ахмет, приученный с детства к соколиной охоте и знающий все птичьи повадки, умел подкрадываться к стае как раз в те минуты, когда птицы только-только приступали к кормежке и жадно набрасывались на траву. Мгновения эти обычно совпадали с началом рассвета, обозначающегося узкой светлой полосой на восточном краю горизонта. И я дивился птичьей глупости. Ведь вся их надежда на чуткость слуха своих сторожевых. Казалось, им надо было пустись бесшумно и спокойно, чтобы дозорные могли различить каждый подозрительный шорох, а птицы поднимают такую возню и крик, что оглушают и себя, и сторожевых. Вот почему, думается мне, они так близко подпускают к себе охотников.

Ахмет, улучив мгновение, резко ударяет в дабыл, птицы поднимаются с тревожными криками, и охотник выпускает на них своего шапшана.

Я до сих пор не понимаю, почему птицы, вспугнутые барабаном, не разлетаются вдаль, а кружатся над болотом, опускаются на кочки, снова поднимаются, создавая неистовую сумятицу. Ею и пользуется шапшан,

успевая схватить немало уток, на лету перерезать им горло и расшвырять по земле.

Незабываемая по красоте картина! В едва забрезжившем рассвете, когда еще не отчетливы краски, ринувшийся на уток шапшан, словно быстрая, легкая тень, скользит, кажется, по самой земле и вдруг камнем, брошенным вверх по прямой, взвивается к высоко летящим уткам или гусям. Достигнув цели, он переворачивается, кувыркается в воздухе. В ту же секунду птица, на которую напал шапшан, опрокидывается и, судорожно взмахивая и трепеща крыльями, падает на землю. Ахмет и я, теряя рассудок, наперегонки мчимся за добычей.

В своем стихотворении «Охотник с беркутом» Абай пишет:

В бренном мире нет мне занятия милей...
...Только истинный ловчий меня поймет,
Тот, в чьем сердце прелесть охоты жива¹.

Прав поэт! Охота на всю жизнь осталась и для меня незабываемым, самым увлекательным занятием.

Вторым моим новым другом в ауле Балтабая был Мухаммедкали Кенжин. Это был изумительный домбрист. И до него я встречал многих замечательных музыкантов-исполнителей, но он был действительно волшебником игры на домбре. Когда он исполнял мелодии и песни Сарыарки, степей Центрального Казахстана, из-под его тонких и длинных пальцев, летающих по ладам, струились особенно нежные и сладостные звуки, недоступные другим домбристам.

Он, как и многие музыканты, не ударял по струнам, не щелкал по ним и не стучал, утомляя и себя, и домбру. Он играл только тремя пальцами – большим, отмороженным указательным и мизинцем, перебирая две струны, как это обычно делают гитаристы. Каждое движение пальцев правой руки точно совпадало с бегающими вверх и вниз по ладам пальцами левой, и в этой удивительной согласованности, вероятно, и таилась полная гармония ритма. Я не переставая восхищался ею!

¹Перевод С. Липкина.

Двухструнная, с восемью ладами домбра Мухаммедкали имела очень распространенную в Сарыарке форму. Ее гриф, не в пример домбре Западного Казахстана, был коротким, не длиннее аршина. И не таким широким, как семипалатинские домбры, а тонким, как инструменты петропавловских и кокчетавских казахов. Поэтому пальцы домбриста скользили по грифу легко и свободно, нигде не задерживаясь, как скакуны, несущиеся прямой и ровной дорогой.

Кенжиных было двое. Старшего брата звали Жунусом, ему было тогда лет сорок пять. Мухаммедкали был моложе его лет на десять. Оба брата, как все семейные люди в те времена, не брили усы и бороду. Однако они оставались холостяками. Да и как им было жениться, когда их совместное хозяйство ограничивалось коровой и лошадью, больше ничего у них не было. А чтобы жениться, и каждому из них нужно было отдать на калым, по меньшей мере, десять голов скота. Откуда же его взять?

И Жунус, и Мухаммедкали батрачили, но не у казахских баев, а у русских кулаков. При этом работали они у чужих по очереди. Когда нанимался один, другой оставался при своем хозяйстве. Жили Кенжины бедно, но у них была своя землянка, а летом войлочная юрта. Хотя в их семье не было женщины, но их жилище, постель и посуда всегда были опрятными. Обед братья готовили сами, сами пекли хлеб, и все у них получалось вкусным. Только доить корову и стирать белье помогала им их соседка, жена родственника Абдильмана.

По обычаям старого аула, такие холостяки ходят от знакомых к знакомым, норовя попасть к чаю или к обеду, обременяя соседей просьбами испечь хлеб. Такое попрошайничество было не в характере братьев. Они не докучали своим землякам, избегали ходить в гости без приглашения, а если и заходили по делу к кому-нибудь, то не задерживались, не ожидали, когда хозяева примутся за еду.

В юрту Кенжиных я заходил, если дома бывал Мухаммедкали. Хмурый, избегающий шуток Жунус слыл нелюдимым, неразговорчивым человеком. Мухаммедкали был полной его противоположностью.

Любитель споров и острослов, живой собеседник и весельчак, он быстро сближался с людьми, одинаково ровно и сердечно относясь и к старым, и к молодым.

Умение Мухаммедкали играть на домбре высоко ценилось в ауле, все уважали музыканта. И он никому и никогда не отказывал в удовольствии послушать игру. Старик или мальчик, мужчина или женщина – кто бы ни обратился к нему со словами: «Муке!» или «Мухаммедкали, мой брат, сыграй, пожалуйста», – он тут же садился и играл. И только в одном он был требователен – не каждая попавшаяся под руку домбра устраивала музыканта. Если он находился вдалеке от своего дома и своей певуньи-домбры, то ему разыскивали самый лучший инструмент, имеющийся по соседству.

Меня неудержимо влекли его веселый нрав и чудесное искусство. Как он играл!.. Я, всей душой полюбивший музыку с детства, слушая мелодии Мухаммедкали, загорелся желанием достигнуть такого же мастерства. Чем чаще я ходил к нему и просиживал часами, весь превращаясь в слух и наблюдая за движениями пальцев домбриста, тем больше проникался чувством, что и мне перепадают частицы его тонкого умения, и я сам, казалось, начинал играть лучше. Но, однако, сближаясь с Мухаммедкали, я отчетливо понимал высоту его мастерства, и тогда мне думалось: я хожу по земле, а он витает в небе.

Особенно нежно и задушевно звучала его домбра ночной порой, когда аул находился на летних джайляу.

Вспоминаю безлунную, густую ночь, когда насытившийся за день скот спокойно отлеживался, пережевывая свою жвачку, когда в глубоком сне давно уже притих аул. В этот час из небольшой юрты музыканта начинает доноситься нежная мелодия знакомой песни, захватывая душу и лаская слух.

Если в такую ночь вы проберетесь в неосвещенную юрту Мухаммедкали, он, отдавшийся целиком музыке и позабывший все на свете, или совсем не заметит вас, или если даже и заметит, то не оторвется от своей мечты, не окликнет вошедшего, не спросит: «Эй, кто там?», а будет продолжать игру, извлекая из струн еще более трогательные и волшебные звуки. И вошедший,

за мороженый чудесной игрой степного виртуоза, не осмелится его прервать, а молча сядет у порога и будет внимать музыке, внимать без конца, растворяя в ней свою душу. С детства знакомая песня успокаивает, убаюкивает тебя, наполняет сердце неизъяснимой и кроткой радостью.

Я сам пережил немало таких ночей и под обаянием домбры Мухаммедкали предавался прекрасным мечтам. Неповторимы эти ночи!

В ауле Балтабай я подружился еще с Сыздыком Устемировым. Ему было уже далеко за сорок. На белом лице Сыздыка оспа оставила свои следы. Мало скрашивали это лицо и жидкие соломенные усы. Однако не даром прозвали его Кырсыком – Бедовым. Без шуток и насмешек он не мог обходиться, игривость была у него в крови. Он любил противоречить, вступать в веселый спор, метко подмечал забавные черты окружающих и без всякой злобы подтрунивал над ними. Поэтому некоторые жители аула сторонились Сыздыка, но большинство относилось к нему очень дружелюбно.

Сыздыку, как и Мухаммедкали, по бедности не удалось жениться. Его младший брат Габдош – Трясущая голова – вошел в дом к вдове Батиш из своего аула, а Сыздык жил с матерью, приветливой и ласковой, и младшим братом, пятнадцатилетним Казым, моим учеником.

Сыздык сапожничал и считался лучшим мастером в здешнем краю. Без работы он не сидел. Его звали к себе все, кому хотелось носить красивые и прочные сапоги. У Сыздыка были золотые руки и веселый характер. Он играл на домбре и, несмотря на небольшой голос, довольно приятно пел. В каком бы доме он ни шил сапоги, туда непременно сходилась молодежь, и начиналось веселье.

Сыздык был вдвое с лишком старше меня, но задорным своим нравом он каждому юноше мог быть ровесником. И я быстро и крепко подружился с ним. Но мы не только шутили, наши беседы часто переходили на серьезное. И тогда непременно выплывало имя Жакыпа Кыстаубаева. Сыздык был одним из

близких его приятелей, а Жакып вернулся из Петропавловска в степь большевиком. Рассказы о нем сильнее всего волновали меня и как бы приоткрывали мне глаза на окружающий мир.

Сыздык ничего не утаивал от меня.

– Это правда, дорогой мой, я дружил с Жакыпом и пошел за ним. Ты ведь сам видишь, как трудно здесь с землей. Ее мало, все лучшие уголья порасхватили баи. А кто страдает больше всех от безземелья? Понятно, бедняки! Когда Жакып сказал, что беднота – хозяин земли, бедняки поднялись как один и пошли за ним. В прошлом году Жакып отобрал у баев лучшие пахотные земли и сенокосы и отдал их нам. Как же я мог оставаться в стороне? Вместе со всей беднотой и я пошел за ним...– Сыздык тяжело вздохнул.– Жизнь совдепа оказалась короткой! Если бы он остался у власти, и земля и вода принадлежали бы беднякам!

– Чего же ты отчаиваешься! – пробовал я его успокоить.– Если у нас совдеп не удержался, то, говорят, в Москве, в Петрограде и по всей России за Уралом Советская власть стоит крепко и с каждым днем набирает силу. Откуда ты знаешь, что скоро и у нас она не победит?

– Дай бог, дай бог!– шептали губы Сыздыка. Жакып в рассказах Сыздыка представал предо мной сказочным богатырем. Он был такого огромного роста, что, даже вытянув руки, невозможно было достать до его головы. Он был настолько могуч, что на каждом его плече могло усесться по два человека. Сыздык его наделял необыкновенной красотой и скромностью. Но самым сильным душевным качеством Жакыпа была смелость. Он, по словам рассказчика, не боялся не только врагов, но даже самого ангела смерти Азраила, если бы он пришел к нему за душой.

Я уже тогда понимал, что в этих восторженных словах Сыздыка была доля преувеличения, но Сыздык от чистого сердца воздавал хвалу вожаку бедноты.

Однажды я его спросил:

– Разве колчаковцы после своей победы не преследовали вас всех, не мстили вам?

– Мстили, и еще как!– отвечал Сыздык.– В аулах Аккозы и Жаркын, за Ишимом, алашордынцы и колчаковцы расстреляли четырех жигитов – приверженцев Жакыпа, в ауле Тлей – двух человек... А ты знаешь Досана Кари из аула Каратала?

– Досана Бекпенова, начетчика Корана?

– Я о нем и говорю. Единственного сына его двоюродного брата Шегире тоже расстреляли...

– А как ты сам спасся?

– Так ведь не я один в этих местах поддерживал Жакыпа, а вся беднота. Нас было немало. В ауле Отемис-Култай с Жакыпом заодно были Жоламан Батаев, Сарсенбай Даулиев, Кабый Биримов, в ауле Хусаинахаджи – Миликаджар Ауелбеков и твой племянник Ашкер, в Каратале – Ержан Хусаинов. Много смелых жигитов помогали Жакыпу объединить бедноту. А когда власть перешла снова в руки белых, местные баи во главе с Кулым-хаджи и Кожан-хаджи и их прислужниками Козке Жусуповым, Оспаном Хусаиновым, нашим картавым Маженом Клышбаевым разъярились. «Всем сообщникам Жакыпа – смерть!»– кричали они и на кое-кого нагнали, пожалуй, страху. В горячке они могли и на самом деле всех нас перестрелять, но бог миловал. Мы скрылись, долго были в бегах и вернулись, когда баи немного утихомирились. Наверное, они тоже стали побаиваться возвращения красных. Чего им иначе нас жалеть? Ведь они беспощадны. Знаешь, Досан Кари мог бы спасти от расстрела сына Шегире, но он и слушать не захотел об этом. «Не я помог ему стать красным, он сам выбрал путь, теперь пускай подыхает!»– сказал он и наотрез отказался спасти своего близкого родственника.

В ауле Балтабай я часто встречался с Хамзой Жунусовым. Он был старше меня всего на два года, в детстве, как и я, учился в ауле, а потом уехал в город Троицк и поступил в татарское медресе «Вазифа» – учебное заведение полудуховного типа. В стенах «Вазифа» он познакомился с уже известными читателю Баймагамбетом Зтулиным и Умитом Балкашевым. В конце прошлой зимы он возвратился в родной аул, к старушке матери и младшему брату. Других родственников у него не было. Мы двое, в сущности, и

представляли всю аульную интеллигенцию и, казалось бы, должны были крепко подружиться.

Не о девушках мы с ним говорили и даже не рассказывали друг другу веселых историй, как случалось в разговоре с Сыздыком. Наши беседы касались главным образом политики. Ничего не скрывая, мы делились самым заветным. Так я узнал от Хамзы, что Баймагамбет Зтулин вернулся из Троицка домой сочувствующим большевикам и только какой-то непредвиденный случай помешал ему вступить в ряды Коммунистической партии.

Хамза подробно рассказал историю сближения Баймагамбета с большевиками.

Город Троицк пересекает небольшая речка Уй. За городской чертой ее берега заросли густым тугаем. В двух-трех верстах от Троицка, у самого берега реки, возвышается горка, известная под названием Золотая сопка. Летом она – излюбленное место отдыха горожан. Здесь есть и песчаный пляж, и лесок, в тени которого можно всегда спастись от жары. Частенько приходили к Золотой сопке и учащиеся медресе «Вазифа».

– Однажды мы вдвоем с Баймагамбетом решили там отдохнуть, – рассказывал Хамза. – Я родился на берегу Ишима, любил плавать, нырять. Баймагамбет же плескался в мелководье, у самого берега. Потом мы легли в тени высокой сосны, росшей у самого подножия сопки. Мы были совсем одни в этом уголке, обычно таком шумном.

Неожиданно по берегу прошел, не замечая нас, бородатый солдат с котомкой за плечами. Неподалеку, от нашей сосны он сбросил котомку, разделся и стал купаться. Солдат оказался хорошим пловцом. Он поплавал, понырял, выбрался из воды, обсох, оделся и раскрыл свою котомку. Нам было все отлично видно. Он достал черствый ржаной хлеб и принялся есть. Судя по тому, с каким усердием он его грыз, можно было предположить, что солдатский хлеб высох и затвердел, как камень. У Баймагамбета было доброе сердце. Он быстро повернулся ко мне: «Знаешь, этот солдат или отпущен на побывку, или, что больше похоже на правду, сбежал с фронта. Но кто бы он ни был, а

проголодался здорово! Давай его угостим!» Я пожал плечами: «А стоит ли связываться?»

Баймагамбет был непреклонен. «Нельзя, если у тебя есть пища, не поделиться с голодным, грех!» Короче, я согласился. У нас было прихвачено немного еды из общежития медресе, и Баймагамбет с этим узелком в руках направился к солдату. Я пошел за ним.

У солдата было исхудавшее, утомленное лицо. К его бороде давно не прикасалась бритва. Заношенная, грязная гимнастерка говорила о дальнем пути. Он тепло откликнулся на наше приветствие и за руку поздоровался с нами. Мы стали его расспрашивать, но он отвечал кратко и, пожалуй, без особенной охоты. «Да вот пробираюсь с фронта, иду в отпуск домой, в Кокчетавскую». И назвался Антоновым.

Когда мы уже распрощались, Баймагамбет высказал свою догадку: «Это беглец, настоящий беглец. Разве ты не видишь?» – «Но откуда он мог бежать?» – «А кто его знает. Может, и с фронта, воевать больше не захотел, а может, – это даже вернее, – один из красных, от белых скрывается...» – «Белый он или красный, теперь наши дороги разошлись, мы больше не встретимся!» – сказал я. «А я думаю не так. Он в тугаях будет скрываться, и где-нибудь у Золотой сопки мы его снова можем увидеть. Не веришь – пойдем завтра».

Я поленился и не пошел. Баймагамбет отправился один. Он был очень упрям: что задумает, сделает обязательно. Мне он больше ничего не говорил, но я-то думаю, что встреча состоялась и Баймагамбет решил почему-то ее от меня скрыть.

– Почему? – поинтересовался я.

– Ты подожди с вопросами. Стал я замечать, что Баймагамбет переменился, иначе стал рассуждать. Чаще и чаще упоминал он в разговорах о красных, о том, что они совсем недалеко. И относился он к ним не так, как было принято у нас в медресе. Ведь у нас почти все преподаватели были татарскими националистами, ненавидели Советскую власть, на уроках политики агитировали против нее. Никто друг другу не верил. Поэтому-то Баймагамбет присматривался ко мне. А в это время к Уралу подошли красные, наше медресе закрылось, и учащиеся разъехались.

Баймагамбет и я вернулись домой. Можно было бы, понятно, остаться и вблизи Троицка – там много казахских аулов, нас взяли бы в учителя. Но разумнее было переждать в родных краях это тревожное время. Да и Баймагамбет настаивал. Помню, на станции Петухово – там мы должны были расстаться – он говорил: «Скоро сюда придут красные, мы их встретим дома, а уж потом будем устраиваться на работу!» И все-таки Баймагамбет в час расставания рассказал мне, что в Троицке есть подпольная организация большевиков и тот солдат, которого мы встретили у Золотой сопки, был тоже подпольщиком. Баймагамбет, как я и догадывался, встречался с ним и сблизился с подпольщиками. О подробностях он умолчал, даже скрыл имя солдата, многозначительно добавив: «Подожди, скоро мы с ним увидимся, тогда и узнаешь!»

Я приглядывался к Хамзе так же внимательно, как в свое время Баймагамбет. Хамза во многом разбирался лучше меня, но в политике он, как мне казалось, мелко плавал. Он тоже хвалил большевиков, однако выдавал свою отсталость, доказывая их правоту несколькими странными аргументами:

– Наш пророк одинаково хорошо относился к баям и беднякам, но бедных жалел больше. Вот так и большевики. Если они придут к власти, они будут поступать по заповеди Корана!

Помнится, Хамза однажды говорил о Жакыпе Кыстаубаеве:

– Я знаю его, хорошо знаю, он сын бедняка. Спору нет, Жакып отважный и смелый жигит, но какой он малограмотный, невежественный! Ты только подумай: немного послужив в совдепе, он объявил всех казахских и русских богатеев кровными врагами бедноты! Дай ему волю – он бы их всех истребил. Это ведь Жакып разволновал бедноту, поднял целый бунт и отобрал у баев их земли и сенокосы.

– А разве это плохо? – спросил я.

– Чего ж хорошего? – отвечал Хамза. – Уравнивать баев с бедняками надо осторожно, постепенно. Так необдуманно рубить нельзя. Разве можно что-нибудь сделать насилием? Ведь баи не потерпят его и будут сопротивляться!

- А ты сам видел Жакыпа?
- Только один раз, и с тех пор мы не встречались?
- Почему же так?
- Не сошлись мы с ним. Я стал упрекать его в жестокости к баям, а он рассердился. «Ну и целуйся с ними сам!» – сказал так, махнул рукой и ушел.

У ОЗЕРА АЛУА

Обрядовые пиры и вечеринки, неизменные во время сватовства, проводов и встречи невесты, наконец в дни самой свадьбы, устраиваются летом, когда аулы выезжают на джайляу. Пир не прекращался и тем тревожным летом в аулах, стоявших вокруг озера Алуа. Самым излюбленным развлечением здешних жигитов в дни летних праздников был кокпар – козлодрание, азартная спортивная игра, заключающаяся в борьбе всадников за обладание козлом. Обычно к концу игры хозяин свадьбы отдает на растерзание козла, и все жигиты, имеющие коней, участвуют в игре. Целый день в степи продолжаются веселые схватки, затихая только к вечеру. Кокпар продолжается нередко два-три дня.

Я завидовал жигитам Алуа. Мне так хотелось тоже принять участие в кокпаре и показать свою ловкость и силу, но – увы! – ловкостью-то я как раз и не отличался. Я еще мог соревноваться в борьбе, но чаще всего приносили мне победы стихотворные импровизации и песни. В этих состязаниях я всегда участвовал в свите жениха, в качестве его дружки.

Если не считать талантливого Мухаммедкали и даже довольно заурядного певца Сыздыка, в этом краю не было таких больших артистов, как наш Габдол Кабанбаев или Хасен Жубандыков. Может быть, поэтому и хороших песен здесь было маловато. В это лето новая песня «Алиф-би» только-только начала проникать в аулы, стоящие вокруг Алуа.

Каждый куплет этой песни, впоследствии записанный с моих слов композитором Александром Затаевичем, начинается словами «Я привез с базара...».

Я привез с базара в дом мой пиалу,
Трудно петь мне песню в маленьком углу.
Будь бы здесь просторней, я запел бы так:
Горяча ты, девушка, словно аргамак.

Я привез с базара дорогой кумган,
Кто за словом гонится, ждет того обман.
И-эх, вскормили милую на густом меду,
Бархатные глазки мне сулят беду!

Я привез с базара звонкое ведро,
Моей милой брови выгнуты хитро.
Я к ней ехал долго, только вот беда:
Для забавы милая слишком молода.

Песня эта, живая, темпераментная, поется стремительно. Каждый куплет заканчивается припевом:

О-оу, алиф-би,
Лепсин тый,
Лямесили ти тур т-т-оу,
Пою на разные лады!..

В здешнем краю в те времена было сравнительно больше мечетей, мулл и хаджи, чем в других аулах, поэтому влияние религии чувствовалось даже в песнях. Молодежь распевала песни, похожие порой на мусульманские молитвы, с частым упоминанием бога и пророка. К тому же эти песни были значительно засорены арабскими и персидскими словами и многими выражениями ислама. Вспоминается мне такой куплет:

Мы молитву богу воздадим сперва,
О, велик аллах наш и пророк велик!
И другой молитвы знаю я слова:
Да поможет бог мне сохранить язык!

В этой песне не так много слов – чуть больше двадцати. Но больше половины их (речь идет об оригинале – Прим. переводчика) – арабские, не понятные простым жителям аулов. Тогда в здешнем краю и в незамысловатые бытовые песни часто попадали туманные духовные выражения, книжные мудреные слова. К примеру, если песня посвящалась злодеям, в ней появлялись фараоны, а в любовной песне певец

стремился упомянуть об Иосифе и Злихе, о которых никто толком не ведал. В эти скудные на песенное творчество ишимские аулы я привез новые свежие песни. Они заучивались и быстро запоминались всеми. Отсюда и пошло мое прозвище – Учитель-певец.

Я полюбил июньские незабываемые ночи на берегу Алуа, их лунный и звездный свет, серебрящий легкие полупрозрачные облака. Бывало, пройдешь тропинкой к озеру, растянешься у самой воды в густой высокой траве, вдохнешь свежий запах луговых цветов, и так хорошо становится на душе. Удивительные картины возникают перед тобой, ночные шорохи мягко коснутся твоих ушей. И вдруг ты услышишь песню. Сначала она будет робкой, и ты отчетливо различишь только два голоса – мужской и женский. Но вот к ним присоединяются другие голоса. Запевал подхватывает хор, – и у тебя больше уже нет сомнений: на краю аула собралась молодежь, веселится, качается на качелях, поет. А издалека, с дальней степной стороны, раздается конское ржание и одинокая песня, вторящая аульному хору. И ты догадываешься: это пробудился пастух, задремавший в балке; он позавидовал своим веселым сверстникам и поприветствовал их.

Никогда не забуду я эти ночи!

...Озеро Алуа... Впервые в жизни вспыхнули здесь жарким огнем мои молодые чувства. Это круглое озеро, заросшее вдоль берега высоким камышом, так дорого мне, что и по сей день я вспоминаю его с особенной теплотой и нежностью... Да разве можно забыть ночи, проведенные мною на шелковистом лугу, который начинается у самого берега! О чем только не мечтал я тогда!..

В каждую свободную минуту я любил бывать на озере. Мечты мои не заглушал постоянный шум и гомон пернатых – гусиный гогот, криканье уток, крик чаек и лебедей. Подует ветер – озеро разволнуется, ночью его шум становится особенно сердитым, но в тихие и ясные дни зеркальная гладь покрывается мелкой рябью, и только у берега невысокие гребни волн, лениво преследуя друг друга, мягко шлепают о песок и неторопливо, словно нехотя, откатываются

назад, тихо журча, перешептываясь о чем-то своем, затаенном...

А за тем берегом Алуа, ожидая своего поэта, хранится еще никем не написанная драматическая история. Вот ее краткий пересказ.

В красивую девушку, по имени Алуа, влюбился молодой жигит Жарылкамыс. Он посмел в те суровые времена жестоких родовых обычаев нарушить законы предков, выкрал любимую и пытался с ней скрыться. Когда влюбленные добежали до густых зарослей черемухи на восточном берегу озера, их настигла погоня. Смелый жигит Жарылкамыс искусно владел копьем и бесстрашно сопротивлялся толпе преследователей. Но сила была на их стороне, и он пал убитым. Алуа не смогла перенести гибели своего любимого и тут же покончила с собой. Влюбленные были похоронены на месте своей смерти. С той поры озеро и получило название Алуа.

В старом кочевом ауле не знали кирпичей, не строили из камня и часто взамен мавзолеев и склепов, по старинному обычаю, «клали землю». В день годовщины смерти все собравшиеся на поминки приносили с собою землю и сыпали ее на могилу. Так в степи создавались могильные курганы. Так был насыпан и курган над могилой Алуа и Жарылкамыса. На самой его вершине позднее выросли два куста черемухи. Тесно сплелись друг с другом их крепкие стволы. Народное воображение увидело в них образ навеки влюбленных.

На берегу озера, среди душистых трав, меня волновала не только эта поэтическая сказка. Меня притягивал сюда не дух покойной Алуа, а пламенная любовь к живой Алуа... Девушке этой было тогда шестнадцать-семнадцать лет, и она пленила меня своим изяществом и нежной застенчивостью.

С ней я познакомился на качелях. Первые вечера нашего знакомства прошли в этом веселом развлечении аульной молодежи. Мы раскачивались, сидя рядышком, и вдвоем пели песни. Я сравнивал ее в те дни с прекрасным, только начинающим раскрываться цветком. Она привлекала меня сильнее и сильнее.

Долго я не мог сказать ей ни слова о своих чувствах. Только волнение выдавало меня. Я не находил в себе

смелости открыться любимой девушке. Язык мой словно онемел. Но смелость возвращалась ко мне, как только мы расставались. Наедине с самим собою я находил множество прекрасных и нежных слов, которые чаще всего слагались в стихи. Моя Алуа хорошо читала по-казахски. И вот я стал писать письма. Но из-за той же робости не мог ей их вручать. Пришлось найти надежного почтальона. Это был мой ученик Казый, младший брат веселого сапожника Сыздыка, сообразительный и хитрый мальчик, отлично справлявшийся со своей ролью. Маленькая тайна сдружила учителя и ученика.

Письма, посланные через Казыя моей возлюбленной, долгое время оставались без ответа. Она была слишком безгрешной и только-только переступила из отрочества в юность. Ей было трудно решиться что-нибудь сказать мне или написать.

Но разве казахи зря говорят: «Подкарауливающий враг обязательно захватит!» И еще одна пословица: «Не захотел рассветать, да солнце ему не позволило». Пришел рассвет и моей любви, и Алуа стала для меня колыбелью моего счастья... Счастье высоко подняло меня на своих крыльях, но неожиданно его крылья сломались. Я не сразу сообразил, что вызвало недоверие родных девушки, но так или иначе ее перестали выпускать из дому, запрещали даже развлекаться на качелях. Как я потом узнал, один из ее и моих врагов – стоит ли объяснять, почему он им стал! – сумел однажды перехватить мое письмо и отдать его ее старшему брату, человеку жестокому и решительному.

Начиная с того грустного дня, в час наступления сумерек юрта, где спала девушка, запиралась на замок, вдобавок с цепи спускали злого пса. Попробуй тут приблизиться к юрте, попробуй ее отворить!

Тяжело у меня стало на душе, все казалось безнадежным. Успокоиться я не мог. Разгоревшаяся в сердце любовь лишала меня сна и гнала на берег Алуа. Ночи напролет я всматривался в темноте в аул девушки. Иногда со мной вместе бывал мой друг и почтальон Казый. Многие ночи проходили напрасно, но все же мне удавалось время от времени встречаться с ней.

В одну из таких бессонных ночей мы вдвоем с Казыем притаились в овраге. Вдруг мы заметили человека, шагнувшего по дну соседнего яра. Время перевалило за полночь, в такую пору по делу никто не ходит. И дальний путник в это время не ищет ночлега.

Казый и я, скрытые в низине, стали наблюдать за незнакомым человеком. Бесшумно крадучись, он направился на бутор, к аулу Каратал. Мы знали как свои пять пальцев, сколько юрт в этом ауле и чья юрта где стоит. Все нам было отлично видно. На севере, например в Ленинграде, в летние месяцы бывают так называемые белые ночи. В моем родном краю, в Северном Казахстане, особенно на берегах озера Алуа, можно наблюдать что-то очень похожее. Это не совсем белая ночь, но какой-то широкий светлый луч, вернее – сноп лучей, называемый казахами ак-тандаком – белым ложным рассветом, он-то и делает темную ночь светлой и бывает только в июне-июле. В эти месяцы после захода солнца бледно-розовое, пронизанное золотыми и серебряными нитями зарево медленно, незаметно для глаз, движется по северу горизонта, пока не сольется с настоящей золотой зарей. Это неяркое, осторожное сияние позволяет многое различать, как днем. Ах, как чудесно у озера в такую пору!..

Ак-тандак – белый ложный рассвет – помог и нам в ту ночь ясно увидеть путь неизвестного. Он дошел до аула Каратал и скрылся в юрте знакомого нам Козке.

– Так ведь это Жакып! – догадался Казый.

– Какой Жакып?

– Да-да, Жакып, сын Кыстаубая.

– Ой-бой! Что ты говоришь? – Я даже вскрикнул от удивления.

Так вот, оказывается, какое дело!

Я-то ведь давно слышал, что Жакып был влюблен в Зубейлу – дочь Козке, полную высокую девушку с резкими по-мужски чертами смуглого лица. Но ее женихом был Казый Сакауов, а он приходился моей матери двоюродным братом. Оттого-то, увидев Жакыпа, прокравшегося в дом Козке, я почувствовал ревнивую злобу к похитителю чужой невесты. И в то же самое время я его пожалел.

– Что случилось с жигитом?– говорил я с тревогой Казыю.– Ведь он в бегах, он прячется от белых – и вдруг пробирается в чужую юрту. Да еще к кому? К своему кровному врагу! Его же могут поймать и выдать белым!..

– А еще говорили, что он осторожен,– забеспокоился Казый.– Что это с ним случилось?

– Давай в шутку попугаем его!– предложил я.

– А как?

– Ведь из дома Козке он будет возвращаться этой же дорогой. Вот мы и погонимся. А?

На том мы и порешили. Но из легкомысленной нашей затеи ничего не вышло: Жакып был не из пугливых.

Когда он стал приближаться к нам, я закричал:

– Э-эй! Кто это-о?

– А тебе кого нужно?– Он остановился как ни в чем не бывало.

– Тебя! – Я направился к нему.

– Ну, давай, давай, если я тебе нужен!– И он спокойно пошел мне навстречу.

– Это мы! Мы!– выбивался из сил трусивший за мной Казый.– Жакып, это мы!.. Я – Казый, а это наш новый учитель!

– Да не кричи ты!– перебил юношу Жакып, поравнявшийся с нами.– Ну, а теперь, жигит, здравствуй!– И он протянул мне руку.

Запахавшись от волнения, я не сразу нашелся.

– Так, значит, ты меня знаешь?

– Ты Жакып Кыстаубаев!– вымолвил наконец я.

– Откуда ж тебе это известно?

– Я сказал!– ответил за меня Казый.

– А что ты орал так?– уже к нему обратился Жакып.

– Испугался. А вдруг бы вы его застрелили?

– Нашел дурака!– засмеялся Жакып.– Стану я зря тратить пулю! И зачем мне его убивать?

– А если бы вы испугались, подумали, что вас ловят?

– Кто же это меня может поймать? Такой герой здесь еще не родился.

Тут, совсем успокоившись, я по порядку рассказал Жакыпу и о том, кто я и о задуманной шутке, и о нашей тревоге за него.

– Вот за это спасибо,– сказал Жакып.– Только вы напрасно тревожитесь: у здешних баев капканы полomanы и сети оборваны, им не поймать меня. Не осмелятся они понять?

Мы разговорились. И, как это часто бывает, оказалось, что Жакып много слышал о моей семье, да и обо мне. Его отец Кыстаубай не только знал моего отца Мукана, но они и батрачили когда-то вместе у одного бая.

Мы сели на траву, и беседа наша пошла откровеннее. Он прямо сказал мне, что вся Россия за Уралом очищается от белых.

– Ты не думай,– убежденно говорил он,– партизанские отряды есть не только здесь. В этом краю их еще мало. Вся Сибирь, вся тайга полны партизанами. Скоро увидишь сам. Как только Красная Армия перейдет Урал и начнет наступление, Колчак откатится от Омска, а там, на востоке, ему негде удержаться. Партизаны будут добивать его по частям. Об этом должен знать народ!

Кажется, народ уже и сам догадывается, что Колчаку долго не жить.

– А ты хорошо знаешь Алаш-Орду?– неожиданно спросил Жакып.

Я кивнул головой.

– А понимать-то ее понимаешь?

– С баями идет Алаш-Орда, Советскую власть не любит, с Колчаком дружит.

– Ну, если это тебе ясно, из тебя выйдет толк! Твердо помни: Советская власть скоро установится и у нас. Вот тогда взойдет солнце для нас с тобой, бедняков. Только тогда баи и их аткаминеры – алашордынцы узнают, кого защищает Советская власть! А про Ленина ты слышал?

– Да, немного слышал.

– Ну, а что же? Ты говори мне.

– Что он заступник всех трудящихся.

– Правильно, молодец!– Жакып положил руку на мое плечо.– Ленин – великий человек, настоящий человек! Для него и русский, и казах дороги. Только трудящийся. Ленин повел трудящихся всех народов к свободе.

– А потом, говорят, будет социализм. Так? Но, Жакып, объясните мне, что это такое?

– Уж не думаешь ли ты, что я вернулся с курсов и постиг все эти премудрости!– засмеялся Жакып.– Могу одно сказать: социализм – это счастливая жизнь для трудящихся. А уж как там будет при социализме, нужно почитать в книгах. Иначе откуда же узнаешь? Ничего, мы еще поучимся! Скорее бы Советская власть пришла, а там – все наше! Заживем, как настоящие люди!

– Жакып, дорогой, расскажите, как вы нашли этот путь?

– Да сразу и не ответишь. Понимаешь, почувствовал я, где правда. Душой почувствовал. Не на стороне же баев я должен был бороться. А книжных знаний у меня нет никаких. Мне даже расписаться трудно.

Но я продолжал допытываться, что же все-таки привело Жакыпа к красным, кто ему помог. Он медлил с ответом и наконец сказал:

– Русские товарищи. Они показали мне, где справедливость. За ними я пошел.

– Жакып, а где партизаны? Расскажи о них.

– Много ты хочешь знать, дружок!– засмеялся он.– Это тайна, военная тайна. А если хочешь, пойдем со мной, сам запишешься в партизаны.

И он в свете ак-тандака, уже сливающегося с утренней зарей, улыбнулся так, что я не понял, шутит ли он или говорит серьезно.

– Ну, мне пора!– сказал Жакып, подымаясь.

И когда он распрямился, мне показалось,– наверно потому, что я уже успел подружиться с ним и мое сердце переполнилось теплом,– что он был красив и душой, и богатырским телом, и мужественным, особенно светлым в час рассвета лицом.

Пушок, черневший над верхней губой, небольшие иссиня-смородиновые глаза в сочетании с бледной, белой кожей делали его удивительно привлекательным. «Какой он красивый и стройный!»– повторял я про себя, еще раз окидывая его взглядом.

На прощание Жакып крепко пожал мне руку.

– Народ должен знать о Советах, о Красной Армии. Беседуйте с людьми, не тая от них того, что подсказывает сердце!

СНОВА В ПУТИ

Осень началась проливными дождями, погода испортилась. Но и по другим причинам жизнь с каждым днем становилась труднее и беспокойнее. Хотя колчаковские и алашордынские газеты не переставали хвастать, что «красные разгромлены» и «в беспорядке бегут», что «скоро пробьет час их гибели», сама обстановка говорила совсем не в пользу белых. Колчаковские войска еще недавно отправлялись на западный фронт только по железной дороге. Теперь они уже проходили далеко от нее, степными путями и проселками. Носились слухи, что на юге красные очистили Туркестан и продвигаются в Семиречье, на западе, через Оренбург, наступают к Тургаю, захватив Уфу и Екатеринбург, подходят к Челябинску и Тюмени.

Достоверность этих слухов подтверждалась суетливостью, растущей раздражительностью и жестокостью колчаковцев. Раньше, отбирая у сельского населения зерно, продукты и скот в качестве налога, они еще соблюдали видимость законности, а теперь без всякого спроса угоняли из степи целые табуны и прямо на дорогах отнимали крестьянские подводы. Жители сел и аулов начали прятать свое добро. Они не пускали скот в степь и выпасали его в лесах и зарослях камыша.

Колчаковские части на своем пути, растянувшись по всем степным дорогам, творили неслыханные злодеяния. Ни в чем не повинные случайные люди, попавшиеся им, расстреливались на месте, без суда и следствия. В аулах отбирали лошадей и телеги, захватывали в подводчики стариков и больных. Где только ни появлялись колчаковцы, они брали все, что попадалось под руку и имело хоть какую-нибудь цену.

Бичом населения было насилие над женщинами. Только на горизонте покажется белое воинство, женщины разбегались из аула. Настигнутые подвергались позору, колчаковцы глумились над ними, мучили и убивали.

В пору такого разгула колчаковское правительство попыталось в последний раз установить какой-то порядок и создало охрану в каждом поселке и ауле.

В охрану записывались преимущественно байские и кулацкие сыновья. Они были обязаны обеспечивать проходящие воинские части подводами, проводниками, пищей, следить за настроением населения, вылавливать красных и передавать их власти.

Положение колчаковцев на фронте тем временем резко ухудшилось. Белая печать уже перестала трубить о победах и стыдливо писала о «передвижении линии боевых действий» к Кустанаяу, Кургану, Тюмени, Атбасару. В ауле Балтабай, где я учительствовал, и в окрестных селениях стали размещаться колчаковцы. За аульными юртами они рыли окопы, тянули телефонные провода, устанавливали пушки. Стали поговаривать, что здесь будут большие бои. Аулы потеряли обычную связь между собою, да и трудно было понять, где были аулы, а где военные укрепления. Жители только и думали о том, как бы сохранить в целостности свои головы.

Жизнь в нашем краю стала такой скованной и тяжелой, что об испытаниях, выпавших на долю жителей аулов, можно было сказать словами народной поговорки: «Всех засунули в кожуру одного просяного зернышка».

Между зимовкой нашего аула и озером Алуа росла небольшая рощица Алтай. Рощица была совсем маленькой. Когда нахлынули колчаковцы, все аулы, стоявшие вдоль берега Алуа, спасаясь от их бесчинств, перекочевали в рощицу Алтай и еле-еле разместились в ней.

Где уж было мне в это трудное время учить детей! Как только начались грабежи и притеснения, я выпустил своих учеников и, оставшись без всяких занятий, с тревогой думал, что же делать дальше.

Однажды сюда, в рощу Алтай, к балтабаевцам, приехали из моего рода сыйбан двое знакомых; одного зваля Кыйналганом, другого – Мырзахметом. Их колчаковцы увезли из аула в качестве подводчиков, но по дороге замороженные лошади совсем пристали и оказались негодными даже для войсковых обозов. Поэтому моим землякам выдали пропуска и разрешили вернуться домой. Правда, колчаковцы в таких случаях и подводчикам находили работу, но пожилые Кыйналган и Мырзахмет, к несчастью своему или счастью,

хромали, потому-то их легко и отпустили. Какую пользу принесли бы Колчаку два хромых казаха?

Скучая в ауле, изнывая от тревоги и безделья, я очень обрадовался появлению своих земляков. А когда они мне предложили вернуться вместе с ними домой, я, не мешкая, стал собираться в дорогу. Дружья-балтабаевцы уговаривали меня: «Останься! В такое тревожное время попадешь в беду, убьют еще. Подожди, пока хоть немного все успокоится!» – советовали они. Но я не послушался их и отправился в путь с моими земляками. У Кыйналгана и Мырзахмета было три подводы, на одной из них устроился я.

Сколько можно было ехать на загнанных, истощенных лошадях? Они вяло ступали шагом, а иногда мы их вели на поводу, в день одолевали не больше перегона ягненка – восемь-десять верст, а порою и того меньше. Но все-таки мы двигались вперед, а навстречу нам, поспешно и беспорядочно, шли колчаковские войска, и с каждым днем их становилось больше и больше. Это уже были отступающие части.

По всему чувствовалась близость фронта. Доносившийся издали приглушенный гул пушек с каждым днем становился громче и отчетливее. Бои, как предполагали мои спутники, шли где-то возле Пресновки, а может быть, еще ближе.

То ли мои хромые земляки, побывав подводчиками у колчаковцев, уже привыкли к фронтовой обстановке, то ли они просто не понимали, что такое война, а может быть, они надеялись на магическую силу полученных ими пропусков, но так или иначе они никак не хотели отклоняться от большой дороги, по которой шли отступающие белые. У меня же пропуска не было, и я предпочел бы ехать окольными путями, чтобы избежать неприятных случайностей и, не попадаясь на глаза ни белым, ни красным, возвратиться домой. Но Кыйналган и Мырзахмет были достаточно упрямыми людьми. И я до сих пор удивляюсь, как нам только удалось выбраться в тыл отступающей колчаковской армии.

Об этом нам пришлось узнать совершенно неожиданно.

Мы приближались к соленому озеру Менгесер, как вдруг перед нами, как из-под земли, выросла группа всадников с красными звездами на шапках.

– Красные!..

И в самом деле это были они. Дозорные остановили нас и потребовали документы. Мои хромые земляки не вызвали у них никаких подозрений, да к тому же и в пропусках ясно было сказано, куда они направляются. Другое дело я: у меня на руках была единственная, давно устаревшая справка, что я являюсь курсантом Омских учительских курсов. Что я делал после курсов, ничем нельзя было доказать.

Молодой, одетый по-городскому, ехавший с территории, занятой Колчаком, красным разведчикам я показался подозрительным. Они решили меня задержать и доставить в сопровождении конвоира в поселок Рождественку – Майбасар: там, верстах в двадцати отсюда, находился штаб красных.

Мои спутники очень огорчились и жалели меня. Они боялись, как бы со мной не случилось чего-нибудь плохого. Но они ничем не могли мне помочь. Их отпустили, и они, оставляя меня с конвоиром, говорили:

– Будем ждать тебя в лесочке за Майбасаром до завтрашнего полудня. Приходи туда, если освободят!

Верховой конвоир погнал меня пешком в штаб. Тысячи дум передумал я по дороге. Я понимал, в это тревожное время с подозрительными людьми без документов не очень церемонятся, и если заподозрят в тебе шпиона, то сразу расстреляют... Долго расследовать и возиться с ними не позволяет обстановка военного времени. Сперва, когда меня задержали, я совсем перетрусил. Думал: «Пришел мой конец. Тут, у озера Менгесер, и пустят пулю». Но когда узнал, что отправляют в штаб, немного приободрился. «Уж там-то расскажу все о себе. Поймут, пожалеют, отпустят», – надеялся я.

Майбасар, или Рождественка, – большой поселок с длинными улицами, образующими букву «П» вокруг заросшего камышом озера. Улицы были забиты вооруженными красноармейцами, лошадьми, бричками, двуколками, орудиями. Откуда-то слышались песни,

свист, гиканье. Это веселились отдыхающие бойцы. На шапках у них алели красные звезды.

В центре поселка, на площади, отдельно от других домов, возвышался многооконный сосновый дом. На его крыше полыхало красное знамя. Конвоир вел меня прямо туда. «Наверное, была школа, теперь здесь штаб», – подумал я. Меня снова охватили волнение и страх...

В штабе со мной долго говорил пожилой русский человек, по всем признакам красный командир. Как и задержавшие меня дозорные, он сперва подозревал во мне шпиона белых, но моя искренность поколебала его. Он расспрашивал о положении в тылу Колчака, о том, как живут и что думают люди в аулах. Я не спеша и как можно подробнее рассказал ему все, что видел и слышал. Спросил он и о моих знакомых. Я почти случайно назвал Жакыпа Кыстаубаева.

– Повтори, как ты сказал... Кто? – насторожился командир.

– Жакып Кыстаубаев, – повторил я, – партизан Жакып.

– Правильно, есть у нас такой!

– Нельзя ли мне его повидать? – обрадовался я.

– Почему же нельзя! Сейчас вызову.

Долю ждать не пришлось. Жакып явился тотчас. Я его сразу узнал: вот он, наш Жакып! Только он был одет по-новому – в длинной кавалерийской шинели, подпоясанной ремнем, и в шлеме с красной звездой. В военной форме он казался еще выше и стройнее. «Какой молодец! Вот таким и должен быть настоящий жигит!» – невольно подумал я.

– О-о, курносый! Откуда ты взялся? Как попал сюда? – заулыбался Жакып и крепко обнял меня.

От радости, не вмещавшейся в груди, от пережитого я не выдержал и заплакал...

– Так ты его знаешь, товарищ Кыстаубаев? – оживился командир.

– А как же, Владимир Иосифович, он мне не просто знакомый, а если разобраться, родня.

– Он не шпион белых? – улыбнулся командир.

– Что вы, товарищ Гозак! Это один из тех, которым мы несем свободу. Он аульный учитель.

– Вот как! А хорошо, что он твой знакомый, иначе долго бы пришлось повозиться с ним: кроме справки, выданной колчаковскими курсами в начале года, у него ведь никаких документов нет.

Разговор закончился быстро. Гозак разрешил Жакыпу на день взять меня к себе, на завтра мне был обещан пропуск из штаба.

Жакып увел меня к красноармейцам, и впервые я увидел, как могут веселиться побеждающие бойцы. А потом у себя на квартире Жакып долго, до вторых петухов, рассказывал о своей трудной боевой жизни. Я буду считать себя неоплатным должником Жакыпа Кыстаубаева, пока не напишу книгу об этом герое.

Сейчас коротко скажу, что партизанский отряд, в котором был Жакып, присоединился в городе Кургане к Красной Армии и влился в ее состав.

В эту встречу с Жакыпом я по-настоящему узнал о красных.

– Не уйти ли и мне с вами?– сказал я ему.

– На готовенькое нечего зариться,– засмеялся он,– побеждающей Красной Армии твоя помощь не особенно нужна. Ведь ты и с винтовкой обращаться не умеешь. Да не огорчайся, это я в шутку. Лучше ты вернись домой, но там не задерживайся долго. Поезжай в Петропавловск и начинай работать!

– А ты?

– Мой путь еще не закончен, до восточных границ России еще далеко. Пока не освободим родную землю, я остаюсь в рядах армии.

На следующий день Жакып привел меня в штаб. Допрашивавший меня вчера Владимир Иосифович Гозак оказался начальником штаба и выписал пропуск, в котором предлагалось всем советским и военным органам оказывать мне всяческое содействие.

– До свидания, товарищ Муканов!– сказал мне Гозак, передавая пропуск и пожимая руку.– Я верю, что этот пропуск будет для тебя первой путевкой в свободную жизнь. Счастливого пути!

– Спасибо, товарищ Гозак!

Он был прав. Выданный им пропуск оказался моей первой путевкой в свободную жизнь.

НОВОЕ И СТАРОЕ

УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ

Я вышел на улицу, поглубже засунув в карман пропуск, выписанный мне Владимиром Иосифовичем Гозаком. Жакып провожал меня.

– Пора, дорогой мой, – протянул он мне руку. – Попрощаемся!

Я благодарил его, как только мог.

– Постой-ка, – сказал он, не выпуская моей руки. – А как ты доберешься до аула? Пешком, что ли?

– Да ведь земляки, с которыми я ехал, должно быть, ожидают меня.

– А если уж и след их простыл?

– Что ж делать, пойду тогда пешком. Я тут поразузнал – до аула, куда мне нужно, уж не так далеко, верст шестьдесят, не больше. Можно и пешком добраться. Тепло, дорога хорошая.

Жакып широко улыбнулся, и его мужественное привлекательное лицо стало еще красивее.

– Нет, Сабит, так не годится. Поедем вместе туда, где могут быть твои спутники. Найдем их – хорошо, а не найдем – так отыщу тебе какого-нибудь надежного попутчика.

И мы зашли к нему домой, оседлали коней и выехали к западной окраине села. В пяти-шести верстах отсюда, в небольшом лесу, и должны были ожидать меня мои спутники.

Мирно беседуя о том о сем, мы достигли полянки, на которой паслись стреноженные лошади. Но самих подводчиков нигде не было видно. Они притаились где-то в кустах и долго не обнаруживали себя, несмотря на наши крики.

Только убедившись в том, что им ничто не угрожает, рискнули они покинуть свое убежище. Кыйналган,

хромая на правую ногу, Мырзахмет – на левую, медленно подошли к нам.

– Что это они оба расхромались? Может быть, представляются?– засмеялся Жакып.

– Да разве сумеет здоровый человек выдать себя за калеку?– усомнился я.

– Чего только не делают люди, чтобы спастись?! Я сам не раз видел, как совершенно здоровые мужчины со страху притворялись глухонемыми и даже сумасшедшими.

– Да нет, они на самом деле хромые, и, представь, двоюродные братья!

– Свел аллах достойную пару!– не смог сдержать смеха Жакып.– Ишь ты, один хромает на правую, другой, как нарочно, на левую! Такое и не выдумаешь. От кого вы только прятались?– удивился он, поравнявшись с хромыми братьями и слезая со своего коня.

Я тоже спешил.

Увидев меня живым и невредимым, Кыйналган и Мырзахмет заметно приободрились.

– Время такое, что от всех приходится прятаться. Живем как сурки,– пожаловался Мырзахмет.– Моргнешь не так – мигом получишь пулю.

– Да кому вы нужны, хромые!– продолжал подсмеиваться Жакып.

– К-к-к-ому нужны тта-а-кие, н-не знаю,– забавно заикался Кыйналган,– но са-ам в-видел, ка-ак рра-асстреливали ллюдей и ппо-оухе...

– Кто же это, белые или красные?– прищурился Жакып.

Мырзахмет лукаво подмигнул Кыйналгану, чтобы тот сдуру не проговорился. Но шитую белыми нитками наивную уловку заметил Жакып.

– Да ты не подмаргивай, пусть говорит, что видел!

– Ккра-а-асных мы встре-етти-или в первый раз,– Кыйналган стал заикаться еще больше.– А с бе-е-е-лыми ездили целый месяц. Они рра-а-сстреливали и х-хроомых и ssl-е-е-пых.

Жакып снова рассмеялся.

– Мы беспощадны только к настоящим врагам,– успокаивал он перепуганных братьев,– а вы, выдать, хорошие люди, настоящие бедняки. Верно я говорю?

– Правильно!– сказал Кыйналган. Он заикался уже куда меньше.– Семьдесят лет моему отцу Кыялу. С детства он пас байские табуны и, только состарившись, слез с коня. И старший мой брат Саркош вечный батрак. Да и я с детства пошел в пастухи.

– И тоже к баю?

– А к кому же еще?– опередил братца Мырзахмет.– Откуда у нас могут быть свои табуны? И отец, и я всю жизнь пасем табуны бая Альти.

Я знал это и охотно подтвердил.

– А вы слышали, что красные несут свободу и счастье таким, как вы? Вы слышали, что у красных нет другой заботы?– спросил Жакып.

– Слышали!– разом ответили Мырзахмет и Кыйналган.

– А вы слышали, как баи и белые ругают нас, красных?

Братцы смутились и стали утверждать, что этого они не слышали.

– Так я вам и поверил!– На лице Жакыпа промелькнула усмешка.– Вы побаиваетесь меня, поэтому и молчите. А чего меня бояться? Вы думаете, я не знаю, что о нас говорят белые? Чего они только не выдумывают, чтобы запугать простой народ. Дескать, мы режем, расстреливаем, уничтожаем всех. Потому-то нас и встречают недоверчиво, а присмотрятся, узнают нас – и становятся настоящими друзьями.

– Вот так и мы!– воскликнул Мырзахмет.– Недаром наши отцы говорили: «На человека с приятным лицом можно надеяться». Ты нам очень приглянулся. А о красных, это ты верно говоришь, мы слышали так много и хорошего, и дурного, что голова кругом идет. Ты уж нам объясни все как следует.

– Мы против всех баев, вот что надо понять,– отвечал Жакып.– Русский ли, казахский или татарский бай – нам все равно. Они враги красных, и мы их ненавидим.

– А что вы будете с ними, с баями, делать?– спросил Кыйналган.

– Отберем у них имущество, скот. Часть пойдет в казну, а все остальное – беднякам.

– Э-эх... Вот бы отобрать все у нашего Альти!– вздохнул Мырзахмет.– Скольких он обидел и ограбил!

– Так и будет!– убеждал Жакып.– Но вы сами должны нам помогать. Ведь наша власть советская, власть трудящихся. С победой Красной Армии она установится повсюду. С баями мы покончим, а бедняки станут зажиточными. Понимаете – вы, бедняки, будете все решать. Как только вернетесь в свой аул, принимайтесь за дело.

– Дайте нам власть, уж мы-то сумеем сесть на байскую шею!– расхрабрился Мырзахмет.

– Правильно!– Жакып ободряюще посмотрел на моего земляка.– И вот еще что запомните: пусть тебе бай родня, пусть он тебе был близким – забудь теперь об этом. Жалеть их нельзя. Всем беднякам надо действовать сообща.

Кыйналган попытался было прервать Жакыпа, но он нетерпеливо повел плечами и продолжал:

– Только не думайте, что этот спор можно решить сразу. Начинать надо теперь же, но много времени нужно, чтобы свершилось все так, как я говорю. Когда в аулах власть перейдет к Советам, к вам приедут люди, которые лучше меня все разъяснят. Не на день приедут или там на два-три дня, и даже не на неделю, а постоянно с вами будут. А я вам и рассказать-то всего не сумею. И знаний у меня нет, и времени.

Жакып уже стал прощаться, собираясь уезжать, но тут я его отвел в сторонку и, озорно подмигнув, спросил:

– Ну, а к девушке своей по пути не заедешь?

– К девушке?– удивленно спросил Жакып.– К какой это девушке?

– А что, разве их у тебя так много?

– А-а!..– Тут Жакып понял, о ком я говорю.– Значит, ты меня про Зубейлу спрашиваешь?

– Конечно, про Зубейлу, дочь Козке!

– Она ведь просватана за твоего двоюродного брата. Может, ты ревнуешь?

– Нет, Жакып, я уже понял, что сила обычаев не преграда для влюбленных.

– А тебе Зубейла нравится?

– Хорошая она, привлекательная, только уж слишком смуглая.

– Слишком смуглая! – передразнил меня Жакып, – Что ты чепуху говоришь! Разве я об этом думаю? Душа у нее чудесная, вот что. Если бы только знал...

Жакып глубоко вздохнул и задумался, а я, воспользовавшись паузой, попросил его подробнее рассказать о любимой девушке.

– Так вот, слушай. Кое-что ты, может быть, и сам знаешь, но главное известно только мне. Отца Зубейлы, Козке, богатым назвать нельзя, однако он один из самых влиятельных биев рода андагул. А ее брат Абиль – бессменный аульный страшина и в царское время и при Колчаке. Понятно тебе, что за семья? Значит, смелое сердце должно быть у девушки, чтобы она полюбила меня, батрака. Встретились мы лет шесть назад. Она была еще совсем девочкой и произошло это так. Мой отец долгие годы был пастухом в Косагаче, а у нас самих, кроме одной коровы, ничего не было. Но Абиль, аульный старшина, каждый год приезжал к нам и отбирал единственного теленка в рамат – в подать. Несколько раз так было. Мой отец да и старший брат – покорные люди, смиренные, они боялись Абиля и молчали. А мне тем временем исполнилось уже семнадцать лет. И однажды осенью, когда Абиль снова явился за раматом, я не вытерпел и, жалея семью, набросился на грабителя с кулаками и выгнал его. А ведь он был аульным старостой, сила на его стороне. Очень скоро он вернулся к нам с жигитами, меня связали по рукам и ногам и увезли в аул, решив потом отправить явленскому приставу. На ночь меня бросили в пустовавшую юрту Козке. Избитый, связанный, разозленный, я сначала досадовал и на себя и на других, а потом молодость взяла свое, и я уснул. Проснулся я от прикосновения чьих-то рук и сразу понял, что меня освобождают от веревок. «Кто ты?» – шепнул я. «Молчи, молчи!» Голос был тихий, тревожный. Эти же руки, такие мягкие и тонкие, помогли мне бесшумно подойти к двери и выбраться во двор. Кто же меня спас? Уже во дворе я разглядел, что это была девочка лет четырнадцати. «А теперь, жигит, добрый путь!» – прошептала она. Я не выдержал, обнял ее, прижал к своей груди, поцеловал...

– Так это была Зубейла?
– Она, конечно, она!
– Теперь я понимаю, почему она так дорога тебе.
– Как жизнь дорога!– воскликнул Жакып.– Но ты знаешь, если бы не Советская власть, мне нельзя было бы о ней и мечтать. А теперь я не горюю: Зубейла будет моей.

– Так ты теперь поедешь к ней жениться?
– Глупенький!– Жакып похлопал меня по плечу.– Разве на фронте можно жениться? Я сейчас боец. Вот победим врага – тогда другое дело!

– А Козке отдаст тебе дочку?
– Я у него и спрашивать не буду. Советская власть освободит женщину, закон будет на нашей стороне.
– Значит, все мы сможем жениться на своих возлюбленных?

Я свой вопрос задал полусуто, но Жакып отвечал мне вполне серьезно:

– Так и будет! Не только я или ты, но все девушки и жигиты в нашей степи будут выбирать друг друга по любви. У бедных девушек счастье веками было связано, а теперь путы сорваны. Вот ты и об этом рассказывай в аулах.

Мне хотелось говорить и говорить с Жакыпом, но он торопился в штаб.

– Так мы с тобой никогда не кончим. Служба ждет, надо ехать. Будем живы, еще наговоримся. Ну, пойдем попрощаюсь с твоими земляками. Пора!

– Что ж, Жакып, пойдем!

Он пожелал счастливой дороги Мырзахмету и Кыйналгану, а мне на прощание сказал:

– Ты в ауле долго не задерживайся и поспеши в Петропавловск. Там мы, скорее всего, и встретимся. Война долго не продлится, белые бегут без оглядки. Мы еще поработаем вместе.

– Поработаем, Жакып!– с надеждой произнес я.

Он, красивый и стройный, прищипорил коня и повернул по направлению к поселку.

Тут я сделаю краткое отступление в своем повествовании.

Чуть не забыл я описать коня Жакыпа. Что это был за чудесный конь! Еще накануне я не мог оторвать от

него глаз. Высокий, статный конь был выхожен на диво. Но особенно удивительной была его масть. Много мне приходилось встречать чубарых коней, но такого ярко-пятнистого от ушей до копыт я видел в первый и последний раз. Я даже сомневался, природная это масть или Жакып сам выкрасил своего коня. Он долго потешался над моей наивностью и даже советовал перебрать руками шерсть: «Ведь краска давно бы вылиняла, убеждайся сам...» Когда я попросил Жакыпа рассказать, как ему достался этот красавец, он ответил мне словами из народной поэмы:

– «Батыр добывает коня в бою, сразив Тулегена».

Я сразу не понял этих слов, но Жакып продолжал рассказ и вспомнил бой под Курганом и погоню за генералом:

– Я зарубил его шашкой и захватил чубарого коня, а наш командир подарил его мне.

Когда мы подъезжали к лесочку, где меня должны были ждать земляки, я подзадорил Жакыпа:

– Покажи-ка резвость своего чубарого!

Он дал шпоры и помчался. Поскакал и я. Но куда там! Хотя подо мной была хорошая кавалерийская лошадь, сразу отстал от Жакыпа, скрывшегося в несколько минут. Он отдыхал довольно долго, пока я наконец не поравнялся с ним и с удивлением воскликнул:

– Апырай, Жакып! Если у генерала был такой крылатый конь, то на каком же коне ты смог его догнать?

– Ты прав, Сабит. Такого коня догнать невозможно. Но, на мое счастье, а на беду генерала, он очутился в какой-то канаве. И канава-то была неширокая, ее чубарый легко бы перемахнул. Но, как говорится, от судьбы не уйдешь. Струсил, растерялся генерал и придержал коня. Тут-то я и настиг его...

Вот об этом-то я и вспомнил, глядя на удаляющегося к поселку Жакыпа. Стрелой летел чубарый конь, высоко выбрасывая копытами землю, и несколько мгновений спустя он уже исчез с наших глаз.

Завороженные, глядели вслед всаднику Мырзахмет и Кыйналган.

– Я видел немало коней у русских казаков и казахских баев, но такого стремительного еще не попадалось! – восхищался Мырзахмет.

А Кыйналган, который от волнения снова стал заикаться, прищелкивал восторженно языком.

– Кка-ко-ов са-ам! Нна-асто-ящий жжи-игит! На счастье ему-у ттако-ой ко-онь!

– Жакып первый красный, с которым я встретился и поговорил, – раздумчиво молвил Мырзахмет. – Как хорошо, если все красные будут похожи на него! Какой он вежливый, как он обошелся с нами!

На четвертые или пятые сутки я наконец добрался до аула, куда держал путь. Дорогою погода испортилась, подул холодный северный ветер, и пожелтевшая листва осыпалась с деревьев. Одетые довольно легко, мы мерзли на наших подводах и заезжали греться в попутные селения. Всюду много говорили про белых и красных. Где бы мы ни останавливались, нам рассказывали о пережитых грабежах, насилиях, расстрелах – белые бесчинствовали на каждом шагу.

По дороге я побывал в ауле моей сестры Зауре. На мое горе, она умерла прошлым летом, и овдовевший зять уже успел снова жениться. Этот дом теперь для меня стал чужим, и, переночевав, я утром поехал, к моей другой сестре – Ултуган. Она (и тут несчастье) овдовела, и ее семья бедствовала, лишенная мужских рабочих рук. Посевов и хлеба у них не было, из скота осталось всего две коровы и лошадь. Хлеб можно было достать только за большие деньги, а где их взять?

На семейном совете было решено зарезать одну корову, мясо продать и купить пшеницы. А к тому времени, когда и эта пшеница кончится, я должен был поехать на лошади сестры Ултуган к родичам в Ишимскую долину и выпросить хлеба. Оттуда был уже недалек и Петропавловск, куда мне надо было заехать поговорить о будущей работе.

Мы зарезали одну из двух коров, ту, что пожирнее. Я продал мясо в соседнем поселке Макарьевском и на всю выручку купил десять пудов пшеницы. Семья Ултуган могла продержаться до половины зимы.

Так в меру своих сил я помог семье сестры запасти продукты и снова отправился в путь. Я задумал немного пожить в своем родном Жаман-Шубаре, а уж потом ехать в Петропавловск.

Пока я добирался до Жаман-Шубара, стало еще холоднее, и начался снегопад. Как помнит читатель, вблизи Жаман-Шубара нет больших лесов, лишь кое-где встречаются невысокие рощицы и заросли кустарника. К моему приезду все три аула жаманшубаровцев – Жансугур, Болат и Жарылгас – уже перебрались в свои зимовья под непрочную защиту чахлых кустарников. Первым долгом, понятно, я навестил свой родной аул Жарылгас и остановился в доме моего родного дяди Мустафы, брата отца. Хозяйство его было невесть каким большим, и старая юрта совсем почернела от копоти. Но два старших сына Мустафы, Хамза и Габбас, двоюродные мои братья, выросли, возмужали и научились зарабатывать сами. Семья поэтому не голодала, но дядя Мустафа, давно болевший костным туберкулезом, чувствовал себя совсем плохо и окончательно слег.

То ли мои близкие и дальние родичи обрадовались мне после долгой разлуки, то ли стали уважать как учителя, побывавшего на городских курсах, но так или иначе и в Жарылгасе, и в других окрестных аулах меня встречали очень радушно и угощали как только могли. Но о чем бы ни начиналась беседа, разговор неминуемо сводился к главному – к красным, к победе Советской власти.

Один из самых богатых моих родичей, Нуртаза, больше других выезжавший из аула, верил своим многочисленным зажиточным приятелям и считал красных плохими, отверженными богом людьми. Но его сын, учитель Молдагазы, держался совсем другого мнения. Он почитывал газеты и журналы, сам разбирался в политике и называл красных благодетелями и покровителями простого народа.

Так разошлись взгляды отца и сына, но говорить с Нуртазой открыто, тем более спорить с ним, Молдагазы не смел. Теперь я был в ауле кратковременным гостем и, зная норовистый характер Нуртазы, тоже не хотел раздражать его и следовал примеру Молдагазы. Зато другим землякам, простому люду, я рассказывал о красных все хорошее, что только знал о них.

Возможно, я и уехал бы мирно из своего аула, без всяких столкновений с Нуртазой, не случись бы одна

история с девушкой Малипой. Эта история надолго рассорила нас.

С Малипой я подружился еще в детстве, во время учения у муллы Хабибуллы Газизуллина. Ее старшие братья и сестры умирали совсем маленькими, она выжила первой и принесла с собой счастье в семью – после нее мать родила сына. Поэтому она росла, окруженная заботами и ласками. Отец, служивший в Кургане у какого-то крупного купца, ничего не жалел для любимой дочери и одевал ее как городскую щеголиху. Так, например, в нашем Жаман-Шубаре, состоявшем из полусотни юрт, резиновые калоши, лаковые сапожки и бешмет из полосатого бархата носила только Малипа.

Она была самой способной среди мальчиков и девочек, учившихся у муллы. Память у нее была превосходная. Она легко запоминала уроки, и ей никогда не требовалось их повторять. Многие ленивые ученики пользовались ее подсказкой и так спасались от ракитовых розг сердитого Хабибуллы.

Мулла Хабибулла очень любил, когда его ученики пели духовные песни. И надо сказать, многих из нас он приобщил к этому искусству. Лучше всех школьников пела Малипа. Ее звонкий и чистый голос очаровывал слушателей. Мулла особенно привязан был к книге «Мухаммедия», в которой описаны жизнь и подвиги пророка Мухаммеда. Эта книга состоит из стихов, переведенных на чагатайский диалект, но сохранивших множество арабо-персидских слов. Не понимая их смысла, мулла проникновенно пел стихи из «Мухаммедии». Но Малипа пела еще лучше. А порою к ней присоединялся и я, уже в те времена большой любитель пения.

Может быть, за песни меня и полюбили родители Малипы. После уроков я часто заходил к ним, и родители с умилением заслушивались нашим духовным пением.

Мне не было и двенадцати лет, когда я разлучился с моей милой подружкой. Бедность заставила меня покинуть родной аул. Я снова встретился с Малипой только в 1916 году. Она уже не училась у Хабибуллы. Все было привлекательным в девушке. Стройная, высокая, с правильными чертами лица, она могла бы гордиться

черными большими косами и пушистыми, чуть загнутыми кверху ресницами, так выделявшимися на чистом, розовом лице. Отец пока еще ни за кого ее не просватал.

Жунус Баймагамбетов – я о нем уже рассказывал читателю – был тогда учителем в нашем ауле. Ему было немногим больше двадцати лет. Молодой, увлекающийся красавец влюбился в Малипу. Когда он узнал, что я был дружен с ней в детские годы, сблизился со мной и раскрыл свою душевную тайну. Оказалось, он передавал ей много посланий в стихах, в которых говорил о своей любви. Но письма эти, увы, оставались без ответа. Вот одно из писем Жунуса:

Я слагаю стих в твою честь,
Много хитрого в мире есть.
За стихи ты меня не вини,
В смысл вникай – откровенны они.

От рожденья сокровище ты,
Твоя слава выше мечты.
Весть от сердца тебе я шлю,
Сверстник твой, я тебя люблю.

Твои волосы – стебли лиан,
Цвет лица, как у яблоч, румян.
Соловьиная песня звенит,
Тебя хочет обнять жигит.

Пусть письмо это, этот стих,
Будет тайною для чужих.
Я, как сокол, парю в небесах,
Я красу твою славлю в стихах.

Я несколько раз перечел это письмо, но оно мне не понравилось. И я напрямик сказал Жунусу, что в письме нет огня, способного разжечь сердце девушки.

Бедный влюбленный был очень огорчен.

– Что же мне теперь делать?

– Пойми, Жунус, это самые обычные стихи, ничем не отличающиеся от песенок, что исполняются на вечеринках молодыми людьми. Нет, такие песни едва ли могут тронуть девичье сердце. Найди слова задушевнее, горячее.

– Я попробую,– согласился влюбленный,– только я тебя прошу, помоги мне с ней встретиться.

– Хорошо, пусть будет по-твоему,– ответил я,– но я должен быть убежден, что ты действительно думаешь на ней жениться. А если это баловство, то вмешиваться не буду, ты уж прости.

Я был таким непримиримым потому, что знал – девушка создана для чужой семьи и не останется в родительском доме. И мне очень не хотелось, чтобы Малипа, как большинство ее подруг, была бы вынуждена связать свою жизнь с нелюбимым человеком. А Жунус так подходил ей, они были бы замечательной парой. И я сочувствовал от всей души их начинающейся любви.

Спустя несколько дней Жунус повел меня на берег озера Дос.

– Вот мои новые стихи!– значительно сказал он.– Всю душу я в них вложил, все мое умение!

Жунус развернул листок бумаги и прочитал:

Я чту красавицу, что всех других нежней,
Ко мне приходит радость вместе с ней,
Но если долго нет ее со мной,
Моя душа наполнится тоской.

Свидетель бог, нисколько я не лгу,
Что исцелить недуг свой не могу.
Ты мне одна желанна и люба.
Цель не достигну,– значит, не судьба!

«Любовь угодна богу»,– так изрек,
Благословив мою любовь, пророк.
Моя Кааба ты! Ты в бедной жизни свет,
Нетерпеливо жду я твой ответ.

В письме было очень много непонятных арабских и персидских слов, но, несмотря на это, стихи мне понравились. Я их взял с собой и, когда подвернулся удобный случай, передал Малипе. Я не сказал ей, что это за письмо, а девушка, едва прочитав первые строки, покраснела до корней волос.

– Что это значит?– рассердилась она и бросила письмо на пол.

Я поднял стихи и снова сунул их ей.

– Как только тебе не стыдно!– обиделась Малипа,– Я ведь считала тебя родным братом.

Она не пожелала даже выслушать меня и, круто повернувшись, ушла. Мне стоило большого труда при первой новой встрече объяснить ей все по порядку и рассказать о любви Жунуса. Но никакого ответа я так и не добился. Она опускала ресницы, стараясь не глядеть на меня, ее и без того алые щеки покрывались густым румянцем и рдели, как зрелые яблоки. И я уходил ни с чем. А Жунус? Он продолжал требовать ответа и не отставал от меня.

Я убедился, что девушку мне не уговорить, и решил подшутить над Жунусом, чтобы он больше не надоедал мне своими просьбами. И тогда от ее имени я сам сочинил ответ:

Читала я ваше письмо, Молдеке,–
Нет смысла в слащавом его языке,
Такую любовь наш пророк осудил,
Суровый запрет на нее наложил.

Зачем вы святой исказили Коран
И грешный вокруг напустили туман?
Вы девушку смели с Каабой сравнить –
В день судный едва ли вам грех искупить!

– Ой-бой, неужели это она сама написала?– удивился Жунус.– Может быть, ты шутишь, Сабит? Ведь больше года она не то что стихами не отвечала, но даже словом не перемолвилась со мною. Как только у нее смелости хватило? А может, ты все-таки пошутил? Не мучай меня, Сабит!

Так волновался Жунус, а я не нашел в себе мужества сознаться. Он поверил мне и через несколько дней прочитал новый стихотворный «ответ на ответ»:

Я получил ответ, любовь моя,
Его писала пери, думал я.

Но в нем осмеян тот, кто так влюблен.
И я стою, письмом ошеломлен.

Во сне ли это или наяву –
Я слышу непонятную молву.

Запрет на чувства сердце гложет мне.
Так только враг ответить может мне.

Бродил в песках араб Гадували,
Медждуном ставший для своей Лейли...

Ведь без любви и жизнь мрачней могил,
Любовь – исток душевных стойких сил.

Хамза не зря мученья принимал –
В сладчайшем сне он пери увидал.

Но раз запрещена любовь для всех,
Как перед богом мусульманским грех.

Тогда таит неверные слова
В Коране об Иосифе глава.

Я не могу томиться, как в бреду,
К тебе примчусь, а не пешком приду.

Свидетель бог, вот так, от страсти пьян,
Любил Корпеш прекрасную Баян.

Как перекасти-поле одинок,
Стремлюсь я к солнцу счастья и тревог.

И если тем же не ответишь мне,
Как бабочка, сгорю я на огне.

Я отнес Малипе и эти стихи. На этот раз она взяла их, правда, молча и снова оставила без ответа, но, как я заметил, новое послание отнюдь не доставило ей неприятности.

Врожденная стыдливость сдерживала ее, не позволяла открыто выражать свои чувства, но они уже давали знать о себе.

Продолжению их любви помешали события 1916 года – восстание, поднявшееся в связи с мобилизацией казахов на тыловые работы. Жунусу надо было спастись и он под предлогом отъезда на учебу покинул родной аул.

Снова я его встретил зимой следующего года. Он рассказывал мне, что встречался с Малипой, но горькими были эти свидания. Девушка уже не была

свободна в своих поступках, отец просватал дочку, не спрашивая, понятно, ее согласия.

Я немного знал ее жениха, огромного и неуклюжего, как медведь. Смуглый, с изъеденным оспой лицом, он не отличался ни умом, ни добротой. Каким же он мог быть мужем для нее, умной, яркой, привлекательной?

Меньше чем через год, уже собираясь в Омск, снова побывал в Жаман-Шубаре. Жунуса уже не было в живых – весной он умер от туберкулеза. Малипа при встрече со мной выплакивала свою горе. Жениха она и в лицо еще не знала, но, представив его себе по рассказам, чувствовала к нему отвращение. Однако что ей оставалось делать? Разве казахские девушки выходят замуж по любви? И чем она отличалась от других несчастных?

– Так уж мне на роду написано... Горькая судьба мне выпала... Надо смириться, а я не могу... – повторяла она сквозь слезы. И, вспоминая Жунуса, призналась, что он ей нравился. – Только я стеснялась, и, знаешь, меня немного пугала его болезнь... Ах, если бы я умерла с ним вместе, я бы посчитала это за счастье. Теперь вся моя жизнь пройдет в печали, в слезах...

Под впечатлением этой встречи я написал стихи:

В людском достоинстве и дочь и сын равны,
Но дочь – калым, наездники – сыны,
Ведь в день рожденья дочери казахи
Приумножают в мыслях табуны.

Дочь в люльке сватают – обычай старый строг,
Ей с детства нет из юрты в жизнь дорог.
И мать, напоминая о запретах,
Ее не выпускает за порог.

В тринадцать лет в чужой семье она
Доить кобыл, доить коров должна.
Не знает отдыха ни днем ни ночью
У очага коптящего жена.

Пусть она старательной была. –
Ей вслед несутся ругань и хула.
Чуть оступилась, в чем-то оплошала –
Бьет старая свекровь ее со зла.

Морщины ранние – страданий тяжких след,
Забыта юность, сверстниц рядом нет,
Она за стол с мужчинами не сядет,
Объедки ей бросают на обед.

Обновы ей на праздник не надеть,
Ей не присесть, ей песенки не спеть!
Она обречена рабой покорной
В молчанье издевательства терпеть.

И муж-старик совсем не пара ей –
Она ровесница его детей.
Но говорит обычай: «Покоряйся
И чашу горя до конца испей».

Дерется муж – ты все равно молчи,
Сноси удары палки и камчи!
Найдешь ты избавление в могиле,
А до могилы – горький груз влачи!

Но вдруг и смерть отсрочит свой приход,
Тогда она согнется от забот,
Состарится до срока. Горемыку
С насмешкой бабкой юность назовет.

Как можно прозябанье жизнью звать?
В любом ауле так страдает мать.
Наверное, одна из сотни женщин
Жестокой доли может избежать.

Так не гордись ты, девушка, красой
И, не смиряясь с будущей бедой,
По зову сердца своего стремись
Себя утешить лаской молодой.

Пока ты спеешь яблоком в саду,
Пока с беспечной юностью в ладу,
Отбрось печаль и веселись, как можешь!
Еще узнаешь горе и беду!

Цвети красою внешнею цветка:
Еще сгустятся в тучи облака,
И молодость твоя навек увянет –
Суровая зима недалеко.

Во время учебы в Омске я долго не получал писем из родного аула, и мне ничего не было известно о судьбе Малипы. Но теперь, осенью 1919 года, вернувшись в Жаман-Шубар, я узнал, что она и Молдагазы полюбили друг друга. Они даже задумали вместе бежать в Петропавловск, но осуществить свои замыслы им не удалось. Нуртаза, догадавшийся о намерении сына, пришел в ярость, запретил ему и думать о такой женитьбе, пригрозил: «Ты забудь о чужой невесте или сгинь с моих глаз!» Так оказался сломленным Молдагазы – у него не хватило мужества противиться воле отца. Влюбленные беспомощно горевали вдалеке друг от друга. Сделать решительный шаг Молдагазы помешала и начавшая быстро развиваться болезнь. Это был тоже туберкулез. Молодому человеку грозила судьба Жунуса – он худел на глазах и кашлял все тяжелее и тяжелее. Настроение у него падало с каждым днем.

Я пробовал приободрить отчаявшегося сверстника.

– Царское и колчаковское времена позади, – говорил я ему, – к нам приходит Советская власть. Она предоставит женщине свободу и права, такие же, как для мужчин... Ведь ты учитель, сознательный человек – как же ты можешь уступить любимую девушку чужому? Ведь это позор, понимаешь?

Молдагазы угрюмо опускал голову,

– А что я-то могу сделать? Власть создается, но ее еще нет. Аульные и волостные старшины – прежние баи; свои должности они еще при Колчаке захватили. Нас они не послушают, а сделают так, как потребует отец.

– погоди, Молдагазы! А знаешь ли ты, что в Анновке уже есть ревком?

– Слыхал об этом...

– Так чего же раздумывать? Раз тебе не переспорить твоего старика, поедem туда и попросим помощи.

Молдагазы согласился со мной. Решив заручиться помощью ревкома, мы начали приготовления к отъезду в Петропавловск, чтобы тайком увезти с собой Малипу.

Но старая лиса Нуртаза, мой «маленький дядя», «кишкене-ага», разгадал наши планы и перехитрил нас. Он пригрозил отцу Малипы, что если тот не убережет дочь, то ему придется держать ответ перед родней

жениха. Он окончательно запугал отца упоминанием о барымте – угоне скота: дескать, родные жениха – сильные люди, не простят обиды, нападут на табуны и разграбят их. А когда перетрусивший родитель стал спрашивать у Нуртазы совета, он сказал, что надо поскорее известить жениха – он придет со свитой и заберет свою невесту.

Как слышал я, отец Малипы спрашивал Нуртазу еще и о том, сумеет ли он помешать своему сыну Молдагазы осуществить его намерение. И Нуртаза, говорят, ответил, что он сумеет надеть узду на сына. Еще он сказал, что смирить Молдагазы куда легче, чем строптивую Малипу. Но самое неприятное может случиться в том случае, если они успеют сговориться да еще к ним присоединится Сабит. Никак нельзя допустить этого! Время тревожное, и каждого следует бить порознь.

Так сговорились два старика. К жениху с предупреждением помчался гонец. И когда мы уже закончили свои сборы и должны были на следующий день уехать, неожиданно нагрянул жених Малипы. В его ватаге были и тарантасы, запряженные парами, и верховые жигиты.

Да, наши замыслы рухнули. Трудно было сразу найти выход. В ауле так боялись Нуртазу, что даже отказали нам в лошади. Идти пешком в Анновку, в ревком, было слишком далеко. Да и выкрасть ночью невесту казалось нелегким делом. Жигиты жениха зорко караулили ее дом.

Что же нам было делать?

По пословице: «Утопающий хватается за соломинку» и не видя иной надежды, мы решили поговорить с самим Нуртазой. Может быть, он сжалится над сыном, сменит гнев на милость?

Я начал разговор издали, вежливо и ласково называл его, как в детстве и ранней юности, кишкенеага – маленький дядя. Но он сразу догадался, куда я клоню свои речи, и раздраженно крикнул:

– Прекрати эту болтовню и не морочь мне голову!– Он уставился на меня сузившимися, сердитыми глазами.– Ты, наверно, вообразил, что уже стал человеком и можешь поучать других. Учи, кого хочешь, только не

меня. Ты думаешь, что спор о невесте – пустяковое дело! Где тебе понять, что сват – человек знатный, род его большой, сильный. Если он лишится невесты сына, то тут же начнет мстить, найдет на наш аул барымтачей. И на меня прежде других падет его гнев. Он же угонит моих коней. Я, по-твоему, глупец или сошел с ума, чтобы страдать за чужую девку? Я и слушать тебя не хочу, болтун!

Сразу стало понятно, что уговорами его не возьмешь. Тогда я попробовал возвысить голос и напугать Нуртазу:

– Кишкене-ага, будь бы сейчас старое время, – все было бы как вы хотите. Но ведь теперь пришла Советская власть. Первым делом она поможет освободиться женщине. Узнает ревком о ваших проделках – вам несдобровать. За них вам спасибо не скажут и по голове не погладят. А девушке власть все равно предоставит свободу.

– Ах, курносый, он еще стращать меня вздумал! – почти взвизгнул Нуртаза. Лицо его исказилось в гримасе, он деланно захохотал. – Так вот знай: пока красные заберут и посадят меня, я здесь же сейчас оторву тебе голову. И курносый твой нос оторву! С глаз моих исчезни, пока жив!

Он кинулся на меня и, наверное, избил бы, если бы в эту минуту его не удержал один из родственников. Кое-как успокоив разбушевавшегося Нуртазу, он шепнул мне:

– Ты уж лучше, дорогой, уходи отсюда. Не тебе исправлять старика. Семьдесят лет ему, чахоточный. Неужели ты не знаешь его упрямства?

Досада, гнев овладели мной. Но что я мог сделать? Гнет и насилие, веками душившие казахский аул, нанесли тяжелые раны мне и в особенности Молдагазы, и без того подкошенному смертельной болезнью. Но всего печальнее нам было сознавать, что подружка моих детских лет, а его возлюбленная брошена в пасть этим зверям и освободить ее мы не в состоянии.

Еще накануне, словно предвещая наше горе, небо заволокли черные, матово-свинцовые тучи. А в полдень разбушевался ветер и хлынул дождь, смешанный со снегом.

Добившийся своего Нуртаза, злой и неистовый, продолжал бушевать. Он настоял, чтобы в этот же день, несмотря на непогоду, Малипа была отправлена к жениху. Она плакала и причитала на весь аул, отчаянно сопротивлялась, но ее без сожаления бросили в тарантас и увезли под конвоем дружков жениха из родного аула. В это самое время я и Молдагазы в толпе земляков, не пускавших нас к юрте отца Малипы, издали наблюдали за свершившимся на наших глазах насилием и только стискивали зубы от своей беспомощности и злобы.

– Вы еще ответите за это, кишкене-ага!– крикнул я Нуртазе, когда Малипу уже увезли из аула.– Вы держали на цепи девушек, отнимали у них счастье, но больше так не будет!

– Посмотрим!– ухмыльнулся Нуртаза и ушел в свою юрту.

В этот же день под впечатлением горьких событий я написал от имени Молдагазы новое стихотворение:

Еще в полдень было светло,
День прозрачным и ясным был,
Тучей небо заволокло,
И по-волчьи ветер завыл.

На одно мгновенье закат
Кровью край земли обагрил
И померк. Так души спешат
В вечный холод своих могил.

Наступает черная ночь,
Давит каменной глыбой грудь.
И усталой земле невмочь,
И не может земля вздохнуть.

Хлещет ливень ночь напролет,
Все залил ледяной водой.
Мнится, в мозг отравы ползет
После встречи с такой бедой.

Скрылись звезды с наших небес,
Душит ночь, меня, апырай!
Разыгралась буря, как бес,
Залетевший в аульный край.

В ту ночь Молдагазы и я дали друг другу слово освободить Малипу, но сдержать его нам не удалось. Пока мы доехали до Петропавловска и подали жалобу, пока наша жалоба вернулась для разбора в аульный ревком, милая Малипа, не дождавшись освобождения, умерла от горя.

ВОЛЧАТА

Горькие переживания последних дней тяжело отразились на здоровье Молдагазы. Болезнь совсем подкосила его. Никто из друзей не советовал ему отправляться в путь.

Но он всей душой стремился к свободе и не успокоился бы до тех пор, пока ему не удалось бы рассказать представителям советской власти о своем горе. Это было самым заветным его желанием. Потому я и колебался, ждать ли мне Молдагазы или ехать одному.

– Уж ты потерпи еще несколько дней, – просил он меня, – может, мне станет лучше. А не поправлюсь, что ж делать, поезжай один. Хоть бы немного полегчало, и я смог бы добраться до саней! Не хочу оставаться в этом ауле...

Я отложил поездку на несколько дней. И как раз в это время до меня дошел слух, что к одному из моих земляков, Ахмету Тышканбаеву, приехал Есмагамбет, сын Мақыша, крупнейшего в наших краях бая.

Однажды разговор о приезде Есмагамбета зашел в присутствии Нуртазы.

– Откуда же он прибыл?

– Из Петропавловска, говорят.

– По делам, значит?

– Да. Слышали, будет назначать председателей аульных и волостных ревкомов.

– Хорошая новость, очень приятная новость! – обрадовался Нуртаза.

– Почему же это приятная? – удивился я.

– А как же? Тут все болтали, будто Советская власть презирует баев, – с достоинством заговорил Нуртаза, – а ведь Есмагамбет – сын Мақыша! Кто в нашем краю богаче его? И уж если его красные взяли к себе, и не

простым работником, а на такую важную службу, как выборы аульных и волостных старшин, это что-нибудь да значит. Стало быть, красные не так уж плохо относятся к баям...— И, с достоинством оглядев собравшихся, Нуртаза растягивая слова, повторил:— Приятная новость!

— А кто его знает,— усомнился кто-то.— Болтают, Есмагамбет не только богач, но и по-русски грамотный, красноречив и много знает. Может, он всем этим и прельстил красных...

Это предположение насторожило меня. Я задумал повидаться с хваленым Есмагамбетом и разузнать обо всем.

Так я и очутился в доме Ахмета Тышканбаева, одного из краснобаев и воротил нашего аула. Хозяином он был небогатым, но во всем поддерживал порядок и аккуратность. И в доме его была особенная чистота, и сам он одевался опрятно и на угощение достойного гостя не скупился. Любил он разъезжать по окрестным аулам. Под стать Ахмету была и его жена Акык, стройная, приятная женщина, отличавшаяся общительным и веселым характером. Ахмет принадлежал к ответвлению шырдай, подхода курлеут, рода кыпчак, и жил среди сыйбанов пришьельцем, Есмагамбет был сородичем Ахмета, поэтому и остановился у него.

Об Есмагамбете позднее я составил себе довольно полное представление. Его отец Магыш в молодости был бедняком, потом разбогател и в годы, о которых я рассказываю, считался по количеству скота и капиталу самым богатым среди всех курлеутов, населявших целую волость. От трех жен Магыш имел девять сыновей, все они уже были взрослыми. Есмагамбет, самый образованный из братьев, в детстве учился в русской школе и, видимо, унаследовал от отца ловкость и деловитость. Ему было тогда только двадцать пять лет, но он, следуя байским обычаям, уже имел трех жен. Он сблизился с Алаш-Ордой и при Колчаке был в ауле одним из самых неутомимых ее деятелей. Выборы аульных и волостных старшин в этом округе всегда поручались ему. Когда же красные стали подходить к его родным местам, он поспешил не только

скрыть свои преступления перед Советской властью, но и с первых шагов войти к ней в доверие.

Действовал он с завидной ловкостью. Выехав навстречу наступающим частям Красной Армии, он сообщил их командованию о большом отряде белых, бежавших по проселочным дорогам к Ишиму. Затем предложил свои услуги в качестве проводника и навел красных на след этого отступающего отряда колчаковцев. Красные настигли отряд и, прижав его к берегу, разгромили. Командир этой красноармейской части Дмитрий Ковалев, уроженец здешнего поселка Жаркуль – Анновки, – был очень благодарен за услугу Есмагамбету, который дальше, до самого Петропавловска, сопровождал часть как проводник. При расставании Ковалев выдал Есмагамбету справку с похвальным отзывом о его содействии Красной Армии и преданности Советской власти. С этой справкой Есмагамбет явился в Петропавловский уездный ревком, устроился там инструктором и вскоре выехал в командировку – организовать аульные и волостные ревкомы.

Тогда я с ним и встретился.

Помнится, уже вечерело, когда я подошел к дому Ахмета. Весь этот день падал снег, и сумерки были мглистыми, густыми. В огороженном камышом дворе было двое мужчин. Один, в лисьем тымаке, выгребал снег широкой лопатой, другой, городского вида, в черной бараньей папахе, перехваченной наискось красной лентой, прохаживался рядом. В тымаке работал хозяин дома Ахмет, а в молодом человеке городского вида с чисто выбритым лицом я угадал Есмагамбета. Я поздоровался, как велит обычай.

– О, Сабит, здравствуй! – Ахмет протянул мне руку и тут же представил молодого человека в папахе: – Это мырза Есмагамбет Мақышев. Знакомься.

– Мырз теперь нет, так было при царском режиме, – быстро заговорил Есмагамбет, – надо говорить «товарищ». А не тот ли это Сабит Муқанов, о котором ты мне рассказывал вчера?

Ахмет кивнул головой.

– Вот этот самый паренек.

– Паренек? Да какой же он паренек?– Есмагамбет широко улыбнулся.– Это настоящий жигит! Здравствуй, товарищ Муканов!

Рукопожатие Макишева было крепким, радушным.

– Пойдемте в дом, побеседуем!– пригласил Ахмет, втыкая лопату в снег.– Наверно, и чай готов.

В долгой беседе за чаем многое мне открылось. Оказалось, Есмагамбет по пути из Петропавловска уже успел организовать во многих аулах ревкомы. С его помощью председателями ревкомов были «избраны» в Андагуле – Нугман Кабылов, в Ырсае – Сулеймен Сураганов, в Именали – Шаймолда Каракотов, в Смаиле – Бекен Жукенов, в Пресновке – Сейтак Кокенов, в Таузаре – Бримжан Сапин. Со многими из них я был знаком, остальных знал понаслышке. И удивительное дело – все они были сыновьями самых крупных баев в наших краях, потомственными управителями. Это мне показалось не только странным, но раздражало, вызывало чувство досады. Однако до поры до времени я решил сдержаться и продолжал спокойно расспрашивать Есмагамбета:

– Много ли волостей вам еще осталось объехать и подобрать председателей ревкомов?

– В нашем Петропавловском уезде – ведь меня командировал Петропавловский ревком – осталось еще четыре волости: Канжигалинская, Каратальская, Пресногорьковская и Анастасьевская.

– А там кто будет председателями ревкомов? Есмагамбету показалось, что мой вопрос задан неспроста. Не высказывая вслух своих подозрений, он ответил:

– Кого народ пожелает, те и будут.

Но тут я уже не мог сдержать насмешки:

– Значит, народ выбрал и всех тех, о ком вы говорили?

Есмагамбет словно полоснул меня острым взглядом больших черных глаз.

– Да никак, парень, ты меня проверять вздумал?– Наигранная эта шутливость плохо прикрывала злобу.

– Нет, я просто так хотел узнать.

Лицо Есмагамбета вдруг стало серьезным.

– Понимаешь ли ты, что значит слово «ревком»?

– Кажется, революционный комитет,– бойко, как на уроке, отвечал я.

- Правильно! Значит, что делает этот комитет?
- Комитет занимается революционными делами.
- Ну, а что такое революция? Сумеешь ли ты ответить?

Я заговорил о свержении царизма, о баях, об освобождении рабочих и бедняков от гнета и о передаче в их руки власти.

Наш хозяин Ахмет, из уважения ли к гостю, либо в силу собственных убеждений, был явно недоволен затеянной беседой.

– Сабит, к чему задаешь бесполезные вопросы? Давайте лучше повеселимся. Сыграй что-нибудь на домбре, спой. Ну их, эти разговоры! Я пошлю к Назиру за домброй, а ты споешь Есмагамбету-мырзе. Послужи ему, пожалуйста.

И никто, кроме меня, не заметил, что Ахмет употребил слово «мырза», отвергнутое недавно Мақышевым. Конечно, «мырза» звучало здесь естественнее «товарища».

– Ваш жигит, значит, певец?– Есмагамбет с некоторым любопытством взглянул на меня.

– Да еще какой! Ему и двух ночей не хватит, чтобы спеть песни, которые он знает. А сколько поэм и сказок помнит Сабит! Акык,– обратился Ахмет к жене,– так сходи к Назиру и принеси его домбру.

Пока Акык убирала посуду после чая и ходила за инструментом, я, к неудовольствию Ахмета, пытался продолжать беседу. Потом хозяйка вернулась с Назиром – он сам принес свою домбру. Назир поздоровался только со мной,– очевидно, он уже видел Есмагамбета,– и, передавая мне домбру, сказал:

– Спой что-нибудь из «Камбар-батыра» или «Алпамыса». Мы так соскучились по твоему голосу!

Я взял домбру, но к игре не приступил и продолжал свое:

– Так как же это получается, Есеке? Советская власть – всем баям враг, а вы помогаете сыновьям баев становиться председателями ревкомов. В чем же тут дело?

Ахмет поспешил на выручку Есмагамбету.

– Что ты задираешься, Сабит? Зачем тебе это надо?– Он морщился от досады.– Я же просил тебя не затевать этот разговор!

– А если он и правда интересный?– неожиданно склонился на мою сторону Назир.– Почему же не послушать умных людей?

– Дайте, наконец, отдохнуть гостю!– рассердился Ахмет. Он даже возвысил голос, пользуясь правом старшего:– Прекращай свои вопросы, Сабит! Будем развлекаться, или можете уйти.

– Не надо быть таким строгим, ага,– вдруг вступился за меня и Есмагамбет.– Жигит прав, когда задает вопросы. Только вот что, дорогой,– гость мягко обернулся ко мне,– одно хорошенько помни. Февральская революция свергла царя, сделала свое дело и на этом кончилась. Власть перешла к Керенскому. Октябрьская революция свергла Керенского, Колчака. И на том тоже кончилась...

– А с баями как же будет? Их притеснят или...

– Вот-вот! Что же будет с баями?– подхватил мой вопрос Назир.

– Революция,– как знаток, вещал Есмагамбет,– это значит насильно отбирать все у баев, а самих баев расстреливать. Но ведь я же сказал, что революция уже кончилась. И значит, дальше так продолжаться не будет.

– Спаси нас аллах!– схватился Ахмет за ворот своего халата.

– Другое дело – притеснение,– продолжал свое петропавловский гость.– Пощипывать баев будут понемногу, долгие годы... Понятно?

– Да, но почему же все-таки баи появились во главе ревкомов?

– Тьфу, какой репей этот Сабит!– Ахмет сплюнул от волнения и злости.

– Что ты мечешься, безбородый пес?– шутливо выругался на правах курдаса – одноклассник – Назир.– Твое богатство – шесть лошадей. Не славился ты им и при царе. А твой отец Тышканбай батрачил у Есенея. Разве я говорю неправду?

– Брось, Назир!– уже значительно мягче сказал Ахмет.– А ты, Сабит, совсем забыл про домбру, Играй же и песню нам спой.

– Спой, жигит. Мы еще наговоримся с тобой!– подхватил Есмагамбет, вряд ли желавший продолжать этот разговор.

– Спеть-то я могу, но позднее, А вы, первый представитель Советской власти, посланный в аул, не обижайтесь на мои вопросы. У меня много сомнений. Они – как пелена на глазах. Я хочу видеть, хочу понять. Разъясните же мне наконец, почему это так: Советская власть – власть бедноты, а в ревкомхозяева хозяйничают бай?

– Верно говорит Сабит! – не отступал и Назир. – Мне и самому хотелось об этом услышать, но я не смел тревожить почетного гостя. Однако, раз пошло на то, и я спрашиваю: как же эти обжоры опять оказываются у власти?

– Куда бы вы ни приехали, вас всюду об этом спросят, – подливал я масло в огонь.

Не зная, как быть дальше, окончательно раздосадованный Ахмет ударил себя по ляжке. А Есмагамбет овладел собой и снова, немного свысока, стал разъяснять:

– Я понимаю все это, но что поделаешь, – не наступило еще время выбирать бедняков в ревком.

– Почему же?

– Сознание у них не пробудилось...

– Пустое вы говорите, мырза! – вскипел Назир. – Если посадить бедняка в седло, разве он слетит с лошади? Вот хотя бы Сабита посадите! Вы увидите, как он прилипнет к коню и поскачет.

– Так-то оно так, – уклонялся от спора Есмагамбет, – но готовиться надо долго. Пока подымутся аульные бедняки и на них сможет опереться Советская власть, временно в аулах будут управлять бай. Они привычны к этому делу. Ничего страшного тут нет. Если они начнут пакостить, куда им деться! Кол забит крепко. Этот кол – Советская власть. И пока к нему прочно привязаны бай, пока они нужны, они будут работать на правительство. А потом их отшвырнут.

– Это верно, – сказал я, – но вот когда-то давно один акын – не помню его имени – такие стихи сложил:

Случается, выберем мы волостных,
Не зная, что лисы проворные есть.
Пока заменить догадаются их,
Они все аулы успеют объесть.

Не выйдет ли так и с вашими баями в ревкомах?
Объедят они народ, ох, объедят!

Назир рассмеялся.

– Эх, и сказал же ты, Сабит!

Но Ахмет, как видно, испугался, что мы совсем испортим настроение его дорогому гостю.

– Не хочешь – упрашивать не будем.

– Хорошо!– Я положил домбру и встал.

– Что вы, товарищ Муканов! Не уходите!– Есмагамбет сделал огорченную мину, но притворство так и лезло из него.

– Когда крикнут «пшел», убегает и собака,– ответил я.

Акык до сих пор молча занималась в стороне приготовлением обеда, но тут она вмешалась в разговор, гневно взглянув на мужа:

– Что ты привязался к нему? Говоришь сам не знаешь что. Или тебе жалко пищи для моего деверя?

Она, вероятно, не понимала сути нашего спора и видела во мне только обиженного родича.

– Садись, родной, садись! Гости еще подойдут.обеда хватит на всех.

– Спасибо, тетя,– от души я поблагодарил ее за приветливость, но сам подумал, что оставаться мне дальше нельзя.– Я ведь уезжаю в город, собираться надо.

– Да не упрашивай ты его!– почти приказал Ахмет жене, не скрывая своего желания избавиться от меня.– А ты, Назир, оставайся!

Но Назир не умел кривить душой.

– Пошли, Сабит! Что я здесь буду сидеть? А твоего мяса, Ахмет, мне не надо, давись им сам!

– Мы еще встретимся завтра,– пытался сгладить ссору Есмагамбет,– нам нужно о многом поговорить.

– Поговорим еще! – Я попрощался кивком головы и вышел вместе с Назиром из дома.

– Я опоздал к началу разговора. О чем вы там толковали?

После моего рассказа Назир воскликнул:

– Хорошо! Ты бил Есмагамбета не в бровь, а в глаз. Ведь это в него самого твои пули метили. Он тоже сын бая, от которого не раз кровавыми слезами плакали бедняки. Вывернул, негодай, шубу наизнанку и выдает

себя за красного. Он же белый, самый настоящий белый! Ты обязательно о нем расскажи в Петропавловске. Расскажешь?

– Расскажу, Назир!

– А ты заметил, как он струсил? Боится тебя. В прежнее время дал бы в зубы, в кровь бы избил. Тут, у себя в доме. Теперь не то! Видишь, хвостом виляет, как лисичка.

– Уж не думаешь ли ты, что он и в самом деле меня боится? Ты понимаешь, чья сила его испугала?

– Понимаю, Сабит. Больше всего на свете он боится красных. Хитрый он человек. Думаешь, он не знает, что для баев наступили тяжелые дни? И вот изворачивается, шкуру свою спасает. Не выйдет у него, красные его быстро раскусят.

– И я так думаю:

– Смотри об этом расскажи в Петропавловске красным начальникам, сбрось с волчонка овечью шкуру. Я уверил Назира, что так и будет.

А на следующий день Молдагазы получил из Петропавловска письмо.

«Учителю аульной школы тов. Молдагазы Нуртазину.

В Петропавловском уезде свергнута власть белогвардейского правительства Колчака, одного из кровавых генералов царского правительства, и установлена Советская власть – власть самих трудящихся. Наше правительство считает учителей друзьями народа. В поднятии культурного уровня трудящихся масс и в дальнейшей борьбе с остатками класса эксплуататоров учителя могут принести огромную помощь Советской власти. В целях привлечения их к этой работе мы решили провести уездное совещание аульных учителей. Совещание назначено на 16 декабря 1919 года в Петропавловске. Приглашаем вас для участия в этом совещании.

И.д. председателя Петропавловского уездного ревкома – *В.И. Гозак*».

Как меня обрадовала знакомая фамилия! Я показал Молдагазы пропуск с подписью Гозака.

– Теперь-то уж мы наверняка можем ехать вместе!

– Но ты же болен, Молдагазы!

– Черт с ней, с болезнью! В ауле от всяких черных мыслей скорее задохнешься. Сейчас тут не поправишься! Вот доберусь до Петропавловска, на красные знамена посмотрю – на душе легче станет! Может, и болезнь пройдет, окрепну. А если нет, то хоть со здоровой душой уйду из мира...

После обильных снегопадов мягко белела степь. Ездили в те дни мало, и проторенных дорог между аулами еще не было. Глубокой, рыхлой порошей проехать двести пятьдесят верст до Петропавловска на моей худой кляче было немыслимым делом. Я не хотел обращаться за помощью к Нуртазе и попросил у его старшего сына Мырзагазы одну лошадь для пристяжки.

– Ох, не знаю! – ответил он. – Я ведь ничем не распоряжаюсь, хозяйничает сам старик. Он обижен и на тебя, и на Молдагазы. Едва ли что выйдет. Ну, попробую...

Мырзагазы принес невеселые вести:

– Упрямый у нас отец, его не уговоришь. Если уж скривился, его не выпрямить. И неправый, а будет стоять на своем. Лошадь что, он и Молдагазы не хочет отпускать. Так и сказал: «Если не послушается, уедет без моего разрешения, ждет его отцовское проклятие!» А тебе велел передать: «Пусть не разрушает мой дом и скорее убирается, куда хочет!»

Молдагазы, узнав об этих словах отца, только рукой махнул.

– Пусть проклиняет! И без его лошади как-нибудь доберемся на твоей кляче. Уедем завтра.

Так и порешили. Злые угрозы отца не остановили Молдагазы. На следующий день мы сели в сани и отправились в путь. Больше ста коней было в табуне Нуртазы, и он пожалел пристяжного для больного сына. Упрямство отца и упорство сына показались мне уже тогда знаками непримиримой борьбы между старым и новым.

Санная дорога, как я уже говорил, еще не была проложена, один-два путника проехали до нас. Кляча наша с трудом пробиралась шагом по свежему глубокому снегу. Мы мало проезжали за день и подолгу отдыхали в попутных аулах.

Однажды пришлось нам заночевать у известного читателю по одной из предшествующих глав Аблая-хаджи. Его зимовка стояла на поляне широко разросшегося, но редкого леса. Скотные дворы, загоны и другие хозяйственные службы находились, по принятому многими баями обычаю, вдалеке от их собственного жилья – так легче было поддерживать чистоту в своем дворе. Аблай занимал два больших деревянных дома. Здесь, на зимовке, содержалось только несколько лошадей, необходимых для разъездов.

С Аблаем жил его младший брат Мухаммеджан – тучный человек лет пятидесяти с редкой растительностью на мясистом плоском лице. Он занимался хозяйством и не вмешивался в общественные дела, но регулярно читал литературу, в том числе газеты и журналы на тюркском языке, выписываемые Аблаем. Знал он довольно много и любил беседовать, однако длинные его речи часто смахивали на пустую болтовню.

Он ставил перед собой вместительный кожаный мешочек с махоркой-самосадам, свертывал козью ножку и непрерывно курил. Мне казалось, что он жует махорочный дым, умудряясь при этом все время говорить.

Брат Аблая был порядочным хвастуном. Убедившись после нескольких вопросов, что мы не очень-то сильны в истории мусульманства и мало знаем арабских философов, он сыпал десятками имен, подчеркивая свое превосходство.

Что же касается самого Аблая, то он был сдержан и малоразговорчив. Кроме принятых приветствий и расспросов о знакомых, мы ничего интересного от него не услышали, пока разговор не зашел о красных. Но и тут он был необыкновенно осторожен:

– Откуда я знаю о них? Трудно судить о людях, с которыми не имел еще дела. Есть у казахов поговорка: «Все, что слышали уши, – ложь, все что видели глаза, – правда». Заочно можно говорить все, что угодно. Не только о власти, даже о нас, простых людях, всюду по-разному болтают. Одни утверждают, что мы хорошие, другие – что плохие. И если любую власть часть народа хвалит, то остальная часть ее хулит. То же самое и с Советской властью. А мы-то еще не знаем толком, что

она собой представляет, как она будет править. Подождем, посмотрим, а уж потом и судить будем.

В гостях у Аблая я обратил внимание и на другое: хозяин следил, чтобы его брат не затевал разговора на политические темы. Но болтун Мухаммеджан улучал минуты, когда Аблай выходил из комнаты, и принимался ругать красных.

На следующее утро мы распрощались с зимовкой Аблая. Поскрипывали полозья, тяжело ступала в снегу моя клячонка. Долго мы ехали молча, и вдруг Молдагазы спросил меня:

– Ну ты как, ничего не заметил?

Сперва я даже не понял, о чем спрашивает меня мой спутник, но, взглянув на посерьезневшее его лицо, я почти догадался:

– Ты об Аблае?

– О нем, конечно. Видал, каким простачком прикидывается?

– Ну и что ж?

– А вот что. Слушай.

И тут, в открытой степи, в санках, вздрагивающих на сугробах, у нас состоялся разговор, который я надолго запомнил.

– Видишь ли, Сабит, Аблай при тебе ничего худого о красных не говорил, а со мною утром беседовал по-другому.

– О чем же, Молдагазы?

– Он не верит тебе, Сабит, и боится тебя.

– Ты уверен в этом?

– Убежден! Он ведь так и сказал: «Как волка ни корми, он в лес смотрит». Боится, что ты разоблачишь его.

– А тебе он верит?

– В том-то и дело, что верит. А почему? Да потому, что я сын богатого Нуртазы. Он – бай, я – сын бая. Вот он меня и не чуждается.

– О чем же еще вы с ним говорили?

– Ругает он Советскую власть. Она ему поперек горла стала.

– Тебе-то он что посоветовал? Бороться с ней?

– Нет, Сабит, не так. Он говорит, мне надо пойти на службу и все ее секреты узнать.

– Ну, и какая ему от этого польза?

– Он думает, борьба с Советской властью будет долгой, а сейчас ее никакая сила не свергнет.

– Значит, наступит время и все-таки свергнет? Так, что ли?

– Наверное, он думает так. Надежды у него какие-то есть, еще неясные. Не было бы их, так не говорил бы со мной. И потом он меня просил связаться с его приятелями в Петропавловске. С теми, что уже на службе у Советской власти. Поговорить с ними, посоветоваться, как мне дальше быть, и привезти от них весточку к нему в аул.

– Как же ты решил? Будешь делать так, как Аблай просит?

Молдагазы даже выругался с досады.

Но я подумал, что неплохо было бы узнать в городе единомышленников Аблая, и Молдагазы со мной согласился.

Саннный путь до Петропавловска не прошел даром для Молдагазы. Его утомила дорога, резкий чахоточный кашель усилился. Днем еще было ничего, но ночами он, бывало, совсем задыхался. А тут уже перед концом дороги разыгрался буран. Сначала мчались, свистя, белые языки поземки, потом ветер усилился, и вокруг стало белым-бело от густых снежных вихрей, слепящих глаза, проникавших под одежду, затруднявших дыхание. Буран стих так же быстро, как начался, но он не прошел даром для моего друга.

И когда мы приехали в город, одной из моих первых забот было через уездный отдел образования устроить Молдагазы в больницу.

Уже во время этих хлопот я столкнулся с очень огорчившим меня непонятным явлением.

Заведующий отделом народного образования, приметный всегда приподнятым правым плечом, плосколицый и важничающий заика, встречался мне прошлой зимой в Омске. Он преподавал у нас на курсах арифметику, а сам учился на последнем курсе учительской семинарии. Известен он был главным образом своими полными неистовой злобы к большевикам речами, которые он, заикаясь, произносил на алашордынских собраниях. Я недоумевал: как мог человек за

столь краткий срок переменить свои убеждения, сделаться приверженцем Советской власти и даже занять высокий пост. Как только могло это случиться?

Постепенно я убедился, что и в некоторых других уездных учреждениях сидели такие же алашордынцы, как и заведующий отделом народного образования.

Разобраться во всем этом мне помог Баймагамбет Зтулин. Повстречав его в Петропавловске, я сразу рассказал ему, как одному из самых близких мне людей, и о Есмагамбете Мақышеве, представителе Советской власти в наших аулах, и об алашордынцах, засевших в уездных учреждениях Петропавловска. Баймагамбет сперва пошутил, как обычно, словно речь идет о делах, не стоящих внимания, а потом, тяжело вздохнув, спросил меня:

– Ведь ты знаешь Галяутдина Мамекова?

– Того, что торговал скотом? Знаю. Когда красные стали приближаться, он бежал с белыми на восток. Говорили, до сотни быков погнал за собою.

– А где он теперь, догадываешься?

– Нет.

– Галяутдин уже здесь, в Петропавловске. И живет у своего родича. Ты прав, он бежал с белыми на восток. Но доехал до гор Чингизтау, где родина поэта Абая, и решил, что там переждать безопаснее. Дальше путь могли перерезать красные, а в долине Чингизтау есть несколько волостей рода уак, из которого происходит и Галяутдин. Он нашел там своих многочисленных родичей, продал белым своих быков и скрылся с целым сундуком денег в одном ауле. При нем был насмешник Досмагамбет и еще один родич – Ибат Шуюмбаев.

Баймагамбет сообщил мне между прочим одну забавную подробность: Галяутдин взял у белых не керенки, не колчаковские деньги, а царские, николаевские. И сделал он так потому, что надеялся в душе на возвращение монархии.

– Но дело не в этом, – продолжал он свой рассказ, – ты самую суть пойми. Таких Галяутдинов у нас много. Так вот, из чингизтауского аула этот Галяутдин отправился в Каркаралинск. И что ты думаешь! К тому времени там оказался сам главарь Алаш-Орды Алихан

Букейханов. Он созвал в этот городок алашордынских представителей из Баяна, Павлодара, Семипалатинска, Аягуза, Акмолинска, Кокчетава. Только один вопрос обсуждался на совещании – как относиться к новой власти, к Советам. И вот Букейханов говорил, что белые больше не возвратятся, что они окончательно побеждены, в России уже нет силы, которая могла бы свергнуть Советы. На иностранные державы тоже особенно надеяться нельзя. Советская власть держится прочно, опора у нее – рабочие и бедняки. «Значит,– говорил Букейханов,– единственный верный способ свергнуть Советскую власть – это поступить к ней на службу и подрывать ее изнутри». Букейханов призывал алашордынцев вступать в Коммунистическую партию, для виду горячо помогать Советской власти, а тайком подтачивать ее, порочить перед народом. Противники большевиков и в России так делают. Букейханов говорил и о том, что видным деятелям Алаш-Орды трудно будет вступить в партию – коммунисты их близко не подпустят к себе. Другое дело – алашордынская молодежь. Она перед новой властью ничем себя не запачкала, и ей нужно стремиться завоевать доверие и занять руководящие посты в советских органах. Теперь ты понимаешь, почему я спросил тебя о Галяутдине Мамекове? Так мы с тобой и добрались до самого важного,– заключил Баймагамбет.– Вот о чем думает Алаш-Орда. Вот к чему ее призывал Букейханов в Каркаралинске.

Передо мной уже не было веселого, добродушного Баймагамбета. Суровые, злые искры вспыхивали в его глазах, улыбки словно и не бывало на нахмуренном лице.

– И те, кто был на совещании, поддержали своего вожака?

– Еще бы! Ведь это букейхановские волчата. Они сделали так, как сказал им матерый волк, и разъехались по местам.

– Но все это знают руководители петропавловских коммунистов?

– Конечно, знают. И я им немного помог. Секретарю уездного комитета партии Соколову и председателю

ревкома Гозаку я рассказал обо всем, что слышал и здесь, и в аулах. Они, правда, меня успокоили. «Власть, – говорили они, – в наших руках, и, затесавшись в наши ряды, алашордынцы будут под контролем. Мы всегда их можем призвать к порядку, а понадобится – и уничтожить».

– Я все-таки побаиваюсь этих волков, – признался я.

– Они еще не волки, а волчата, – твердил Баймагамбет. – Они подрастут, если дать им волю. Сложна будет с ними борьба, дорогой Сабит!

«СМЕЛО, ТОВАРИЩИ, В НОГУ!»

В Петропавловске готовились к уездному совещанию учителей. Доклад должен был делать секретарь укома партии Соколов, но за несколько дней до открытия совещания его срочно вызвали в Омск, поэтому доклад был поручен Гозаку, доброму моему знакомому, выдавшему мне путевку в новую жизнь.

С Гозаком дружил и старший мой товарищ Баймагамбет, часто бывавший у него на службе и дома. Мне тоже хотелось встретиться с Гозаком, но пока он был очень занят и откладывал наше свидание.

Баймагамбет мне много рассказывал о нем, и я помню до сих пор штрихи биографии того смелого и скромного революционера.

Тогда Владимиру Иосифовичу Гозаку было немногим больше двадцати пяти лет. Он родился в белорусском городе Луцке, в семье рабочего-железнодорожника. Детство его прошло в бедности, и ему удалось получить только низшее техническое образование. До мобилизации в армию в 1914 году он служил на телеграфе. На фронте Гозак встретился с большевиками, вступил в партию и стал агитатором среди солдат. После Октябрьской революции он возвратился на родину и был одним из организаторов местного Совета. Схваченный петлюровскими бандитами, он был брошен в тюрьму, но бежал из заключения и продолжал бороться за Советскую власть на Украине. Потом партия направила его в ряды армии, сражавшейся с Деникиным. Он

заболел тифом, попал в одну из московских больниц, а после выздоровления его послали в тыл Колчака для организации подпольной работы.

В это время с ним и познакомился Баймагамбет. Каково было мое удивление, когда Баймагамбет почти слово в слово повторил то, что мне рассказывал Хамза Жунусов в ауле Балтабай! Солдат, встретившийся двум отдыхавшим студентам медресе у Золотой сопки, в окрестностях Троицка, на берегу реки Уй, и был Владимиром Гозаком, а не Антоновым, как он себя называл.

Жунусов был прав, Баймагамбет продолжал свои встречи с Антоновым-Гозаком и был связан с большевистским подпольем Троицка.

– Но недолго продолжалась эта связь, – рассказывал Баймагамбет, – нашелся негодяй, предавший подпольщиков колчаковцам. Начались массовые аресты, и только случайность помогла мне избежать этой участи. А того подпольщика, молодого татарского жигита, с которым я был связан, колчаковцы схватили и, как я позднее узнал, расстреляли вместе с другими большевиками. Я уверен, он мужественно держал себя перед белыми палачами и не назвал фамилий своих товарищей.

– А что случилось с Гозаком? – спросил я Баймагамбета.

– Он исчез. Вначале я даже не знал, бежал он или тоже расстрелян. Долго о нем не было никаких известий. И вдруг прошлой осенью я получаю от него письмо.

Баймагамбет вытащил из кармана довольно помятый конверт. Видно, много раз это письмо читалось и перечитывалось.

Вот что было написано в нем:

«Дорогой тов. Зтулин!

Это пишет тебе твой знакомый по Троицку – Антонов. Теперь я могу тебе сообщить мою настоящую фамилию. Я – Владимир Иосифович Гозак. Остальное узнаешь из письма.

Твой новый адрес я узнал совершенно случайно. Потеряв летом прошлого года мои следы, ты думал, должно быть, что я попал в лапы колчаковцев и уже расстрелян. Нет, я сумел вовремя скрыться. Еще не отлита та пуля, которая может в меня попасть. Когда

белые палачи начали аресты, я бежал вместе с некоторыми другими товарищами.

Скоро мы с грустью узнали, что вожака и командира красных партизан Амангельды Иманова обманном путем арестовали тургайские алашордынцы.

В то время в русских поселках, расположенных между Тургаем и Троицком, появился отряд красных партизан под командованием Тарана. Только с помощью этого отряда можно было бы выручить Иманова. Большевики, ушедшие в подполье, связались с Тараном.

После нашего письма его отряд отправился в Тургай, чтобы освободить Амангельды.

Но алашордынцы, захватившие власть в Тургае и разогнавшие местный Совет, услышали о приближении тарановского отряда. Они решили захватить обманом и его вожака.

Помощник Амангельды был предатель, белый шпион. Он помог алашордынцам схватить своего командира, теперь должен был заманить в свои сети и Тарана, знавшего его как надежного связного повстанцев.

Когда Таран со своим отрядом подходил к Тургаю, этот иуда выехал навстречу и посоветовал разместить партизан в окрестных аулах, а самого Тарана со штабом позвал на совещание в Тургай.

Ничего не подозревавший Таран принял это предложение. Тургайские алашордынцы арестовали и его. В ту же ночь он был расстрелян вместе с Амангельды Имановым.

Вот какая трагедия произошла, тов. Зтулин. Два героя – казах и русский – пали жертвой одного коварства и обмана. Если бы Таран не попал на удочку предателя, он и сам остался бы жив и освободил бы Амангельды.

После этих событий я тайком пробрался за Урал и присоединился к Красной Армии. Был начальником штаба, комиссаром. Материалы, собранные мной в тылу Колчака, оченьгодились при наступлении.

13 октября наша часть прибыла в Петропавловск. Командование оставило меня в здешнем уездном ревкоме.

Мы уже приступили к делу. Работы много, очень много. Но не хватает национальных кадров, которые помогли бы нам. Те казахские интеллигенты, которых

мы привлекли, на поверку оказались социально чуждыми элементами: или байскими сыновьями, или алашордынцами.

Пока мы вынуждены работать с ними. Может быть, некоторые из них исправятся, а если нет, позднее мы сами избавимся от них.

Но сейчас для нас очень важно найти из среды казахских трудящихся людей, готовых активно участвовать в борьбе за победу Советской власти, социализма. Мы их будем воспитывать и растить.

В этом большом деле и ты нам должен помочь. Скорее приезжай в город.

С товарищеским приветом Гозак».

– Все ты понял?– спросил меня Баймагамбет, когда я прочитал письмо.

– Понял! Все понял!

Баймагамбет рассмеялся.

– Да ведь ты не очень силен в русском языке!

– Чтобы разобрать то, что здесь написано, можно обойтись без хорошего знания языка. Я понял письмо Гозака не только умом, но и сердцем.

Мы заговорили об Амангельды Иманове. Еще в 1916 году, во время восстания, его имя было хорошо известно даже в самых отдаленных аулах нашего края.

В степи рассказывали о нем:

– Появился казахский батыр...

– Он истинный защитник бедноты...

– Непримируемый враг баев...

– Сердце его не знает страха...

– Его не берет ни пуля, ни шашка. И в огне он не горит, и в воде не тонет...

– Он один бросается на тысячу врагов и косит их, как траву...

Но теперь я узнал об Амангельды гораздо больше, чем когда-то поведали мне о нем правдивые и наивные степные легенды. Отважный сын казахского народа, он вышел из бедняцкой семьи. В детстве он обучался не только мусульманской, но и русской грамоте. С юных лет Амангельды питал ненависть к баям. Его не раз пытались поймать и выслать за пределы казахской степи. За ним охотились царские жандармы, но он умел

замечать следы и находить убежище в кочевых аулах. В 1916 году, когда началось восстание трудящихся казахов против феодального гнета и русского самодержавия, Амангельды стал во главе повстанцев Тургайской области. Для подавления мятежа царское правительство выслало в степь карательные отряды. Многие месяцы повстанцы вели с ними неравную героическую борьбу. И в этой борьбе Амангельды выдвинулся как умный и талантливый полководец.

Слава о нем как о могучем батыре пошла по всей казахской степи, и к его отряду присоединились восставшие из других областей. К осени 1916 года отряд Амангельды вырос на несколько тысяч человек. Восстание, поднятое им, превратилось в движение за национальное освобождение.

Амангельды сблизился с большевиками и проявил большое мужество в дни Февральской революции и Великого Октября. В 1917 году Амангельды первый в казахской степи поднял Красное знамя Советов. Он был первым организатором Тургайского ревкома и занял пост военного комиссара.

В 1918-1919 годах, когда по восточную сторону Урала укрепились контрреволюционные белогвардейцы, Амангельды защищал от них знамя созданного им совдепа.

Белогвардейская Алаш-Орда, понявшая, что ей не свергнуть Амангельды силой, пошла на хитрость, заслала в его отряды своих шпионов и в мае 1919 года сумела его заманить и арестовать. Весть эта, как читателю уже известно, дошла до большевиков соседних районов. Они начали подготавливать освобождение Амангельды, но им не удалось осуществить свои планы, и народный герой был расстрелян.

До боли, до слез мне было жалко батыра. Особенно горько было сознавать, что и он и Таран погибли из-за своей неосторожности.

Баймагамбет меня успокаивал:

– Правда, этого могло бы и не случиться, но если так получилось, знай, что от сетований и досады пользы нет. А мы, оставшиеся в живых, должны отомстить врагам за пролитую кровь и бороться за те идеи, ради которых отдали свои жизни герои. Нам, понимаешь, нам это надо

сделать. Мы и есть представители трудового народа. Мы должны бороться за Советскую власть, не щадя своей жизни. И пора тебе, не медля ни часа, начинать работу. И еще надо тебе, Сабит, вступать в партию.

– Это с моей-то грамотой?

– Время не будет ждать, пока ты полное образование получишь. Сейчас пора жестокой борьбы и горячих работ. Помнишь пословицу: «Караван стягивается в пути»? Так и знания к тебе стянутся в работе.

– Сам ты, Баймагамбет, коммунист?

– Нет, я еще только сочувствующий, – чуть огорченно улыбнулся он.

– А что это значит?

– Значит, разделяю все цели и стремления Коммунистической партии и прохожу испытательный срок. Стаж для сочувствующего – полгода. Докажу за это время, что могу быть коммунистом, – меня переведут в кандидаты. Потом, еще через шесть месяцев, примут в члены партии.

– Ойбо-ой! – разочарованно воскликнул я. – Какая длинная история! Однако долго испытывают.

– Иначе и нельзя! – Баймагамбет посмотрел на меня строго и покровительственно. – Быть членом партии не так-то просто. Коммунисты – вожаки трудового народа. Разве это легкое дело? Большой груз взваливается на плечи. Быть коммунистом – ответственное дело.

Баймагамбет говорил горячо, увлеченно. Многие я начинал осмысливать по-другому, чем прежде, стали меняться мои взгляды и на поэзию.

– Я ведь знаю, что ты сочиняешь стихи. Покажи-ка, что написал за время нашей разлуки, – попросил Баймагамбет.

Я достал свою тетрадь. Он углубился в чтение, неторопливо листая страницу за страницей. И сказал, прочитав всю тетрадь:

– Ты описываешь народную печаль и горе в старое время. Это, конечно, неплохо. Но вот о советском времени ты что-нибудь написал?

Я опустил глаза.

– Как я могу написать о том, что слабо знаю!

– Сабит, тебе должно быть все понятно! Народ, угнетенный веками, поработанный сильными, разор-

вал цепи, получил свободу и начинает строить новую жизнь. Ты – сын этого народа, какая же тебе еще нужна тема для стихов?

Слова Баймагамбета всколыхнули меня. «Наверное, он сам об этом пишет», – сразу подумал я и решил проверить свою догадку:

– А что у тебя написано на эту тему?

– Кое-что есть, но очень немного...

– Все-таки?

– Ну, почитай хотя бы это! – И он достал мне довольно объемистую тетрадь.

Так оно и оказалось! Баймагамбет написал об Октябрьской революции много стихотворений. Из них мне особенно понравилось одно:

Рабочие России третий год
Под красным стягом движутся вперед.
Полны отваги чистые сердца,
Крушить готовы баев до конца.

Усталости не ведали они,
Шли в трудных битвах, в долгих битвах дни.
Кровавый хищник намертво добит,
Путь к солнцу справедливости открыт.

И отданы народу навсегда
Заводы, пашни, пастбища, вода!
В степи хозяевами стали те,
Кто век трудился в горькой нищете.

Народ казахский новой жизни рад –
В семье свободной он как равный брат.
Не омрачает наш родной простор
Былого рабства горе и позор.

Вы, кровопийцы, не жалели нас,
Вы нас веками втоптывали в грязь.
Для вас, жестоких, грабивших народ,
Степное солнце больше не взойдет.

Народ казахский! Помяни, любя,
Борцов-героев, павших за тебя.
И Красной Армии воздай хвалу, народ,
За то, что сломлен вековечный гнет!

Эти стихи очень понравились мне, и я прочитал их снова, на этот раз вслух. Конечно, это было приятно Баймагамбету и несколько польстило его самолюбию.

– Ну, как ты нашел? – Улыбка сузила его глаза.

– Хорошие стихи!

Тут Баймагамбет, словно вспомнив что-то, сказал:

– Какие там хорошие! Им же красоты не хватает, художественности.

– Художественности не хватает? Ну, это ты слишком! Слова здесь понятные и совершенно правильные.

– Правильных слов еще мало для хорошего стиха, – вразумлял меня Баймагамбет. – Вот недавно у нас побывала агитбригада из Москвы. Были там и артисты, и музыканты, и певцы, и поэты – словом, представители всех искусств. Я бывал в их вагоне, слушал их выступления. Очень понравились мне русские стихи!.. А то, что прочитал ты сейчас, еще слабо. Я не спорю, содержание там хорошее, но поэзии настоящей нет.

– Так как же быть нам?

– Знания нам нужны, Сабит. У русских поэтов культура большая! А нам и ее не хватает, и многого другого. Баймагамбет даже вздохнул. – Вот, например, у нас почти нет революционных песен. И напевов, и слов.

– А у русских?

– У русских много.

Баймагамбет, очень любивший музыку, тут же спел несколько русских революционных песен, популярных в те годы. От него же впервые в жизни я услышал «Интернационал».

Из песен, спетых им, мне особенно понравилась «Смело, товарищи, в ногу!». Я попросил своего друга еще раз повторить ее. Слова я, понятно, еще не знал, но мотив запомнил сразу и подтягивал за ним.

– Хорошая песня, легко запоминается, да вот беда – не подберешь казахских слов.

– Представь, я попробовал перевести эту песню, но не выходит у меня точно, – смущенно сказал Баймагамбет. – Впрочем, хочешь послушать? Я тебе спою свой перевод.

– Ну давай, давай!

– Еще раз повторяю: смысл-то я уловил, но слова часто не совпадают.

И он стал петь по-казахски:

Смело, товарищи, в ногу...

Когда он закончил последний куплет, я сказал, не тая радости:

– Каждый поймет эту песню, самый простой казах ее запомнит. Хорошо ты написал, а сравнить твой перевод с русским текстом я не могу. Пойдет эта песня в аулы.

– Это было бы хорошо!..

...Скоро открылось совещание учителей Петропавловского уезда. По-русски доклад сделал Гозак, и перевел его заведующий мусульманским сектором укома партии Шахизаман Забиров. Саратовский татарин из мещеряков, он и татарские слова произносил со своеобразным акцентом. Твердые «к» и «г» звучали в его речи мягко. Например, вместо «Касым» он говорил «Кясим», вместо «кагаз» – «кягяз», «С» он произносил как «ц». Слова «уш» и «куш» в его произношении становились «уц», «куц».

У этого Шахизамана Забирова было два забавных свойства: он и к месту и не к месту улыбался, показывая длинные редкие зубы, а когда говорил – на трибуне или в разговоре, – то употреблял фразу! «Товарищи, с этого дня, с этого часа усвойте крепко то, что скажу!»

Для меня, одинаково плохо знающего и русский язык и мещерское наречие татарского, доклад мог бы остаться непонятным, если бы не удалось заранее познакомиться с его текстом.

За день или два до начала совещания Баймагамбет пришел ко мне и показал несколько страниц, отпечатанных на машинке.

– Вот это и есть доклад Гозака. Давай прочитаем, – предложил он.

Около сорока лет прошло с тех пор, но я его вижу, как сейчас. В те времена не было хорошей бумаги, исправных машинок, грамотных машинисток. Он был напечатан на желтой оберточной бумаге, кривыми строчками, с неправильными интервалами, без соблюдения строчных и прописных букв, не говоря уже о грамматических ошибках. Даже Баймагамбет разбирал его с большим трудом.

Несколько раз прочитал он его и тщательно пересказывал мне его содержание на казахском языке.

Я знал и прежде, знал из опыта собственной жизни, что в обществе есть люди, которые наживают

богатство, присваивая плоды чужого труда, и есть люди, живущие в нищете, работающие на этих богачей. Я много слышал об эксплуататорах и эксплуатируемых от своих старших товарищей, особенно в последние годы. Но, пожалуй, нигде я не встречал такого ясного и простого объяснения этой истины, как в докладе Гозака. Гозак писал и о том, что надо нам делать в дальнейшем. Октябрьская революция, говорилось в докладе, освободила тружеников от эксплуатации, дала им политические права. Теперь наша цель – строить социализм, сделать тружеников свободными и экономически, поднять их благосостояние, культуру и создать вечное народное счастье – коммунизм!

С чувством большой радости я постигал все это и собирал свои душевные силы, чтобы отдать их партийной и советской работе.

В докладе речь шла главным образом о национальной политике Коммунистической партии, в частности в области культуры и народного образования. У таких народов, как русский или татарский, говорилось в докладе, имевших еще до революции свои национальные школы, организовать советские школы было гораздо легче, чем у казахов и киргизов, почти не имевших до революции своих школ. Хотя и русских школ было недостаточно, но они все же имели свои собственные здания, которые можно было отдать под вновь организуемые советские школы, кое-что, использовать из старых учебников, сохранились и преподавательские кадры. Но в казахском ауле почти ничего этого не было. У кочевого народа специальных школьных зданий и не могло быть. Аулы в пять – десять юрт разбросаны по степи друг от друга. Трудно было собирать детей из окрестных аулов в одно место. Да и как могут дети ежедневно ездить в школу зимой? Интернатов нет. Нет и учебников на казахском языке. Правда, год-два назад алашордынцы написали и издали несколько книг для начальных школ, но их так мало, да и по своему содержанию они не годятся для советского времени.

Казахские учителя, которые могли бы преподавать в аульных школах, в своем большинстве воспитанники татарских или русских училищ. Они плохо знают свой

родной язык. Их тоже недостаточно, но все же это довольно многочисленный отряд. Если бы найти мало-мальски подходящие здания и обеспечить школы учебниками, то можно было бы во многих аулах приступить к занятиям.

Для открытия в казахских аулах национальных школ в этом году требуется большая подготовительная работа. Все участники совещания, разъехавшись по домам, должны повести в аулах агитацию за постройку школьных зданий уже в предстоящее лето. Надо обратиться с просьбой к правительству – весной наступающего года организовать во всех уездах краткосрочные курсы по переподготовке аульных учителей и наладить издание учебников и учебных пособий для казахских школ...

Хорошо, что накануне вдвоем с Баймагамбетом мы глубоко разработали этот доклад. Поэтому и выступление Юзака на русском языке и перевод его речи на татарском языке, сделанный Забировым, мне были вполне доступны. На совещании я услышал много другого важного и интересного, касающегося опыта преподавания в аулах и селах.

Словом, было о чем размышлять. Совещание приняло развернутое решение об организации и развитии национальных советских школ.

Я не пропустил ни одного заседания. Из всего, что я узнал, можно было убедиться, что Советская власть стремится сделать для аулов много хорошего, но для осуществления ее замыслов необходимы большие усилия.

Для участников совещания было прочитано на русском и казахском языках несколько лекций о перспективах развития народного хозяйства и культуры в ближайшие годы и о текущем моменте.

Когда председатель объявил совещание закрытым, все встали и запели «Интернационал». Казахского текста его в то время еще не было. Баймагамбет помог мне выучить русский текст, и мы вдвоем дома не раз пробовали его исполнять. Поэтому, когда в большом переполненном зале театра все присутствующие с огромным воодушевлением стали петь революционный гимн, я не отстал от других и во весь голос вместе со всеми по-русски спел его от начала до конца.

В эти дни в Петропавловске нам привелось еще раз участвовать в коллективном пении «Интернационала». После закрытого совещания в помещении русского драматического театра силами местных артистов и музыкально-хоровых кружков был проведен большой концерт.

Он был для меня радостным событием не только потому, что я любил музыку. Этот концерт совпадал с новой значительной вехой в моей жизни.

Расскажу все по порядку.

Как ни занят был Гозак, он нашел время встретиться со мной и Баймагамбетом. Приветливо и внимательно расспрашивал он меня об аульной жизни, моих скитаниях и учебе, выяснил наводящими вопросами; понимаю ли я политику Коммунистической партии. Потом он спросил, почему же я не вступаю в партию. Я сказал, что мои знания слишком скудны, и усомнился, по плечу ли мне будет высокое звание коммуниста.

– Ошибаешься, дорогой товарищ, – возразил Гозак. – Чтобы стать членом нашей партии, вовсе не нужно быть профессором. Надо иметь честное сердце и горячее желание работать. Остальное наверстаешь! Конечно, – сказал он мне в заключение, – вступать в партию никого не уговаривают, это добрая воля каждого.

Я от души поблагодарил Гозака и обещал ему серьезно подумать о своей судьбе.

Покинув кабинет председателя ревкома, я долго размышлял о себе. Немного я прожил на свете, но трудной и горькой была моя жизнь. И была глубокая справедливость в том, что пути-дороги привели меня под знамя Коммунистической партии. Я вскоре поделился своими мыслями с Баймагамбетом, и он горячо поддержал меня.

Теперь надо было найти хорошо знающих меня партийцев.

– Не беспокойся, Сабит, нам и в этом деле Гозак поможет. Попросим его самого дать рекомендацию.

Как мне сказал Баймагамбет, так оно и вышло.

Я снова пошел к Гозаку и рассказал ему обо всем, что передумал.

Он сердечно одобрил мое решение и обещал рекомендовать меня в партию.

– Как же мне быть со второй рекомендацией?– спросил я.

– А вот он ее тебе даст!– и Гозак показал на Шахизамана Забирову, который сидел тут же и молчаливо улыбался.

– Товарищ Гозак говорил мне о тебе, только нам с тобой надо побеседовать подробнее.

После обстоятельного разговора я получил и вторую рекомендацию. Написал заявление, заполнил анкету и приложил к ним рекомендации.

В тот самый день, с которого я и начал рассказ о больших переменах в моей жизни, на президиуме укома партии разбиралось мое заявление. Гозак подробно рассказывал обо мне, и поэтому мне было задано очень немного вопросов. Но и на них я отвечал, волнуясь и обливаясь потом. Вдруг один из участников заседания, знакомый мне алашордынец, еще недавно усердный байский прислужник, волк, переодетый в овечью шкуру, ехидно заметил:

– Он же невежда. Как можно быть коммунистом с такими жалкими знаниями!

Но меня решительно защитили Гозак и Забиров.

После заседания для меня, сочувствующего РКП (б), был заполнен и подписан билет в красной картонной обложке, приклеено фото, приложена печать.

Карточку сочувствующего вручил мне секретарь укома.

– Поздравляю, товарищ Муканов,– пожал он мне руку,– и верю, что ты не запятнаешь этот билет и скоро станешь настоящим коммунистом.

– Обещаю!– смог я вымолвить только одно слово.

«РКП (б). Российская Коммунистическая партия большевиков!»– с волнением я твердил про себя эти слова. Я понимал, что эта партия ведет всех трудящихся к весне счастья – к коммунизму. Я ни с чем не мог сравнить мою радость и гордость.

Я вернулся к себе на квартиру и самозабвенно излил свои чувства в стихотворении «Бостандык» – «Свобода». Я помчался к Баймагамбету поделиться своей радостью. Он ждал меня, он был убежден, что прибегу. Баймагамбет поздравил меня и похвалил мои новые стихи.

– Ты обязательно прочтешь их сегодня вечером на концерте!

– А ты?

– И я прочту свои стихи.

Торжественно открылся концерт. В первом отделении читались на русском и татарском языках стихи, посвященные революции и Советской власти. На казахском языке прочел свои стихи только один Баймагамбет.

Меня предупредили, что буду выступать и я. Я был в этот вечер сам не свой. Сердце забилося особенно учащенно, когда меня позвали за кулисы. Дрожа как в лихорадке, я ожидал своей очереди.

Не знаю, хорошо ли я прочитал свои стихи, но, помню, чуть дрожащий мой голос звучал очень громко и мне горячо аплодировал весь зал.

Второе отделение концерта слушал уже в зале. Молодой русский жигит – распорядитель концерта – перед окончанием сказал:

– Товарищи, я предлагаю в заключение спеть «Интернационал». Согласны?

– Согласны! – дружно ответил зал. «Интернационал» мы исполняли с еще большим подъемом, громче, чем вчера. А потом стали выходить из театра с революционной песней «Смело, товарищи, в ногу!».

Было за полночь, город спал, огни на улицах и в домах уже не горели.

Кругом было тихо. Из-за облаков проглядывала тусклая луна. Ноги мягко ступали по недавно выпавшему снегу.

В улицы и переулки растекались людские потоки, будя уснувший город боевой песней...

БЕДА ЗА БЕДОЙ

Пора было возвращаться в аул. Нас было человек десять молодых людей примерно моего возраста, недавно принятых в сочувствующие. Уездный комитет партии и ревком поручили нам вести на местах агитационную работу и помогать проводившейся тогда продразверстке. Я должен был побывать в трех казахских волостях – Караобинской, Каратальской и Пресногорьковской, расположенных на границе

Петропавловского и Кустанайского уездов. Снова предстоял далекий санный путь в зимнюю стужу.

Баймагамбет и многие другие поехали в свои волости на обывательских подводах по «открытому листу» уездного ревкома. На моем же попечении был мой больной родич и друг Молдагазы. В больнице врачи сказали, что дни его сочтены и самое большее он протянет до весны. Я его привез в город, и совесть не позволяла мне оставлять его накануне смерти одного, вдали от родных. Да и он, хорошо понимавший свою обреченность, стремился вернуться домой.

За то время, что я жил в Петропавловске, моя лошадка отдохнула и поправилась. Покинув город на рассвете, мы сделали за день почти восемьдесят верст и заночевали у моих родичей. Из добрых чувств, верности обычаям и, вероятно, уважения к новым моим обязанностям родичи собрали для меня пудов двадцать пять пшеницы. Тяжеловатый груз для моей лошадки, но оставить его в ту трудную, зиму было бы по меньшей мере неразумно. Однако дорога стала куда труднее. Утомленную лошадь мне не раз приходилось вести на поводу. Еле плелась она по глубокому снегу, а я чаще всего вышагивал рядом. Молдагазы был настолько слаб, что без посторонней помощи не мог выбраться из саней. Если мы останавливались на ночлег или делали днем передышку, чтобы и лошадь отдохнула, и сами обогрелись, я вносил Молдагазы в дом на руках. Так чуть ли не за неделю добрались мы до аула его замужней сестры Рабиги.

Случилось так, что в доме Рабиги мы встретили родственников Молдагазы, приехавших погостить из нашего аула. Они уговорили его пересесть к ним в сани, а я, как и обещал, направился к сестре Ултуган.

Печальным было наше расставание. Мы дружили с детства. Тяжелая для нас двоих разлука особенно горестной оказалась для него. Ведь он так и не видел торжества свободы, не принял участия в новой, полной значительных событий жизни, о которой узнавал только от меня, лежа на больничной койке. Слушая хорошие вести, он радовался за друзей, за меня, но не мог не горевать, что сам оставался в стороне и не сбылись его мечты.

К этому горю прибавился страх перед неизбежной близкой смертью. Как ни скрывали от него врачи и друзья неминуемый исход, он своим чутким сердцем хорошо понимал, что возвращается в аул к могиле. Будучи не в силах подавить свое волнение, он жаловался мне на краткость своей жизни, говорил о скором конце и разрушенных надеждах. Прощаясь, он снова пожаловался сквозь слезы на свою судьбу и сказал:

– У меня к тебе есть последняя просьба, Сабит... Нет, я не прошу тебя отвезти меня в аул. У меня хорошие попутчики. А тебя ждут твоя овдовевшая сестра и ее голодные дети. Ты должен привезти им хлеб. Лошадь и сани тоже их. Тебе никак нельзя миновать родных. А мне жить осталось недолго, не успокаивай меня. Так вот, слушай. У меня есть тетрадка, я в нее записывал свои стихи, вел дневник. И книги у меня есть. Немного книг, но хорошие. Все это я хочу отдать тебе. Отвезешь сестре пшеницу, вернешь ей лошадь и сани, скорее приезжай в аул, попрощайся со мной. Уж навсегда.

Я обещал Молдагазы сделать так, как он просит...

...Как обрадовалась сестра, когда я приехал с пшеницей! Семья была избавлена от голода, в уже угасшем очаге снова вспыхнул жаркий огонь. Милая моя сестра, перестав волноваться за детей, беспокоилась теперь за меня. Не раз она меня отводила в сторону и задавала тревожные вопросы:

– Ты в Петропавловске был?

– Был, – говорю.

– В красные записался?

– Записался, – говорю.

– Ой-бой, шутишь ты или это правда?

– Конечно, правда, сестра.

– Боже мой, твой грех, Сабит, падет на мою голову.

Если бы нам не понадобилась пшеница, ты бы не поехал в Петропавловск, а если бы не поехал, значит, не записался бы и в красные. Что же нам теперь делать?

Я как мог объяснял наивной сестре, кто такие красные и белые и почему про красных белые распространяли всякие небылицы.

Успокоить сестру было не таким легким делом, она никак не понимала происходящего.

– Ладно уж, – смирялась она, – записался так записался. Но не показывай этого никому. Веди себя смирно, будь осторожен. Один аллах знает, что еще может произойти. И когда все образуется, то никто и не узнает, что ты был красным...

Я спорил с ней, утешал ее, успокаивал, но, видно, так и не разубедил до конца.

Выпросив в ауле подводу, я двинулся дальше и, выполняя свое обещание, заехал в Жаман-Шубар. Молдагазы лежал при смерти.

Горе подстерегало на каждом шагу. В аулах начала свирепствовать холера. Семьи Даулета и Тоганаса умерли от этой страшной болезни. Двери их домов заколотили досками. В то время врачей не было не только в казахских аулах, но и в ближних русских селениях. Больницы были только в Пресногорьковской и Марьевке, больше чем в ста верстах от Жаман-Шубара. Трудно было добираться до них зимой, а с больными и просто невозможно.

Я уже собрался сообщить о начавшейся эпидемии в Петропавловский ревком, но тут заболел холерой мой любимый двоюродный брат Хамза Мустафин. Он сразу потерял сознание и был в тяжелом бреде. Чтобы добраться до ближайшего телеграфа и вернуться обратно, нужна была по крайней мере неделя. Пока я ездил бы, Хамза мог умереть.

Что же делать? Я так растерялся, что не находил выхода. Больные родители Хамзы и его братишка Габбас пришли в полное отчаяние. Не только любимым сыном был Хамза, но и единственным кормильцем семьи.

Хамзе шел двадцать пятый год. Он был крепкого сложения и большой физической силы. Последние пять-шесть лет он, как говорит пословица, «бился головой и об гору и об камни», без отдыха разъезжал по окрестным аулам и поселкам в поисках работы для поддержки семьи. В городе Кургане он поступил грузчиком на элеватор. Земляки, работавшие с ним, рассказывали, что Хамза на спор подымал три шестипудовых мешка и легко проходил с этим грузом за плечами по семидесяти ступенькам элеватора. А поднять два мешка было для него сущей безделицей. О Хамзе уже поговаривали как о силаче и борце.

Когда Хамза стал выходить в люди, совсем разоренное, бедное хозяйство Мустафы начало немного поправляться: и есть можно было досыта, и одежду справить, и обновить обветшалую юрту. Снова появился во дворе скот. Все эти небогатые приобретения, все скромное благополучие семьи зависели только от Хамзы. И когда над кормильцем занесла свою лапу смерть, мудрено ли, что вся семья, подавленная несчастьем, обезумела от горя.

Охваченный жаром, в бреду метался Хамза по земляному полу. В отчаянном страхе глядели на него братья Габбас и Шакен, маленькая сестренка Маржан. Я сам удивляюсь, как мне тогда удалось сохранить некоторое спокойствие. Я не меньше их переживал болезнь Хамзы, но, понимая, что мой долг ухаживать за больным и присматривать за хозяйством, усилием воли брал себя в руки.

Больной отец Хамзы Мустафа был глубоко религиозным человеком. В те времена в аулах была широко распространена «книга святых имен» «Исмуагзан» – сборник молитв на все случаи, в том числе и молитв, исцеляющих от всяких болезней. Этот сборник всегда лежал под подушкой больного Мустафы, перечитывавшего молитвы с надеждой на выздоровление. Одна из молитв «Исмуагзана» сопровождалась выразительным советом составителя: «Кто прочитает эту молитву сорок раз подряд, тот избавится от любой тяжелой болезни».

Когда Мустафа увидел, что Хамза бьется в агонии, он крикнул Габбасу, хорошо знавшему мусульманскую грамоту:

– Доставай «Исмуагзан»! Скорее, слышишь!

Габбас вытащил сборник из-под подушки отца.

– Читай вот это! – и Мустафа показал на всеисцеляющую молитву.

Габбас читал громко и прерывисто, задыхаясь от слез, Все видели, что Хамза доживает последние минуты.

– Читай еще, еще! – сквозь рыдания приказывал Мустафа.

Габбас начал повторное чтение, но не успел он дойти до молитвы, как жизнь покинула Хамзу.

Потеряв разум от горя или изверившись навсегда в чудодейственной силе молитв, Мустафа выхватил из

рук Габбаса сборник молитв и, разорвав его в клочки, швырнул в жарко натопленную печь. И, рыдая, забился в судорогах.

На следующий день в сильный мороз мы похоронили Хамзу. Я вернулся с кладбища продрогшим до костей. Не знаю, простудился я или заразился, но вскоре болезнь свалила меня, и я потерял сознание. Все, что со мной происходило, напоминало болезнь Хамзы. Я словно горел в огне. Редко я приходил в сознание. Сквозь полубред я иногда понимал, что меня приходят навестить мои друзья.

Один из них, Кантай Туркенов, глядя на мое бесильно распластанное тело, вздохнул и сказал, покачивая головой:

– Жалко смотреть! Сиротою рос, скитался, испил горя, только-только начал становиться настоящим человеком – и вот, свалился...

Кантай продолжал жалеть и сочувствовать, потом примолк. И я вдруг отчетливо расслышал, как он сказал:

– А ведь я про одно лекарство слышал. Может, попробуем его на Сабите?

Все бывшие в юрте насторожились.

Кантай опять замолчал.

– Так что это за лекарство?

Тогда он стал рассказывать, путая правду с вымыслом, и уж на что мне плохо было в эти минуты, но я не пропустил ни слова.

– Эта болезнь пришла к нам с верховьев, от Канжигали-Курлеутов. Им ее оставили бежавшие от красных белые. У колчаковцев, оказывается, были какие-то рыбы в жестяных банках. Их называют, – Кантай старательно произнес чуть ли не по слогам это слово, – консервы. Говорят, будто их прислали из Америки. Американцы ли или сами белые запустили в эти банки червей, от которых заводится болезнь. Словом, заразили рыбу. Кто ее ел, тот сразу заболел холерой. Много погибло народа в аулах верховий. Но нашелся какой-то баксы-шаман, который посоветовал пить горячий деготь. И многих, говорят, это спасло.

– Что за лекарство деготь? – усомнился кто-то.

Но другие тут же возразили:

– Почему не попробовать? Если ему суждено умереть, он и так умрет. А вдруг, к счастью, деготь и поможет?..

Мне было очень плохо. Сквозь полубред мое воспаленное сознание улавливало смысл слов Кантая. Значит, все-таки можно спастись? Во мне вспыхнула слабая надежда.

– Давайте мне скорее дегтя. Вы-ыпью!– простонал я.

В доме Мустафы в углу стоял деревянный бочонок-лагунок с дегтем для смазывания телеги. Из него-то и отлили в железный ковш этого густого лекарства, а потом подержали ковш над огнем очага. Когда деготь нагрелся, кто-то сказал:

– Из ковша еще обожжет рот, лучше вот в чашку налейте.

Мне поднесли выщербленную деревянную чашку с горячим дегтем.

В самом ли деле помог мне деготь или сильный молодой организм переборол болезнь, но через несколько дней я поднялся, а неделю спустя, опираясь на палку, стал выходить на улицу.

Едва я начал поправляться, как снова заболел, на этот раз воспалением легких, простудившись в лютый мороз на новых похоронах близкого мне человека.

Меня мучил жестокий кашель. Потом я стал харкать кровью и настолько ослаб, что без посторонней помощи не мог подымать головы.

Однажды меня навестил Мырзагазы, сын дяди Нуртазы. Душевно посочувствовав мне, он сказал:

– Видишь, Сабит, в нашем роду, кроме тебя и меня, не осталось ни одного жигита.

– Что ж делать?– отозвался я.– Мы тут ни при чем. Мы не звали беду, она сама пришла.

Недавно кто-то при мне подсчитал, что в нашем Жаман-Шубаре за это время умерло больше ста человек. Из них сорок два жигита – молодые, сильные, вроде Габдола, Назира, нашего Хамзы... Какие это были молодцы! Каждый из них мог быть опорой целого рода.

– Я вот сейчас о тебе подумал,– вздохнул Мырзагазы.

– Так ты уж говори до конца...

– В Жанбур-Самое живет Хусаин, сын Мениша. Старый человек, он хорошо травы знает. Постоянно-то он не лечит, но если к нему обратиться за помощью,

не откажет. Такую болезнь, как твоя, быстро вылечивает. И следа не останется. Не повезти ли тебя к нему?

– Теперь вот, зимой?

– Конечно, теперь. Разве болезнь будет ждать нас до лета?

Я недолго раздумывал.

– Вези меня к старику, Мырзагазы. Не все ли равно, где умирать – дома или в поле.

На следующее утро Мырзагазы подъехал к дому Мустафы на своей саврасой. Сильная, ладненькая лошадь была впряжена в обитую рогожей кошевку, выстланную кошмой и овечьей шерстью. Меня одели как можно теплее, завернули в кошму, и мы тронулись в путь.

Говорили, что аксакал Хусаин живет верстах в пятидесяти-шестидесяти от Жаман-Шубара. Жалеючи в зимнее время лошадь, следовало бы ехать с ночевкой, но Мырзагазы гнал как только мог свою саврасую. Впрочем, она везла довольно легко. День, к счастью, выдался теплый, солнечный, и санная дорога была хорошо укатана. Вечером мы приехали к Хусаину, принявшему нас без лишних слов.

Мне, и скованному болезнью, интересно было взглянуть на старика, о котором я знал только понаслышке. В свете керосиновой лампы он выглядел внушительно и даже грозно. Густая белая борода закрывала все, кроме лба и орлиного, крючковатого носа, и спадала на грудь. Брови Хусаина, густые и подвижные, у висков сливались с бородой. Из-под них поблескивали небольшие, глубоко запавшие глаза. Сутуловатая массивная фигура с большой головой придавала старику представительный вид.

Меня уложили в постель. Хусаин подошел ко мне и толстыми пальцами молча пощупал пульс на руках и висках и, ни слова не говоря, сел на свое место.

Молчание прервал Мырзагазы:

– Ну, Хусаин-ага, как он?

– Ничего плохого! – коротко ответил аксакал.

Соблюдая вежливость, Мырзагазы больше ни о чем не допытывался.

Дорожная усталость, а быть может, и успокоительный ответ старика сделали свое дело: давно я не спал таким глубоким сном, как в эту ночь. Утром, после

чая и перед сборами в обратный путь, аксакал обратился к Мырзагазы:

– Сын Нуртазы, слушай меня внимательно! Шаманство и знахарство я никогда не считал своим занятием. Если я и понимаю толк в лечебных свойствах корней и трав, то только потому, что научился этому у своего покойного деда Аю. А он в этом деле был большой знаток. Его так и называли Травником.

– Чем бы ни лечить, лишь бы на пользу пошло, – заметил Мырзагазы.

– Аминь! – громко произнес аксакал.

Он вытащил откуда-то из-под подушек кожаный мешочек, развязал его и высыпал корешки трав разного размера, цвета и формы. Потом отобрал семь корешков по признакам, знакомым только ему одному, и каждый корень истолок в ступочке в порошок, как это делается в аптеке. Из семи разных порошков он составил одну смесь, завернул ее в бумажку и передал Мырзагазы.

– Дом твоего отца зажиточный, – сказал он при этом. – Нуртаза всегда резал на зиму жирных кобылиц. Как у вас в этом году с убоем?

– Слава аллаху, убой есть, – ответил Мырзагазы.

– Так вот, передай своему отцу и матери мой салям и почтение. Пусть эти растолченные корешки они положат в котел и туда же опустят жирные конские кишки, залиют их водой и кипятят до тех пор, пока вся вода не выкипит. Тогда в кишки впитаются все целебные свойства трав. Янтарного цвета кишечное сало примет зеленоватый оттенок. Так приготовленными кишками и надо кормить больного. Сперва отрезайте тоненький кусок, с ноготок, потом постепенно увеличивайте долю. Привыкнет он – можно давать столько, сколько захочет. Я думаю, лекарство пойдет на пользу, болезнь остановится. А когда наступит весна, его нужно поить тосапом, и, бог даст, он совсем поправится. Ты знаешь, сын Нуртазы, что такое тосап?

– Знаю, Хусеке, – ответил Мырзагазы.

– Тогда говори!

– Это майский кумыс. Он обычно наливается в небольшой дорожный торсук, и туда же опускают куски свежего нутряного конского сала. Торсук притирачивается к седлу табунщика. Он ночь напролет, не зная

покоя, объезжает табуны и следит, чтобы они не разбродились, и охраняет их от волков. Торсук все время будет покачиваться, а кумыс в нем взбалтываться и впитает все конское сало. Такой кумыс, густой и жирный, как сливки, и называется тосапом.

– Правильно, – подтвердил Хусаин. – Так вот, кроме тосапа и корешков трав, я не знаю других лекарств против этой болезни.

Мырзагазы хотел отблагодарить старика.

– Нет, дорогой мой, платы я не беру. Лечение не мое занятие. Спрячь-ка деньги, они пригодятся. Ты сам сказал, что он сирота. Пусть будет легкой моя рука и выздоровеет жигит! Вот это для меня настоящая награда.

Я с теплотой подумал о добром аксакале.

Приготовленные по способу Хусаина конские кишки пошли мне на пользу. Я поправлялся с каждым днем и чем здоровее становился я, тем охотнее поедал это сало, пропитанное отваром корней. А потом, как советовал Хусаин, я стал есть обычную конскую колбасу и, пока не было кумыса, пил горячее молоко, приправленное конским или бараньим жиром.

Когда аулы покинули зимовья и поставили свои юрты на зазеленевших лугах, я уже мог ездить верхом.

В сотенном табуне Нуртазы насчитывалось около пятидесяти жеребых кобыл. Пятнадцать-двадцать он держал при своей юрте для дойки. Диковатые кобылицы, не знавшие узды, пугались, когда привязывали их жеребят. Они стремительно мчались в степь, и очень трудно было заманить их обратно. Так повторялось каждый год.

Чтобы ухаживать за этими кобылицами, вовремя пригонять их к месту дойки, Нуртаза завел в своем хозяйстве хорошо натренированных коней и ловких жигитов, отлично владеющих арканами.

Я настолько поправился, что и сам попробовал это занятие смелых – мчаться на быстроногом скакуне и ловить арканом диковатых, необъезженных кобылиц.

Но теперь меня волновало другое: что же делать, с чего начинать?

Уездный ревком и партийный комитет выдали мне мандат и поручили большую работу. Но беды, свалившиеся на наш аул, и моя болезнь помешали мне ее

выполнить. Надо было бы взяться за дело теперь, но прошло почти полгода, и многое изменилось. Необходимо было опять побывать в Петропавловске, узнать новые веяния, рассказать, что произошло со мной, и тогда сызнова приниматься за работу.

За это трудное время Нуртаза забыл нашу ссору и стал относиться ко мне по-родственному, дружелюбно и ласково. Когда я ему рассказал о своем решении опять ехать в город, он заговорил совсем о другом:

– Светик мой! По воле бога наш Молдагазы покинул этот непостоянный мир. После него остались Коран, много священных и мирских книг. В моей семье хозяина им нет. Хочешь – распоряжайся ими. Если ты согласен, я тебе скажу еще кое-что.

– Говорите, кишкене-ага!

– Слушай, дорогой мой! В соседнем ауле аксуатал-дайцев живет ученый мулла Агатай-Хазрет. У него есть взрослая дочь. Я ее давно хотел сосватать для моего Молдагазы, да не суждено было этому сбыться. Мы с Хазретом большие приятели, и мне бы хотелось укрепить нашу дружбу. Так вот, если ты согласен и на это, я заплачу за тебя весь калым, женю на дочери Хазрета, усыновлю тебя и поставлю твоей семье юрту возле моего дома.

Неожиданными были слова Нуртазы. Я хорошо знал, что недомолвками и хитростью мне не провести своего упрямого дядю. Надо было без увиливаний говорить с ним начистоту:

– Кишкене-ага, поймите, я еще не целый человек, а только полчеловека. Ростом-то я вышел, но ума и знаний не хватает. Мне сначала следует стать настоящим человеком, а уж тогда подумать о жене. Дорога для ученья теперь открыта. Не обижайтесь на меня, но пока мне рано жениться.

На этот раз Нуртаза не стал, как прежде, кричать на меня и ругаться. Он спокойно и пристально всмотрелся в мое лицо, вздохнул и махнул рукою.

– Эх, мальчишка, ну что мне еще с тобой говорить, если ты сам отталкиваешь от себя свое счастье...

Он встал и, заметно горбясь, ушел к себе, оставив меня наедине со своими мыслями.

С РЕВОЛЮЦИОННЫМ МАНДАТОМ

АЙТЖАН

Я совсем не случайно рассказал Нуртазе о своем намерении снова поехать учиться. Это решение я обдумал в дни болезни и выздоровления.

В Жаман-Шубар вернулся знакомый читателю по первой книге этой повести дядя Шаин. Он получал из Омска газету «Кедей сози» («Бедняцкое слово»), начавшую выходить осенью 1919 года. Незадолго до большого разговора с Нуртазой я там прочитал, что в июне в Петропавловске открываются двухмесячные курсы по переподготовке казахских учителей аульных школ, все учащиеся обеспечиваются общежитием и стипендией за счет государства. Вместе со мною на эти курсы решил поехать и дядя Шаин.

С дядей Шаином, с детских лет оставившим в моем сердце добрую память, я не виделся лет десять. Говорили, что в эти годы он вел нелегкую жизнь кочевого портняжки, разъезжал по аулам и очень редко появлялся у своих домашних в Жаман-Шубаре.

Он очень переменялся с той поры, как я с ним расстался. Даже внешне его трудно было узнать. Не было прежней черной небольшой бородки, а в усы вплелась рыжеватая седина. Помню, тогда в мои детские годы, над его круглым белым лицом и девичьим румянцем подшучивали аульные острословы: «Даже имя твое, Шаин¹, похоже на женское, и сам ты, алощекий, подобен красавице». Но теперь он похудел, осунулся, поблек, у глаз и на лбу появились морщины.

– Как вы изменились! Что с вами случилось? – спрашиваю его.

¹Шелковая материя ручного производства в Средней Азии, окрашенная в цвет утренней зари. Название ее происходит от иранского слова «шахи» – царственная.

- Радуйтесь, дорогой, что я еще жив остался!
- Не таитесь, расскажите, что с вами произошло.

Дядя Шаин не любил рассказывать о своей жизни в эти годы, но немногих, в том числе и меня, он посвятил в свой секрет. Оказывается, еще юношей он был связан с революционерами-подпольщиками, близкими к большевикам в селе Баглан – Усть-Уйск. Он выполнял кое-какие их поручения – распространял в казахских аулах листовки, нелегальную литературу. Правда, полиции не удалось поймать его на месте преступления, но он был взят под надзор, его не раз обыскивали, вызывали на допросы и, наконец, перед началом мировой войны взяли подписку о невыезде, с запрещением бывать в городах и многих аулах, среди которых значился и Жаман-Шубар. Вот поэтому он и вынужден был вести бесприютную, кочевую жизнь.

- Так зачем же это теперь скрывать от людей? – удивился я.

- Мне стыдно, – неожиданно признался Шаин.

- То есть как это стыдно?

- Так ведь толком ничего у меня не вышло. И приобщиться к большевикам не успел я как следует, а под преследование полиции уже попал. И партии не принес пользы, и жизнь свою не устроил. Одни скитания... Чем же мне хвалиться?

Но о своих планах на будущее он говорил увлеченно и горячо:

- Вот скоро снова начну учительствовать. Я ведь с юности мечтал просвещать свой народ, распространять грамоту. Теперь же я смогу это делать. Сил у меня еще на много лет хватит. Всю оставшуюся жизнь отдам я школе.

И когда мы читали в газете «Кедей сози» заметку об открытии учительских курсов в Петропавловске, дядя Шаин обрадовался не меньше меня:

- Поеду, во что бы то ни стало поеду... Вместе будем учиться, Сабит!

Было ему в то время уже за сорок. Старым людям в ауле это желание такого пожилого человека представлялось по меньшей мере странным. Над ним посмеивались, его осуждали, но это не смущало дядю Шаина.

Вскоре мы вместе отправились в Петропавловск.

На пути из аула Жамантымак в Бетпакуле к нам присоединился Татке Омаров. Он рано остался сиротой и много лет учился в духовной школе у образованного муллы своего аула Карибая-хаджи. Он изучал этимологию и синтаксис арабского языка, логику, основы шариата и исламскую схоластическую философию. Татке настолько овладел арабским и персидским языками, что стал считаться ученым. Но сам он о своих знаниях был невысокого мнения и, горестно вздыхая, жаловался:

– Много лет жизни на пустое я потратил!

Мы пробовали ему возражать, но он стоял на своем:

– Так ведь то, чему я научился, может, на том свете мне и пригодится, а на этом оно ни к чему!

Шаин спорил с Татке:

– Но ты, кроме духовных книг, наверно, читал сочинения и знаменитых Абу-ль-Ала аль-Маарри, Имро аль Кайса, бессмертных поэтов Саади и Фирдоуси?

– Читал их, конечно.

– Ну, разве их творения не чудесны?

С этим Татке согласился, и тогда Шаин попросил его почитать что-нибудь из этих великих поэтов. На обывательской подводе в знойной степи он декламировал наизусть по-арабски и по-персидски. Громко, нараспев звучали слова. Я почти не знал ни того, ни другого языка, смысл стихов был мне совершенно непонятен, но я вникал в их ритм, в музыку, улавливал рифмы.

– Прекрасные стихи!– воскликнул Шаин, понимая каждую строку.

– Я согласен, стихи действительно прекрасные, но как они далеки и туманны!– возобновил спор Татке.– Я всех этих классиков не променял бы на одного Пушкина.

– Ты и по-русски учился?

– Самоучкой...

Судя по всему, Татке был очень способным человеком. Он самостоятельно овладел разговорным русским языком и читал русскую литературу, запомнил множество стихов Пушкина, Лермонтова, Некрасова. И опять он их декламировал нам вслух, но тут Шаин почти ничего не понимал, да и для меня многое было неясным.

Я стыдился своей малограмотности, досадовал на себя, но ничем не выдавал своих чувств. Все же мне очень хотелось похвастать перед своими спутниками, и я принимался читать им свои стихи. Шаин и Татке сами занимались стихотворством, но мои опыты, признаться, казались мне удачнее.

...На одной из ночевок, в ауле Отей-Дауш, нам сказали, что Баймагамбет Зтулин находится сейчас в своей летовке, всего верстах в пятнадцати отсюда. Как передавали, он тоже собирался на курсы, и мы решили заехать за ним.

В Отей-Дауше к нам присоединился Скей Жоламанов.

– У Баймагамбета, – рассказывал он, – вы увидите его сестру, чудесную красавицу Айтжан. В здешней степи не найти девушки лучше ее. Она невысокая, но стройная и гибкая, как молодая лоза. Глаза у нее мягкие, бархатные, светящиеся. А косы, черные, толстые косы спускаются до колен. Помните, как сказано у Абая:

Белый лоб – серебро, чей тонок чекан,
Он глазами лучистыми осиян.

А смолистые косы – волнистый шелк,
Что для радости взора прилежно ткан¹.

Все прелестные приметы красавицы, описанной Абаем, можно найти у Айтжан.

Мы с изумлением слушаем Скея; и невольно срыгается с губ вопрос – кому достанется такая красота?

– Сейчас Айтжан свободна. В детстве ее просватали за сына Байжана из рода капсит, но жених в прошлом году умер.

– Тогда придется женить на ней Сабита, – полушутя предлагает Шаин.

– А где он возьмет калым?

– Настало советское время, девушки не будут больше продаваться за калым.

– Так-то оно так, – задумчиво возразил Скею Шаин, – закон о запрещении калыма уже издан Советской властью, но обычай этот исчезнет еще не скоро. Он веками впитывался в плоть и кровь народа, и трудно за

¹Перевод М. Тарловского.

несколько лет уничтожить его. Сперва надо сделать девушек грамотными, сознательными, открыть им глаза на мир. Ведь пока они сами не поймут, какие им теперь даны права, освободить их будет трудно.

С Шаином никто не стал спорить, он говорил правильно. А Скей продолжал нахваливать Айтжан:

– Знали бы вы только, какая она общительная, умная! Она не похожа на других аульных девушек. Держится она свободно и умеет встречать своих гостей.

– А как родители? Не притесняют ее?– спросил я.

– Какое там притесняют! Они радуются, когда она веселится со своими сверстниками. Мать ее, Кесте, может быть, немного строже, но зато отец, Канапия, дает ей полную волю. Он так и говорит: «Где, как не в отчем доме, ей развлекаться!» И жену сдерживает.

– Наверно, тут Баймагамбет помог,– высказал я догадку,– он много ездил, бывал в городах, человек образованный, передовой. И с отцом, должно быть, говорил откровенно и повлиял.

– Ну, будь бы отец деспотом, едва ли бы он послушался сына,– возразил Скей.– Разве мало девушек сидят взаперти, а их братья считают себя образованными и сами же продают сестер за калым? Вот он, Татке, смотрите. А у его родича Есильбая-хаджи сын Галяутдин много лет учился в русской школе. Такого грамотея у нас и не сыщешь. И вот недавно его сестра была продана за калым сыну богача Кошке, а ученый братец Галяутдин даже пальцем не пошевелил!

Татке подтвердил правдивость рассказа Скея.

– Ну, а что касается Айтжан,– продолжал он ее хвалить,– так она не только умная, радушная девушка, но и певица. Ее голос как серебро звучит. И не только казахские песни поет, но и татарские.

– Наверно, у брата научилась.

– Понятно, у Баймагамбета.

– А на домбре играет – позавидуешь! Мед течет из-под пальцев!

– Изрядно ты ее хвалишь. А что, она грамотная?– спросил Татке.

– В аульной школе училась. Редко встречаются такие способные. Она наизусть знает все стихотворения Абая и многие поет на придуманные самой мотивы.

– Эта девушка непременно должна учиться и дальше! Может быть, Баймагамбет возьмет ее с собой в Петропавловск на курсы?– воскликнул я.

Но Шаин сразу охладил мой пыл:

– Ишь ты, в Петропавловск! Так отец ее и отпустит!

– Но ты слышал, что говорил Скей,– не хотел я сдаваться.

– Вот приедем – увидишь!

Еще солнце было высоко, когда мы приехали в летний аул Баймагамбета – Шаленке.

– Видите на привязи жеребят, это как раз у юрты Канапии,– показал нам Скей, не однажды бывавший здесь.

Навстречу нам выбежал Баймагамбет, очевидно приметивший издали приближающихся гостей. Мы обнялись и поцеловались, как старые друзья.

Баймагамбет провел нас в юрту. Прямо напротив двери, у задней стенки, сидел тяжеловесный, крупный человек с реденькой бородкой и рябоватым лицом. «Должно быть, сам Канапия»,– подумал я. Мы громко, свидетельствуя свое уважение, поздоровались и пожали ему руку.

Направо, у аккуратно застланной кровати, сидели две женщины, совсем молодая и постарше, очень похожие друг на друга чертами своих лиц. Это, конечно, были Айтжан и ее мать, Кесте. Красный плюшевый камзол-безрукавка, наброшенный на вышитое платье, и шапочка с пучком пушистых перьев филина так гармонировали с яркой приветливой красотой девушки, словно освещавшей затененную юрту. Она приподняла голову, взглянула на нас черными светящимися глазами и снова принялась за вышивание.

По аульным обычаям тех лет не полагалось здороваться с женщинами за руку, не нарушили и мы этого правила.

– Что же ты не здороваешься с жигитами, Айтжан?– обратился к дочери Канапия, когда мы уже уселись.

– А разве не они должны первыми поздороваться с сестрою, отец?– отвечала она мягко и чуть насмешливо.

– Верные слова!– сказал Шаин.– Но ведь мы уже сидим, и теперь, пожалуй, поздно вставать снова и

пожимать твою руку. Но мы сами виноваты... Здравствуй, наш светик.

Небогатым было убранство юрты Каналии, но уют и опрятность чувствовались в каждом уголке. Заботливым и искусным рукам Айтжан и Кесте немало здесь пришлось потрудиться.

Веселым был наш вечер.

Когда копченая конина была в обилии запита душистым кумысом, Каналия сказал, не без гордости оглядывая гостей:

– Вы слышали, наверно, что Айтжан и поет и на домбре играет?

– Слышали, но теперь хотим убедиться в этом сами.

– Тогда бери, айналайн, домбру и послужи немного гостям.

– Давайте лучше послушаем сначала голоса гостей, – предложила Айтжан.

– Баймагамбет, передай Сабиту домбру, – поддержал девушку Шаин.

И домбра очутилась в моих руках. Я тронул струны и начал песню Абая:

Шлю, тонкобровая, привет,
Похожей не было и нет...¹

Мне так хотелось, чтобы и Айтжан подхватила песню. И едва я закончил последний куплет, как предложил:

– Давайте хором ее споем.

Все согласились.

– И чтобы обязательно Айтжан пела...

Баймагамбет вопросительно взглянул на сестру, и она еле заметно кивнула ему головой так, что мягко вздрогнул султанчик перьев филина на ее шапочке. Каналия предложил всем ближе сесть друг к другу. Скей, Баймагамбет и я уселись вокруг Айтжан. И только Татке с Шаином остались в стороне.

– Эх, жаль, не умею я петь! – огорченно сказал Татке.

– А мне горько, что прошла молодость, – в тон ему молвил Шаин, – но будь я моложе, я бы, и не умея петь, не отстал бы от веселой компании, где находится Айтжан.

¹Перевод П. Шубина.

Я снова запел «Шлю, тонкобровая, привет». Песню подхватили Скей, Баймагамбет и Айтжан. Но в этом хоре выделялся звучный и чистый голос девушки, то затихавший, то разливавшийся серебристыми колокольцами.

Забывая все на свете, в молодом упоении мы пели одну песню за другой, мелодии Абая чередовались с народными. Почти все жители аула сошлись к юрте Канапии на этот маленький праздник песни и не расходились до тех пор, пока хозяева не пригласили нас к столу.

После обеда Баймагамбет решил доставить нам еще одно удовольствие – качели. Он позвал участвовать в этой лихой и веселой игре всех жигитов и девушек аулов, расположенных вокруг озера Кыргызбай. Качели были установлены в степи, недалеко от жилья. И пением и играми руководила Айтжан. Не умолкая, звучал ее голос в запевках, не теряя своей свежести и силы до конца короткой летней ночи.

Мне и прежде приходилось слышать татарские песни, но сам я не умел их исполнять. В этот вечер, повторяя за Айтжан татарские слова и мелодии, я выучил «Галия-бану» и «Тяфтиляу». Мы научились их петь дуэтом. Я не остался в долгу у Айтжан и молодежи здешних аулов, познакомив их с новыми казахскими песнями «Карагаш» и «Гайни», которые выучил год назад, в Омске.

Чаще других звучали наши голоса – Айтжан и мой, мы были главными героями вечера, все новые песни были исполнены только нами.

Мы их пели, сидя рядом на одном конце качелей. Юноши, стоявшие внизу, сильными движениями раскачивали их. Качели стремительно взлетали вверх, и мне казалось, что я и Айтжан вместе с песней мчимся к небу, навстречу светлой, полной луне и звездам, мерцающим светлячками.

С качелей мы возвращались на рассвете. Дядя Шаин, словно желая меня оставить наедине с Айтжан, подозвал Баймагамбета и каким-то разговором увлек его. Скей и Татке, разгадав его нехитрую уловку, тоже ушли вперед.

Растягивая время, мы медленно двигались к аулу. Айтжан была совсем рядом, плечо касалось моего

плеча. Что-то перехватывало мое дыхание и сдерживало слова, готовые хлынуть потоком. Чутьем догадываясь, что происходит со мною, Айтжан пришла мне на помощь:

– Сабит!

– Что, Айтжан?– еле вымолвил я.

– Давай споем «Шлю, тонкобровая, привет!»

– Давай...

Тихо, почти шепотом, мы начали песню. Ее мотив, ее жаркие, кружащие голову слова передавали мои невысказанные чувства. Но мне хотелось узнать и ее переживания. И я вспомнил о другой песне Абая:

– Вы «Письмо Татьяны» знаете?

– Знаю,– отозвалась она.

– И мотив тоже знаете?

– И мотив.

– Давайте тогда споем!

В голосе Айтжан я уловил такую неподдельную тоску, будто письмо Татьяны было ее собственным письмом и печаль далекой русской девушки ее печалью.

– Отчего вы так грустно поете эту песню?

– Печаль Татьяны – печаль всех девушек,– и Айтжан вздохнула.

– Кто же тогда ваш Онегин?

– Что же я могу сказать, если его нет!– улыбнулась она.

– А может быть, вам помочь его найти?

– Спасибо! Его не найдешь с чьей-нибудь помощью. Девушка его находит только своим сердцем...

Незаметно мы добрались до юрты. Подошли сюда и остальные. Уже было совсем светло.

– Ну как, хорошо развлеклись?– спросил проснувшийся Канапия.

– Очень весело...

– Теперь отдыхайте, никто не станет вас будить до первой дойки кобылиц.

Айтжан скрылась за опущенной занавеской. Она не носила, как другие аульные девушки, серебряных колец, браслетов, сережек, подвесок и иных побрякушек. Она разделась бесшумно, а я лег, не раздеваясь, и вспоминал слова распространенной тогда в аулах песенки:

Рассвет наступает, уходит ночь, ах-хау!
Но не сомкнула девушка глаз, милая моя!

Жигиту не спится, ему невмочь! Ах-хау!
И девушка ждет его жарких ласк, милая моя!

В шелку и бархате
Пара коней, эй!
Жду поцелуя
Любимой моей, эй!

Ворочаясь с боку на бок, я повторял эту песню до тех пор, пока не заснул.

Разбудил меня чей-то толчок. Я открыл глаза и увидел склонившуюся надо мной Кесте.

– Вставай, дорогой мой, скоро полдень. Баймагамбет говорит, что вам пора ехать.

В юрту вошла Айтжан. Заметив, как я жмүрю свои сонные глаза, она насмешливо улыбнулась.

– Вам, наверно, пришлось много ночей недосыпать? Отчего это вы опьянели и свалились, как мертвый?

– Любой человек мог бы спрашивать меня об этом, но только не вы. Кому, как не вам, известно, кем я был вчера опьянен!

Канания помешал нам продолжать этот шуточный разговор. Я вышел во двор. Там уже начинались сборы. Чем-то опечаленный Баймагамбет хлопотал у подводы.

– Ты что невесел? – спросил я Баймагамбета.

– Поссорился с отцом...

– Почему же?

– Из-за Айтжан. Ты сам, наверно, заметил, что моя сестра отличается от многих девушек-казашек. Росла она без притеснения, училась хорошо. Девушка она вольная духом, смелая. Побывать бы ей в городе, приобрести знания – стала бы настоящим человеком. Вот я хотел увезти ее с собой в Петропавловск на курсы. Отец решительно не согласен. Так и говорит: «Никто из девушек учиться не едет – так зачем ей одной торчать среди сотни парней бельмом на глазу? Мы не лучше других и выделяться не хотим. Хватит с нее того, что она знает».

– А может, мне с ним поговорить?

– Попробуй, если хочешь, но ничего не выйдет. Его не переубедишь.

Но с Кананией беседовал об этом не я, а дядя Шаин, которого мы попросили как старшего. Разговор шел за прощальным чаем. Канания терпеливо и сдержанно выслушал до конца дядю Шаина и спокойно ему отвечал:

– Я и сам понимаю, что девочек надо тоже учить. Но, Шаин, что я могу сделать один? Одна ласточка весны не делает. Вот если бы все казахи отдали своих дочерей учиться, тогда другое дело! Да что в ауле! Даже в городе казахи не отдают в школы своих дочерей. Укажи мне хоть на одну ученую казахскую девушку. Нет таких, Шаин...

– Это правильно. Но ведь кому-то надо начать, кто-то должен показать пример. Была бы у меня взрослая дочь, я б не раздумывал. А ведь Айтжан способная девушка. Подучить бы ее немного – все бы в степи о ней узнали, – и Шаин кивнул в сторону Айтжан, разливавшей чай заученными движениями. Она грустно улыбнулась и ловко ополоснула чью-то опорожненную чашку. – Ведь она у вас умница! Неужели ей всю жизнь быть у очага, когда открыта дорога к науке?

Айтжан не дождалась конца разговора. Еще бы несколько мгновений – она, вероятно, расплакалась бы. Но тут она встала и быстро вышла из юрты.

– Вот видишь, Канеке, как ей хочется учиться! Не бери греха на душу, не обижай дочь, отправь ее с нами на курсы.

– Шаин, ты меня хорошо знаешь, я не люблю два раза говорить об одном и том же. Я не хочу выделяться и не могу свою дочь отправить на курсы. Не надо больше просить.

Шаин ничего не ответил Канании. Мы допили чай и отправились в путь. Айтжан даже не вышла попрощаться с нами.

– Сидит в моей юрте и плачет, – сказал Баймагамбету его дядя Жаке, прощаясь с племянником. – Теперь всю жизнь обижаться будет.

– А может, и успокоится, – произнес Татке, – выйдет замуж за хорошего человека, и все будет в порядке.

– Особенно если муж попадется грамотный, добрый, – сказал Шаин.

– Кто знает, как все получится... – вздохнул Баймагамбет.

– Ты сам человек сознательный, кандидат партии, но даже твоя сестра не может учиться. А когда же смогут все девушки-казашки?

Этот вопрос я задал Баймагамбету, но за него ответил Шаин:

– Нужна большая борьба и много, очень много времени.

ВЕРНЫЙ КУРС

Когда мы приехали в Петропавловск, курсанты уже начинали собираться. Они прибывали со всех пяти уездов Акмолинской губернии.

Со многими из них я уже встречался прошлой зимой, на учительском совещании. Из Караобинской волости приехал татарин Нигматулла Нургалиев, учившийся со мной в Омске; из долин Обагана – аульный учитель Кожакмет Бейсембин; из Аккусакской волости – Шуюшбаев; из рода нуралы – Баймурат Жакыпов; из рода кантай – Хаким Иманов, ныне преподаватель школы-десятилетки колхоза «Баян», награжденный орденом Ленина за долголетнюю педагогическую работу; из наших долинных сыйбанов приехал мой первый учитель Хамит Махмудов, – он и поныне учителевствует в средней школе колхоза «Жана жол» и награжден орденом Ленина; из города Кошебе приехал Баян Рамазанов, впоследствии герой Великой Отечественной войны; из рода шагалак – Умитбай Балкашев; из рода балта – Гали Мусин; из андагула – известный читателю Хамза Жунусов. Скоро перезнакомился я и с остальными курсантами.

Наши курсы открывались в здании, известном под названием дома Романовых. Рядом, в помещении реального училища, начинали работу курсы для русских учителей, двухмесячные, как и наши. Русские курсы отличались от наших тем, что у нас не было ни одной женщины, а у них они составляли половину всех курсантов. Преподавателей у них было достаточно, у нас же на первых порах отсутствовал даже учитель казахского языка. Наверное, по этой причине преподавателем педагогики и казахского языка на наших курсах

вскоре оказался тот буржуазный националист, о котором я уже рассказывал, поэт Магжан Жумабаев. Он скрывался от Советской власти в своем ауле близ Петропавловска. Его пригласили уже устроившиеся в уездных организациях алашордынцы. Жумабаев не был в одиночестве. Среди преподавателей наших курсов оказалось еще несколько таких же буржуазных националистов.

– Как же так получается?– рассуждали мы между собой.– Нам снова приходится учиться у алаш-ордынцев. Как поведет себя теперь Магжан Жумабаев, еще вчера в своих произведениях ругавший Советскую власть и восхвалявший Колчака и Алаш-Орду?

Решили мы поговорить об этом с уездными руководителями Соколовым и Гозаком. От курсантов к ним пошли Баймагамбет, Хамза Жунусов и я. Они внимательно выслушали нас.

– Сейчас у нас нет никакой другой возможности,– сказал Соколов.– Найти казахского интеллигента с высшим образованием, да к тому же сочувствующего Советской власти, не так-то легко, друзья. Большинство предметов на ваших курсах преподается на казахском языке. Волей-неволей пришлось пригласить этих националистов. Впрочем, вы не пугайтесь. Действительно ли они порвали с прошлым, покажет недалекое будущее. Сейчас мы должны верить на слово. Что же касается Жумабаева, то мы отлично знаем, кто он такой. Вы правы, он чужой человек. Но, понимаете, во всем нашем уезде лучшего преподавателя казахского языка не оказалось. Если вы не согласны учиться у него, посоветуйтесь, назовите сами подходящего человека.

Понятно, мы никого назвать, не могли.

– Вот видите,– сказал Соколов.– Значит, хочешь не хочешь, а пока надо использовать и Жумабаева и других. А вы, коммунисты, должны контролировать их работу, не допускать, чтобы они протаскивали враждебные, алашордынские идеи.

Соколов очень убедительно доказал, что националистическим влияниям надо сообщать, дружно сопротивляться и вести свою агитацию. Для этого при курсах следует организовать партийную ячейку.

Баймагамбет сообщил Соколову, что среди курсантов нет ни одного члена партии, а всего-навсего

только два кандидата, в том числе сам Баймагамбет, и около десятки сочувствующих. Соколов предложил ему перейти из кандидатов в члены партии и стать секретарем будущей ячейки.

– Как же так, товарищ Соколов?– удивился Баймагамбет.– Ведь по уставу партии полагается пробыть шесть месяцев в сочувствующих, а потом столько же кандидатом. Я же был сочувствующим всего четыре с половиной месяца и только полтора месяца в кандидатах. Как же мне с таким стажем быть членом партии?

– Мы узнаем человека по работе, сможет ли он быть коммунистом,– ответил Соколов.– И вас мы досрочно перевели в кандидаты, потому что верим вам, товарищ Зтулин. Наша цель – привлечь в ряды членов партии из числа курсантов побольше бедняков, тружеников, искренне преданных Советской власти. Это могут сделать только казахи-коммунисты. А таких людей в распоряжении укома пока еще недостаточно. Дождаться, когда окончится ваш кандидатский стаж,– тогда и курсы кончат работу, и учителя разъедутся. А нам же хочется, чтобы некоторые из вас вернулись в свои аулы коммунистами и помогли бы нам организовать в аулах партячейки. Поэтому хотя ваш кандидатский стаж и недостаточен, но мы можем специально рассмотреть на укове вопрос о переводе вас в члены партии.

Когда Баймагамбет хотел схитрить или слукавить, его тут же выдавала улыбка. И мы хорошо знали: если его глаза начинают весело щуриться, значит, он непременно придумал что-нибудь необычное. Так было и на этот раз.

– Слыхали казахскую пословицу?– озадачил он Соколова и Юзака.– «У одинокого гуся и голос не слышен».

Все насторожились. Ох, уж этот Баймагамбет! Не мог он обходиться без таких предисловий.

– Так вот,– продолжал он уже без улыбки,– если я даже буду членом партии, все равно мне работу в ячейке не поднять одному.

Тут Соколов перебил Баймагамбета:

– Что же вы предлагаете, товарищ?

– А вот что – надо до срока перевести в члены партии и Муканова, и Жунусова.

Гозак и Соколов переглянулись, и Соколов, немного помедлив, сказал:

– Хорошо, товарищ Зтулин, мы посоветуемся в укоме, и вы завтра получите ответ.

На следующий день Баймагамбет принес мне и Жунусову радостное известие:

– Как мы пожелали, так и вышло. Сейчас надо идти в уком и заполнить анкеты. Рекомендации вы получите там. А завтра, на заседании, все решится.

...В день памятного заседания я был и обрадован и огорчен. Радостно мне было оттого, что приняли меня в партию сразу, без кандидатского стажа. А грустил я потому, что не мог так, как Баймагамбет и Хамза, отвечать без запинки на все вопросы по-русски и тем более рассказать о том, какие пути привели меня в Коммунистическую партию. В те времена я понимал смысл многих русских слов, но не больше. Неудивительно, что мне не удавалось толково ответить на вопросы, заданные во время приема в партию. Хорошо понимая, что нужно сказать, я порой не мог вымолвить от смущения и слова, Соколов заметил мое волнение и больше расспрашивать меня не стал.

Еще в дни учебы в Омске по записям в чьей-то тетрадке я познакомился со стихами Султанмахмута Торайгырова. В одном из его стихов, затверженном мною наизусть, было такое двустишие:

Поклялся я тогда: аллах велик,
У русских грамоту постигну и язык.

И, выходя из здания укома, я поклялся, пусть и не именем аллаха, во что бы то ни стало овладеть русской грамотой и русским языком.

– Э-э, Баке, все это пустое, чему я учился до сегодняшнего дня, – сказал я дорогой Баймагамбету. – Что это была за учеба, если я не сумел правильно излагать по-русски свои мысли!

– Но ведь на своем, родном языке ты любую мысль можешь выразить. Чего ж тебе огорчаться! – успокаивал меня Баймагамбет.

– А не ты ли, Баке, мне писал однажды, что самая большая школа для нас – русская культура? И вот я теперь понял, что и ты, и Хамза уже вошли в эту школу,

учитесь там, а я и порога не перешагнул, только похаживаю вокруг. Но погоди, ты еще увидишь, как я примусь за русский язык!

– И очень хорошо!– поддержал меня Зтулин.– Только не ты один об этом мечтаешь. Хочешь знать – и Хамза, и я думаем о том же самом. Это тебе мы показались такими учеными. Сказать по правде, мы только бредем по берегу этой самой русской культуры. А ведь хочется окунуться в самую глубину. Верно я говорю, Хамза?

– Верно, Баке!

Вскоре мне удалось поделиться этими мыслями и с Гозаком. Они ему пришлось по сердцу.

– Очень хорошо вы задумали, ребята. Цель ваша правильная и вполне доступная. Партия и Советская власть помогут вам прийти к ней. Но помните: знания – это океан, его не переплыть за день или за месяц. Учиться придется долго и прилежно. Наши курсы – только начало учебы. Окончишь их – поживи с год в ауле, помоги там Советской власти. А потом и дальше пойдешь учиться, закончишь среднюю школу. После же...

Но я был молод и нетерпелив.

– Это уж слишком долгая история. Вот если бы сразу в такую школу, чтобы...

– Погоди, погоди!– прервал меня Гозак.– Сперва ты окончи курсы и поработай учителем. И сам продолжай учиться у жизни. Жизнь, парень, дает самые мудрые уроки. Особенно в наше время. В аулах сейчас борьба только начинается, Советская власть делает первые шаги. Труженики в аулах еще не знают ее, не имеют представлений и о нашей партии. Им надо все это объяснить, открыть глаза на новый мир. Ты поедешь в аул не просто учителем, а партийным агитатором. Понял? Почетное дело, большое. Пройдет год – и ты пользу людям принесешь и сам многое узнаешь. Тогда и учебу легче будет продолжать,

Советы Владимира Иосифовича пришлось мне по сердцу, и я охотно приступил к занятиям на курсах.

Все, что преподавали на казахском языке, давалось мне легко. Дело в том, что арифметика, геометрия, география, природоведение изучались у нас в объеме омских курсов, и я только повторял пройденное.

Политграмотой с нами занимался Шахизаман Забиров, о котором я уже рассказывал, член нашей партячейки. Он родился и вырос в рабочей семье неподалеку от Саратова. Еще подростком стал слесарем. Ему было восемнадцать лет, когда его взяли в солдаты. Воевал на германском фронте и там же приобщился к революционной работе. В 1917 году вступил в ряды Красной гвардии и с этой поры до приезда в Петропавловск был на гражданской войне. Забиров умер в 1935 году. После войны он работал в Казахстане на ответственных постах.

Своеобразный «мещерский» акцент Забирова затруднял понимание его речи, но я был усердным и внимательным слушателем. И кроме того, все, о чем он рассказывал нам, пусть даже искажая знакомые казахские слова, было так увлекательно, так непосредственно касалось самой жизни, что мне, как и другим моим товарищам, удавалось усваивать эти первые уроки теории классовой борьбы. Верная дружба соединяла меня с Шахизаманом до последнего дня его жизни.

Казахский язык, а также литературу на наших курсах преподавал Магжан Жумабаев.

С первых же дней учебы большинство курсантов заняли по отношению к Жумабаеву враждебную позицию, и только немногие оставались его поклонниками. По вечерам, после занятий, в общегитии обычно начинались долгие и жаркие споры. После ужина они переносились в большой зал, служивший нам клубом. Мы обменивались мнениями не только о лекциях Жумабаева, но и о нем самом.

Противники Жумабаева утверждали, что он еще не сложил оружия и продолжает бороться против Советской власти. Хитро, незаметно используя каждый удобный случай, он старается передать курсантам свои буржуазно-националистические идеи. Так доказывали одни, их было, я уже говорил об этом, большинство. Другие, их было совсем немного, считали Жумабаева правым во всем.

Вскоре у нас на курсах был организован литературный и музыкально-хоровой кружок. Я налегал в ту пору на занятия политграмотой. Книг и учебников политграмоты на казахском языке тогда еще не было,

мне приходилось читать по-русски. И это давалось с трудом. Много раз я перечитывал отдельные страницы, чтобы понять главное, поэтому-то на кружки не оставалось времени.

На одном из собраний партячейки был поставлен вопрос о деятельности этого литературного кружка. Докладчик рассказывал, что на литературных вечерах со сцены читаются буржуазно-националистические произведения Байтурсунова, Дулатова, Жумабаева, поются песни на их слова. Оказалось, что Магжан Жумабаев не только помогал составлять программы этих вечеров, но и сам читал свои алашордынские стихи.

На собрании было решено, что все курсанты-коммунисты – партячейка к этому времени насчитывала больше двадцати человек – посетят очередной вечер-концерт. В клубе, бывшем зале дома Романовых, вмещавшем человек двести-триста, собралась не казахская Петропавловская беднота, а еще хранившая важный вид татарская купеческая знать.

После того как пелись песни и читались стихи, на сцену вышел Магжан Жумабаев. Он читал свою новую поэму «Сказка». В ней прославлялись Кенесары Касымов и его сын Сыздык. Теперь уже ни у кого из коммунистов не оставалось сомнения, что Жумабаев прочно остался на своих старых идейных позициях.

На следующий день партячейка наших учительских курсов вынесла на своем собрании постановление, в котором обоснованно доказывалось, что Жумабаева невозможно дальше оставлять преподавателем. Уездный комитет партии согласился с нашими доводами, и поэт-националист был снят с работы.

В то время я был членом редколлегии стенной газеты. В том ее номере, который вышел после разоблачения Жумабаева, был помещен мой фельетон «Во сне». Прибегая к обычной в те годы и довольно наивной символике, я раскрывал в нем буржуазно-националистические взгляды и поступки Магжана Жумабаева.

Сейчас, много лет спустя, перечитывая этот фельетон, я убеждаюсь снова и снова в правильности выбранного мною пути. И хотя я в те годы был политически малограмотным человеком, я пошел по верной дороге, указанной мне Советской властью и партией большевиков.

АБИЛЬХАИР ДОСОВ

Занятия на курсах уже подходили к концу. И в это самое время будущие мугалимы начали поговаривать, что из Омска к нам, в Петропавловск, приехал Абильхаир Досов. Сперва об этом сообщили не очень определенно, но вскоре слухи подтвердились, и нам стало известно, что на городской площади состоится митинг с его участием.

Имя Досова мне приходилось слышать и до этого. Много интересного рассказывали о нем. Особенно превозносилась его непримиримость к врагам. Мне очень хотелось увидеть этого человека.

В те годы митинги, можно сказать, вошли в быт. Они проводились то на площадях, то в парке, то в клубных залах, то просто в учреждениях. Не всегда митинги собирались действительно по важному поводу. Порою достаточно было самой малой причины. Нужно, скажем, подчистить улицы города – созывается митинг. Требуется подремонтировать тротуары – надо сначала митинговать. Неудивительно, что горожане стали относиться к митингам без всякого энтузиазма и постепенно совсем охладели к ним. Только ораторы не теряли присутствия духа и даже при самой небольшой аудитории напрягали до предела свои голосовые связки и горячо жестикулировали, как было принято тогда.

Но митинг, о котором я хочу рассказать, был не совсем обычным. Вся большая площадь, посередине которой возвышались дощатые трибуны, была запружена народом. Вдоль трибун своеобразным коридором выстроились красноармейцы гарнизона. Казалось, должно произойти что-то значительное, небывалое и собравшиеся с нетерпением поглядывали на трибуны, где должны были появиться руководители митинга.

В городе тогда не было ни одного автомобиля. И толпа разом вздрогнула, когда прозвучал резкий автомобильный сигнал. «Смотрите, машина!» – раздался чей-то взволнованный голос. Но как ни вытягивали люди шеи, как ни заглядывали поверх голов соседей, приподымаясь на носках, так ничего и не

увидели. Зато вскоре на трибуну поднялась небольшая группа людей во главе с тогдашним секретарем Акмолинского губкома партии Белашем. Некоторых я знал в лицо, но большинство мне было незнакомо. Один человек обращал на себя всеобщее внимание: высокий, широкогрудый, богатырского телосложения, он был очень смуглым. Одетый по-военному – сапоги, галифе, гимнастерка, кожаная кепка, – он поразил всех нас белозубой веселой улыбкой. «Должно быть, это и есть Абиляхаир Досов», – почему-то подумал я. Догадка моя оказалась верной.

– Слово предоставляется товарищу Досову, члену Сибирского ревкома, инструктору Сиббюро ЦК РКП (б), – сказал Белаш, открывая митинг.

Тонкий высокий голос Досова явно не соответствовал его могучей богатырской фигуре. И хотя я плохо знал тогда русский язык, отлично понимал оратора. Он говорил о том, что панская Польша напала на Советскую Россию, и призывал всех собравшихся помочь Красной Армии сокрушить врага. Он, как и ораторы, выступавшие после него, призывал нас вступать в ряды советских воинов. Белаш, закрывая митинг, объявил, что запись добровольцев на фронт производится с завтрашнего дня в здании театра.

...Добровольцев оказалось очень много. Я увидел в театре длинную очередь желающих уехать на фронт. Запись производилась на сцене военными людьми. Среди них был и Абиляхаир Досов.

Медленно продвигался к сцене и я. Наконец, поднявшись по лесенке к столу, очутился прямо перед Досовым. Он внимательно взглянул на меня своими живыми глазами. Темные их зрачки казались угольными на фоне желтоватых белков. Досов словно изучал меня, словно припоминал что-то, и уж потом стал задавать мне вопросы. Я стал коротко рассказывать о себе. Неожиданно он прервал меня:

– погоди. Ты лучше скажи мне, где же все-таки я тебя видел.

Я удивился:

– Не знаю, товарищ Досов. Вас я увидел впервые на вчерашнем митинге.

– Возможно, возможно, – раздумчиво сказал Досов. Но в голосе его я уловил сомнение. – Так, так, а теперь ответь мне: что же тебя привело сюда, в театр?

– Я хочу идти на фронт, товарищ Досов.

Он решительно покачал головой:

– Нет, жигит, на фронт мы тебя не отправим.

Я растерялся, огорчился, я даже не знал, что сказать, и произнес только одно слово:

– Почему?

Досов искоса взглянул на меня и повторил:

– Нет, на фронт мы тебя не отправим. Ты здесь нужнее.

И, оторвав клочок от белого листа бумаги, лежавшего перед ним на столе, он что-то быстро написал и протянул мне. Должно быть, на моем лице возникло такое недоумение, что член Сибревкома рассмеялся.

– Это всего-навсего мой адрес, жигит. Приходи по этому адресу вечером, часов в семь-восемь. Там мы поговорим обо всем.

Я не посмел дольше расспрашивать его и вышел из театра на улицу в тревожном раздумье – что бы это все могло значить?

Адресок на клочке бумажки привел меня к небольшому деревянному домику на краю города. Здесь квартировал начальник городской милиции Зикрия Мухеев. У него-то и остановился Абиляхаир Досов.

Мухеева я знал довольно хорошо. Было ему к тому времени лет тридцать. Бедняк из Сары-Айгырской волости, где только он уже не побывал. Он работал в Омске, был грузчиком в Затоне на Иртыше. Еще до революции связался с подпольщиками-большевиками, и в 1917 году, уже членом партии, был одним из создателей Омского совдепа. В дни колчаковщины Мухеев попал в тюрьму. В начале 1919 года, во время вооруженного восстания в тылу у правителя омского, он был освобожден вместе с другими заключенными и присоединился к сибирским партизанам. Он участвовал в разгроме Колчака и помогал восстанавливать в Сибири Советскую власть. Работал он и в СибЧК – Сибирской Чрезвычайной Комиссии, а в 1920 году приехал к нам в Петропавловск.

Зикрия был еще внушительнее Досова. Я до сих пор отлично помню крупные грубоватые черты его сурового лица, на котором оспа оставила свою рябь. Зикрия был грозой буржуев, богатеев, воров. Что таить греха, говорят, порою он не останавливался и перед тем, чтобы пускать в дело свои могучие кулаки-кувалды. Может быть, это было и шуткой, но я слышал, что известный цирковой борец, силач Хаджи Мукан боялся на свете только одного человека, и этим человеком был Зикрия Мухеев. Я видел сам, как бесстрашный Угар Джанибеков, прозванный «соткар большевик», «буйным большевиком», остерегался вступать в спор с Зикрией. Зикрия был другом Абильхаира еще с юношеских революционных лет.

Я застал друзей в саду. Они лежали на коврах, застеленных сверху одеялами, и чаевничали, облокотившись на подушки. И Зикрия и Абильхаир сбросили свои френчи; в майках они выглядели по-домашнему просто. Рядом с дымящимся самоваром на скатерти среди всяческой снеди стояла початая бутылка водки. Хотя я знал Зикрию, он обо мне, должно быть, не имел никакого представления.

– Ия, откуда ты взялся, жигит?– воскликнул он, но в его больших глазах я прочитал куда более грубый вопрос. Дескать, тебя здесь только не хватало. Убирался бы подобру-поздорову.

Выручил меня Абильхаир.

– Это я ему дал адрес, чтобы пришел. Садись с нами вместе, не смущайся.

Я присел. Щеки мои, наверное, горели.

– Так, жигит, так,– растягивал слова Досов,– я все-таки вспомнил, где я тебя видел.

Мне было очень неловко. Известный человек обратил на меня внимание, а я как ни рылся в своей памяти – ничего вспомнить не мог. И молча смотрел на Абильхаира. Тогда он спросил меня:

– А ты Жумабая Нуркина знаешь?

Я кивнул головой.

– Вот я и видел тебя в Омске, в доме отца Жумабая Нурке. В самом начале девятнадцатого года.

Я встрепнулся. Это очень походило на правду. А Досов продолжал напоминать дальше.

– Ведь это случилось при тебе, когда Жумабая в кандалах и наручниках два солдата приводили к отцу из тюрьмы домой.

Нет, этого, понятно, я забыть не смог. И все подробности встречи встали передо мной. Только где же тогда мог быть Абиляхаир? А он тем временем продолжал:

– Помнишь, Нурке поднес солдатам-конвоирам спиртного, и они начали клевать носом. Потом Нурке сказал тебе: «Мальчик, иди-ка погуляй. Я сам тебя потом позову». Было так или нет?

Мне оставалось только подтвердить, что это было именно так. Абиляхаир поправил подушку:

– Тогда слушай дальше. Во второй комнате этого же дома сидели я и Жанайдар Садвокасов. Мы тебя не знали и поэтому побаивались. В подполье надо всегда соблюдать осторожность. И хотя Нурке нас успокоил, рассказал, что ты сирота из наших краев, учишься здесь, в Омске, мы все-таки не показались тебе, хотя я хорошо успел тебя разглядеть. Ведь в тот день мы передавали поручение большевикам, находящимся в тюрьме. Абдолле Асылбекову и Сакену Сейфуллину. Бывают же совпадения. Понимаешь теперь, почему я тебя запомнил?

– Апырмай!– вскричал удивленный Зикрия.– Какая у тебя цепкая память, Абиляхаир!

Досов вздохнул:

– Такие случаи бывают не часто! Вот почему я тебя и запомнил. Одежка тогда была на тебе худая, да и сам ты был тощий. Не такой, как сейчас. Ишь, округлился. Да и приодеться успел.

Абиляхаир оживился:

– Придвигайся к дастархану, ешь. За едой и об остальном поговорим.

Тут на меня вскинул глаза Зикрия:

– А водку ты пьешь?..

Я замотал головой. И это было правдой. Я действительно еще не брал в рот ни вина, ни водки.

– Ну, если прежде не пил, так теперь выпьешь!– Зикрия налил полчаши и придвинул мне.

– Зачем ты принуждаешь, если он не хочет,– вступился за меня Абиляхаир.

– Да врет он, – пробурчал Зикрия и недружелюбно посмотрел на меня, – не может быть, чтобы жил в городе и водки не пробовал. Поди, стаканами уже хлещет. Выискался скромница.

– Я говорю правду, агай. Не приходилось мне еще пить.

Абильхаир во второй раз заступился за меня, а Зикрия взял чашку, наполнил ее доверху, метнул сердитый взгляд в мою сторону и опрокинул одним махом.

Выпил и как-то сразу захмелел.

Он наскоро закусил, встал и тяжелыми шагами направился к дому.

Я остался в саду вдвоем с Абильхаиром.

– Давай решать, – сказал Абильхаир, – пойдешь ты на польский фронт воевать или нет?

– Если направите, пойду, – быстро ответил я Досову.

– А я думаю, что тебя направлять не надо. – Каждое слово Абильхаира звучало решительно и веско. – Ты хочешь знать, почему не надо? Хочешь значит. Тогда я сперва задам тебе один вопрос: вступая в Коммунистическую партию, ясно ли ты понимал ее цель, ее путь? Ты можешь мне рассказать об этом?

Как смог, я объяснил Досову свое понимание партийных задач.

– Пока достаточно, – прервал он меня, – вижу, ты кое в чем разбираешься. Поймешь и остальное. В работе, в борьбе. И спустя некоторое время поедешь учиться.

С Досовым трудно было не соглашаться. Все, что он говорил, приходилось мне по душе. Все я понимал, кроме одного. Почему же все-таки мне нельзя уйти на фронт? И все это я напрямик высказал Абильхаиру.

Абильхаир усмехнулся.

– Жигит ты или бала, юноша или мальчик? Я думаю, ты взрослый жигит, но не все еще понимаешь. И для тебя война кажется интересной забавой. Не так ли?

Я не возражал и не соглашался. Я просто не понимал, куда он клонит.

Но тут лицо Досова посерьезнело.

– Ты знаешь, сколько здесь, в Кзыл-Жаре, казахов-коммунистов? Не знаешь, говоришь. Это плохо. А я знаю: всего какой-нибудь десяток. И это еще не все. Среди них есть не только честные коммунисты. Такие,

к примеру, как ты. Встречаются среди них алаш-ордынцы, прикинувшиеся коммунистами. А сколько всего коммунистов-казахов в Акмолинской губернии, во всех ее четырех уездах? Тоже не знаешь? Так я тебе скажу. Всего-навсего человек около пятидесяти. Должно быть, не больше и в Семипалатинской губернии. Но настоящих партийцев еще меньше. Алаш-ордынские волки, прикинувшиеся овечками, встречаются всюду.

Я решил поспорить с Досовым. Хотя бы для того, чтобы он мне убедительнее все объяснил. Я даже взял под сомнение, могут ли быть в партии неискренние люди, скрывающие свои истинные намерения.

– Эх ты, молокосос, – напрямик отрезал Абильхаир, – неужели тебе неизвестно, что быть политиком совсем не просто. Да и могут ли быть простодушные политики, а политическая партия без гибкости в действиях... Есть арабское слово «саясат», оно вошло в казахский язык. «Саясат» – это осторожность, ловкость. И есть другое слово – «тасиль», борцовский прием. Так вот, «саясат» равнозначно политике, а «тасиль» – тактике. Кто не умеет применять «тасиль» и в обычной борьбе, и в классовой, тот неминуемо проигрывает. Но приемы должны быть честными. Впрочем, в политике и это не всегда бывает. Возьми алашордынцев. Об их честности говорить нельзя.

Слова Абильхаира открывали для меня такое, о чем я раньше и не подозревал. И больше всего, пожалуй, меня удивляло, каким образом эти изменчивые – я их окрестил полосатыми – люди сумели проникнуть в Коммунистическую партию.

Абильхаир объяснил мне это так:

– Причина, дорогой мой, в том, что среди казахов еще очень мало образованных. Советской власти нужны культурные люди, к тому же знающие казахский язык. А к ним принадлежат только немногочисленные казахские интеллигенты. Часть их, в том числе и молодежь, входила в партию Алаш-Орды. Эта партия, защищая интересы баев, во время гражданской войны выступала против Советской власти. Коммунисты это хорошо знают. И алашордынские главари, кроме разве таких, как Ахмет Байтурсунов, и не пытаются теперь

войти в ряды Коммунистической партии. Они знают: партия их отвергнет. Но они стремятся любыми путями продолжать с нами борьбу. Им ведь известно – партия коммунистов не даст жизни угнетателям, не даст жизни казахским баям. Что же им остается делать? Послать к нам в ряды тех молодых алашордынцев, которых большевики не успели раскусить. И уже через них проводить свою линию, свою борьбу.

Так Досов открывал мне глаза. Я удивлялся, а он серьезно и строго повторял:

– Вот так, жигит, запоминай все это.

И потом подробно рассказал мне о каркаралинском деле.

Напомним, осенью девятнадцатого года, перед падением Колчака, главарь Алаш-Орды Алихан Букейханов собрал в Каркаралинске на совещание – маслихат – молодых образованных алашордынцев. Он объяснил им, что в России уже нет сил, которые противостояли бы Советской власти. Победа Красной Армии близка. Красная Армия вот-вот сломит вооруженное сопротивление. В казахской степи повсюду установится Советская власть. И тут Букейханов начал уговаривать алашордынскую молодежь идти на службу к Советам, идти в партию, чтобы продолжать с ней бороться изнутри. Он даже привел борцовский термин – подсесть борца под ноги с тыла.

Я не переставал удивляться. Мне это казалось злодейством почти немислимым.

Но позднее я был удивлен еще больше. Совет Букейханова, оказывается, уже осуществляется на практике. Некоторые участники каркаралинского маслихата ходили с партийными билетами. И не за тридевять земель от меня, а в нашем городе. Досов назвал мне фамилию Абдрахмана Байдильдина. Ну конечно, я его знал. Он теперь возглавил так называемую мусульманскую секцию в уездном комитете партии. Но мне не было известно, что Байдильдин во время колчаковщины был активным алашордынцем и в качестве адъютанта сопровождал Букейханова, когда тот ездил весной 1919 года в Уфу добывать оружие для алашской армии.

– Ну, как ты думаешь, – спрашивал меня Абиляхаир, – разве этот человек мог вступить в нашу партию с честными намерениями?

Досов замолчал. Не мог собраться с мыслями и я.

– Ты представь себе, что такие байдильдины существуют повсюду, а не только здесь, в Кызыл-Жаре.

Тут же я задал вопрос:

– Почему же, зная это, вы их не гоните вон?

– Сегодня еще рано. Нужно сперва умножить число казахских коммунистов из трудящихся, вот таких, как ты. А для этого необходимо больше работать и в городе, и в аулах с тружениками-казахами. Теперь тебе должно быть ясно, почему я против твоей отправки на фронт. Считай, что это не только мое мнение. Я советовался и в губкоме. Думаю, ты понял меня. Не так ли? Поработай здесь. А потом поедешь учиться. Я сам тебе скажу тогда.

Собственно, на этом наш деловой разговор был окончен.

Но мне очень захотелось узнать, каким путем, пришел Абиляхаир к партии, к революции, где он провел свое детство. Может быть, недалеко от моего Жаман-Шубара...

Он охотно исполнил мою просьбу, только предупредил, что для подробностей у него нет времени.

И вот что я услышал тогда от Досова.

Была в Кокчетавском уезде Котуркольская волость, расположенная в краю озер и хвойных лесов. Волость и называлась по имени озера – Котур. Перевести это слово на русский язык – оно звучит плохо. Паршивое. А на самом деле озеро Котур – широкое, привольное, с прозрачной вкусной водой, с песчаными берегами, окаймленными высокими соснами. Вокруг озера кочевал род аксары-керей. Но отец Абиляхаира Исхак, так же как и его дед Дос, не кочевал с аулами, а жил в русской казачьей станице, тоже называвшейся Котуркольской. С десяти лет маленький Абиляхаир пошел по стопам своего отца и деда – батрачил у кулаков. Один из этих кулаков, Хомуло, сыграл большую роль в жизни Досова. Вернее, не сам кулак, а его сын Николай. Он вернулся из Омской учительской семинарии в

родную станицу. Ему почему-то полюбился черноглазый казахский паренек. Он учил Абиляхаира русской грамоте, отдал его в школу. В 1914 году, переезжая в Омск, Николай Хомуло захватил и своего юного друга. Абиляхаир жил у него на всем готовом и учился в высше-начальной школе. Сын котуркольского кулака был душевным, милым человеком. Позднее Абиляхаир узнал и другое: что Николай Хомуло был членом партии большевиков. Он был тесно связан с омскими подпольщиками и привлек казахского юношу в качестве связного-рассыльного. Это произошло уже в 1916 году. Но в партию Абиляхаир Досов вступил значительно позднее, после трех лет практической работы, то есть в 1919 году.

– Вот и все... Дальше и рассказывать нечего. – Абиляхаир рассмеялся. – На этом моя биография пока кончается. Мне ее нужно продолжать делом. И тебе так же. Ты меня понимаешь? Значит, остается добавить немного. Глаза у тебя стали ясными. Ты видишь дорогу перед собой. Стремись, чтобы и другие ее видели, пробуждай к жизни трудящихся из аулов, привлекай их к культуре. Нам надо растить из них строителей социализма, сознательных, с ясными глазами людей. Говорить об этом легко, делать это трудно. Мы можем оступаться, даже падать. Но нельзя поддаваться усталости и нытью. Трудно идти вперед, но путь наш светел. Это ведь путь Ленина. Нам надо честно идти его путем, и тогда мы достигнем цели. Вот я о чем хотел с тобой поговорить, товарищ Муканов.

...Я ушел от Абиляхаира Досова окрыленным, взволнованным. Я радовался и тому, что он, казахский коммунист, пожалуй, впервые в моей жизни раздвинул рамки моего зрения и показал мне мир классовой борьбы шире, чем я его видел прежде. И еще я радовался самому знакомству с Абиляхаиром. Я гордился, что и у нас, казахов, есть такие преданные делу истинные большевики.

Эта встреча положила начало моей бескорыстной дружбе с Досовым. Он ведь был всего на несколько лет старше меня. С нынешней точки зрения мы оба находились, что называется, в комсомольском воз-

расте. В двадцатые годы биографии складывались стремительно.

Как же протекала дальше жизнь Абиляхаира Досова?

Его способности, энергия и безупречная честность помогли ему вырасти в видного партийного работника.

Когда я встретился с ним, он был инструктором Сибревкома и членом коллегии СибЧК. Потом, с 1922 по 1924 годы, он работал председателем Семипалатинского губисполкома. Следующие два года он был первым секретарем Сырдарьинского губкома партии, а потом стал уполномоченным Казахской республики при Совнаркоме СССР в Москве. Несколько лет он был секретарем президиума ВЦИКа и работал в аппарате ЦКВКП(б). Потом его откомандировали в Казахстан, и он был секретарем обкома в Актюбинске, а затем в Чимкенте. Он был членом ЦК Компартии Казахстана и депутатом Верховного Совета СССР.

ИШИМ РАЗЛИВАЕТСЯ

Разливался Ишим, затопил берега,
Снег весенний с дождем принимала река...

Из народной песни

Как ни привлекала меня учеба на курсах, окончить их мне не удалось. Однажды Гозак вызвал к себе группу коммунистов-казахов, в том числе и меня, и объявил, что нас решено мобилизовать для работы на хозяйственном фронте. Одни должны были проводить подраверстку, другие – организовать в аулах потребкооперацию. Впрочем, как сказал Гозак, это разделение было условным. Каждому надо было заниматься и тем и другим делом. Кроме того, нас обязали знакомиться с работой аульных и волостных ревкомов и подготовить об этом доклады. Нам поручалось помогать там, где были к этому возможности, создавать аульные партийки.

Кое-кто из нас отказывался, стремился остаться учителем, но Гозак неумолимо настаивал на своем.

– Развитие народного образования, – говорил он, – в особенности национальных школ в казахских аулах,

очень важное дело, можно сказать – первостепенное. Потому-то мы и создали учительские курсы. Но перед Советской властью стоит сейчас более неотложная задача – снабдить города хлебом. Без хлеба заводы и фабрики дальше работать не будут. Не может существовать без хлеба и Красная Армия. Скажу больше – без хлеба и наша власть не продержится. Положение создалось трудное. Хлеб и остальное продовольствие в руках кулаков. А кулаки люто ненавидят Советы, не хотят отдавать нам хлеб, думают, что рабочие и бедняки ослабеют от голода и не смогут удержать власть. В расчете на это они в этом году и посевы резко сократили.

Гозак подробно нам объяснил, что руководят продразверсткой упродкомы, а непосредственно ее осуществляют продотряды. И самое главное, рассказал, как действуют продотряды и какие меры должны принимать они в случае кулацкого сопротивления.

Гозак беседовал с нами и о кооперации. В те времена аульная и деревенская беднота находилась в большой зависимости от кулаков и середняков. Не имея своих посевов и запасов, она вынуждена была работать у богатеев и покупать у них хлеб втридорога. В результате империалистической и гражданской войн, продолжавшихся много лет, выпуск необходимых для крестьянства товаров резко сократился. А то, что выпускалось в очень незначительном количестве, сразу же попадало в руки перекупщиков-спекулянтов. Цены росли с невиданной быстротой. И беднейшее крестьянство попадало в двойную кабалу. Избавить его от пут кулака и спекулянта можно было только путем развития потребительской кооперации. Вот почему на нас возлагались важные обязанности и в этом трудном деле.

После этой обстоятельной беседы нам были выданы документы, именовавшиеся тогда грозным и коротким словом «мандат». Как и другие, я получил целых три мандата. Один – от укома партии, в котором мне предоставлялось право создавать партячейки в аулах, второй – от употребсоюза, который поручал мне организовать сельские кооперативы, и третий – от упродкома. Вот этот третий мандат и был самым главным. Как сейчас помню, он состоял из целых

тридцати семи пунктов. Один пункт давал мне право в случае крайней необходимости арестовывать сопротивляющихся.

Запрятав все три мандата в карман, я в начале июля выехал в степь. Маршрут мне был определен в семь волостей Петропавловского уезда, граничащих с Кустанайским, – Смаильскую, Пресновскую, Таузарскую, Анастасьевскую, Аккусакскую, Каратальскую и Караобинскую.

Июль – лучший месяц петропавловского лета. Путь мой лежал через знакомые места – Бишкуль – Каменку, Кегерин – Ново-Николаевку. Решил я заехать и в Андагул – повидать моих родственников, а уж потом приступить к работе. Для этого мне надо было сделать верст шестьдесят вдоль берега Ишима.

Ишим – такая это чудесная степная река!

Уже на второй день пути ее долина открывается взору во всем своем великолепии. Когда солнце подымается высоко над горизонтом и начинается зной, волны зыбкого миража наполняют степь. Мираж возникает от реки, захлестывает ее долину и, словно кипящее молоко, волнуясь и пенясь, переливается через край. Густой белый пар заволакивает небо. В балки, балочки и овраги вползают клубы молочного тумана. Минутами кажется, что Ишим снова переживает буйство весеннего половодья, и все огромное степное пространство Приишимья становится бескрайним беспокойным морем.

Синеющие леса ишимских берегов темнеют над колеблющимся миражем, переливаясь самыми разными красками; их синь приобретает вдруг зеленоватый оттенок, потом, словно окунувшись и очистившись в беспокойных волнах, тугай светлеют и выглядят совсем белесыми.

Не забыть мне никогда свежести, богатства ишимских лугов, напоенных водою реки. Их густое разнотравье мягче шелка. Когда едешь верхом, упругая, нежная трава упирается в грудь коня. Луг словно изнемогает под тяжелой своей красотой, а его пестрые, пушистые и яркие цветы переливаются оперением раскрывшегося павлины его хвоста. И так рябит в глазах, что трудно уловить и запомнить все краски.

Знойной летней порой над долиной Ишима веют мягкие и тихие ветры. В другое время года они летят по степи стремительно и яростно, а сейчас несутся еле ощутимо, как бы боясь осыпать цветы, нарушить спокойствие зрелых трав. Но луг все равно не остается тихим. И днем и ночью, словно повторяя движение зыбких волн миража, он ритмично колеблется и шумит, внятно шумит даже в самые тихие, безветренные часы. Чуть раскачиваются, то погружаясь в зелень, то вновь пестрея над ней, яркие луговые цветы, и все пространство вокруг напоминает озерную рябь, переливающуюся быстрыми бликами восходящего солнца.

Когда забредешь в эти мягкие волны лугового разнотравья, хочется окунуться в самую его глубину, хочется растянуться на цветных духовитых шелках и часами лежать бездумно и спокойно. Ты боишься в эти мгновения сломать цветок, нарушить тишину. Стебли густых трав склоняются над тобою, но солнце и небо просвечивают сквозь них, и тебе кажется, будто ты дремлешь в прозрачной зеленой воде.

Но вот ты уже отдохнул и преисполнился блаженства от этого купанья в зеленом озере и начинаешь осматриваться кругом. Тогда у стеблей высоких трав, ближе к их корням, ты непременно заметишь круглые, осыпанные росой ягоды. Ты сперва поразишься их размерами и обилием. Как их много! Неужели это земляника? Ну да, конечно, она!..

На лугах нашего Приишимья земляника растет в тени густых трав. Защищенная от солнца и ветра, она отличается бледно-янтарным цветом и на взгляд кажется неспелой. Но стоит только сорвать одну ягодку, как почувешь такой чудный аромат, который никогда не источает нежная садовая виктория. Так ты наслаждаешься запахом земляники, не думая, что она уже созрела, а потом чуть придавишь ее пальцами. Тут из нее брызнет сок, густой, как мед. «Оказывается, она совсем спелая!» – воскликнешь ты, положишь в рот ягоду, и от сладости ее у тебя защежит язык. Есть ли на свете ягоды слаще ишимской земляники!

Но не только ею богаты здешние луга. Растут здесь алые, скученные, словно звезды в Стожарах, мелкие

ягоды костяники. Наберешь их полную горсть, очистив сначала ягоды от цепких плодоножек, положишь в рот – и покажется тебе, что напился ты сладкого молодого кумыса. Хорошо утолять жажду костяникой!

Ах, как соблазнительны ягоды! Бывало, вдоволь наешься их, до оскомины, а глаза по-прежнему не сыты и находят в траве новые и новые россыпи ягод. Но ты знаешь – все равно их все не съесть. И тогда, раздвинув высокую траву, ты покинешь мягкие, шелковистые заросли и направишься к лесу, темнеющему в голубоватом мареве.

Тугайные рощи в эту пору открываются во всей своей зрелой красе. Устремились к небу вершины могучих старых осин, нежно серебрится кора берез, тускло поблескивает матовое олово тополевых стволов, покачиваются меднокорая черемуха и красноватый тальник, щетинятся, как ежи, шиповник и можжевельник. И все это, одетое в пышный зеленый наряд, шумит листвою, переговаривается, напевает какую-то свою, непонятную людям песню.

Всмотрись внимательнее! И здесь множество ягод. Кусты невысоких вишен обсыпаны так густо, что кажется, на них наброшено красное сетчатое сукно. А черемуха, черемуха! Ее маленькие черные ягодки блестят, как глазенки маленьких верблюжат.

И когда ты вдосталь налюбовался красою шелковых лугов и дремучих пестрых тугаев, ты хочешь увидеть и хозяина их. Да, хозяина! Иначе я не могу назвать наш Ишим.

Ты внимательно посмотришь вокруг и не сразу найдешь его. В эти дни июля, прикидываясь тихоней, спокойно и медленно течет он в узком своем русле. И если тебе не приходилось видеть его бурный разлив во время половодья, ты можешь не поверить, что эта скромная речка орошает водами все Приишимье, принося изобилие широкому степному краю.

Скрытую силу ишимских вод ты неожиданно почувствуешь во время купания. Стоит только тебе войти в воду, как тебя, словно легкую скорлупку, подхватит поток. Недаром народ называет ишимские воды живыми. Будь смелей, шевели руками и ногами, река примет тебя на свою грудь и понесет спокойно и плавно.

А до чего же вкусна холодная прозрачная ишимская вода! Не зря поется в народной песне:

Луга твои медовые,
Твоя вода как брага...

Приишимье тешит взор своей красотой, радует запахами цветов, трав и ягод. Но и слух не остается в обиде. Вслушайтесь в многоголосый хор пернатых – сколько радости сулит он вам! В этом хоре ты различишь клекот лебедей и гусиный гогот, крики чаек и беспокойные зовы чибисов, стрекот сорок и кряканье уток. Не смолкают и песни жаворонков, а к ним в траве присоединяются и голоса кузнечиков. Все живое дает знать о себе. Только люди, лишённые чувства прекрасного и любви к природе, могут оставаться равнодушными.

Я был так взволнован красою Приишимья и птичьим пением, что песня вот-вот готова была сорваться с губ, но я стыдился своего случайного спутника Мырзатая Казиева. Во всех пяти волостях, заселённых родами керей и уак, он был хорошо известен как один из самых лучших певцов. Ему было тогда около шестидесяти лет. Чернобородый, круглолицый, невысокий человек, он, несмотря на свои пожилые лета, отличался веселым и беспечным характером, легко сходилась и с молодыми и со старыми, любил пошутить и порассказать. Кроме лошади, ничего у него не было. Единственное богатство, которым он владел, был его изумительный голос. Желанный гость в каждом ауле, он был любим народом за свой общительный нрав и песни и всю свою жизнь прожил, получая в награду почет и ласку.

Мы познакомились в Кегерине. Я и прежде много слышал о Мырзатае, но встретился с ним впервые. Он подсел ко мне на подводу, чтобы доехать до Мусина – Явленки, там дороги наши расходились. Я после переезда через мост должен был свернуть направо, а он по левому берегу Ишима направился к себе в аул.

В Кегерине, в доме, где мы отдыхали, я в первый раз услышал песню Мырзатая. Но только в пути я понял, что это была одна из сотен, хранящихся в его памяти. Он был неисчерпаемым источником песен и не заставлял себя упрашивать. «Ну, жигит, а как ты

посмотришь на это?»— обращался он ко мне и тут же начинал новый, неизвестный мне мотив. Кончив, начнет второй, за ним третий. И это были все новые песни, которых я не знал. Они следовали друг за другом, как волна за волной. Им не было конца, словно Ишиму, берущему издалека свое начало и струящемуся в степную даль. Нежный грудной напев взвивался свободно и легко, достигая предельной высоты; так же непринужденно брал Мырзатай и самые низкие ноты; голос его переливался трелью без всякого труда, без напряжения. Тогда я, конечно, не смог бы определить его, но теперь мне думается, у него был лирический тенор.

Каждую песню он не только наделял ей присущим названием, но и называл имя певца, ее автора. Так он познакомил меня со многими акынами и музыкантами, о которых я до сих пор никогда не слышал. Вот он начинает:

Как зовут меня? Мое имя – Культума.

Мои песни в Алтае всех сводят с ума.

И песня уводит слушателя в аулы большого казахского рода Алтай, расположенные к востоку от Атбасара.

Или он запекает так:

Акыном Газизом с детских лет

Меня прозывает молва.

В Кара-Откеле я лучший поэт,

Там любят мои слова.

И песня его переносит меня в Акмолинск, который в те годы чаще называли в степи Кара-Откелем – Черной переправой.

Так я путешествую в песнях, исполняемых Мырзатаем, по каркаралинским краям, попадаю в Баянаул, к знаменитому Жаяу-Мусе.

Я отвечаю без затей:

Каракесек – мой род.

Там мало у меня друзей.

Врагам потерян счет...

Затягивает он каркаралинскую песню:

Там крылья юноши – домбра.

Там за Иртыш летят ветра.

Потом мы неожиданно оказываемся в гостях у Естая, живущего неподалеку от Павлодара, а от него попадаем к певцам Омска и Петропавловска и устраиваем привал, добравшись до Каналии, сына Басагары из Кустаная. В своем воображении я помещаю Мырзатая в его аул и мысленно подсчитываю, что моему новому знакомому известны все степные песни и их авторы по огромному кругу, с радиусом верст в шестьсот, если не больше.

– Послушайте, Мырзеке, – спрашиваю я своего спутника, – а есть ли напев, посвященный этим чудесным местам, по которым мы едем? Есть ли песня о долине Ишима?

– Э, мой сынок, конечно, есть! – сразу отвечает он. – Да разве тебе не приходилось слышать песню «Ишим разливается»?

– Нет, аксакал.

– Ой-бой, ты, оказывается, топчешься на одном месте, если этой песни до сих пор не слышал! – смеется Мырзатай. – Хорошая песня, очень хорошая!

– Так вы спойте ее, Мырзеке.

– Давай я тебе расскажу сперва историю этой песни, а уж спою потом. Идет?

Я, конечно, соглашаюсь, потому что уже слышал рассказы Мырзатая и убедился в их занимательности.

История песни нередко бывает не менее увлекательна, чем сама песня. Это иногда веселый, комедийный сюжет, иногда горький, драматический.

Вот как была создана, по рассказу Мырзатая, песня «Ишим разливается».

В 1868 году был принят закон об управлении Степным краем, на основании которого волостными могли назначаться люди, знающие русский язык. Уездный начальник по кличке Бала-Шодыр для проведения в жизнь нового закона взял с собой в объезд в качестве переводчика-толмача Бекберди Байжуманова, сына бедного крестьянина-джатака, пасшего чужие табуны под Петропавловском. В нескольких аулах керейцев не нашлось человека, который достаточно владел бы русским языком. Тогда «по выбору» населения волостным был поставлен Бекберди. За короткое время он

познал все выгоды власти, разбогател, завел себе несколько жен. Впоследствии его услуги отметило царское правительство, пожаловав чин хорунжего и золотую медаль.

Одна из жен Бекберди родила ему дочь, получившую имя Улпан. Она выросла, стала красавицей. В нее влюбился жигит Мутарбек, сын бедняка Шурека, и она его полюбила.

Но разбогатевший Бекберди с пренебрежением отнесся к нищему жениху и собрался выдать свою дочь за байского сына.

У влюбленных оставался единственный выход – бежать под покровом ночи. В условленный час Мутарбек переправился через Ишим. Но Бекберди был предупрежден. Его жигиты дежурили на оседланных конях и, как только Мутарбек появился на берегу, окружили похитителя. Но у него был отличный скакун, и он сумел спастись от своих преследователей.

В эту ночь шел снег попеременно с дождем. И когда Улпан явилась к условленному месту, она обнаружила только след коня Мутарбека, а его самого уже не было. Улпан немного запоздала. Она решила, что Мутарбек обиделся и поэтому не захотел ее ждать. В это самое время начался разлив Ишима, и девушка подумала, что Мутарбек не сможет приехать теперь за ней, пока Ишим не войдет в берега. А за эти дни девушку отправят в аул нелюбимого жениха. Убитая горем Улпан и сочинила, песню «Ишим разливается».

– Спойте ее теперь, Мырзеке!

– Хорошо. Я запомнил эту песню со слов самой Улпан, когда ее уже отправили в байский аул.

Песня начинается с высокой ноты, а потом переходит в плавный и приятный напев. Я запомнил слова:

Разливался Ишим, захлестнул берега,
Снег весенний с дождем принимала река...
Я хотела уйти, погасила огонь,
Но настиг меня в юрте, несчастную, сон.

Прозевала я счастье, уехал жигит.
На рассвете я слышала цокот копыт.
Я искала тебя в свете утра и дня.
Но нашла только след иноходца-коня.

Нас судьба создавала из глины одной,
Я тянулась к тебе, мой любимый, душой.
Скрылся ты, мой жигит, наше счастье унес,
Мне не видеть тебя, мне не высушить слез.

Звать тебя Мутарбек, а отец твой Шурек,
Я желала тебе быть подругой навек.
Мы любили друг друга с тобой до конца.
Почему ж навсегда не сомкнулись сердца?

– Ну как? Нравится тебе песня?– спрашивает Мырзатай.

– Хорошая песня! В особенности слова.

– А мотив?

– И мотив отличный. Но сами стихи еще лучше.

– Чем же они тебе так полюбились?

– Мне они полюбились по двум причинам. Во-первых, во многих казахских песнях отсутствует действие, а здесь изображено событие, целая драма.

– Ну, а вторая причина?

– Наши песни о любви обычно слагают жигиты, посвящая их любимым девушкам. И редко случается наоборот. А песню «Ишим разливается» сложила девушка и сама придумала напев, вот что дорого.

– Это правильно!– немного помедлив, отвечает Мырзатай.– Но почему же так происходит?

– Я думаю, что жизнь нашего народа влияет на песню. Мне довелось бывать среди русских. Русские девушки довольно часто сочиняют песни, посвященные парням. Они смелее наших девушек, у них больше прав. Они могут высказывать свои мысли. А казашка молчит, даже когда ее продают за калым. Отсталости у нас много, Мырзеке!

– Это так, ты прав,– Мырзатай произносит слова медленно, растягивая их,– слышал я, что Советы уравнивают казахских женщин в правах с мужчинами. Верно ли это?

– Совершенно верно!

– Стало быть, казахские девушки чаще будут теперь сочинять песни, смело посвящая их любимым!– И в глазах пожилого Мырзатая светится чистая и молодая радость.– Так ли я говорю?

Я подтверждаю справедливость его слов.

– Значит, они теперь разольются, как Ишим.
– Да, аксакал, как Ишим.
– Так и надо!– Он говорит серьезно, веско, и я вижу, как светлеют его умные, добрые глаза.– Смолоду я болел душой за женщин, за горькую их судьбу. И хочу, чтоб им было легче...

– Тогда спойте еще раз «Ишим разливается». По-нашему будет, верьте мне!

Старик выпрямляется и во всю силу своего зычного голоса запекает:

Разливался Ишим, захлестнул берега...

ЖЕСТОКИЙ СПОР

Когда я поехал благодатной долиной Ишима вдоль его берегов, мне часто приходилось испытывать затруднения с подводами. И в русских селениях, и особенно в казахских аулах добывать себе транспорт было чистой мукой. Сто потов тебя прошибет, пока ты выпросишь лошаденку и телегу. Особенно трудно, повторяю, было в аулах. По заведенному баями порядку гужевую повинность несла по очереди каждая юрта. Зажиточные мирились с этим, но бедняки считали такой порядок несправедливым и выдвигали другое предложение – нести гужевую повинность по числу лошадей. Однолошадники, значит, должны были иметь одну очередь, имеющие пять лошадей – пять очередей, насчитывающие десять лошадей – десять очередей. И вот во многих аулах тянулась бесконечная перебранка. Приедешь в аул утром и, если круто не вмешаешься, до вечера слушаешь эти распри, а то еще и заночуешь. Я научился сразу разбираться в обстановке и, если закрадывалось сомнение, что добром подводу не получить, требовал решительно и не всегда вежливо.

Что поделаешь, в маленьких аулах не было даже ревкомов, следящих за порядком.

В русских поселках обычно я обращался в сельский или волостной ревком. Там после проверки документов командированного обычно направляли с

одним из дежурных или сторожей в очередной двор, обязанный предоставить подводу. Но все равно это было далеко не легким делом, так как в июле, в разгар летних полевых работ, все крестьянские рабочие лошади были заняты, находились за пределами села, да и хозяина порой не найдешь. А обращаться к крестьянам, у которых были лошади, а очередь гужевой повинности не наступила, было бесполезно.

Так, выпрашивая, настаивая и ругаясь, мы с трудом добрались из Петропавловска до Явленки на шестые сутки, хотя расстояние между ними всего восемьдесят верст, и, выехав на хороших лошадях утром, к вечеру можно было уже приехать в село.

Я попрощался с Мырзатаем на окраине Явленки. Он пошел куда-то к знакомым, обещавшим его доставить в родной аул. Я поехал дальше, к ревкому.

Здание ревкома я узнал еще издали по режущему на легком ветерке красному флагу. Туда я и направился, но тут неожиданно показались верховые. Они мчались прямо навстречу нам. Их было человек пять. В поводу у них была лошадь, запряженная в тарантас. Всадники очень торопились. Молодежь, гулявшая по улице, рассыпалась в разные стороны. Свернули с дороги и мы. И когда всадники пронеслись мимо, я узнал в них Абиля и Абдикей, сыновей Жусупа из аула Каратал, Абдурахмана – сына Кожана-хаджи, Садрыя – сына Кулыма-хаджи, Бике – сына Сахипкерея.

Всадники остановились на скаку у какого-то здания, где, как оказалось, помещался штаб милиции. И я отправился туда же, желая узнать причину этого переполоха.

Пока я доехал, верховые уже спешили, а в тарантасе остался Абдикей. Он был не один. Тот, к кому он склонился и полуобнял, стонал, как тяжелобольной. Потные лица всадников покраснели, они были растерянны и взволнованы: лошади, покрытые мыльной пеной, разгорячились от быстрого бега.

– Что тут случилось? – спросил я.

– Ой, Сабит, милый наш Сабит!.. – задыхаясь, воскликнул узнавший меня Абиль.

– Да ты объясни толком.

– Человека чуть не сгубили!– продолжал он бес-
связно причитать.

– Перестаньте болтать,– грубо оборвал Абдикей,
сидящий в тарантасе,– ему же плохо, надо внести его в
комнату.

– Не торопись, Сабит, узнаешь потом,– вполголоса
сказал Абиль.– Нашего Сыздыка побили... Видишь, еле
живой.

Я снова не удержался от вопроса, но Абдикей явно
не нравился тон разговора, и он опять перебил нас.

Тогда рассердился уже Абиль:

– Ты что, Сабита не узнал? Не он ли племянник
Жабая с Оразымбетом? Не он ли вырос на наших глазах
в ауле? Может быть, сам бог, чтобы помочь нам в
правом деле, устроил эту встречу.

Ободренный Абилем, я еще настойчивее попросил
рассказать, что же все-таки случилось.

– Так вот, виновник всему Жакып. Ты его хорошо
знаешь, Жакып – сын Кыстаубая. Он, наверно, только
из-за нас и в Красную Армию ушел. А теперь, когда
возвратился, решил, что он здесь самый главный.
Объяснил: «Земля беднякам принадлежит, а не баям». И
каждого, у кого хоть пять голов скотины найдется,
причислил к баям. Значит, и всех нас! Когда же мы
приступили к дележу сенокосов, примчался с плетью
и стал нас избивать. Он же сильный! Одним ударом на
землю валит. А нашего Сыздыка избил до полусмерти.
Ну-ка, откройте ему голову!

Признаться, я испугался, увидев раненого Сыздыка.
Он и так был жалок, с вечно припухшими, выпу-
ченными, красными глазами и клинообразной боро-
денкой. А сейчас, когда глаза были прикрыты и кровь
размазалась по всему лицу, он выглядел просто страш-
ным. Он дышал тяжело и прерывисто. Ему трудно было
пошевелиться.

– Видишь, дорогой Сабит... Умирает...

– Дядя Абиль, его надо везти к врачу.

– К врачу – это само собой, но вначале надо показать
милиции.

– Да нет же, так не годится! Он может умереть в
тарантасе, а милиция от нас никуда не скроется.

Поворачивайте лошадей, вот она, больница, рядом.... Но в это время нас окружили милиционеры.

– Что тут такое происходит?

Однако милиционеры были русскими, а мои земляки Абиль, Абдикей и остальные плохо знали русский язык. И мне им пришлось рассказать то небольшое, о чем я сам только успел услышать.

– Так как же, дядя Абиль, поедem в больницу?

Однако Абиль твердо стоял на своем. Спутники взяли на руки избитого Сыздыка и направились в штаб милиции. Я пошел вместе с ними, и Абиль по дороге уговаривал меня:

– Ты, дорогой мой Сабит, близкий мне человек, жиен мой – племянник единокровный. Не всегда я к тебе буду обращаться за помощью, но на этот раз поддержи! И мы тебе в чем-нибудь поможем.

Я промолчал, начиная понимать, в чем дело. И хотя я не знал подробностей драки, но мне становилось мало-помалу ясно, почему она произошла. Беднота при первой возможности готова была отнять у баев землю. Теперь, после прочного установления Советской власти, в аулах стал известен ленинский декрет о земле. И если один из представителей власти, такой, как, например, Жакып, скажет аульной бедноте: «Земля твоя!», то уж она не останется в покое и настоит на своем. И столкновения тут будут неизбежными. Очевидно, догадывался я, такое столкновение и произошло между беднотой, руководимой Жакыпом, и теми баями и их прислужниками-аткаминерами, кому принадлежала раньше земля. Они, аульные богачи, решили не подчиняться власти и затеяли драку. Вот тут, наверное, и пришлось Жакыпу пустить в ход свою плетку. Беднотой – вот кем были обижены эти люди!

– Вы знаете начальника милиции? – спросил я Абиля.

– Да, его фамилия Семенякин.

Тогда мне это имя ничего не говорило, только впоследствии я узнал, что он был разоблачен как скрывавшийся белый офицер.

В приемной Семенякина ожидали его вызова милиционеры, а за столом у двери в кабинет сидела девушка-секретарша. Она узнала Абиля и Абдикей.

Абиль кое-как объяснил ей, что произошло, и девушка пошла доложить начальнику.

– Проходите, он вас примет.

– Всех?

– Нет, только вас.

Но Абиль, возлагавший на мою помощь большие надежды, ловко протолкнул в кабинет и меня.

Семенякин с подчеркнуто неприступным, заносчивым видом сидел за столом в глубине просторной комнаты. На приветствие Абилья он не ответил, а завидев меня, сердито рявкнул:

– А ты куда прешь?

– К вам!– коротко и кротко ответил я.

– Выйди вон!– крикнул он еще громче.

Но я как ни в чем не бывало подошел к столу.

– Глухой ты, что ли?– совсем разозлился начальник милиции.– Я приказываю, тебе выйти!

– Нет, не выйду!– решительно ответил я.– Давайте сначала здороваемся.– И вежливо приветствовал его.

– Да кто ты такой, наконец?– буркнул он вместо ответа.

Я сообразил, что мои мандаты подействуют на Семенякина сильнее всех моих устных доводов, и извлек из кармана документы. Не меняя сурового, неприступного вида, он принялся их читать. А я тем временем разглядывал его уж очень необычную внешность. Смуглое до черноты лицо начальника милиции было маленьким, как у ребенка. И это крохотное личико подавлял огромный приплюснутый нос с вздернутым концом. Узенькие глаза выглядели, словно змейки из норок. А над глазами в полном беспорядке кустились густые брови. Шевелюра у него была буйная, густая, занимавшая, казалось, непомерно много места на яйцевидной с высокой макушкой голове. Диковатый этот вид довершали уши, большие и чуть свисающие, словно шапка-ушанка, надетая на ребенка.

Семенякин вчитывался в мои мандаты утомительно долго, но, по всей вероятности, сильного впечатления они на него не произвели.

– Все-таки что тебе нужно?– спросил он с прежней суровостью.

– Да ничего особенного, – как можно спокойнее отвечал я. – Просто я случайно встретился с этими людьми, узнал, что с ними стряслось, и решил вам рассказать.

Абиль поддакивал мне, и тут я стал объяснять Семенякину, почему мы решили прийти в милицию. Говорил я очень коротко и настаивал только на том, чтобы милиционеры, выехали на место драки и допросили свидетелей двух сторон.

Но Абилю это мое предложение совсем не понравилось.

– Что с тобой? – шептал он мне по-казахски. – Я так на тебя надеялся, а ты все испортил...

– Аксакал! – пытался я его образумить. – Разве можно иначе установить, кто был прав?

Абиль нетерпеливо махнул рукой и, уже не считывая на мою поддержку, сам стал напирать на Семенякина. Он показал ему свой документ, удостоверяющий, что он, Абиль, является председателем аульного ревкома. Потом он пустил в ход весь скудный запас известных ему русских слов! А там, где и этих слов не хватало, прибегал к жестам и мимике. Объясняя, как бил Жакып Сыздыка, Абиль воскликнул: «Он крепко муклаш давай!» – и для вящей убедительности собственным кулаком раза два стукнул себя по голове. Потом совсем непонятно забормотал что-то вроде «он толда колда» и вдруг схватил себя за горло длинными пальцами и, еле отдышавшись, произнес: «Жакып так шипка держал мой брат Козке...»

Однако Семенякин слушал его внимательно и сурово. И когда Абиль кое-как закончил свою обвинительную речь, изображая Жакыпа чуть ли не разбойником, начальник милиции взъерошил свои и без того буйные волосы и безоговорочно принял сторону обиженных.

– Мерзавец! Анархист! Расстрелять надо эту сволочь! – яростно и свирепо ругался Семенякин.

– Не лучше ли сначала расследовать? – попробовал вмешаться я.

– А тебе какое дело? Занимайся кооперацией, собирай продразверстку и не суй нос в уголовные дела.

Я разозлился и тоже поднял голос:

– Как так? Неужели вы не хотите подчиняться власти?

– Власти, а не тебе!

– А ты мой документ прочитал как следует?– напирал я на Семенякина, воспользовавшись тем, что в одном из пунктов мандата мне было дано право в необходимых случаях проверять работу местных следственных органов и милиции.– Вот, гляди!

Семенякин небрежно заглянул в мандат и огрызнулся:

– Когда дело касается кооперации и разверстки.

– В любом необходимом случае,– настаивал я,– а ты не намерен меня признавать, то я пойду на телеграф и вызову к прямому проводу начальника уездной милиции Антоненко.

Стоило мне упомянуть о прямом проводе и Антоненко как Семенякин притих. Иначе посмотрел на меня и Абиль, потому что теперь в его представлении я тоже был немалым начальником. И он залебезил:

– Сабит, родненький мой, не надо его больше злить! Мы как-нибудь сами договоримся. Ты уж лучше отправляйся по своим делам.

– Нет, Абеке, так не пойдет! Я такой же представитель закона, как и он. Кроме того, я ведь буду в вашем ауле,– стало быть, мне все равно придется разбирать эту драку. Я должен это сделать. Если я отойду в сторону, меня не поблагодарят!

– Ой-бой, неладно получается!– заволновался Абиль.– Неужели это дело может обернуться против нас же самих? Но поступай, мой дорогой, как знаешь. Мы тебе мешать не будем.

Мы договорились с Семенякиным посмотреть раненого. К моему удивлению, Сыздык, избитый, по словам Абиля, до полусмерти, довольно свободно вошел в кабинет и даже попытался отвечать на вопросы по-русски. Впрочем, из этих его слов ничего нельзя было понять, и тогда я взял на себя роль переводчика. Один из милиционеров оформлял протоколом вопросы и ответы.

После сбивчивых его показаний мне стало понятно, что Сыздык там, на улице, только представлялся чуть ли не умирающим, хотя и в самом деле его довольно сильно огрели плетью. А после больницы, где ему

обмыли и перевязали рану, он принял совсем бодрый вид и отправился вместе с нами к месту происшествия.

Абиль уселся рядом с Семенякиным в его тарантасе, а я расположился в повозке Абдикей с пострадавшим Сыздыком. Уже в пути Абдикей разоткровенничался со мной:

– Ты знаешь, мой Сабит, что я тихий и простой человек, всю жизнь вожусь в небольшом своем хозяйстве. В тяжбах я не участвовал, в аульные дела не вмешивался. И все-таки я не совсем темный и кое-что понимаю. У каждого времени свои судьи и свои батыры. Батыр нашего времени – Жакып Кыстаубаев. И время, и власть принадлежат сейчас бедноте. Жакып не просто один из многих, он самый зрячий среди нашей бедноты. Жакып многое сделал для новой власти. Он ей помогал добыть победу над врагом и заслужил ее уважение. Жакып возвратился в аул с наградой – ему вручили седло, ружье и шашку с высеченными на них надписями от власти.

Тут Абдикей принялся расписывать коня Жакыпа, и я догадался, что он приехал с войны на той самой красивой лошади, которую я видел под ним еще в прошлом году.

Я так и не понял, с полной ли откровенностью говорил со мной Абдикей или хотел задобрить меня, но так или иначе в его дорожных рассказах звучало сочувствие к беднякам и недовольство прежним байским насилием.

– Теперь у бедноты откроются глаза, – продолжал он. – Неужели она не пойдет за Жакыпом, а потянется за Кожаном-хаджи с Козке? Когда я говорю с моим старшим братом, он соглашается со мной, а потом снова перекидывается на сторону Кожана. А ведь Кожан не друг новой власти, слишком богат он для этого. Но вот у Козке и богатства нет, а он заодно с Кожаном. Что только не происходит на свете! Сидел бы тихо, ему б самому лучше было. Так нет, не хочет! Что он только думает?

Абдикей замолчал. Кажется, он говорил искренне. Сыздык пока не принимал участия в разговоре, посматривал то на меня, то на Абдикей.

– Где же все-таки была драка? – спросил я.

– Землю Тюльке шыкпас – «Лису не сыщешь» – знаешь?

– Знаю, Абдике, чудесная земля...

– Земля эта досталась нашему отцу, и до вчерашнего дня мы пользовались ею. Недавно, перед самым сенокосом, собралась сходка жителей всех аулов, расселившихся вдоль озера Алуа. Созывал ее Жакып, хотя наш Абиль противился этому. Он говорил, что не может, как председатель аульного ревкома, допустить такого большого собрания без разрешения волостной власти. Но Жакып, стиравшийся на бедноту, не стал дожидаться этого решения. И Сыздык, и я были на этом собрании. Жакып разъяснял, как поступает с землей Советская власть: «Баи издавна владели землей, теперь она твоя, бедняк!» И на этом собрании было принято решение – лучшие сенокосные угодья передать бедноте, а баев отправить дальше в степь. Встревоженные аульные аксакалы отправили гонцов в волость.

Я перебил Абдикей:

– А кто председатель волостного ревкома?

– Нугман, сын Кабыла.

– Так ведь он был волостным управителем и при Колчаке.

– И до Колчака был тоже...

– Вот как! – вырвалось у меня, но я больше ничего не сказал Абдикейу, и он спокойно продолжал:

– Нугман сразу же прискакал к нам и пытался примирить безземельных с богатыми. Из его попыток ничего не вышло. Жакып от имени бедноты решительно сказал, что земля теперь не принадлежит баям, косить сено будет беднота, а им останутся излишки. А излишков не хватит – пусть косят, где хотят. Нугман пробовал настоять на своем, но беднота зашумела: «Ты сам бай, твои слова нам не закон!» Волостной уехал ни с чем, но акт на Жакыпа, за сопротивление власти, составил. Вместе с Нугманом уехали и уполномоченные аула. Они должны побывать в Петропавловске. Кто его знает, чем все это кончится...

– А кто поехал-то?

– Ты Досана Кари знаешь? Так вот он. Досан хорошо говорит по-русски. И еще Жанат, сын Ботыгая. В законе он разбирается, не чета простым людям.

– И давно они отправились?
– Да уж больше недели. Вестей пока никаких нет.
– Ты расскажи мне подробнее, как драка произошла.
– Ты, Сабит, встречался с Козке, он ведь очень горячий. Так вот, Козке отправил Сыздыка, меня и еще одного жигита, нанятого Абилем, в урочище Тюльке шыкпас и велел начинать сенокос, не дожидаясь возвращения Досана и Жаната. Прослышав об этом, Жакып явился к нам, а с ним человек десять бедняков. Ну и пошли спорить. Пословицу знаешь: «Перебранка – начало ссоры». Сыздык вспылil и оскорбил Жакыпа. Тот за плетъ.

До сих пор молчавший Сыздык заерзал на сиденье.

– Это не я его оскорбил, а он первый меня.

– Помолчи ты! – с досадой оборвал его Абдикей. Скажи, мой племянник, чем же все это кончится?

– Чем кончится? А вот чем: беднота заберет сенокосы, а плетки, полученные Сыздыком, пойдут ему впрок.

– Так-то оно так, но разве по закону можно бить? – вздохнул Абдикей.

– Смотря в каком случае, – схитрил я. – Когда ничего не помогает...

В беседе нашей наступила долгая пауза. Клубилась пыль под колесами тарантаса, вздыхал Сыздык, о чем-то трудно раздумывал Абдикей. Я первый прервал его невеселое молчание:

– Говорят, в правде стыда нет. Вы не упрекнете меня, если я вам задам один вопрос?

– Спрашивай, дорогой мой. Скопилась во рту слюна, – значит, надо плюнуть, а не глотать ее.

– Жива ли, скажи мне, дочка Козке – Зубейла?

– Жива. А что?

– И замуж ее не выдали?

– Нет.

– Я, Абдеке, потому и сказал «в правде стыда нет», что хочется мне узнать, близок ли Жакып к сестре.

Добродушный Абдикей встрепнулся, засмушался.

– Ой, племянничек, без ножа ты меня режешь! Что ж делать, скажу тебе правду. Действительно, бабы так болтают.

– Вы сами, Абдикей, как думаете – женится на ней Жакып или нет?

– Чего не знаю, того не знаю, дорогой. Думаю, и Козке догадывается о их близости. Прежде он говорил, что не отдаст дочь замуж, пока полностью не получит калым. А недавно он предупредил сыновей Сакау, чтобы они, как только вернутся с летовок, приехали за невестой и взяли ее к себе в аул. Но ты-то почему этим интересуешься? Родственницу свою жалко? Или, может быть, другая причина?

– Какая же тут другая причина?

– А я откуда знаю, племянничек! Вот люди говорят, что ты друг Жакыпа, как бы ты на него не променял дочь своей родной сестры.

– Это, Абдике, не от меня зависит. Девушка сама решит свою судьбу. А Советская власть защищает ее право.

– Может быть, это и так, но думаю, что и отца с матерью Зубейла послушает. Сдается, однако, мне, что Жакып просто так, по молодости, гуляет с ней. Будь у него серьезные намерения, разве он избил бы Сыздыка?

Беседу мы так и не закончили. Уже показался аул Козке, расположенный за озером Алуа.

В юрте Козке мы застали Кожана-хаджи, Кулыма-хаджи, Мажена – сына Клышбая, Оспана – сына Хусаина, самого хозяина Сахипкерея и других баев и аткаминеров, среди них и моего знакомого Досана Кари.

Кроме этой кучки богатых старейшин и их прислужников, во всем ауле нельзя было отыскать в этот час мужчины, способного сесть на коня, – все были на дележе сенокосных угодий.

Оставшиеся были явно не в духе. Посмотришь на одно, на другого – хмурые, опущенные веки, суровый и раздраженный вид.

Кожан-хаджи! Не он ли был одним из самых известных и высокочтимых баев и аксакалов не только своего рода андагул, но и всей Торангульской волости? И этот человек, еще недавно державший в узде аулы целой волости, сегодня не отважился поехать на раздел сенокоса. Значит, он не только побаивался бедноты, но и был убежден в своем неизбежном поражении. Уже одно это было верным признаком укрепления Советской власти, роста ее влияния в ауле.

А Кулым-хаджи! Ему было около семидесяти. Худощавый, маленький, с жалким клочком седой бороды, шепелявивший заика, человек сумасбродный и вспыльчивый, давно ли он внушал каждому страх, в ауле пикнуть перед ним не смели. А нынче он, как и Кожанхаджи, сидел угрюмо и молчаливо, понимая, что теперь на дележе сенокоса никто с ним всерьез считаться не станет.

И Досану Кари сегодня нечего было делать в степи.

О нем, старом моем знакомом – я встречался с ним в прошлом году в ауле Балтабай, – мне хочется рассказать несколько подробнее.

Его отец Бекпен, по старым аульным понятиям, считался ученым и муллой, довольно известным в нашем краю. Ни Бекпен, ни его отец Бейсенбек никогда не знали богатства. Бейсенбек, дед Досана, батрачил всю жизнь у бая Шопана. Не были зажиточными хозяевами и сыновья Бейсенбека – Бекпен и Калый. Бекпен стал муллой еще молодым человеком и своего второго сына Досана отправил в Петропавловск в медресе Мухаммеджана Кари.

Досан выучил наизусть текст Корана, отчего, по обычаю, и произошла приставка «Кари» к его имени. Но кроме духовного образования, он получил и светское в новометодной, так называемой джадидской школе. В своем ауле он стал мугалимом – учителем. Можно сказать, он имел среднее образование и хорошо знал арабский, персидский и русский языки. Как это часто бывало в те времена, он сочетал с обязанностями учителя и духовные – читал молитвы по покойникам, совершал многие мусульманские обряды.

Досан Кари считал себя глубоко образованным человеком. Он гордо и высокомерно держался с теми, кого считал ниже себя и по культуре и по положению. Однако он побаивался любого, кто хоть на ступеньку был выше его, и сразу становился отменно любезным и даже льстивым. В ту пору он обладал знаниями большими, чем я. Но, прослышав о моем петропавловском мандате, да к тому же почувствовав мой шуточный тон в разговоре с ним, Досан решил, что я,

по крайней мере, на голову выше его, и отнесся ко мне с подчеркнутым почтением.

– О, наш дорогой Сабит здесь!– юлил он передо мной, всячески подчеркивая свое уважение.

Абиль настороженно задал ему вопрос о результатах поездки в Петропавловск, но Досан, сообразив, что я здесь чужой человек, хитро отвечал невпопад:

– Он-то здоров, да вот я приболел и приехал на курсы с опозданием. Получилось очень неудобно. Но там увидели, что я еще слаб, расспрашивали меня, где я прежде учился, и вернули обратно в аул. «Мугалимом ты можешь быть»,– сказали мне на прощание.

Весь этот бестолковый рассказ был на ходу придуман для меня. Абиль больше не задавал вопросов, смекнув, что Досан остерегается меня.

Мне показалось, что Досану хочется поговорить с Семенякиным с глазу на глаз и объяснить ему, почему все эти уважаемые люди, собравшиеся в юрте Козке, не участвуют в дележе сенокосных угодий, но при мне ему это пока не удавалось.

– Что ж вы намерены дальше делать?– спросил я Семенякипа.

– Нужно найти Жакыпа Кыстаубаева.

– А на дележ не поедете?

– Непременно.

– Тогда вы собирайтесь, а я съезжу в соседний аул, проведу сестру и сразу же вернусь.

Вероятно, за то короткое время, что я потратил на свидание с моей сестрой Зейнеб и ее мужем Копжасаром, Досан и Семенякин наговорились вдоволь.

Когда я вернулся, лошади для нас были уже оседланы. В долину Ишима ехали пять человек – Абиль, Досан, Семенякин, я и милиционер Филиппов, скромный молодой парень. Сперва впереди были Абиль, Досан и Семенякин, мы с Филипповым немного отстали от них.

– Не понимаю, зачем только Семенякин сюда приехал?– доверительно сказал мне Филиппов. – К Жакыпу можно было послать нарочного и вызвать его к себе, а можно было даже без этого обойтись. Ведь мы все хорошо знаем и тех, кто сидел сегодня в юрте, и Жакыпа с его друзьями. Баи рады бы грабить

бедноту, как и прежде. А Жакып – красный партизан. Не сено ему нужно, а справедливость! Вот он и сражается за бедноту. Пускай себе бьет баев на здоровье. Так им, сволочам, и надо. Они ж без плети не подчинятся. Эх, товарищ Муканов, буржуи все еще сильны! Их еще не побили как надо! И ваших аульных баев, и русских кулаков.

– А о чем Семенякин толковал с баями, вы не знаете?

– Говорить-то он говорил, но так, чтобы я не слышал.

Ох, уж этот Семенякин! Что-то он не туда гнет!..

Немного спустя мы поравнялись с отставшим от своих спутников Досаном.

– Я нарочно тебя дождался. Нам нужно наедине поговорить. Сабит, я тебе расскажу всю правду.– И он заговорил о Жакыпе:– Понимаешь, этот твой партизан запугал народ. Слова не дает сказать. Ну, если бы он сам хоть что-нибудь знал, а то так, пустомеля! Да и что может знать полуграмотный человек, что он может растолковать другим? Не будем говорить об остальном, но ведь он и не нюхал учения этого бородатого мудреца Маркса. А кричать уже научился. Ты увидишь, он и с начальником милиции не посчитается. Прикрикнуть на него – он и за плетку схватится. Ты к нему ближе – вы оба бедняки, – может быть, он тебя послушается? Скажи ему: «Жакып, ты не сильнее большинства». И еще скажи ему: «Большинство не только напугать, но и утопить может». А заодно напхни: «Нельзя стать человеком без своего народа, сама Советская власть считается с ним, тебя одного она не будет слушать и не уничтожит народ». И старую мудрость ему внуши: «Работай с народом в согласии».

Меня разозлили эти фальшивые слова Досана Кари.

– Кого вы народом зовете? – в упор я спросил сладкоречивого мугалима.– Уж не этих ли баев – озлобленную волчью стаю, что осталась в ауле? А может, народ-то – большинство, что пошло за Жакыпом, чтобы получить землю?

– И те, что пошли, и те, что остались, народ, две его части, – увиливал от прямого ответа Досан.

– Погодите. Вы назвали Жакыпа темным. По-вашему, оно, наверно, так и есть. Вы, конечно, человек образованный, законы толкуете, о смысле Советской

власти рассуждаете, и вам отлично известно, что земля теперь принадлежит крестьянству. И вот, хорошо разбираясь во всем этом, вы приняли сторону врагов Советской власти. И Кожан-хаджи и Кулым-хаджи угнетали народ, грабили. А законов они не знают и в грамоте не очень сильны. Они-то и есть темные люди, а вы за них заступаетесь.

– Это я за них заступаюсь?– с невинным выражением лица переспросил Досан.

– А куда вы ездили недавно?

– Я?

– Ну да, вы, вдвоем с Жанатом, сыном Ботыгая.

– А-а-а!– недоуменно протянул Досан с таким видом, будто только сейчас догадался, о чем я его спрашиваю.– Так ты говоришь о поездке в Петропавловск? Весной меня опять трепала старая лихорадка, и я не смог выехать в срок на учительские курсы. Надо же было выехать в уезд, чтобы об этом сообщить. Они могли бы мне запретить учить детей, в отделе народного образования строгие люди.

– Это действительно правда?

– Настоящая правда!

– Эх, Досан, Досан, не думал я, что вы таким стали!

– Да что я такого сделал?

– Неправду вы говорите, вот что! Ездили вы в Петропавловск совсем не по учительским делам, вы защищали там Кожана-хаджи и Кулыма-хаджи. Вы искали там поддержки для баев. Вы снова хотите накинуть узду на бедняков, которые только сейчас становятся хозяевами своей земли.

– Кто тебе сказал, Сабит? Что ты?

– Знаю я, слышал. Вы же льнете к баям. По старой поговорке: «Бая с муллой не разлить водой».

– Мулла? Да какой же я мулла?– Досан совсем перепугался.– Разве я не советский мугалим – учитель?

– Хотелось бы, чтоб было так! Но, лукавя, как в старое время, боюсь, вы никогда не станете учителем.

Скользкого Досана все больше и больше смущала моя прямота.

– Доля правды в твоих речах есть, Саке. Но ведь в один день социализм не установишь. Разве это не труд многих годов! Ты прав, земля должна принадлежать

крестьянам. Правда и то, что в нашем краю у бедноты мало земли. Но ведь здесь нет и таких богачей, как Альти, Кошке или Нургожа, у которых по тысяче голов. У нас самый первый богач Кожан и полусотни лошадей не имеет. И, по-твоему, это бай? А я думаю, что Жакып называет баями скромных середняков, которых совсем не отталкивает от себя Советская власть. Конечно, у них земли побольше, чем у бедняков. Их и следует уравнивать. Но когда я говорю об этом Жакыпу, он не соглашается, упрямится. «Нельзя, – кричит он, – давать землю Кулыму, Кожану, Оспану, Мажену!» Он и небогатого Козке не прочь отнести к байской компании, хотя у него какой-нибудь десяток голов. Я его пробовал пристыдить, а он ничего слушать не хочет и только орет: «Ты сам, значит, за баев!» Да что там я! Он даже председателю волостного ревкома не подчинился. Ведь вот что наделал!

– Это ты какого председателя ревкома вспомнил? Уж не Нугмана ли, сына Кабыла? Да ведь этот бай – один из тех, что и родился волостным! Как только он сумел пролезть в ревком?

– Не я ему помогал, – огрызнулся Досан, – а инструктор Советов.

– Уж так-таки и инструктор?

– Мандат у него был, своими глазами видел.

– Тут я тебе еще могу поверить. Сейчас многие волки овечьей шкурой прикрываются. Выдает себя за коммуниста, а поскреби его – настоящий алашордынец. И ты думаешь, так долго будет продолжаться?

– Ничего я не думаю, – растерялся Досан. – И что я в силах сделать?

– Короток хвост у нечисти, недолго она продержится при Советской власти!

И, прищпорив коня, я поскакал за Семенякиным. Дальше с Досаном говорить было бесполезно. Я догнал начальника милиции. Еще при выезде из аула он был раздражен и надут. Зная характер Жакыпа, его вспыльчивость и упрямство, я побаивался, что при первой же встрече коса, как говорится, найдет на камень и доброе дело не кончится. Вот поэтому я и решил потолковать заранее с Семенякиным и убедить его действовать с выдержкой, без лишнего шума.

Я еще не знал тогда, что представляет собой Семенякин. Мне было досадно, что он неподатлив, как ствол саксаула. И кроме того, мне казалось, – впрочем, оно так и было, – что Абиль уже успел склонить его на свою сторону. Одним словом, едва я начал разговор, как Семенякин что-то сердито забурчал себе под нос, отмахиваясь от меня. Больше я к нему не пробовал подъезжать – уж слишком он был раздражительным.

Я узнавал места, по которым пролегал наш путь. Ранней весной прошлого, 1919 года я повстречался здесь с чудесным стариком – аксакалом Жабаем. Вон там, на самом краю отвесного берега, передо мной открылась беспредельная равнина, которую и увидеть во всем величии нельзя, если не найти удобной высоты. Мы подъехали к берегу, к памяtnому мне уголку, который облюбовал для себя Жабай. Могучее дерево стояло по-прежнему. Только в ту пору ветви его были оголены, а сейчас они были в уборе нежных, молодых листьев. Под слабым дуновением прохладного ветерка они шумели и переливались, придавая этому уголку Приишимья удивительную светлую красу.

В прошлый раз я видел отсюда равнину в половодье. А теперь, когда Ишим вошел в свое узкое русло, я впервые окидывал ее простор, покинутый вешними водами. Гряды холмов волнообразно тянулись к горизонту. И склоны поросли черемухой, боярышником, тальником. Высокие и сочные травы заполнили все пространство, доступное глазу. Травы росли так буйно и густо, что напоминали ниву в урожайный год. Я испытывал головокружение, глядя на это зеленое переливающееся море, с жадностью вдыхая непередаваемо свежие запахи трав и цветов, подхваченные упругими и спокойными волнами ветра. Вдали синели деревья. Их полоса, казалось, не имела ни конца, ни начала. Это был лес, растянувшийся вдоль берега Ишима.

Равнина в этот час не была безлюдной. Там и сям виднелись и верховые и пешие. Их было значительно больше, чем можно было собрать из аулов, кочующих летом у озера Алуа.

– Да, сегодня здесь большой сбор, – сказал я Абилю.

– Видишь, и русские выехали на дележ сенокоса. По моему, тут, недалеко, крестьяне из Петровки. А вот там, – Абиль протянул руку к западу, – пласкеуские. Ближе сюда, – он взметнул клинышек своей бородаки, – наши земляки, с побережья Алуа.

Всмотревшись внимательно, я разглядел, что три эти группы двигались в определенном порядке, не враспынную, а друг за другом, только временами останавливаясь, видно, для отвода участка. Это было понятно, мне и прежде случалось видеть раздел сенокосных угодий в долине Ишима: участвующие в нем стремятся не топтать высоких трав и, оберегая зеленое богатство, следуют гуськом узкой тропкой или бредут дорожными колями, останавливаясь, чтобы отвести очередной участок. На их границах обычно тыкались прутьики или завязывались узелками пучки травы.

Когда мы спустились с крутого нагорного берега и направились к своим землякам, Семенякин, принимая еще более неприступный вид, приказал Филиппову:

– Возьми винтовку в руки.

Тот с недоумением пожал плечами:

– А для чего это?

– Я тебе приказываю, слышишь?

Филиппов, продолжая недоумевать, снял винтовку с плеча.

– Стреляй! – прохрипел Семенякин.

– Куда стрелять? Зачем?

– Вверх стреляй и не рассуждай, пожалуйста! Приказываю...

Попытался и я узнать причину странного этого приказа. Но Семенякин не удостоил меня ответом и лишь повторил на еще более высоких нотах свое распоряжение. Молодой и застенчивый Филиппов нехотя подчинился своему разъяренному начальнику и, не отдавая себе отчета в происходящем, поднял винтовку вверх и дал несколько выстрелов. Но участники раздела сенокоса не обратили на них никакого внимания и не прервали своей работы.

Еще издали я узнал Жакыпа, руководившего разделом. Узнал по незабываемой масти его пегого коня, которого отличил бы сразу среди тысячи других скакунов.

Мы уже были рядом. Семенякин с еще более зловещим выражением лица снова приказал Филиппову стрелять. На этот раз Филиппов только глубже втянул голову в плечи и не дотронулся до винтовки.

– Что это значит, товарищ Семенякин?– не выдержал я.– Кого вы стращаете? Зачем эта стрельба?

Не обратив опять внимания на мои слова, Семенякин с проклятиями стегнул Филиппова плетью, затем сорвал карабин со своего плеча и выстрелил в воздух несколько раз подряд.

Теперь эти выстрелы уже были услышаны на сенокосе. Люди в растерянности остановились. Жакып и еще какой-то всадник галопом понеслись нам навстречу. Приметный скакун Жакыпа быстро опередил своего соседа, и Жакып в несколько мгновений очутился перед нами.

– Здравия желаю!– весело приветствовал он нас, на всем скаку осадив коня.

Привлекательное и раньше лицо Жакыпа, покрасневшее теперь на солнце и ветерке, стало еще красивее. Не прошло и года после нашей последней встречи, но как он возмужал, как раздался в плечах! Его еще недавно жидковатые усики стали пушистыми, в глазах появился острый, молодой блеск. Он был в красноармейской форме, в летнем шлеме с алой звездой. Все его фронтовое оружие – и винтовка, и шашка, и наган – было при нем.

Его поджарый и сытый пегий скакун был под новым кавалерийским седлом:

– Ой, откуда ты взялся?– Не спешиваясь, он радостно протянул руку.

– С почтением разговаривайте со мной,– пошутил я,– мы теперь в большие люди вышли.

– Ого! А все-таки кто ты теперь такой?

Я с важностью ответил:

– Инструктор по нескольким волостям.

– Да ты и впрямь шишка!– Жакып крепко сжал мою руку.– Ну, мы с тобой еще наговоримся, а чего вот эти хотят?

Я заметил, как сжались, словно нашкодившие кошки перед собакой, Абиля и Досан. Недавнюю их спесь

точно ветром сдуло. Но Семенякин по-прежнему выглядел свирепо и важно.

– Счастливым путем! – не без ехидства приветствовал его Жакып.

– А я к вам приехал, – мрачно ответил начальник милиции.

– Ну, тогда добро пожаловать! – улыбнулся Жакып.

– Мы вас в Явленку увезем, – еще угрюмее сказал Семенякин.

– В Явленку? По какому такому праву?

– Это вы узнаете там, на месте.

– Разве здесь об этом нельзя сказать?

– Я вас прошу оставить шутки. Я при исполнении служебных обязанностей. Вам должно быть известно, что с вами говорит начальник милиции.

– Это мне хорошо известно, – сдержанно ответил Жакып, – но вы все-таки объясните нам здесь, в чем дело. И запомните – в Явленку я не поеду.

– Почему ж это не поедете? – маленькие глазки Семенякина налились злостью.

– Времени у меня нет.

– А если я потребую?

– А если я не послушаюсь?

Спор становился все ожесточеннее, но тут подъехал и другой всадник – хорошо выбритый русский, средних лет, видно по одежде, тоже бывший красноармеец. Очень знакомой показалась мне его улыбка.

– Харитон Николаевич, здравствуйте! Что это у вас такой сердитый вид?

– Тут новый закон выдумали, Андрей Константинович. С каких это пор, скажите, разная дрянь перестала слушать начальника милиции? – не утихомиривался Семенякин.

Тот, кого называли Андреем Константиновичем, спросил что здесь случилось.

Семенякин показал рукой на Жакыпа:

– Вот этот гражданин совершил уголовное преступление, до смерти избил одного человека. Он сейчас в Явленской больнице. Может быть, уже и умер.

Я резко перебил Семенякина:

– Ошибаетесь вы! Ведь вы говорите о Сыздыке, а он вместе с вами возвратился из Явленки в свой аул.

– Да что вы вмешиваетесь?! – взбесился Семенякин. – А вы, – обратился к Жакыпу, – должны подчиняться закону и ехать со мной.

– Вы больше ничего не скажете? – Холод и презрение почувствовались в словах Жакыпа.

– Мне уже больше добавлять нечего.

– Тогда прощайте! – И Жакып поскакал в сторону своих соаульцев.

Лицо Семенякина исказилось в гримасе, брови его задергались, он хватался за карабин, и опускал руку, и снова повторял это движение.

– Напрасно вы кипятитесь, – сказал Андрей Константинович. – Сперва надо бы разобраться в сущности дела.

– Я уже разобрался. Мой долг – пресекать такие преступления. Тут все ясно: избит Жусупов, избил Кыстаубаев. Я положу конец такому самоуправству! Посоветуйте ему, Андрей Константинович, подчиниться закону, плохо иначе будет!

– А что вы сделаете?

– На месте его расстреляю.

– Не посмеете!

– Почему ж это не посмею?

– Вы один, а за ним... Посмотрите, сколько людей за ним!

– Значит, и вы?

– Значит, и я.

– Против закона?

– Уж это вы не передергивайте. Это не я, а вы выступаете против декрета о земле. Неужели вам непонятно, что Жакып, руководя беднотой, борется за Советский закон? А вы собираетесь ему помешать.

– Закон... Разве есть закон, чтобы отдавать землю киргизам? – зло рассмеялся Семенякин. – Декрет о земле предназначен для русских крестьян.

– Ошибаетесь! Октябрьская революция – для всех народов, которые только есть в нашей стране. Декрет Советской власти один для аула, и для русского села. И закон для всех.

– Не учите вы меня закону, – продолжал бушевать Семенякин, – лучше бы помогли задержать преступника!

– Я же вам ясно сказал, что не выполню вашей просьбы.

Еще несколько мгновений – и Семенякин сбавил тон, почувствовав, по-видимому, свое бессилие. Он только покачал головой.

– Не будь бы вас, Андрей Константинович, я показал бы этой орде, где раки зимуют!

Жестокий спор на этом оборвался. Андрей Константинович поскакал к Жакыпу, Семенякин, kloкочущий от бессильной ярости, поехал с Филипповым в другую сторону.

Я остался с обескураженными, растерянными Абилем и Досаном. Трудно сказать, о чем думали они; скорее всего, они были разочарованы в Семенякине и теперь побаивались Жакыпа. Мои догадки оказались верными. Стоило только мне сказать, что их поступки были неправильными, что они пошли против Советских законов, как Абель начал раскаиваться:

– Верно, очень нехорошо вышло. А все это дело рук Козке. Говорил же ему, что трогать бедноту не надо. Власть-то на ее стороне, как с ней сладишь! А он заупрямился. И ты, Кари, не стал его отговаривать.

– Я?– рассердился Досан.– Ты в своем уме? Что это ты на меня чужие грехи сваливаешь? Я заставлял вас драться?

– Напрямик не заставлял, но ведь ты хитрый, ты умеешь исподтишка натравливать.

– Не пачкай меня!

Выкрикнув эти злые слова, Досан оставил меня наедине с Абилем, который теперь с особенным усердием принялся обвинять во всем случившемся хитрого и ловкого Кари. Я попытался узнать подробности, но Абель только рукой махнул.

– Не в этом дело, мой дорогой! Мы, кажется, здорово ошиблись. Зря разгорелся этот пожар. А потушить его теперь нелегко. Может, ты нам поможешь? Да говори ты яснее!

– Пожар потушить?

– Уж будто ты не понимаешь! Ведь от Жакыпа теперь житья нам не будет...

– Но вы же сами все начали?

– Да я теперь и близко к нему не подойду.

– Ну вот и хорошо.

– А он нам не станет мстить?

Я кое-как успокоил Абилю, а про себя подумал: «Нет, Жакып не из таких, он не утихомирится до тех пор, пока все баи и кулаки не будут уничтожены». Но Абилю это говорить было бесполезно.

Пришпорив своего коня, я стал догонять Жакыпа. Дорогою я поравнялся с Андреем Константиновичем. И вот тут-то я вспомнил, где мы с ним встречались раньше. Он оказался тем самым подводчиком, который прошлой весной подвез меня и старика Жабая до аула. Фамилия его была Жарков. Нелегко было узнать в нынешнем подтянутом, армейской выправки человеке того бородатого добродушного крестьянина. Прежними оставались только глаза и умная, чуть насмешливая улыбка.

Жакып и Андрей, как я теперь узнал, сражались в одном партизанском отряде, вместе присоединились к Красной Армии и прошли с ней путь до Дальнего Востока. Теперь Андрей Жарков работал председателем Пласкеуского сельревкома.

– Ну и дурак же он, этот Семенякин, – оглушительно смеялся Жарков, – Жакыпа вздумал расстрелять! Его и колчаковские пули не брали, и американские, и японские. А тут нашелся храбрец.

И он продолжал хохотать так заразительно, что и я не мог удержаться от смеха.

Жарков любил Жакыпа. Любил за его преданность партии, за прямоту, честность, энергию. И прощал от всей души его недостатки – малограмотность и жаркую, чересчур жаркую партизанскую хватку.

– Впрочем, он от этого скоро избавится. Если бы ты знал, как он рвется к учебе! И выучится! И будет замечательным коммунистом-казахом. Уважать таких людей надо!

Так за беседой мы незаметно подъехали к Жакыпу, окруженному земляками. Многих, очень многих знал я в лицо и по имени. Это была преимущественно беднота. Из аула Кулыма-хаджи – Нуртаза и Ахмет, сын Ибрая из аула Балтабая – Габдош Трясущаяся Голова, Султакай; здесь же была видна нескладная фигура вечного дояра

бая Сактагана Арыкбалы Койшигалиева, а рядом с ним – Уали, сын Толебая. Вся эта беднота пришла в приишимскую долину из аула Кожана-хаджи. Разглядывая собравшихся, я узнавал Утегена из Каратала, прозванного рябым, Ибрая Байжанова – Гологрудого, бессменного пастуха потомков богатого Зильгары. (Забегая на три с лишним десятилетия вперед, могу сказать, что здравствующий и поныне сын Ибрая Исхак получил звание Героя Советского Союза за подвиги в Великую Отечественную войну.) Искал свою долю на сенокосе и бедный мой племянник Ашкер из аула Хусаина, и сапожник и шорник Жумабай, всю жизнь лизавший ранты, тянувший ременную тесьму.

И хотя одежда у всех давно истрепалась в лохмотья, и хотя приехали они сюда на жалких клячах и отощавших коровах, но выглядели веселыми, как никогда. Земля принадлежала им; и даже приезд начальника милиции, и эти устрашающие выстрелы в воздух не омрачили их трудового праздника. Правда, они засыпали нас недоуменными вопросами: как же это так – земля теперь наша, наши права, веками нам не давали добрых этих трав, но стоит только осуществить советский закон, как приезжает милиция и пугает нас? Не было, однако, страха перед будущим в этих вопросах, слишком уверены были они в своей правоте.

Я поддержал их, как мог:

– Правда на вашей стороне. И землю у вас никто не отнимет! А милиция приехала по недоразумению.

...К вечеру дележ сенокосных угодий был завершен. Беднота, торжествовала. Давнишняя, передававшаяся из поколения в поколение, вынашиваемая столетиями, мечта осуществилась.

Ликовали все, кто был с Жакыпом. Беднота убедилась в справедливости слов, что теперь земля принадлежит ей.

Далеко разлетелись искры событий, происшедших на берегу Алуа. Они опередили меня на моем пути в поселок Косколь. Я еще подъезжал к зданию ревкома, как мне повстречался всадник, безжалостно торопивший своего коня. Скуластый, белолицый, с легкими

оспинками, он был похож на многих моих земляков. Чем-то я привлек его внимание. Он спрыгнул с лошади и подошел ко мне.

– Ты, дорогой мой, казах?– спросил он для начала.

И, получив утвердительный ответ, задал другой, дипломатический вопрос:

– А ты, дорогой мой, из простых казахов или представитель власти?

Я не хотел его разочаровывать, да и сам верил в силу своих мандатов:

– Да, аксакал, я представитель...

Тут он настойчиво стал просить у меня поддержки и защиты, жалуясь на свою судьбу. А когда я стал доискиваться, что же, собственно говоря, с ним случилось, он показал рукою на запад и сбивчиво стал объяснять.

– Вон там, в шести верстах отсюда, наш аул. Мы сами из рода майлы-мусаитов. И есть у нас человек по имени Аблай, Слышал?

Действительно, я знал Аблая.

– Только вы по порядку рассказывайте.

– Аблай – наш родственник. Только я бедный, а он богатый. И к тому же он управлял всем родом керей-уаков. Но ему и власти, и земли показалось мало. Говорить надо правду – мы, бедные соседи, зависели от него. И вот он решил согнать нас с наших зимовок, на которых и деды наши жили, и прадеды. К чему нам покидать родные места? А он говорит: «Силой заставлю вас откочевать». И мы боимся послушаться. Он ведь опирается и на род каракот и на род жарыгалы. И никто ему не смеет противоречить, никто напрямик ему не сказал: «Ну что ты только делаешь!» Жалеют нас многие, а помочь никто не решается. Мы от беды совсем потеряли голову. Теперь одна надежда – русские справедливы, может, они нас возьмут под защиту. Вот я и прискакал сюда.

– Все понятно, дядя. Волноваться не стоит, я сам тебе помогу.

Он и благодарил, и сомневался. Юность моя ему не внушала доверия. И хотя я успокаивал его, как мог, пообещав достать в поселке подводу и вместе с ним вернуться в аул, он качал головой.

– Ой ли? Зубы у Аблая крепкие, а ты почти мальчик. В старину говорили:

Тебе мальчик выковал нож?
Значит, трещину в нем найдешь.

Жигит, я хочу верить тебе и вернусь с тобой. Но если Аблай тебя не послушается, ох, и достанется мне тогда! Может, мне в Пресновку скакать? Может, в Петропавловск? Конь упадет – пешком пойду. Не могут же лгать знающие люди! Ведь красные – это наша власть, власть бедных. Ты мне уж скажи, сынок, по совести – ехать с тобой или до города добираться и там хлопотать?

Я взглянул на его лошадь. Со сказочным тулпаром у нее было мало общего, и шесть верст достались ей нелегко.

– Пожалейте, дядя, лошадь и доверьтесь мне. Советская власть обязала меня помогать таким, как вы.

И мы свернули на дорогу к аулу майлы-мусаитов. Похожая на скелет лошадь моего нового знакомого была привязана к оглобле подводы и еле-еле трусила мелкой рысцой.

Верный степным обычаям, старик по пути рассказывал мне о себе:

– Ыкаш меня зовут, светик, Ыкаш сын Копшика. Аблай мой родственник в третьем колене. Сыновья Алдабергены были богатыми, а мы, сыновья Атыгея, бедными. Мы пасли его табуны и отары, доили его кобыл и коров. И ничего он нам не платил. В прошлом году, когда пришла власть красных, стали поговаривать, что баи оплатят труд батраков. Молодые люди из нашего аула Абилкас и Махмет пришли тогда к Аблаю с просьбой заплатить им за работу. Он их погнал из дома своего и аула. А теперь он всех нас гонит с родных мест. Просили, умоляли его – ничего не помогло. Говорят, он погрозил: «Заставлю их бродить по безлюдной пустыне!» А бог его знает, где эта самая пустыня. Но аул откочевывает. Погоди, дорогой, мы его еще встретим.

Ыкаш говорил правду: довольно скоро на нашем пути показался отправившийся в кочевье аул – пять-шесть бедных юрт. И одежда людей, и подводы, и весь нехитрый скарб имели самый жалкий вид.

Их гнали аткаминеры Аблая – человек двадцать верховых, среди которых я узнал известных своей хитростью и преданностью баю Мақыша Жусупова, Мукана Самтикова, Бердена Азнашева. Я им сказал веско и кратко, как мог:

– Аул должен вернуться на свою зимовку. Спорить тут не о чем. Для вас же будет плохо. А с Аблаем я поговорю.

Но хитрая лиса Берден попытался обмануть меня.

– Ты знаешь, – соловьем разливался он, – Аблай верховодит керей-уаковцами, все делается по его слову, и послушаться его мы не смеем. Мы и тебе подчинимся. Только этих уж не возвращай назад без согласия Аблая.

– Пустые твои слова, Берден! Не идут они к твоей бороде. Все ясно: вы подголоски своего бая, власть не позволит творить самоуправство ни вам, ни ему! – Я старался говорить твердо и спокойно, чтобы аткаминеры невздумали больше спорить со мной. – А вы, дорогие, поворачивайте в родной край. Мы еще посмотрим, как будет противиться Аблай.

И аул повернул обратно на свою землю.

У одного из всадников конвоя, Абена Алпысбаева, я попросил его коня – поджарого, рыжего, с лысиной на лбу – и поскакал в аул Аблая, расположенный неподалеку от зимовок.

Для Аблая-хаджи мой приезд был, понятно, неожиданным и малоприятным. Но и я был поражен переменами в моем старом знакомом. Куда девалась его прежняя спесь, его надменность. Тише и глуше стал такой гулкий раньше голос. Он стремился держаться с достоинством, что, однако, не всегда у него получалось.

После обычных приветствий я заговорил напрямик:

– Хаджи, неприятно об этом говорить, но что поделаешь, надо! Я хочу от вас же отвести жестокую беду. Я помню, как весенней распутицей в прошлом году вы помогли мне. Добро не забывается.

– К чему все эти пышные слова? – поморщился Аблай. – Что ты собираешься сказать?

– Вы знаете, хаджи, чья сейчас власть? Бедноты. И я – хотите вы этого или не хотите – представитель новой власти. А вы совершили преступление, и вас надо жестоко наказать. Но мне хочется отвести от вас беду.

– Это я-то совершил преступление?

Я напомнил Аблаю о декрете о земле, но он продолжал изображать полнейшее недоумение.

– Но ведь именно вы силой прогнали атыгаевцев – ваших соседей и батраков – с насиженного гнезда. Между прочим, они ведь и ваши родичи.

Аблаю дальше отпираться было нельзя.

– Да, я им действительно предложил откочевать. Но ты знаешь, почему я это сделал?

– И знать не хочу! Вы же не имеете права выселять их с земли, на которой жили их деды и прадеды!

– Пойми, что этот аул – воровской аул, житья у нас не стало от краж.

Конечно, Аблай наговаривал на атыгаевцев. Но я ему объяснил, что если бы даже так и было, он все равно не имел права самовольно выселять аул, для этого есть милиция, есть суд.

– А я тебя об этом не спрашивал!– начинал злиться Аблай.

– Хаджи, вы не темный человек,– попытался я говорить мягче,– вы должны сами понимать, что эта затея может для вас кончиться плохо. Не губите себя, одумайтесь и верните всех в родные аулы.

Аблай молчал, уставившись в землю желчным, затуманившимся взглядом. Но и после раздумья он продолжал стоять на своем. И вдруг взорвался:

– Откуда ты только взялся на мою голову! Пока они успели бы нажаловаться, я уже покончил бы с ними, заставил бы побродить по белу свету без пристанища. Они еще вспомнили бы джут в годину великих бедствий! Они еще узнали бы, что такое голод и мор!– сыпал проклятиями Аблай. Но вдруг он неожиданно закончил:– А все-таки я и теперь тебя прошу – не вмешивайся в это дело!

– Я должен вмешиваться, хаджи. Понимаете, должен! Он опять постоял в угрюмом молчании, потом пригласил меня в дом. Я покачал головой.

– Нет, сначала надо устроить и успокоить обиженных вами.

– Экий ты неумный! И прижал меня не ко времени...– Аблай говорил уже значительно мягче.– Что ж, ничего не поделаешь, пусть будет по-твоему.

...Покидая владения смирившегося бая, я с гордостью думал о силе Советской власти и о том, что сам я стал сопричастен к славным ее делам.

МАГПИ ПОБЕДИЛА

Ночью я направлялся в свой аул, расположившийся на летовку у озера Дос. В тарантасе с сильной и ходкой лошадей сидели лишь я да седобородый проводник. Старик спал. Вокруг простиралась с детства знакомая степь; ни леска, ни озера – пусто и тихо.

Еще перед закатом на западной стороне неба поднялись темно-бурые тучи, и в сумерки заморосил дождик. Сейчас стало проясняться, и меж разорванных в клочья облаков, плывущих по небу, то исчезали, то появлялись светлячки бесчисленных звезд.

Все знают, что в нашем краю нет ничего надоедливее и беспокойнее комаров, особенно в засушливое лето, когда и днем и ночью тучами набрасываются они на человека, и спастись от них можно, только укрывшись под пологом.

Роса, в сухие дни выпадающая на заре, сегодня появилась до сумерек, потому что прошлой ночью был дождь. И теперь земля была устлана тяжелым туманом, от сырости крылья комаров отяжелели, и все они попрятались в густой, высокой траве. Если бы тарантас не подпрыгивал и не трялся, можно было подумать, глядя на это безбрежное туманное пространство, будто плывешь на корабле посреди моря.

Наша степь с ее высокой, сочной травой, с колышущимся густым ковылем вперемежку с массой мелких цветов в такие ночи наполнялась благоуханием. Порою поднимался ветерок и, разнося нежные степные запахи, особенно ласково касался лица.

Было уже за полночь, и в прошлую ночь я лег поздно, а встал рано, но сейчас мне все равно не хотелось спать. Вокруг было темно, и я ничего не видел, но мне, выросшему в этой бескрайней степи, и не нужно было ничего видеть, чтобы чувствовать, как дороги мне эти милые, родные края.

Старик проводник похрапывал, прислонясь к моему плечу.

Изредка я почтительно будил его. Он просыпался на мгновение, невнятно бормотал что-нибудь и снова засыпал.

Понемногу начал было дремать и я. Меня и проводника разбудило ржание лошади. Мы высунулись из короба. Все так же темна была ночь. Мы въезжали в самую гущу большого табуна. Лошади сгрудились, громко ржали, будто удивляясь неожиданным гостям. Нетрудно было догадаться, что мы потеряли дорожную колею к заехали на целину. На наш зов никто не откликнулся – табуны паслись без табунщика. Очевидно, где-то поблизости должны быть аулы. Мы постояли некоторое время, внимательно приглядываясь к темноте, и вдруг увидели откуда-то из-за холма едва заметный, ровно разливающийся свет. Может быть, это свет восходящей луны? Но небо застилали тучи, да и не могла же с севера появиться луна.

Вероятно, свет этот неярко струился из тундука – верхнего отверстия юрты. Мы действительно не ошиблись. Вот и собачий лай донесся оттуда же, с севера. Значит, там аул, и нужно ехать к нему, чей бы он ни был. Продвигаясь на огонек, мы напали на торную дорогу, которая вела к килью. Вспугнули гусей – они тревожно загоготали. Потом утки снялись со своего стойбища, едва не задевая нас крыльями. Значит, впереди озеро. Вот уже видно тусклое мерцание его зеркала. Наверное, это и есть Дос. А там замелькали и аулы, расположенные у озера. Около аула нас встретила толпа ребятишек. Я их тотчас узнал – это дети из нашего аула Жаман-Шубар. Один из них вскарабкался ко мне и своими ручонками обхватил меня за шею. Это был мой маленький племянник Шакен.

– Дома все здоровы? – спросил я у Шакена, крепко прижимая его к себе.

– Здоровы, – говорит Шакен.

– Чья это юрта, где светится огонь? Почему вы все не спите?

Я потому спросил об этом, что в такое позднее время обычно гасили все огни, если только в ауле не празднуется свадьба или не сторожат покойника.

– Юрта Сары-Бекена, – говорит мой племянник. – Там тяжба. Его дочь убежала, Магпи.

Еще мне сказал Шакен, что эту тяжбу затеяли уаки, что приехали из Бетпакуля, и жаман-тымаки. Только теперь я вспомнил, что среди тридцати юрт уаков одна принадлежит Кенбаю, сосватавшему за своего сына дочь Сары-Бекена – Магпи.

Я остановился в юрте дяди Мустафы, а Шакену приказал привести ко мне Габбаса. Мне хотелось поскорее узнать причину тяжбы. Должно быть, шум нашего тарантаса рабудил всех домашних, потому что больной Мустафа, его жена Слеусин, Габбас и повзрослевшая Маржан, полуодетые, выбежали мне навстречу, едва услышав от Шакена о моем приезде.

– Почему в юрту не заходишь?– спросил Мустафа немного успокоившись.

– Я хотел узнать, что происходит у Бекена.

– Да,– вздохнул Мустафа,– недаром старики называют девушек врагами родителей. Вот и Магпи. Она отказалась от сосватавшего ее жениха и сбежала с другим жигитом. Может ли быть хуже? Сам знаешь Бекена: дети маленькие, сам калека и столетняя старуха мать на шее. Жена содержит всю семью, а в хозяйстве-то одна тощая кляча да корова с теленком. А тут, смотришь, пришла новая беда – дочь сбежала от жениха.

– Да разве это беда?– возразил я.– Что плохого в том, что Магпи ушла от нелюбимого жениха?

– Легко сказать! Да ведь уаки разорят теперь Бекена до нитки! Аткаминеры же нашего аула во главе с Нуртазой, твоим дядей, вместе с уаками решили вовсе сжить Бекена со свету. Ведь Бекен давно просватал дочь Кенбаю. Чтобы содержать семью, он каждый год забирал у Кенбая часть калыма – чем теперь он возместит то, что брал? Не старую же клячу и корову с теленком отдать вместо двадцати голов скота.

Я задумался.

– Что же Бекен будет теперь делать?

– Они заберут все, что есть у него, остальное должны уплатить его родные – Хусаин, Кожахмет, Шаин.

– Что же Бекен будет теперь делать?

– Насильно все отберут.

– Советские законы не допустят такого насилия!

Мустафа недоверчиво усмехнулся.

– Пока законы придут на помощь, от Бекена ничего не останется.

Я решил говорить по-другому, чувствуя в себе силу:

– Ну, а если на помощь придут я?

– Ты? – разочарованно протянул Мустафа.

– Да, я! Представитель советских законов! В соседних русских поселках есть милиционеры, я приведу их, и с аткаминерами быстро разделаемся.

Мустафа испугался:

– Не вмешивайся лучше, сынок! Ты еще молод, не знаешь, как коварны эти звери! Искалечат они тебя...

– Те времена прошли! – убежденно возразил я Мустафе. – Попадут в тюрьму – руки не дотянутся.

Габбас и я тотчас же решили идти к Бекену, но Мустафа нас отговаривал:

– Поймите вы, такая тяжба – клад для аткаминеров. Они спорят, а между тем не спеша угощаются за счет аула, где живет Бекен. Я слышал, они уже успели сожрать десять баранов! Пока всего не съедят, не разлетятся эти обжоры. Сегодня лучше не ходите, отдохните как следует, а завтра приметесь за дело.

Я нашел разумным совет старика и, войдя в юрту, прилег рядом с Мустафой. Все быстро заснуло, не спали только старик и я. Мустафа рассказал мне историю, которая случилась с ним после смерти Хамзы и так походила на то, что происходило теперь у Бекена.

Несколько лет назад он сосватал для Хамзы дочь Матиша из рода жакылган. К несчастью, Хамза прошлой зимой умер, и тогда Мустафа решил, чтобы не пропал калым, взять ее для Габбаса. Но девушка не согласилась выйти замуж за Габбаса. Началась тяжба. Мустафу взял под свою защиту Нуртаза на правах истца. Нуртаза послал к Матишу своих жигитов, отобрал у него барымту, аткаминеров Жакылгана подкупил, а Матиша заставил вернуть весь полученный им от Мустафы калым да еще в придачу с большим штрафом.

– Значит, ты выиграл! – обрадовался я.

– Где там! – махнул Мустафа рукой, – Нуртаза выиграл, не я.

Я не понял.

– Очень просто, – объяснил мне старик. – У Матиша отобрали около двадцати голов скота, а мне отдали

одну корову с телкой. Остальное аткаминеры поделили между собой за труды. Вот посмотришь, то же самое будет с Бекеном и Кенбаем.

Рано утром пошел я в аул, где происходила тяжба. Истцы нашего аула дневали в юрте Шаина. В котле варилось мясо жирного барана. Дядя Шаин тоже был здесь. Должно быть, услышав о тяжбе, он примчался из Петропавловска. И он, и тетя Злиха были в подавленном настроении. Я вошел в юрту, поздоровался и сел у порога, прислушиваясь к беседе. Казалось, тяжба разрешена и присутствующие заняты приятным разговором.

Спустя несколько времени дядя Шаин незаметно подал мне знак, и вдвоем мы вышли из юрты.

Мустафа оказался прав: аксакальский суд решил отобрать у Бекена в пользу Кенбая, кроме одной коровы, пятнадцать голов скота, продать загон и амбар Бекена, а вырученные деньги отдать тоже Кенбаю. Шаин был в отчаянии.

– Нужно протестовать!– решительно сказал я и пошел обратно в юрту.

Едва я, обратившись, к аткаминерам, стал говорить о том, что действия их незаконны, что они грабят бедных людей, разъяренный Нуртаза поднял голову и злобно взглянул на меня.

– Тяжба кончилась!– крикнул он, обращаясь сразу ко всем.– Садитесь на коней, поезжайте к моему аулу и угоните два косяка дойных кобылиц!

– Откуда этот-то взялся?– спросил у Нуртазы аткаминер уаков Кыдырма, пальцем показывая на меня.

– Это же сын покойного Мукана, племянник Нуртазы,– ответил за Нуртазу Смаил.– «Мой доморощенный козленок на меня же и набросился!»– сказал кто-то. Так и этот, будь проклят его отец, добром отплачивает Нуртазе за то, что он воспитал и вырастил его сироту. Ты не расстраивайся, Нуртаза, наша тяжба все равно разрешена. Посмотрим, что станет делать теперь сын Мукана.

– Эй, Шаин,– крикнул Кыдырма,– это ты его научил? Для того и приехал из Петропавловска? Подавай-ка скорее еду! Да живо собери всю скотину, которую ты нам должен, если хочешь остаться в живых!

Я понял, что говорить с ними бесполезно, и покинул юрту. Нужно было немедленно ехать за милицией.

Возвращаясь в свой аул, я вдруг увидел, что от Кумдыкола в облаке пыли едет навстречу тарантас. Безумная радость охватила меня, когда в тарантасе я увидел двух вооруженных милиционеров. Один из милиционеров был казах, другой русский. Я побежал им навстречу, крича во все горло, чтобы они остановились.

Коротко рассказал я, что происходит в ауле.

Посадив меня в тарантас, они направились к аулу, где происходила тяжба.

– Что вы станете с ними делать? – спросил я по дороге.

– Арестуем и доставим в Дмитровку или разгоним по своим аулам, получив прежде расписку в том, что не станут возобновлять тяжбу, – ответил мне русский милиционер.

– В штаб их нужно отправить и наказать как следует, – резко сказал милиционер-казах.

Когда мы втроем вошли в юрту Шаина, аткаминеры перепугались.

– Встать! – приказал казах-милиционер, подняв винтовку. – Следуйте за мной!

Никто из аткаминеров слова не вымолвил, и только Нуртаза, проходя мимо меня, злобно прошипел:

– Добился своего!

Аткаминеров привели в драную юрту Бекена. У несчастных обитателей этой юрты был теперь довольный вид. Бедняки торжествовали, презрительно поглядывая на арестованных аткаминеров.

– За насилие вы привлекаетесь к уголовной ответственности! – объявил им милиционер.

Среди аткаминеров самым большим трусом оказался маленький пучеглазый Уатай. Когда он услышал, что их повезут в Дмитровку на допрос, его и так выпученные глаза округлились, и, глядя на меня жалостно и кротко, он взмолился:

– Милый Сабит, ненаглядный Сабит, заступись за нас! Не только Уатай, все они теперь просительно смотрели на нас. Я решил не поддаваться просьбам и уговорам и проучить как следует аткаминеров. Ко мне подошел сын Нуртазы – Мырзагазы.

– Что вы хотите сделать с ними?– тихо спросил он меня.

– Для этого существуют законы,– холодно ответил я.– Пока их увезут в штаб милиции, а там будет видно.

– И ты позволишь, чтоб твоего больного чахоточного дядю тоже увезли? Не делай этого, Сабит! Вспомни, как прошлой зимой ты болел, ведь мой отец возил тебя к Хусаину! За добро нужно платить добром. Разве я или Молдагазы обижали когда-нибудь тебя? Если не хочешь обидеть теперь меня, если считаешь меня родным человеком, не позорь отца, не гони его в милицию. Он виноват, конечно. Я сам говорил ему, чтобы он не вмешивался в этот спор. Но ведь он привык считать себя мудрым бйем, привык вмешиваться во все дела. Он больной и старый человек. Возьмите у них письменное обещание, что никогда больше не повторится аксакальский суд. Возьмите и отпустите всех по домам.

Я посоветовался с Шаином и милиционерами.

– Что ж, если подпишутся, можно и отпустить.

Мы снова вошли в юрту, где сидели арестованные аткаминеры.

– Вас нужно было бы посадить в тюрьму на два-три года,– сказал казах-милиционер,– но здесь за вас просят товарищи Тлегенов и Муканов. Вас можно отпустить с одним условием: если вы сейчас же распишетесь в том, что никогда больше не будете принимать участия в аксакальских судах.

Милиционер-казах здесь же написал текст подписки на казахском языке, арабскими буквами, и все подписались под текстом, а неграмотные приложили большой палец.

– Теперь мы убедились, что Советская власть – власть бедноты,– говорили люди из окрестных аулов, собравшиеся у юрты Бекена.– Это первый удар, который получили хищники и притеснители. Почаще бы их били!

Аткаминеры, съездившись, расходились по родным аулам.

В тот же день вечером уехал я в аул Баймагамбета Зтулина. Мне хотелось поговорить с его отцом, повидаться с младшей сестрой Баймагамбета – Айтжан, хотелось послушать ее песни.

Встретили меня радушно, всю ночь мы пели песни и спать улеглись на рассвете. Проснулся я оттого, что рядом громко назвали мою фамилию.

– Вставай! Вставай!– кричали мне.

Совсем пробудившись и придя в себя, я увидел в дверях юрты человека в длинной черной шинели, в шлеме с зеленой звездой. На левом рукаве его шинели были нашиты звезда и полумесяц, тоже зеленые. Я тотчас узнал этого человека. В то время он немного занимался литературой и был известен под именем Шуги. Мы давно были с ним знакомы, близок он был и семье Баймагамбета.

– Здорово, Шуга,– сказал я ему.

Шуга молчал. Потом грозно крикнул, обращаясь ко мне.

– Ты арестован!

– Ты с ума сошел?– воскликнул я, думая, что он шутит.

– Молчать!– еще строже крикнул он.

Я подумал, что он действительно собирается меня арестовать.

– Думаешь, я стану тебе подчиняться?– возразил, однако, я.

– Еще бы не подчинился! Я уполномоченный Киркряя.

– Я такой же советский работник, как и ты.

– Но не такой ответственный, как я!

– На своем месте все ответственные. Не морочь меня, говори, если есть серьезное дело.

– Можно ли так шутить?– вмешалась вышедшая из за занавески Айтжан.

– Я не шучу,– все так же свирепо стоял на своем Шуга.– Он получил от Бекена взятку, и на него подали жалобу.

Мы вышли из юрты. И вдруг Шуга рассмеялся.

– Хватит вам пререкаться,– сказал нам Канания,– пройдите-ка лучше да потолкуйте между собой.

– На тебя и в самом деле есть жалоба. Но сейчас я пошутил. Меня ведь сюда назначили судьей, надо же было напустить на себя важность перед посторонними! Ты будто не мог понять этого! Хоть бы вид сделал, что подчиняешься!

– Разве можно шутить с арестом?– возразил я.

– Ну, не будем спорить, – сказал Шуга и сразу перешел к делу: – Говорят, этот парень насильно увез Магпи, может быть, съездим, узнаем?

Мы запрягли лошадей и поехали.

Уже взошло солнце, когда мы достигли аула Байсакала. Аул пробуждался, но в серой войлочной юрте Байсакала еще спали.

– Сначала я войду, – предложил я Шуге, – я всех здесь знаю.

– Нет, войдем вместе.

Едва Шуга вошел в юрту, как раздался выстрел. Я вбежал в юрту. Магпи, полуодетая, держа нож в руке, гнала Шугу из юрты. Шуга кричал: «Застрелю!», но Магпи действовала энергично и смело. Шуга пятился назад, а Магпи, наступая, решительно теснила его к выходу.

– Ты, негодяй, насильно хотел увести меня! Теперь настали другие времена, попробуй сунься только!

И слова, и действия Магпи поразили меня. Советская власть только-только возникла в нашем краю, а молодая малограмотная женщина уже почувствовала веяние свободы, которую принесла Советская власть казахской женщине, влачившей на протяжении веков жалкое существование рабыни, продававшейся за калым – овец и лошадей.

Так в этой тяжбе победительницей вышла Магпи. Добрый знак! Старое отступает перед новым.

НАЧАЛО БОЛЬШОЙ БОРЬБЫ

Возвращаясь в Петропавловск, я задавал себе вопрос: что сделал я в эти три месяца? И мне казалось, что я ровно ничего не сделал, и в то же время чувствовал, что это не так.

Моя главная задача состояла в том, чтобы организовать в аулах кооперативы. И во многих аулах я действительно сумел организовать такие кооперативы, тем более что все охотно меня поддерживали, помогали выдвигать в правление самых честных людей. Но для начала у правления каждого кооператива должны быть какие-то средства, а где их взять?

Царские, колчаковские деньги, керенки не имели хождения, а советских почти ни у кого не было, люди не могли вносить причитающиеся с них пай, на которые кооператив только и мог существовать. Кроме того, враги Советской власти постоянно распространяли нелепые слухи о ее скором свержении, и многие скотоводы пока воздерживались продавать государству и скот, и мясо, и шерсть.

Мешало и другое. При Временном правительстве, при Колчаке и мелкие хитрецы, вроде старых моих знакомых Бакена и Боржабая, и спекулянты покрупнее, прикрываясь вывеской кооперации, собирали у населения членские и паевые взносы и за счет этого наживались. Неудивительно, что многие относились с недоверием к организации кооперативов. И стоило мне начать разговор, как кто-нибудь говорил:

– На словах-то оно хорошо, а как на деле? Ты нам товар сначала покажи, тогда мы и в кооператив вступим, пай внесем.

И все-таки, несмотря на такое недоверие, я хорошо понимал, что если откроется настоящий кооператив, то народ непременно его поддержит, потому что товарный голод, начавшийся еще со времени первой мировой и гражданской войн, дошел до последнего предела, и в некоторые юрты страшно было заходить – так нищенски были одеты люди.

Но даже если бы и открылись кооперативные магазины, вряд ли они смогли бы как следует вести торговлю, потому что у бедняков не было ни денег, ни скота – все съели военные расходы, налоги, поборы и ко всему прочему постоянные грабежи.

Вот почему по дороге в Петропавловск, перебирая в памяти все аульные события за эти три месяца, я испытывал смутное неудовлетворение. Единственное, что я мог сделать еще, – это, вернувшись в город, подробно рассказать в партийной организации обо всем, что я понял и узнал.

Я был уверен в том, что так или иначе Советская власть поможет бедноте подняться на ноги, и, должно быть, эта моя убежденность передавалась людям, с которыми приходилось мне встречаться.

Я еще был слишком несведущ в политике и мог отвечать лишь на самые простые вопросы. Например, в аульных и волостных ревкомах, созданных после установления Советской власти, большинство составляли баи и аткаминеры, и теперь все вокруг недоумевали: почему же так произошло? Советская власть – власть бедноты и трудящихся, а в ревкомах прежние аульные управители. И я объяснил, что враги Советской власти, баи и аткаминеры, сумели воспользоваться тяжелой обстановкой и хитростью пробрались в ревкомы, лицемерно подделавшись под преданных нам людей.

Многое было неясно мне самому, и я ездил по аулам, внимательно присматриваясь к жизни народа, стараясь лучше представить подлинное лицо аульных баев. Это было не так-то легко.

После окончания спора о дочери Бекена я из Жаман-Шубара отправился в Канжигалинскую волость. Подводчик повез меня на запад, в Анновку, где я хотел встретить Дармена Алина, моего товарища по омским курсам. У него был костный туберкулез, и еще в Омске он прихрамывал на одну ногу, а теперь приехал в Анновку полечиться у местного фельдшера. Дармен был настоящим советским человеком. Политически он был гораздо грамотнее меня, да и учился больше меня: до революции он окончил шестигодичное русское училище и имел звание сельского учителя. В Омске он был связан с подпольной организацией большевиков и долго держал это от меня в тайне. Он очень страдал от своей болезни, потому что она мешала ему работать в полную меру своих сил. Мы были единомышленны с ним и в отношении к аульной бедноте, и в ненависти к баям, пробравшимся в ревкомы, и в оценке создавшейся в нашем краю обстановки.

– Подумать только, – говорил мне Алин, – Сулейман Мақышев – председатель нашего Канжигалинского волревкома! Это все равно, что позволить волку пасти отару овец.

Он же рассказывал мне и про Мақыша и его детей. Толеке, отец Мақыша, был беден, а сам Мақыш ухитрился стать настоящим баем. От трех жен у него было девять сыновей, – об одном из них, Есмагамбете, я уже

рассказывал, другой, Сулеймен, стал наследником Мақыша, умершего незадолго до революции.

– Но ведь Есмагамбет и грамотнее и способнее, – возразил я.

– Это верно. Но что для Есмагамбета один аул! Если б не погибла Алаш-Орда, Есмагамбет пошел бы далеко. Ему не повезло, Алаш-Орду разогнали, и тогда он решил примазаться к Советской власти, даже на службу устроился. Но и здесь ему не повезло.

– Да ну? – удивляюсь я. – Как же так?

– Его послали из Петропавловска организовать аульные и волостные ревкомы, и когда его «работа» была почти закончена, приходит вдруг из уездного ревкома извещение о том, что он снят с работы. И теперь Есмагамбет думает, что кто-то скомпрометировал его перед Советской властью.

Я улыбаюсь про себя, но молчу. Ведь Есмагамбета разоблачили я и Баймагамбет. Ведь это я и Баймагамбет, вернувшись в Петропавловск, написали в уездный ревком и уездный комитет партии пространную докладную записку, в которой подробно объяснили, почему такое важное политическое дело, как организация ревкома, нельзя доверять Есмагамбету. Вскоре после этого Есмагамбета уволили. И все-таки я еще расспрашиваю Алина:

– Что ж, разве Есмагамбет не собирается поехать в Петропавловск узнать, почему сняли его с работы? Или хотя бы поискать другую работу?

– Да нет, не собирается, боится, как бы хуже не вышло. Старается не попадаться на глаза. Он теперь в Кустанай уехал.

– Это зачем? – удивился я.

– Хочет поселиться там, где его не знают. Ведь Кустанай – город Тургайской области.

По пути из Анновки я заехал в аул Мақыша. Этот аул, как и аул Альти, был из добротных домов, деревянных сараев и служб и скорее походил на богатый кулацкий хутор. Здесь я познакомился с одним из сыновей Мақыша – Чабданом. Высокий и красивый, Чабдан вместе с батраками, в рабочей одежде, скирдовал сено. Я знал, что до революции он учился в гимназии, но не

сумел окончить последний класс, вернулся в свой аул и занялся хозяйственными делами. Дальше он повез меня на своей подводе и по дороге принялся мне с гордостью рассказывать о том, каким бедным был его дед Толеке и каким тяжким, многолетним трудом добыл свое богатство Мақыш.

– Баи тоже бывают разные, – говорил Чабдан, повертываясь ко мне. – Не все хищники и злодеи. Есть и в самом деле баи жестокие, но есть и щедрые, всегда готовые помочь ближнему в беде. Мой отец сам вырос в нужде, но когда стал богат, разве он отказал кому-нибудь в помощи? Нет человека, которого он не накормил бы, нет человека, который не ездил бы на его коне.

Расхвалив отца, Чабдан принялся ругать своего брата Есмагамбета:

– Он и в детстве был злым, мстительным. В тринадцать лет, рассердившись на отца за то, что он не позволил ему покататься на лошади, он распорол ей живот, – а ведь лошадь-то не простая была, прекрасный призовой скакун. Каким был в детстве, таким и теперь остался. Только еще злее, безрассудней. Мне двадцать пять лет, а я еще не женат. Есмагамбету и тридцати нет, но сколько девушек и чужих жен он уже погубил! Не говоря уже о трех его женах. Отцу немало хлопот и денег стоили его козни. И это еще не конец, он много совершит в своей жизни безумных поступков.

– А ты-то сам что намерен делать? – спросил я.

– Я хочу еще поучиться, чтобы иметь какую-нибудь профессию. Постараюсь быть полезным народу.

Чабдан не солгал. Мне впоследствии говорили, что с начала тридцатых годов он стал работать агрономом в одном отдаленном районе.

Через несколько дней пришлось побывать у председателя Каратальского волостного ревкома Биляла Наурызова. Он тоже был сыном известного в Убаганской долине бая. Его мать приходилась родной сестрой матери Чокана Валиханова, и он был ее единственным сыном. Ему еще было далеко до тридцати, но этот тучный человек с большим кадыком выглядел значительно старше.

Билял был потомственным баем, но, желая завоевать мою симпатию, он принялся устанавливать наше родство.

– Ты производишь от сыйбана, – говорил Билял, – а я от маткая, но у нас общие предки Танаш-бий и Керей. Вы, сыйбаны, одно время считались старшими среди здешних кереев. Есенеи, мой дядя по матери, прогнал отсюда Чингиса Валиханова, отобрав у него власть ага-султана, и сам стал управлять всем кереевским родом. Наверное, ты слышал, что при разборе их дел и тяжб мой дядя Сырым-бий был его правой рукой? Твой дед Есенеи шагу не ступал без моего деда Сырыма. Вместе ездили, вместе дела вершили!

– Зачем ты мне это рассказываешь? – поинтересовался я.

– Затем, чтобы ты знал. У Есенея не было сына, у него была единственная дочь, и когда Торсан хотел на ней жениться и все решили, что дочь кереев нельзя отдавать за сына уаков, мой отец Наурыз первым выступил за ее честь.

– Хватит забавлять меня, – сердито прервал я Биляла, – расскажи-ка лучше, как работаешь.

– Об этом тебе расскажет мой секретарь, – заявил Билял.

...Его секретарь Махмуд Таукин, балагур и шутник, окончил двухклассное училище, позднее работал в прокуратуре. На мои вопросы отвечает шутками, но едва Билял выходит из кабинета, Махмуд возмущенно набрасывается на меня:

– Ты соображаешь что-нибудь? Хочешь, чтобы байский сынок охранял Советскую власть, бедноте помогал? Лучше бы помог убрать его поскорее да настоящего человека поставить на это место. Я сам дам такие факты, что Билялу мало будет шею свернуть.

Из Каратала я отправился в Пресногорьковскую волость. Здесь председателем волревкома был бай Есекей Мантиев. Жирный, рябой и толстогубый, с реденькой и короткой бородой, он принялся разыгрывать передо мною угнетенного:

– Нашу волость населяют четыре ответвления рода уак: баржаксынцы, шайгозцы, нурайцы и нитайцы.

Сначала над всеми хозяйничали Ерменовы, потом Тлемисовы, и тогда мы, простой народ, пикнуть не смели, нам не принадлежали ни наше имущество, ни скот, ни жены, ни дочери. А теперь, при Советской власти, меня, как тихого и скромного бая, назначили управлять народом. Стараюсь служить Советской власти по мере своих сил.

Присмотревшись к его делам, я увидел, что никакой работы, понятно, не было. Мантиев просто ездил по аулам, угощаясь мясом, а если и возникали какие-нибудь споры, то он прибегал к помощи биев и аткаминеров.

В памяти у меня сохранился случай, характерный для того времени. Один из молодых жигитов этой волости, Казый Есеналин, приехал в ревком с любимой девушкой для оформления брака. Есекей Мантиев, председатель ревкома, объявил ему, что девушка давно сосватана уважаемым человеком, который заплатил за нее калым. Зарегистрировать брак он решительно отказался, а Есеналину предложил возвратить девушку. Казый и его невеста пытались было объяснить Мантиеву советские законы, но он коротко и выразительно попросил молодых убраться из ревкома вместе со всеми их объяснениями.

Пришлось вмешаться мне, однако Есекей и меня отказался слушать. Тогда я написал в уездный ревком. Есекей испугался, стал умолять меня, чтобы я не отправлял жалобу, и наконец зарегистрировал брак влюбленных.

Когда слух об этом случае дошел до аулов, то ревком наводнили девушки, требуя расторжений аксакальских помолвок. Есекей не знал, что и делать: он и баев боялся, и меня. И когда через несколько дней я уехал, Есекей вдогонку послал мне проклятье, чтобы я больше сюда не возвращался.

Председателем Анастасьевского волкома был Казый Байгожин, племянник крупного бая Нургожи. Акын Шагирай, известный остролов, так сказал об этой фамилии:

Ваш отец Курумбай – богатея,
Девять он взрастил сыновей.

Девять есть у отца удач:
Каждый сын – весь в отца – богач!

Все девять сыновей Курумбая и в самом деле были крупнейшими богачами округа, имели тысячные табуны лошадей и отары овец, жили каждый отдельным аулом. В течение нескольких десятков лет эта семья правила волостью, сохранила она ее управление за собой и теперь, при Советской власти. И Казый, отпрыск Курумбая, прозванный в народе «хитрым Казыем», молодой, грамотный человек, стал председателем волревкома.

Хитрый Казый, желая мне понравиться, ругал и порочил Ахмета Жанталипа, судью, который в это время находился в его ауле.

– Странно, что Ахмета назначили судьей, – говорил Казый. – Что он делает? Скотом торгует. Все дела решает за него аксакальский суд, сам то и дело гостит у баев.

Я прекрасно знал, какой пройдоха этот Жанталин, уже не говоря о том, что он был крупным баем и почетным аксакалом Алаш-Орды. Но, с другой стороны, особенно удивляться не приходилось. Вот уже сколько ревкомов я объездил, а картина не менялась. Словом, Есмагамбет потрудился на славу!

Из Анастасьевки я заехал в Пресновку. Здесь председателем волревкома был сын известного миллионера Альти – Сейтак Кокенов. И он тоже всеми силами желал подчеркнуть свое родство со мною.

– Ты знаешь, а ведь мы с тобой близкие родственники, – говорил он, – я сам узнал об этом недавно!

– В самом деле? – спрашивал я, думая про себя: «Какое же родство установит сейчас Кокенов?»

– У тебя ведь есть дядя по матери – Есенгали?

– Есть, – согласился я.

– Так вот, его отца звали Шокаманом, а деда Жарылгасом. Ну, а мать моего отца – дочь Жарылгаса. Теперь ты понял?

– Вот как? – усмехнулся я. – А ведь Есенгали очень беден – как же вы, его богатая родня, ни разу не помогли ему?

Больше нам не о чем было разговаривать, все было понятно и так. К тому же мне надо было побывать еще

в нескольких ревкомах, чтобы иметь о них ясное представление.

В Таузарской волости я встретил на месте председателя бая Бримжана Хусаинова. Дед его Сапы был батраком, и у него было четыре сына – Хусаин, Мусаин, Рамазан и Иса. Все они стали крупными баями и считали несмываемым позором, что отец их когда-то батрачил и его убили в какой-то драке. Поэтому они всегда сердились, когда кто-нибудь напоминал им об их происхождении. Но, как видно, настали другие времена. Теперь сын этого Хусаина с гордостью объявил мне, что дед его Сапы действительно был батраком.

– Прежде вы другое говорили, – заметил я.

– Тогда была власть баев. Тогда каждый бедняк хотел доказать, что он сын бая, а теперь всякий гордится отцом-бедняком. «Пришел осенний туман – пора надевать чапан».

Впрочем, все они действовали по только что высказанной пословице Бримжана. И Беке Жукенов, председатель Смаильского волревкома, и Нугман Кабылов, председатель волревкома в Андагуле, – все вдруг оказались если не моими родственниками, то, во всяком случае, родственниками своих бедных дедушек, двоюродных братьев и сестер. И у всех в роду были обездоленные, которым они, по нынешним их утверждениям, помогали, как только могли.

Шаймолда Каракотов, сын крупного бая, даже стихотворение мне прочитал; это стихотворение сочинил один акын про его отца, и я знал его наизусть, но мне хотелось услышать, как будет притворяться эта лиса.

– Раньше мы стыдились песни акына, – говорил Шаймолда, – но теперь чего стыдиться! Теперь к власти пришла беднота. Уж не помню певца, сочинившего ее. Мой отец был тогда полновластным правителем волости. Однажды на большом празднике подходит акын к отцу и просит денег. Отец был скупым человеком и велел акыну убираться с его глаз. Умный акын не растерялся и здесь же сочинил и пропел несню:

Баем был Акмырза, баем был и Орман.
Бектембай, словно крепость, недоступен для нас,
В Жаназаре нельзя обнаружить изъян,
Многих он в эти годы от гибели спас,
Но от новых ударов судьбы не спасет
Твой отец уважаемый, наш Каракот.

– Этим он хотел унизить моего отца, – продолжал объяснять Шаймолда. – Ведь Каракот пас стада русского купца, был беден, а мой отец у этого же купца служил приказчиком, ну и разбогател. Правда, он был и волостным управителем, но не всегда. Об этом есть другой стих:

Тебя на новых выборах никто уж не вознес:
Ведь ты, известно каждому, злой и спесивый пес.

...Так я побывал в десяти волостях Петропавловского уезда. Ревкомы были созданы в казахских волостях только в этом году, и, как я убедился, в них было сплошное байское засилье.

В Петропавловск я приехал вечером, а утром отправился в уездный ревком.

Гозак терпеливо выслушал мой рассказ и предложил мне обо всем этом написать на казахском языке. Гозак хотел весь этот материал перевести на русский язык.

Пока переводилась моя докладная записка, вернулся в Петропавловск и Баймагамбет Зтулин. В тех аулах и волостях, где побывал он, было такое же положение, и, когда Баймагамбет прочитал мою докладную записку, он сказал, что если переменить имена и названия аулов, получится другая докладная записка – Баймагамбета.

– Что ж, так оно и должно быть, – сказал Гозак. – Баи так просто не уйдут, они тоже будут бороться, надеясь захватить власть и победить. Конечно, это они сделать не смогут. Баев немного, нас – целая армия.

– Это верно, – согласился Баймагамбет, – но массы еще очень несознательны.

– В один день не сделаешь массы сознательными. Здесь нужна помощь самих казахов-трудящихся.

МЯТЕЖ

КАЛИНИН В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ

Как оживился глубокой осенью 1920 года наш город! Из конца в конец распространялась весть, взволновавшая всех.

- Слышали? Большая новость, хорошая новость!
- Так не томите, рассказывайте!
- Не загадывайте загадок!
- Говорят, приезжает всероссийский староста.
- Михаил Иванович Калинин? Да ну?
- А вы знаете, почему председателя ВЦИКа называют старостой?

И недавний аульный житель с удовольствием объяснял другому, что староста по-русски – это старший выборный начальник, и в этих словах – «всероссийский староста» – заключалась дань народного уважения одному из самых любимых руководителей трудящихся.

Это имя было дорого казахскому народу еще и потому, что не так давно появился на страницах печати декрет, подписанный Лениным и Калининым, об образовании Казахской автономной республики.

Правда, в том, 1920 году казахская территория составляла еще три административные единицы: Джетысуйская и Сырдарьинская области входили в Туркестанскую республику, Акмолинская и Семипалатинская – в Западную Сибирь, и только оставшаяся часть принадлежала Казахской автономии. Но все хорошо знали, что в самом скором будущем эти области объединятся в одно целое, что и осуществилось в 1925 году.

С образованием Казахской республики создавались все необходимые условия для политического, экономического и культурного роста народа.

Вот почему трудящиеся казахи от души были благодарны тем, кто открыл им дорогу к счастью. Они любили Ленина и Калинина, мечтали их видеть. И одна заветная мечта исполнилась – Михаил Иванович приехал.

Очень скоро жители Петропавловска узнали, что вагон Михаила Ивановича уже находится на станции.

– Интересно, по какому же делу он прибыл?

Но тут даже самые осведомленные из моих земляков могли только догадываться и строить глубокомысленные предложения.

– Да-а-а! По пустякам глава всей Советской власти не станет ездить. У него в Петропавловске и по всей Асмолинской области государственные дела.

– Погодите, все скоро узнаем.

Стало известно, что в помещении театра состоится общегородское партийное собрание. Вот там, думал я, и увижу всероссийского старосту.

А пока я с жадностью слушал рассказы старших товарищей об удивительной судьбе бедного тверского крестьянина и путиловского рабочего, ставшего одним из самых видных революционеров-большевиков.

В то время, в 1920 году, Михаилу Ивановичу Калинину было сорок пять лет.

У него в Петропавловске был один старый знакомый, начальник уездной милиции Мукатай Жанибеков, больше известный под кличкой Угар.

Родом из Каркаралинска, потомственный бедняк, Угар юношей в поисках работы попал на Ленские золотые прииски и стал горняком. Кто не знает о Ленских событиях в апреле 1912 года... Но мало кому известно, что Угар, Мукатай Жанибеков, был одним из активных участников этой знаменитой забастовки, жестоко подавленной царскими жандармами. Он был приговорен к пожизненной каторге, но бежал оттуда. Снова схваченный жандармами в Екатеринбурге, нынешнем Свердловске, он сидел в одной из этапных тюрем в камере с Михаилом Ивановичем.

Все это я припомнил в день приезда Калинина. Я немедленно отправился к Угару, рассчитывая, что уж кто-кто, а он поможет мне увидеть всероссийского

старосту. Нетерпение, как всегда, овладело мной. И на этот раз мне сопутствовала удача.

Начальник уездной милиции поглядел на меня с доброй усмешкой.

– Что, Сабит, пораньше хочется увидеть товарища Калинина? Понимаю, понимаю! Кажется, я могу помочь твоему горю. Охрана вагона поручена коммунистам, и я составляю списки. Могу внести и тебя. Приходи сюда к концу занятий.

И вот спустя несколько часов я уже был в укоме и вместе с другими товарищами на грузовике отправился на вокзал.

В глубине железнодорожного тупика, там, где к северу от линии росли густые кусты тальника, защищавшего пути в бураны и заносы, стоял правительственный поезд. Уже сгустились сумерки, и на столбах вокруг площадки вспыхнули электрические фонари.

В деревянной будке мы нашли начальника штаба караула, принявшего нас и отпустившего прежнюю смену.

Я и мой напарник похаживаем с винтовками наперевес навстречу друг другу вдоль коричнево-красноватых классных вагонов.

Проходит час, два, три. Свет электрического фонаря резко подчеркивает сгустившийся вокруг ночной мрак. Был уже ноябрь – начало суровой сибирской зимы. Как и обычно в это время, с упрямой и жестокой силой дул холодный ветер. Днем падал редкий снег, сейчас земля затвердела. Вскоре после того, как мы стали на караул, снег пошел снова. Сначала кружились его редкие хлопья, потом поднялась метель. Но мы почему-то не мерзли, хотя и одеты были довольно легко. Волнение согревало нас, сознание того, что рядом с нами, в этой полуночной вокзальной тишине за освещенным вагонным окном сидит Михаил Иванович Калинин. Так хочется его увидеть, и от этого желания становится теплее.

Неожиданно из среднего вагона вышли трое. Мое сердце гулко застучало. Я вытянулся, приставив винтовку к ноге. Взглянул мельком на своего напарника – он тоже стоял не шелохнувшись.

Вышедшие из вагона направлялись прямо в мою сторону. Они были в коротких полушубках и шапках-ушанках. Не знаю, кто были крайние двое, но в идущем

посередине я сразу узнал Калинина, которого нередко видал на портретах.

Поздоровавшись, они прошли дальше. Послышался гудок машины, из темноты блеснули лучи автомобильных фар. Один из троих попрощался и быстро зашагал к автомобилю, двое оставшихся, в том числе и Калинин, повернули обратно к вагонам. Прислушался к их разговору, донеслись какие-то малозначащие слова о метели, о ветре.

Я выпрямился и замер по стойке «смирно». Они поравнялись со мной.

– Привет, молодой жигит!– проговорил Михаил Иванович.

От растерянности я даже не сумел ответить как следует на приветствие.

– Что, озяб?

– Нет, товарищ Калинин,– с трудом произнес я чуть дрогнувшим голосом.

Он продолжал расспрашивать, давно ли я стою на посту, кто я по национальности, как меня зовут. Я отвечал односложно, волнуясь, как на экзамене.

– Ну, очень хорошо!– Калинин улыбнулся и, вероятно, не считая удобным долго беседовать со стоящим в карауле, сделал несколько шагов к вагону, но неожиданно возвратился:– Чай заходи к нам пить.

Я так оторопел, что мало-мальски пришел в себя только спустя несколько минут, когда Калинин уже скрылся в своем вагоне. Мне запомнились его широкие плечи, рабочая сутуловатость и быстрая походка. Портреты были очень похожи на него, но они не могли передать доступность и скромность Михаила Ивановича, и мягкий его голос, и блеск умных, внимательных глаз.

Из раздумья меня вывели вопросы моего командира, сразу же прибежавшего ко мне.

– Ну как? Что он тебе сказал?

Я не успел толком ответить, как из вагона вышел спутник Михаила Ивановича и повторил его приглашение.

– Спасибо,– поблагодарил я,– но мне же нельзя идти.

– Вас товарищ Калинин просит.

– Иди, иди!– разрешил мне командир.

Я передал винтовку другому товарищу и пошел за спутником Калинина, уже пожилым человеком, оказавшимся, как я тут же узнал, помощником всероссийского старосты.

Мне случалось до этого видеть только обычные пассажирские вагоны, о существовании мягких я знал понаслышке, а вот о салон-вагоне и понятия не имел.

Калинин приехал именно в салон-вагоне. Любой человек, не подозревавший, что есть на свете такие вагоны, попав в него, удивился бы его богатому убранству. Удивился и я. Ковровые дорожки, окна и двери, занавешенные бархатными голубыми шторами, стены, обтянутые, кажется, бордовой кожей, ярко начищенная медь дверных ручек...

– Сюда, сюда проходите, – сказал помощник, и я оказался в большом купе с мягкой мебелью и большим столом уже готовым для чаепития.

На маленьком столике стояли шахматы и несколько книг, на диване я увидел балалайку и многоядную гармонию. В углублении на стене – портрет Ленина.

Помощник предложил мне сесть, но я продолжал стоять, осматриваясь кругом. В эту минуту из другой двери вошел Калинин, взял меня за руку, пожал ее и улыбнулся.

– Здесь же не холодно, что вы в пальто стоите? – И, уже обращаясь к помощнику, добавил: – Ну, помогите же ему и скажите, чтоб поторопились с ужином:

Я оставил пальто и шапку в коридоре и вернулся к Михаилу Ивановичу. Он сидел на диване.

– Устраивайтесь поудобнее, – он показал на место рядом с собой.

Мою недавнюю робость как ветром сдуло.

– Среди русских приходилось жить? – спросил меня Михаил Иванович.

И я рассказал, как в годы детства работал пастушонком в русских поселках.

– Смотри-ка! Значит, и обычаи русские знаешь?

– Немного знаю...

– А например?

Я рассказывал, спотыкаясь на многих словах, сначала, должно быть, весело, потому что в глазах Михаила Ивановича мелькали смешливые огоньки, а

потом увлекся и стал вслух вспоминать горькую свою жизнь, описывать родные аулы.

Михаил Иванович осторожно расспрашивал меня о классовой борьбе в аулах, о положении бедноты.

Разговор затянулся.

– Может, о другом поговорим? – предложил Михаил Иванович.

Мне показалось, он решил переменить тему потому, что я в слишком мрачных красках рассказывал о жизни тогдашнего казахского аула. Я полагал, что Калинин пригласил меня не просто на чашку чая, а хотел подробнее расспросить о жите-бытье. Разумеется, он и без меня был хорошо осведомлен обо всем, тем более что он не только беседовал с руководителями уезда, но успел побывать сегодня в ближайших аулах и поселках. Положение было действительно тяжелым: после двух войн и засухи и наших краев коснулось дыхание голода, товаров и продуктов не было, народу приходилось терпеть большие лишения. Михаил Иванович понимал, что и мне тяжело обо всем этом говорить.

Приметив, очевидно, что я часто оглядываюсь на балалайку и гармони, он спросил:

– А русская музыка тебе нравится?

Я с восхищением отозвался о ней и особенно хвалил гармони.

– И играть умеешь?

– Немножко, совсем немножко... Плохо...

И все-таки Михаил Иванович упросил меня сыграть на гармонии. Я мог играть только на ладах правой стороны, да и то лишь на одном ряду. Искусство вторить на басах мне тогда не давалось. Медленно играя на правых ладах, я исполнял знакомые казахские песни. А из русских мелодий мне были доступны «Саратовские частушки», «Златые горы» и «Камаринская». Своей гармонией у меня не было, и играл я, скажу откровенно, действительно плохо.

Михаил Иванович слушал меня внимательно и искренне смеялся. Конечно, моя игра показалась ему забавной. А казахские песни он, должно быть, слышал впервые от меня. И хотя я не бог весть какой мастер и голос мой не отличается, звучностью, но казахские песни я напевал довольно хорошо, и они понравились

Калинину. Хвалили песни и его спутники, собравшиеся к тому времени в большом купе.

– Занятный ты, молодой человек! – сказал Калинин. – Наверно, мог бы стать артистом.

– Я писателем хочу стать, – высказал я свое заветное желание и попробовал объяснить, как оно возникло: – Я много стихов уже написал.

Михаил Иванович тогда стал расспрашивать меня о моих знаниях, об учебе.

– Надо учиться, обязательно надо учиться, – внушал он мне, убедившись, что со школой и курсами мне не очень везло. И тут же предложил поступить на рабфак. – Если есть желание, это можно скоро устроить.

– Хорошо, я посоветуюсь в уюме.

Ему понравился этот мой ответ.

– Хорошая черта – советоваться с партией! Завтра я скажу о тебе товарищу Соколову. Надо уже теперь готовиться к будущему учебному году.

За ужином и чаем Михаил Иванович продолжал расспрашивать меня о быте и обычаях казахов. Я даже сумел передать ему содержание нескольких казахских сказок.

Когда я попрощался с Михаилом Ивановичем и вышел из вагона, радость не вмещалась в моем сердце. Да и как мне было не радоваться, если я, совсем молодой коммунист, вчерашний подпасок и батрак, разговаривал со всероссийским старостой, главой Советской власти!

Мне самому стало необыкновенно ясно, что только теперь, при Советской власти, к таким людям, как я, относятся внимательно, тепло, чутко. Я понял, как говорится, сердцем великий смысл простого и душевного слова «товарищ», пришедшего в наши края с Октябрем. Михаил Иванович, несмотря на высокое положение, и теплым своим обращением, и характером настоящий товарищ! Мне товарищ, всем моим землякам, всем простым людям товарищ!

Партийное собрание открылось на следующий день, в семь часов вечера.

Улицы, прилегающие к театру, и площадь были забиты народом. Все население уездного города знало о приезде Калинина и его предстоящем выступлении.

Конвой кавалеристов с большим трудом прокладывал дорогу машине, в которой ехал Михаил Иванович. Раздавались рукоплескания и приветствия, – по ним и можно было догадаться, где следовал автомобиль всероссийского старосты.

Снова повидать Михаила Ивановича на улице мне не удалось. Я торопился скорее попасть в театр, чтобы занять место ближе к сцене. Там было так тесно на этот раз, что не то что яблоку – иголке негде было упасть.

И вот собрание началось. Председательствующий предоставил слово всероссийскому старосте. Под бурные овации он быстро взобрался на трибуну с легкой, как мне показалось, даже смущенной улыбкой и несколько мгновений стоял, поглаживая волосы, словно в раздумье, с чего бы начать свою речь.

Калинин как-то говорил о себе, что он «не оратор». Но это было сказано только от большой человеческой скромности. Конечно, если называть оратором человека, способного выбрасывать слова со скоростью пулеметных очередей, то в этом смысле Калинин действительно не был краеноречив. Но если считать подлинным красноречием умение находить весомые слова, идущие от глубины ума и чувств, слова, полные зрелых мыслей, логики, ясности и простоты, слова доходчивые, душевные и самые обыденные, то Михаил Иванович был настоящим оратором. Важные и сложные государственные задачи он излагал так доступно и образно, что они становились понятными даже самым неграмотным слушателям.

Такой была его речь и в Петропавловском театре.

Михаил Иванович говорил о хлебе. Он передавал акмолинцам привет от рабочего класса Москвы и Питера и просьбу их помочь продовольствием.

Он говорил:

– Разве каждый лишний пуд собранного вами хлеба не отзовется в Москве, не отзовется на мировом положении пролетариата?

Михаил Иванович объяснял всем нам смысл коммунистического строительства. Помню, он неожиданно заговорил о садах и рощах:

– Вот, например, здесь, в нашей степной стороне, пески заносят дома. Если вы постройте детский приют,

обсадите его березками, разобьете сад – разве это не громкое коммунистическое дело!

И снова возвращался к хлебу.

Меткие сравнения и даже шутки только помогали всем нам понять важность и остроту задачи. Калинин не скрывал, что одной области, с населением меньше пятисот тысяч, нелегко обеспечить продовольствием два города в центре России, два города, которые и тогда насчитывали вместе шесть миллионов жителей.

– Ну, а если нелегко, что же делать? Разве можно оставить без помощи две столицы, испытывающие трудности в продовольствии в результате только что закончившейся войны и засухи последних лет? И только ли эти два города испытывают нужду в хлебе?.. Не такое ли положение во всей внутренней России? Голод, а за ним смерть раскрыли свою пасть, надо победить и этих врагов республики.

...Один за другим выходили на трибуну коммунисты и говорили о необходимости выполнить эту боевую задачу.

Собрание единодушно приняло решение: в течение трех месяцев доставить в Москву и Петроград из Акмолинской области три миллиона пудов хлеба и сорок три тысячи голов скота.

Слова всероссийского старосты запали каждому в сердце. Надо было приниматься за большую и трудную работу.

ТРЕВОЖНЫЕ ВЕСТИ

Продразверстка была завершена Пресногорьковским райпродкомом к началу января 1921 года, и об этом немедленно сообщили по телеграфу В. И. Ленину.

Я был одним из тех пяти счастливых, которые подписали этот рапорт, и после того, как мы его отправили, мне казалось, будто я сам, своими глазами, видел Ленина и говорил с ним.

Все-таки с продразверсткой нам пришлось трудно. Выполнялась она гораздо ниже плана. Я помню, как комиссар Пресногорьковского райпродкома Дерявин созвал совещание, на котором собрались коммунисты,

местная сочувствующая интеллигенция и комсомольцы.

Акмолинская область обещала товарищу Калинин у собрать три миллиона пудов зерна. Четвертую часть этого хлеба должен был сдать наш Пресногорьковский райпродком. Ленину комиссар нашего райпродкома обещал выполнить продразверстку к 10 января.

Между тем сбор продовольствия в русских селах, где основное население занимается преимущественно хлебопашеством, проходил гораздо труднее, чем в казахских аулах. Кулаки в селах и станицах отказывались молотить оставленный на зиму в скирдах хлеб, и продотряды нередко молотили хлеб сами. Обмолоченный хлеб кулаки скрывали, и обнаружить его было не так легко.

Казахи в те времена сеяли очень мало. Поэтому они вместо хлеба сдавали мясо, кожу и шерсть, и здесь дело обстояло гораздо проще. И тем не менее всю тяжесть продразверстки в ауле несли бедняки, потому что председателями волостных ревкомов были почти сплошь баи.

Совещание мобилизовало коммунистов, комсомольцев и беспартийных из сел и аулов для выполнения плана продразверстки. Было организовано несколько продотрядов. Поехал и я, возглавляя продотряд, в казахские волости. В составе других отрядов поехали учащиеся последнего класса Пресногорьковского училища: Хажигали Косаев, будущий известный писатель Габит Мусрепов и Казый Есеналин.

В те времена в подавляющем большинстве казахских аулов еще не было партийных ячеек. Коммунисты насчитывались единицами, чаще всего они были детьми бедняков, связанных с русскими поселками. Но и в аулах было немало бедноты, горячо поддерживающей Советскую власть, и мы решили из этой части населения организовать комитеты содействия. Это нам очень помогло: легче было распознавать хитроумные байские и кулацкие уловки, и находить тщательно запрятанные продукты.

Сельские кулаки, чтобы пшеница не попала в руки государства, отдавали ее бедным крестьянам – гнать самогон; казахские баи милостиво отдавали бедноте во

временное пользование лошадей и молочный скот. Даже самые скупые баи так расщедрились, что раздавали «в долг» направо и налево большую часть своего скота. Уж на что Рамазан Тырнауков из Смаильской волости славился как скряга – теперь и он неожиданно так расщедрился, что роздал во временное пользование чуть не весь свой скот. А ведь прежде Рамазан, владелец пятисот лошадей, тысячи овец, пятидесяти верблюдов, сотни голов рогатого скота, отказывал даже в традиционном казахском гостеприимстве, если только не боялся гостя, которого принимал у себя. Он был скуп и в своей семье. Чай круглый год пили с куртом, приберегая хлеб, варили не бешбармак, а похлебку, надевали зимою одежды, сшитые из невыделанных шкур. Даже дочери-невесты ходили в домотканых халатах. Кроме дешевого ситца, они никогда ничего не покупали. Шелковых и бархатных платьев девушки в семье Рамазана не носили, – а ведь это была обычная одежда девушек в зажиточных семействах. Ко всему прочему Рамазан и его домашние были такими нечистоплотными, что не всякий проезжий отваживался есть из их посуды и спать в их юрте. Так всю жизнь и прожил Рамазан скрягой, копил неизвестно зачем богатство и вот теперь принялся торопливо спасать свое добро.

Баи ухитрялись и по-другому прятать скот. Между Пресновкой и Узунколем протянулась широкая степь, служившая прежде летовкой для нескольких волостей. Здесь, на безлесной равнине, встречается много больших и малых, заросших камышами озер. Среди них самые обширные: Улкен Шошкалы – Большое Кабанье и Киши Шошкалы – Малое Кабанье. Скошенный озерный камыш и прежде служил прекрасным кормом для скота.

Около Большого Кабаньего озера лет за десять до революции был создан коневодческий завод военного ведомства. Там разводили племенных жеребцов для табунов казачьих станиц.

И вот мы узнали от участников организованных нами комитетов содействия, что несколько баев скосили сено у Кабаньих озер, пригнали туда свой скот и оставили его на зимовку. Получив такую весть, мы

нагрянули на эти загоны и конфисковали около пятисот голов крупного скота.

Подобные случаи бывали и в русских поселках.

В нашем краю часто попадаются курганы, представляющие собой братские могилы или бывшие караульные вышки, насыпанные еще со времени войн. В двадцати пяти верстах от станицы Пресногорьковки насыпан высокий Сары оба – Желтый курган, весь изрытый волчьими и лисьими порами. В этих-то звериных норах кулаки окрестных сел и станиц прятали хлеб. Трудно было обнаружить столь хитро скрытое продовольствие, но взять то, что не пряталось, было еще труднее, потому что баи и кулаки сопротивлялись всеми силами, вступая в драки. И дрались не поодиночке, а целыми шайками, иногда одолевая работников продотряда. Кулацкое сопротивление было столь жестоким, что многие продотрядовцы гибли в этих стычках.

С докладом райпродкома о выполнении плана на 1920 год я поехал в уком и упродком Петропавловска. По дороге мне пришлось побывать в ауле Балтабай, где в недалеком прошлом я работал учителем. Там я застал моего двоюродного брата Мырзагазы – сына Нуртазы. Он гостил у Тайжана – родни своей жены.

– Не поедешь ли в родной аул? – спросил Мырзагазы. – Хоть ты и торопишься, все-таки надо заехать, побыть немного среди близких. Умрешь – тогда и отдохнешь. Куда торопиться? – уговаривал Мырзагазы.

Но мне и в самом деле было некогда.

– Спасибо. Дела не позволяют, понимаешь, – дела.

– Может быть, ты все еще обижаешься? Помнишь, прошлой осенью, уезжая из аула, ты поссорился с моим стариком.

– Какая там обида! Я давным-давно забыл.

– Это хорошо, что не обиделся на старика. Плох он или хорош, бай или бедняк, но он твой дядя, и от него тебе нельзя отречься. Старый человек и мудр, и наивен. Я думал, ты очень сердисься, но теперь – хочешь не хочешь – я увезу тебя в аул. Кошевка у меня просторная, лошадь сытая. Погостишь немного, а уж потом поезжай, куда хочешь.

Я решительно отказывался, Мырзагазы продолжал уговаривать:

– Послушай, Сабит, ведь мы всегда были с тобой друзьями. Ты теперь представитель власти и уже два раза шел против моего отца. Но даже тогда, когда ты посадил отца под стражу, разве я вмешивался? Разве я сказал тебе что-нибудь, разве попросил освободить отца ради нашей дружбы или ради нашего родства? Нет, не было этого. Ты думаешь, не жалко было мне отца? Мне было тяжело так же, как и ему, когда он сидел под арестом. Но ведь я не имею ни капли злобы против тебя! Мой отец – старый, опытный человек, ты – только начинаешь жить. Но если даже отец будет в чем-нибудь прав, разве ты его слушаешь? Не слушаешь, Сабит, потому что ты молод, у тебя свои убеждения. И еще потому, что наступили другие времена. Я не хочу идти против твоего счастья, я только хочу тебя предостеречь.

– Не понимаю тебя, – все больше удивлялся я его пространной речи, – к чему ты все это мне говоришь?

– Я хочу тебя предостеречь, – еще раз повторил Мырзагазы и заговорил откровеннее: – Советская власть крепко прижала баев и кулаков. Мне кажется, назревают события. Хозяева в аулах и селах не будут долго терпеть притеснения. Не сегодня-завтра поднимется мятеж, как бы не пришлось тебе опохмеляться на чужом пиру!

– Ну что ж, нам не в первый раз! – возразил я. – Они все время бунтуют. Найдется и у нас для них аркан.

И в тот же день я уехал, попрощавшись с Мырзагазы. Дорогой я задумался над тем, что он говорил мне, и в его словах мне вдруг ясно почудился какой-то затаенный сигнал. Может быть, Мырзагазы, не желая мне прямо рассказать обо всем, что уже было ему известно, постарался все-таки предупредить меня, предостеречь от надвигающейся опасности? Сомнение стало понемногу закрадываться мне в душу, тем более что дорожные мои впечатления были не очень приятными.

Баи, еще минувшим летом встречавшие нас подобо-бострастными поклонами, щедро угощавшие нас мясом, теперь отворачивались и даже не желали здороваться. В русских селах с подводами получалось совсем плохо. В каждом ауле и селе выделялись

нарядчики – люди, которые должны были всегда иметь наготове несколько подвод. Однако на проверку оказывалось, что ни в аулах, ни в селах не только что готовой подводы, но и самого нарядчика трудно найти.

Но если и удавалось достать подводу, то что это была за подвода! Еле держится, того и гляди развалится, а кляча еле ноги передвигает. Вокруг глубокий снег, бездорожье. Кляча еле тянет сани, а подводчик и пассажир, проваливаясь в сугробы, плетутся сзади.

В тот год зима выдалась особенно суровой. На мне были полушубок и суконный шлем, солдатские ботинки с портянками из мешковины, и я не очень мерз – выручали молодость и привычка к холодным степным ветрам. Да и не один я был одет так легко, всем приходилось трудно.

Между аулами Орымбай и Майкот я встретил Мухаммеджана Айтпенова – высокого смуглого юношу. Он ехал на подводе бая Балапана Мешитбаева навстречу мне. Мы узнали друг друга. И он был одет так же легко, как и я, – в солдатской шинели, шлеме и валенках.

Впервые я встретил Мухаммеджана в 1919 году, в Омске. Его отец, Мукан Айтпенов, сочувствовал большевикам, но сам никогда не был революционером. Но колчаковцы почему-то были уверены в том, что Айтпенов большевик, и ему часто приходилось сидеть в тюрьме. В Омске в ноябре 1919 года, в год установления Советской власти, восемнадцатилетний Мухаммеджан стал комсомольцем. Его и направили в пресновский продотряд. Так мы и повстречались снова. Мы обнялись, и я почувствовал, как он весь дрожал от холода. Рядом с ним стоял огромный, толстый Балапан в казанских валенках, в волчьем тулупе и лисьем малахае с желтым бархатным верхом. Меня взволновала эта картина.

– А ну снимай свой тулуп! – заорал я на Балапана.

Балапан, думая, что я шучу, только с удивлением таращил на меня глаза.

– Ну, кому я говорю! – закричал я еще громче. – Снимай, живо! – И, выхватив револьвер, сунул его чуть ли не в нос этой жирной свинье.

Мухаммеджан смутился.

– Не надо, оставь, – попросил он меня.

– Этих зверей учить надо!– все еще злясь, говорил я.– Глотка воды не дадут даром!

Балапан между тем снял тулуп, и мы увидели, что на нем еще лисья шуба, подпоясанная красным шелковым кушаком.

Так я одел совсем продрогшего Мухаммеджана.

Этот Балапан был порядочным негодяем. Осенью 1919 года здесь произошли жестокие бои между красными и белыми. Два красноармейца, попав в окружение, пытались скрыться в ауле Балапана, но Балапан, как рассказывали, убил и того и другого.

Сейчас, в пылу гнева, я припомнил ему этот зверский поступок. Перепугавшись, он клялся аллахом, что никогда никого не убивал, однако в глубине его глаз прятались ненависть и злоба. Если б он мог, он здесь же, своими руками, с наслаждением задушил бы нас. И я это прекрасно знал. Забегая вперед, скажу, что, месяц спустя после нашей встречи, во время байско-кулацкого мятежа, он поймал Мухаммеджана и, привязав его к хвосту лошади, пустил ее вскачь в открытую степь. Так Мухаммеджан был замучен насмерть. Но сейчас мы, конечно, и не предполагали того, что нас ожидало впереди. Отослав Балапана подальше, мы говорили о своих делах, о том, что Пресногорьковка уже завершила продрозверстку, и о том, что баи и кулаки, конечно, просто так не уступят.

Так мы и расстались, отведя душу в короткой дружеской беседе на степной дороге, ничего не зная о нашем будущем.

Завернув в Пласкеу, я узнал еще одну неприятную весть от Андрея Жаркова, заместителя Явленского райпродкомиссара. Он мне сообщил, что арестовали Жакыпа Кыстаубаева, поверив ложным доносам, будто он бесчинствовал и избивал людей, отбивал и присваивал ценности. Баи засыпали петропавловские суды жалобами на Кыстаубаева.

– Все это чушь!– горячо сказал Андрей.– Я знаю Жакыпа как честнейшего коммуниста. На днях я поеду в Петропавловск, думаю, что там смогут разобраться, кто прав, кто виноват.

Все труднее становилось доставать подводы. По дороге я встретил Баймагамбета Зтулина, возвращав-

шегося из командировки в волости Приишимья, и мы поехали вместе.

Под вечер приехали в Арханское и уже за полночь достали с огромными трудностями подводу, чтоб завершить наш путь.

Вез нас какой-то дед. Лошадь у него была исправная, но очень ленивая, шагу не делала без кнута. Деду мы представились учителями. Старик осторожно принялся разузнавать наше отношение к Советской власти и происходящим вокруг событиям. Зтулин быстро завоевал доверие старика, вовсю пытаюсь расписать свое возмущение новыми порядками.

Дед был страшно озлоблен. Разоткровенничавшись, он грозил коммунистам и Советам. Дед был сторонником того, что коммунистов нужно просто уничтожить.

Пожалуй, прав был Мырзагазы. Что-то должно произойти!

Усиливался буран!

КОММУНАРЫ

В Петропавловске Баймагамбет и я поселились в двухкомнатном деревянном домике Саду Жакатова. С его радушной и простой семьей мы познакомились еще прошлым летом, когда учились на курсах. И сам черноусый Саду, худощавый высокий человек лет под пятьдесят, и его жена Гарифа, и сынок, двенадцатилетний мальчуган, по-родственному приветливо относились к нам.

У Саду были лошадь и пролетка. Заработка легкового извозчика хватало на харчи, и большой нужды семья не испытывала.

Расспросив у меня и Баймагамбета о жизни аулов, в которых мы побывали, добрый Саду вздохнул и покачал головой.

– Да, милые, время становится трудным. Довелось и мне слышать от побывавших в Токушах и за Ишимом, что там вспыхивают мятежи. Беспокойные дни наступят. Одному богу известно, чем все это кончится.

Не в первый раз мы слышали такие слова. Тревожно становилось на душе.

Утром, договорившись встретиться в уездном ревкоме, Баймагамбет и я разошлись по своим делам.

В ревкоме я не застал ни Гозака, ни других ответственных товарищей. Баймагамбет тоже не пришел к сроку. Задаю вопрос одному, другому – толком никто ничего не знает. Отправились, говорят, куда-то в штаб, а зачем отправились, неизвестно. Забежал в упродком – и там такая же картина. Только в укоме партии знакомый мне работник сельскохозяйственного отдела Эдуард Лещинский, узнав, что я только что вернулся из командировки, сердито и невнятно сказал:

– Похоже, стряслось что-то нехорошее...

– Но что же может быть?

– Кажется, всякая контрреволюционная нечисть – баи, кулаки, офицеры – головы подняла.

– Неужели восстание?

– По всем признакам – да!

Подробностей Лещинский не знал, он только догадывался.

– По-видимому, дело очень тревожное. Наши совещаются в штабе. Есть указание всем коммунистам зарегистрироваться там. Скоро и я пойду.

Лещинский дал мне адрес – Думская, 20, дом Янгузарова.

Этот дом в западной части Петропавловска хорошо знали местные жители. Обнесенный железной изгородью, двухэтажный, с полукруглыми большими окнами, он был одним из лучших зданий города. К нему примыкали мечеть и медресе, хозяйственные службы, а с другой стороны – мелочная лавка. И сам дом, крашенный желтой краской, и окружающие его постройки были крыты железом.

И во дворе и на улице, перед домом, было высажено много деревьев. Купец и коннозаводчик Халид Янгузаров не пожалел средств, чтобы прославить свою фамилию, свое богатство.

Теперь этому дому суждено было стать центром борьбы с подымающей голову контрреволюцией.

Множество людей толпились вокруг. Среди них я нашел Баймагамбета, Кожухмета Бейсембина, одного из инструкторов наробраза, работника ревкома Хасена Маназарова, нашего учителя Забирова и многих других знакомых.

Баймагамбет и Кожухмет знали еще меньше меня.

– Что происходит, непонятно! Сказали нам, что все коммунисты должны здесь зарегистрироваться.

Регистрацию проводили во флигеле, в глубине двора. Час, наверное, прошел, не меньше, пока подошла и наша очередь.

Двое военных заполняли краткую анкету. Фамилия, имя, отчество, год рождения, номер партбилета или кандидатской карточки, воинские данные, в том числе и вопрос о службе у белых, место работы и адрес. Для чего эта регистрация, толком никто не говорил.

– Позднее узнаете, – проронил военный и поторопился освободить место у стола.

Из штаба мы отправились домой и строили дорогой всяческие догадки.

Скудные сведения, полученные мною от Лещинского, были новостью для Баймагамбета.

– Почему же все-таки нам ничего не сказали на месте? – недоумевал Баймагамбет, и я разделял его недоумение.

Прошло еще два-три дня. И хотя нам до сих пор ничего не объявили, слухи, распространявшиеся по городу, становились тревожнее и тревожнее. Рассказывали о появлении бандитов, убивающих из-за угла коммунистов и советских работников.

Внешнее все было обычно, жизнь шла своим чередом, служащие советских учреждений по утрам спешили на работу и расходились в положенный час по своим квартирам. Только вот многих руководящих работников не было в городе.

Мне с Баймагамбетом скоро стало известно, что они вызваны в Омск.

Я очень жалел, что в эти дни в Петропавловске отсутствовали Гозак и Соколов. Дело было не только в том, что мы всегда нуждались в их добром слове поддержки, – они могли разобраться в деле аресто-

ванного Жакыпа Кыстаубаева и помочь мне добиться его освобождения.

Я обивал пороги трех судебных учреждений города: убуоста – уездного бюро юстиции, совнарсуда и ревтрибунала. В убуосте мне сказали: «Мы только надзираем, а не ведем следствий». В совнарсуде ответили, что они рассматривают лишь апелляции. Работник ревтрибунала объяснил, что они занимаются лишь воинскими и контрреволюционными преступлениями.

Так я там ничего и не добился. Но мне удалось узнать, что дело Жакыпа Кыстаубаева находится в уголовном розыске. Оказывается, Семенякин, получивший повышение, добился-таки своего – арестовал моего друга. С Семенякиным, ставшим еще более наглым, я и встретился в уголовном розыске. Он захохотал мне в лицо.

– Ну, кто из нас сильнее – я или твой Жакып? Теперь он у меня живым из тюрьмы не выйдет!

Спорить с ним было бесполезно, и я обратился к начальнику уголовного розыска. Его тон, увы, ничем не отличался от тона Семенякина:

– Что вы вмешиваетесь не в свое дело и заступаетесь за преступника? Может быть, и вы хотите сидеть вместе с ним?..

Позднее я узнал, что и этот начальник был одного поля ягода с Семенякиным и во время восстания перешел на сторону бандитов.

Я собрался пойти в тюрьму, отнести Жакыпу передачу и повидаться с ним, но надвигающиеся события помешали и этому – свидания с заключенными были запрещены.

Мы бродили по городу и слышали то здесь, то там озабоченное шушуканье, видели взволнованные лица горожан. Наступали сумерки, и мы торопились в домик Саду. Еще накануне на телеграфных столбах и заборах был расклеен приказ начальника гарнизона, в котором город объявлялся на военном положении, и ходить после девяти часов вечера без пропуска воспрещалось.

Бесхитростный Саду и ласковая Гарифа наперебой советовали нам:

– Ясно теперь, светики, куда клонится дело. Дружески просим вас – спасайтесь от пожара, он вот-вот вспыхнет.

– Куда же нам идти?– спрашивал Баймагамбет, прикидываясь наивным простачком.– Ведь аулы наши отсюда далеко, а разве нас осмелятся спрятать незнакомые люди?

– Так-то оно так,– принимая за чистую монету слова моего друга, соглашался Саду,– но вы только согласитесь, а уж мы – нас в Кыл-Жаре много – найдем место, чтобы вас спасти...

– Ах, дядя Саду, спасибо, большое спасибо за доброту!– Баймагамбет на этот раз говорил вполне серьезно.– Но поймите, дядя, нельзя нам прятаться. Будь бы рядом аул, все равно мы постыдились бы бежать.

Сердечный, простодушный старик с удивлением взглянул на Баймагамбета.

– Что ж тут стыдного, не пойму?

– Человечность, дорогой дядя, золотое слово! Но есть еще два великих слова – достоинство и честь! Нас никто не принуждал вступать в партию, это было нашим душевным желанием. Значит, теперь мы должны делить с нею все невзгоды – и холод, и жару. Абай наш говорил:

– В толпу не должен ты стремиться,
Ты дома у себя сиди!

– Но, милосердный бог, прости,
Мне в доме от себя не скрыться.

Если укрываться – так где же наши человечность, достоинство и честь! Пропали бы они тогда. Еще раз спасибо вам, дядя!

Сердобольная Гарифа ничего не поняла и пробовала, жалеючи нас, еще уговаривать, но Саду только хмыкал носом. И, чтобы прервать причитания жены, сказал:

– Да перестань ты приставать, не походи на того пустомелю, который возится с бесполезной тяжбой! Лучше принеси-ка нам «белого иноходца», чтобы наши жигиты были живы и здоровы.

«Белым иноходцем» Саду любовно называл водочку и понемногу ее потягивал. В этот вечер и мы не возражали против нее и улеглись спать уже в поздний час, распив заветную бутылку.

Крепким и сладким был наш сон, но недолгим. Всех нас разбудил стук в окно. Мы вскочили с каким-то

тревожным чувством. Сквозь щели закрытых ставен просачивался полумрак.

– Кто там?– подал голос Саду и подошел к окну.– Что за стук такой ночью?

– Зтулин и Муканов здесь?– крикнул кто-то.

– Здесь...

– В штаб зовут.

– Сейчас идем,– ответил Баймагамбет.– Слышите... Но сквозь стекло донесся только перестук копыт удаляющегося коня и затихающее поскрипывание снега.

– Значит, детки, началось!– У Саду и Гарифы на глазах были слезы.– Дай бог, чтобы мы встретили вас живыми и здоровыми.

Только-только занималась заря. По светлеющему, уже беззвездному небу можно было догадаться, что день сегодня будет ясным, погожим.

В подворье Янгузарова и вокруг, на Думской, толпились люди – их было больше, чем в день регистрации. Почти все оделись по-походному, тепло и удобно. Переговаривались вполголоса, лица у всех были серьезные, сосредоточенные.

Вошли во двор. И почти в это же мгновение раздался сильный голос Соколова:

– Слушайте, товарищи!

Я не сразу узнал его, посуровевшего, собранного, в полувоенной форме. Он заговорил, ничего не скрывая, не преуменьшая опасности, нависшей над городом:

– Товарищи! Белогвардейцы, кулаки, баи подняли восстание. Во многих местах они уничтожили коммунистов и наш беспартийный актив. Весь Петропавловский уезд охвачен восстанием, часть Ишимского уезда, юг Курганского, север Кокчетавского и запад Омского уездов. Теперь мы знаем, что восстание готовилось белогвардейцами исподволь и долгое время. Офицеры-белогвардейцы сумели припрятать в казачьих станицах достаточно оружия. Главари повстанцев в своих листовках утверждают, что в России рухнула Советская власть и что сохранилась, мол, она только здесь. Это ложь, товарищи. Правда состоит в том, что белогвардейцы-бандиты особенно активны в нашем хлебном крае. Во многих местах коммунисты и

фронтовики успели организовать бедноту и создать отряды. Нам известно о трех схватках с бандитами. Но опасность велика. Сказать напрямик – мы, коммунисты Петропавловска, окружены бандой. Мятежники уже замечены в окрестностях города. Кольцо сужается. И если мы не сумеем дать белякам отпор до подхода частей Красной Армии, нам туго придется.

Соколов дальше познакомил нас с планом подавления мятежа.

Два полка городского гарнизона уже выступили против банд, наступающих на город с запада и со стороны Омска. На остальных направлениях должны сражаться части особого назначения – ЧОН.

В городе более семисот пятидесяти коммунистов. Из них сформировываются три отряда под общим командованием Соколова и с подчинением штабу. Первый отряд, во главе с Гюзаксом, уже выступил прошлой ночью к Ишиму и вот-вот должен вступить в соприкосновение с противником. Остальные коммунисты образуют два отряда: в один входят проходившие военную службу, в другой – не обученные военному делу. С этой минуты они должны начать спешное обучение.

Сразу после выступления Соколова началась проверка списка бойцов, зачисленных в отряды ЧОНа. Тот самый военный, который проводил регистрацию, молодой, долговязый, с бледным от бессонницы лицом, хриловатым голосом выкрикивал фамилию за фамилией.

– Тамбовцев есть? Расторгуев есть? Гафтель есть? Маназаров? Канторович? Зтулин? Гофман Анна? Филькенберг Роза? Алданазаров? Пастухов? Шишкин?

Список проверялся долго, но ни разу я не услышал, чтобы после выкрикнутой фамилии наступила пауза и было произнесено слово «отсутствует». По зову штаба явились все коммунисты.

Кончилась проверка, и нас стали распределять по ротам, взводам и отделениям. Командиром нашего отделения был назначен Баймагамбет, командиром взвода – Хасен Маназаров, командиром роты – наш учитель, меццерский татарин Забиров. Так было сделано потому, что значительная часть нашей роты состояла из татар, казахов, башкир и бойцов других восточных

национальностей. Всем нам выдали винтовки. Баймагамбет, как командир отделения, получил пистолет «смит-вессон», Маназаров – наган, а Забиров – маузер.

Пестро были одеты бойцы отрядов ЧОНа. Каждый встал в строй в той одежде, в которой пришел из дома. Помню, Кожакмет Бейсембин явился в долгополом тулупе, подбитом верблюжьей шерстью, и в лисьем казахском тымаке. Я был облачен в белый военный полушубок, стеганые шаровары и ушастый заячий малахай. На ногах у меня были солдатские ботинки. Баймагамбет был наряжен в овчинную шубу, выпрошенную у отца, и обут в аульные сапоги с вдетыми в них войлочными чулками. Железнодорожники, печатники, рабочие городских боен были одеты еще более или менее тепло, но вот женщины, зачисленные в отряд, в своем большинстве не имели удобной зимней одежды. Короткие дошки и легкие шали были плохой защитой от степных ветров и морозов.

Когда началось обучение военному делу, из бойцов нашего отделения самыми неумелыми оказались пожилой Жилкайдар Базарбаев и, к моему великому огорчению, я сам. Жилкайдар был рабочим кожевенного завода. В 1918 году белые замучили насмерть его единственного сына – большевика Хафиза. Тихий и скромный Жилкайдар, коммунист с семнадцатого года, никогда не служил в армии, не держал в руках оружия. Не приходилось ему до сих пор и ходить в строю. Вот так же и мне. Мы с ним никак не могли усвоить даже такой простой команды, как «направо» и «налево», сбивая в марше своих соседних товарищей. Баймагамбет сначала посмеивался над нами, потом стал ругаться. Да и веселый шутник Хасен Маназаров преобразился в первый же день в требовательного и строгого командира взвода, разносившего подчиненных за малейшие упущения.

Но и в серьезной этой обстановке дядя Жилкайдар однажды в короткий час отдыха заставил смеяться до упаду многих бойцов нашего отряда.

– Нош не спаю, день хохотаю! – сердито воскликнул он, обидевшись на кого-то.

Так дядя Жилкайдар перевел на русский язык казахскую пословицу: «Кундиз кулки, тунде уйки

кормеймин», смысл которой правильно можно было передать фразой: «Не знаю покоя ни днем ни ночью». Но запас русских слов был у него очень беден, вот и получилось это памятное «хохотаю», над которым все мы беззлобно смеялись. И очень хорошо вышло, что хоть немного повеселились от души! Ведь в то суровое время, когда мы занимались военным делом по двадцать часов в сутки, забывалось, что значит настоящий сон и отдых: с часу на час мы ждали нападения белогвардейцев, теснящих фронт, который держали наши товарищи.

Человек быстро свыкается с новой обстановкой. Я и дядя Жилкайдар так втянулись в военные занятия, что в короткий срок приобрели сноровку и некоторое умение. Мы уже не сбивались во время марша и вместе с другими чеканили шаг. Научились по всем правилам обращаться и с винтовкой.

Жили мы и питались в здании госпиталя, неподалеку от Менового двора. Подымались затемно, наскоро проглатывали по куску хлеба, запивая его горячей водой из кружек, и строились на занятия. В полдень обедали. Меню было всегда одинаковым – щи и картошка «в мундире». Потом снова маршировка до темноты. Бывало, возвращаешься в казарму и даже об ужине не думаешь – скорее бы растянуться на досках железной кровати (только редкие счастливцы спали тогда на соломенных матрацах!) и тут же заснуть, как на пуховой перине. Ночами нас часто подымали по тревоге. Сперва мы волновались, позднее свыклись и с этим.

Но один подъем по тревоге горьким воспоминанием навсегда вошел в мою жизнь.

Нас построили и повели в комнату, отведенную под клуб. В эти тревожные дни город был лишен электрического света, и в казарме тускло светили закопченные керосиновые лампы. Когда мы расселись на длинных деревянных скамьях, вышел Забиров. Ссутулившись, он молча оглядывал нас тяжелым, утомленным взглядом. Потом сказал:

– Товарищи!

И не мог дальше продолжать – слезы душили его. Вытащил из кармана шинели платок и заплакал перед отрядом.

Заволновались бойцы, тревожный гул прошел по клубу.

— Что случилось, товарищ командир?

Забилов вытер глаза и, запинаясь, рассказал нам о гибели отряда Гозака.

Небольшой отряд чоновцев под командой Владимира Гозака вышел из Петропавловска по направлению к городу Ишиму, чтобы принять участие в боях с бандитами. Белые каким-то образом узнали маршрут Гозака. Они устроили засаду, облюбовав заброшенные сараи, похожие на длинные скирды сена. Погода благоприятствовала мятежникам. Шел густой снег и задушил все их следы. Отряд Гозака, ничего не подозревая, двигался к Ишиму. Так белым удалось окружить чоновцев. Они отстреливались в долгой неравной схватке до последнего патрона. Потом малодушные сдались, а остальные сопротивлялись в рукопашной, но силы были на стороне банды. Белогвардейцы схватили их, связали проволокой и, облив керосином, подожгли. Героев наших, нашего Владимира Иосифовича Гозака сожгли живьем. Могла ли быть весть страшнее и печальнее этой... Нестерпимой болью отозвалась она в душах коммунаров, жгла сердца раскаленным свинцом. Но каждый повторял про себя одно и то же слово: «Отомстить!» Жестоко отомстить врагам за кровь товарищей, за мученическую их смерть!

Клятва эта, произнесенная сначала мысленно, звучала потом на устах у каждого, выходявшего к трибуне.

И повторялась вновь уже в разговорах друг с другом.

Начинать военные занятия было еще рано, вздремнуть после этой горькой вести никто не мог. Мы разбрелись по уголкам казармы, вспоминали погибших и говорили о трудностях революционного пути, об отваге, мужестве и воле солдат революции. Оказалось, и среди нас есть люди, за плечами которых трудная, а подчас и героическая жизнь. Чего только не пришлось пережить нашему товарищу украинцу Федоту Лотайко! То, что рассказал он, похоже было на мрачную сказку, а не на быль.

Лотайко было тогда лет тридцать пять. Гигант, поистине богатырского телосложения, он был добро-

душным и спокойным человеком. Участник трех войн, он и в гражданскую войну оставался рядовым, как был рядовым и на русско-японской. В партию он вступил на германском фронте в 1915 году.

– Теперь я уже не расстанусь с ружьем, – шутил он, – не демобилизуюсь, пока мировой капитал не уничтожу.

Осенью 1920 года Лотайко был привезен с Дальнего Востока в петропавловский госпиталь, и то необычайное мрачное приключение, о котором я сейчас расскажу, и было связано с его последним ранением.

Сраженный японской пулей, он потерял сознание, а очнулся в ледяном холоде братской могилы, среди трупов павших бойцов. Только случайно он не задохнулся: упавшая на него широкая доска оставила доступ для воздуха. С нечеловеческими усилиями, ковыряя ногтями глину, зубами вгрызаясь в землю, он выполз, выбрался на полянку и еле приметными тропами, ориентируясь по звездам, вышел на запад к своим из вражеского окружения. Невозможно представить, сколько ему пришлось пережить, бог весть как удалось ему остаться в живых после ранения и ужаса, перенесенного в могиле, и вот он в наших рядах и готовится к схватке с белобандитами.

– Эх, братки, – сказал один из бойцов, – что-то нас ждет впереди! Восставшие – самые злобные враги коммунизма. Мучительной смерти предадут они коммунистов, попавших к ним в руки. И чего они, стервецы, так ожесточились? И лозунг у них какой-то непонятный: «Да здравствуют Советы без коммунистов!»

– А чего же тут непонятного? – отозвался Забиров. – Ведь наша партия, ленинская партия – вождь революции. Коммунисты – душа социалистического строительства, организаторы борьбы с эксплуататорами – кулаками, баями, буржуазией. Поэтому бандиты и уничтожают коммунистов, мечтая завладеть Советами. Напрасные мечты! Трудящиеся верят партии и пойдут за ней. Можно убить из-за угла нескольких коммунистов, но уничтожить коммунизм нельзя.

– Правильно! – поддержали чоновцы-коммунисты своего командира.

– Верные слова!

– Не победить им нас!

– Вы и без меня хорошо понимаете, товарищи, что это восстание – агония белых. Чуют они свою гибель. Вот и решились...

...Занималась заря. Прозвучала команда:

– Стройся!

В БОЯХ

Две роты бойцов ЧОНа вечером того же дня выступили из Петропавловска. Одна рота двинулась в сторону Ишима, туда, где был уничтожен отряд Гозака, другая – через Арханское – направилась на запад.

Наш командир повел нас через ишимский лед в лесок на той стороне реки. В нем мы и расположились на короткий привал. Им и воспользовались взводные, чтобы рассказать о положении на фронте и о наших прямых задачах.

– Банда движется нам навстречу из Надеждинки, – говорил Хасен Маназаров. – Если они раньше нас займут Кондратьевку, то успеют разобрать железнодорожный путь и помешать движению поездов. А к нам из Челябинска идет большой эшелон с красноармейцами. Окажется Кондратьевка в руках белобандитов – они и Петропавловск сумеют захватить на день-два. Стало быть, наша задача – не пустить беляков в Кондратьевку!

...Мы двигались по целинному снегу, по крутым сугробам и только за полночь добрались до Кондратьевки, находящейся в двадцати пяти верстах от Петропавловска. Станцию бандиты еще не успели захватить, но уже приблизились, как сообщила разведка, к густому лесу, начинавшемуся у ее границ.

В эту же ночь впервые в жизни мне пришлось отправиться в разведку.

В юности я очень любил поспать. Бывало, недоспишь хотя бы одну ночь и ходишь как очумелый, не способный к работе. Но как только я был призван в отряд ЧОНа, сон мой стал непрочным, я сразу просыпался от стука шагов, от шелеста веток и с усталостью научился бороться.

В ту ночь при приближении к Кондратьевке у меня слипались глаза, и я не прочь был прикорнуть. Но как

только Хасен предупредил о предстоящей разведке, сонливость словно рукой сняло. Я уже понимал, что командир дважды не отдает одного и того же приказа. Знал я – пускай пока только по рассказам – и об опасностях, подстерегающих бойца в разведке. Смерть ждет его на каждом шагу, нужно быть в постоянном напряжении, зорко осматриваться вокруг.

Нашим командиром был Семен Старлыков, бывалый разведчик, чернокудрый весельчак. Еще до похода он и смешил и пугал нас всяческими занимательными историями, случившимися с ним в разведке. Кроме Старлыкова и меня, в дозор выезжали Романчук и Лотайко.

Лошадей нам дали отменных. Породистую темно-гнедую – Старлыкову, рыжего иноходца с лысиной – мне, сильную и неторопливую белогривую кобылу – Романчуку и заводского коня – Лотайко. И Старлыков, и Лотайко оказались отличными кавалеристами, хорошо ездил верхом и я. Но Романчук покачивался в седле из стороны в сторону, как ребенок, и уже совсем неуклюже подпрыгивал, когда конь пускался рысью.

Под покровом ночи мы незаметно достигли опушки леса.

– Так что же мы предпримем, если наткнемся там на бандитов, а, товарищи? – как бы проверял нас Лотайко.

– Затем и едем, чтобы узнать, где они, – ответил кто-то из нас.

Не знаю, в каком состоянии был Романчук, но у меня сердце билось тревожно.

Вероятно понимая наше самочувствие, Лотайко перестал задавать свои шуточные вопросы.

– Только будьте осторожнее, ребята! – сказал он совсем серьезно.

Здесь, на опушке леса, мы должны были разъехаться по разным направлениям, добраться до передовых разъездов белобандитов, запомнить обстановку и сразу поворачивать обратно.

– Они неподалеку отсюда. И запомните как следует, – напутствовал Старлыков, – в случае, если они вас обнаружат и сумеют окружить, живыми в руки не давайтесь. А если и схватят, стерпите все, но об отряде

ни слова! Как бы ни мучили... Понятно? А теперь ни пуха ни пера! В путь!

Он дал шпоры и поехал напрямик. Я взял налево, по тропе, круто повернувшей в лес.

Глаза, привыкшие к темноте, примечают, как вьется среди белых сугробов чуть темнеющая лента тропы. Плотнo окутавший ветки иней осыпается при малейшем прикосновении. Удручающе действует одиночество. Я вспоминаю последние слова Старлыкова. И за каждым деревом, нависающим над тропой своими белыми раскидистыми ветвями, чудится притаившийся враг. Заиндевелые кусты в овражках приобретают сходство с поджидающим тебя неприятелем. Я слышу, как учащенно бьется сердце. Но думы о близкой опасности мало-помалу развеиваются, пульс мой становится ровнее, я овладеваю собой, и мне уже скорее хочется увидеть беляков.

И я их увидел. Но это произошло уже на самой заре.

Вдали, сквозь редкие деревья, показались всадники. Их было около десятка. Легкой рысью ехали они мне навстречу. Я осадил своего рыжего и напряг зрение. Дерево скрывало меня от них. Некоторые из них ехали без седел, одеты они были кто во что горазд, но я сумел разглядеть несколько форменных казачьих шинелей. Сомнений не было – это ехал неприятельский дозор.

И пока я раздумывал, на склоне дальнего холма показалась лавина людей. Среди них были и пешие, и конные, и на санях. Весь склон большого холма был залит их потоком. Белобандиты шли на Кондратьевку.

Медлить дальше было нельзя, и я поскакал обратно по своему следу. Меня заметили. Сзади раздались выстрелы. Оглянувшись, я увидел – весь разъезд пустился за мной в погоню. К счастью, мой рыжий с лысиной не притомился. Пришпорив его, я неся что было мочи. Резвый конь с каждой секундой увеличивал расстояние между мной и врагами. Скоро он вынес меня на равнину у самой Кондратьевки. И в это же мгновение я заметил всадника, скакавшего на соединение со мной. Мелькнула тревожная мысль: неужели это неприятельский разведчик? Но тут я узнал во всаднике нашего

старшего – Старлыкова. Преследователи мои отстали. Придержав лошадь, я дождался Семена.

– Видел?– спросил он, поравнявшись со мной.

– Еще бы! А ты?

– И я!

– А Романчук где?

– Не знаю.

Но тут на опушке леса замелькали скачущие во весь опор бандиты.

– Гони!– крикнул Старлыков и огрел своего коня. Мы мчались к станции. Хотя мой рыжий был мельче породистого коня Старлыкова, но в резвости он превосходил его. Я снова был впереди. Вскоре, когда мы оба были за пределами досягаемости пуль, я попрдержал коня опять, чтобы Старлыков догнал меня. Мы поехали рысью.

– Заметил, сколько их?

– Да, тут тысячами пахнет...

– Да... А нас сотня – и обчелся.

Я печально вздохнул, а Старлыков только в ус улыбнулся:

– Ну, как думаешь, отобьем их атаку?

В раздумье я покачал головой. Бывалый разведчик успокоил меня:

– Говорят, в бою побеждают не числом, а умением. И оружием. Заметил ты, что у них пулеметов очень мало? И у многих вместо винтовок охотничьи ружья. Ты, парень, не сомневайся, мы им еще всыплем!

...Наступление бандитов на Кондратьевку началось за полдень. Наши бойцы установили пулеметные гнезда вдоль железнодорожной насыпи. Вместе с другими, вооруженными винтовками, залег в цепь и я, положив дуло на рельс.

Бандиты беспорядочно вышли на поляну и, не открывая огня, двинулись на сближение с нами.

...Это мой первый бой. Я впервые участвую в битве с врагом. До этого дня я не убивал ни одного человека, а сражаться – значит убивать. Я буду посылать пулю за пулей в наступающую толпу. И пуля должна попасть в кого-нибудь. Но отсюда, из-за насыпи, я даже не увижу, кого я убил. Хорошо, если бой ограничится перестрелкой, а вдруг придется драться врукопашную?..

Пока, лежа на снегу, я так размышлял, подобно, вероятно, всем необстрелянным новичкам, раздалась команда: «Пли!» Затрещали винтовки, застрекотали пулеметы. Стрелял и я. Но получалось это у меня как-то машинально, сознание мое было затуманено.

Старлыков оказался прав. Как ни лезли на нас бандиты, они не смогли выдержать ливня наших пуль и ложились, как куга под напором степного ветра. Многие не поднялись, остальные отступили и попрятались на окраине леса.

Стрельба прекратилась. Мысли мои стали яснее, словно рассеялся туман, еще недавно запеленавший их. Неожиданно я увидел около себя Баймагамбета.

– Слушай, почему мы их не преследуем?

– Где же мы найдем столько силы? Видал, сколько их! А нас – знаешь сам... Нам бы удержать линию железной дороги.

...Три дня мы защищали станцию Кондратьевку. Много раз ходили бандиты в атаку, но так и не смогли ее взять. На четвертый день подошла смена, и рота возвратилась в город. Наши потери убитыми и ранеными – двадцать человек.

Вернувшись в город, мы стали нести охрану внутреннего порядка. Часть наших бойцов охраняла линию железной дороги, другие патрулировали по улицам, третьи проверяли всякие сомнительные места, обнаруживая бандитов, орудующих в самом Петропавловске.

Дело в том, что местные контрреволюционные мятежники пытались захватить город в первый день восстания, но эти заговорщики были своевременно обезврежены и захвачены на своих подпольных квартирах. Разрозненным группкам белых удалось скрыться, и они продолжали нападать на коммунистов, бойцов ЧОНа и Красной Армии. С этими группами и боролась часть нашей роты, тот ее взвод, в котором был и я.

Нелегкое это было дело – раскрывать и уничтожать орудующих в подполье белогвардейцев. Многие наши товарищи стали жертвами бандитов. При вылавливании и обезвреживании мятежников требовались самоотверженность, смелость, находчивость.

Мы с рвением несли порученную нам службу, но положение в городе с каждым днем становилось все

более тяжелым. Тревожили вести о том, что железная дорога в западном направлении, между Мамлюткой и Еселькулем, захвачена бандитами. Не рассчитывая удержать ее своими силами, они разрушали полотно, разбирали рельсы. Вокруг города мятежниками были порваны телеграфные провода и повалены столбы. Разнесся слух, правда официально не подтвержденный, что город уже окружен бандитами. Назывались, может быть, и преувеличенные цифры – число белых, наступающих на Петропавловск с разных сторон, доходит до тридцати-сорока тысяч... В городском гарнизоне раскрылась измена: начальник штаба и командующий передали в руки мятежников много оружия, патронов и даже снарядов. Самой надежной силой в городе оказались отряды ЧОНа.

В один из таких тяжелых дней командир нашего взвода поручил мне и еще двум бойцам произвести ночной обыск в нескольких домах подгорной части Петропавловска, где, по предположению, скрывались бандиты. Надо было арестовать их и доставить в штаб.

Когда мы сели на коней, начиналась поземка. В дороге ветер усилился, перешел в ураганный, особенно лютый на обжигающем морозе.

Мы уже проехали центральную улицу и стали спускаться в подгорную часть, как вдруг сквозь метель до нас донеслись крики и тревожный, неясный шум.

«Что бы это значило?– Мы остановили коней и стали вслушиваться.– Не ворвались ли в город бандиты?»

Шум нарастал с каждой минутой.

– Черт побери!– воскликнул Василий Бариков.– Кажется, действительно ворвались!

– Это они!

– Что же теперь делать?

– Возвращаться назад?

– Назад, только назад!

И мы повернули своих коней обратно. Но тут из яра, с левой стороны горы, образующей нагорную часть, отчетливо зачастили винтовочные выстрелы. Теперь уже сомнений никаких не было – бандиты занимали город.

– Галопом!– заорал Гришечко, когда я и Бариков чуть замедлили ход.

Мы неслись, нахлестывая плетками своих лошадей. У Гришечко или у Барикова – у кого именно, я не смог разглядеть сквозь буранные вихри, – на всем скаку упала лошадь. Остановиться, узнать? Но стрельба усиливалась, и еще через несколько минут мы оказались под перекрестным огнем. Уцелевший мой товарищ – я не знал кто – умчался вперед, я спешил за ним.

Скоро и моя лошадь свалилась как подкошенная. То ли она споткнулась, то ли в нее попала пуля – выяснять было некогда. Я поднялся, бросил лошадь и побежал – так было незаметнее. Кто-то гнался за мной, раздавались выстрелы. Я скатился по крутому склону обрыва на самое дно оврага, в снежный сугроб.

Торопливо карабкаясь по дну оврага, я почувствовал острую боль в правой ноге. В валенке почему-то стало тепло. Я сунул руку за голенище – было мокро и горячо. Неужели я ранен?

Но сейчас было не до этого. Что делать дальше, куда идти – вот что меня волновало.

Я вспомнил, что нахожусь неподалеку от землянки старого моего знакомого Жампеиса, жившего в районе Кирпичных сараев. С большим трудом я дотащился туда и постучался в двери. Но никто не торопился их открывать. Из-за тонких досок доносилось какое-то шушуканье. Я понял: Жампеис и его жена Жаныл советуются, впустить меня или нет. Наконец дверь распахнулась. Едва я переступил порог, как Жампеис меня встретил невеселыми словами:

– Ой, светик мой, не вовремя ты пришел! Я сам дрожу от страха, как бы сюда не нагрянули бандиты. Не знаю, как быть с тобой!..

Спору нет, у Жампеиса были основания бояться: с установлением Советской власти он работал в уездном уголовном розыске. С его помощью было захвачено много конокрадов, городских и степных воров. Они точили на него зубы и семь лет спустя предали его мучительной смерти. Не зря он опасался за себя в эти дни мятежа.

Опустив голову, я стоял посреди комнаты.

– И правда, не надо было приходить, – сказала Жаныл. – Но раз пришел, не выгонять же! Стыдно...

ты вот что сделай, Жампеис, сходи-ка к Тюре, пусть он его спрячет. Там его не отыщут и не потревожат.

Жампеис обрадовался, даже привел пословицу:

– Говорят: «Растерявшаяся утка плавает задом». Я и не подумал о нем. Хорошо, жена, что ты догадалась. Так мы и сделаем, дорогой. Пошли, я тебя сам доведу!

И Жампеис двинулся к выходу.

Но я продолжал стоять с опущенной головой.

К кому я должен идти? Неужели к Тюре, как называет Жаныл Уали, младшего брата Жампеиса? Нечистый он человек, вор и грабитель с жестоким сердцем. Ему и зарезать человека ничего не стоит, как барана. Жампеис долго возился с ним, пытался его исправить, вывести на путь истинный, но, убедившись, что нету с ним сладу, он отдалился от брата. Уали не раз сидел в тюрьме и теперь, слышал я, только что вышел оттуда. Бандит и в обычное, тихое время, он непременно присоединится в дни сумятицы к белым в расчете на легкую наживу. Он сейчас в своей стихии. Он будет с ними, а не с теми, кто защищает Советскую власть. Разве я стану искать у него убежища?

Вот почему я продолжал стоять, не подымая глаз.

– Ну как, не пойдешь?– вяло протянул Жампеис, как будто почувствовав мои мысли.

– Не-ет! Туда я не пойду...

– Это почему же так?– рассердилась Жаныл.

– Я к вам шел, дядя Жампеис, в надежде, что вы укроете меня,– проговорил я через силу,– а откажетесь приютить – уйду куда-нибудь...

– Куда же ты пойдешь?– примирительно спросил Жампеис.

– Пойду куда глаза глядят. Самое страшное – бандиты поймают. Ну, убьют. И что от этого переменится в мире?

– Какой же он упрямец! О его же пользе думаем, а он брыкается, стоит на своем.

Жаныл начала было браниться, но тут в углу, на нарах, кто-то зашевелился. В это же мгновение одеяло было отброшено, и я увидел самого младшего брата Жампеиса, двенадцатилетнего Макыжана.

– Пусть он останется у нас!– звонким голоском вмешался он в спор взрослых.

Я хотел быстро подойти к нему, но тут сердце мое застучало, голова закружилась, я качнулся, услышал будто доносящиеся издалека слова Жампеиса: «Ой, что с тобой?» – и, подхваченный им, опустился на нары.

– Побледнел как бумага. Дайте ему воды, – разобрал я сквозь полубоморок.

Меня обрызгали водой, и я понемногу начал приходить в себя.

– Да у него руки в крови! – воскликнул Макыжан.

– В самом деле, кровь. Ты, кажется, ранен? – и Жампеис бережно поддержал мою руку.

Только тут я вспомнил об острой боли в ноге.

– Стяните с меня пимы.

Макыжан с усилием и осторожностью стал их с меня стаскивать. Во мне все переворачивалось, и казалось, правая нога словно хлупает в валенке. Когда наконец меня разули, кровь хлынула сильной струей.

– Боже, что это такое? – Жаныл от страха попятилась назад.

Что было дальше, я не знаю. Очнулся я уже днем, лежащим в углу комнаты. Около меня на полу играла в куклы маленькая, лет трех-четырёх, Гульзейнеб – единственная дочка Жампеиса. Нога сильно ныла. Взглянул – голень обернута и перевязана. Во рту пересохло, хотелось пить.

– Дай мне воды! – обратился я к девочке.

По-видимому, она узнала меня – я ведь бывал в этом доме и раньше. Улыбнулась большими задумчивыми глазами и очень спокойно ответила:

– Апа дома нет.

– Я пить хочу, дай мне воды.

Гульзейнеб встала, нацедила мне воды из самовара. Я с жадностью выпил чашку и попросил еще.

Вошел Макыжан. Мальчик хорошо разбирался в том, что происходило в городе. Быстрый и глазастый, он успел побывать во многих местах и наблюдал страшные картины, не вызывая ни в ком подозрения. В городе, рассказывал он, шла резня, бандиты убивали коммунистов и советских служащих. Он видел конного, который на всем скаку волок на аркане кого-то из местных работников. Он видел, как одного

коммуниста проволокой прикручивали к столбу, чтобы сжечь живьем. Бандиты затащили в хлебный амбар несколько человек, распороли им животы и набили пшеницей... Не было меры вражеской жестокости. Погибали не только коммунисты, но и их семьи.

...Так, торопливо, с недетским волнением передавал обо всем увиденном и услышанном Мақыжан. Может быть, на меня так повлияли эти горестные вести, а может, усиливался воспалительный процесс, но боль, глухая и ноющая, становилась сильнее и сильнее. Хотелось стонать, но я только стискивал зубы. Пуля, как потом я узнал, попала в правую икру и вышла, разорвав мякоть.

Этой же пулей, наверно, был ранена лошадь. Жампеис побоялся позвать врача или фельдшера и сам перевязал рану, предварительно обернув ее куском обожженной кошмы.

Он пришел домой усталый, сумрачный. Видимо не желая меня пугать, он не стал мне рассказывать о городских событиях и от моих расспросов отделался односложной репликой:

– Ничего особенного.

А когда я сослался на Мақыжана, он обругал его болтливым мальчишкой и посоветовал не вмешиваться в дела взрослых.

Однако долго скрывать свою тревогу он не сумел.

– Банды рыщут по домам, с коммунистами расправляются. Как бы сюда, в Кирпичные сараи, не пожаловали.

Голос его дрожал. Сам того не желая, он расстроил меня своими словами. Я понял, что Жампеис боялся: если меня обнаружат бандиты, они не пощадят ни его, ни его семьи.

Посидев в комнате очень недолго, он неожиданно обратился к братишке:

– Слушай, Мақыжан, бери Гүлжан и отправляйтесь к своей тетке. Она сидит у Сактагана.

Идти Мақыжану не хотелось, но Жампеис настоял на своем и, когда ушли дети, сказал, что ему не хочется быть сейчас дома, и он оставит меня, повесив снаружи дверей замок.

Конечно, если бы бандиты знали, что здесь прячется коммунист, они разгадали бы невинную уловку дяди

Жампеиса. А может, он просто хотел снять с себя ответственность за мою жизнь. Словом, бедный дядя Жампеис совсем растерялся. И я бы, конечно, ушел из этого дома, чтобы не накликать на него беду, не подвергать опасности целую семью. Но увы! Я не мог даже пошевелить ногой, не то что сделать несколько шагов.

– Вы уж идите, дядя, – сказал я Жампеису, а у самого слезы наворачивались на глаза, – идите... Делайте, что вам хочется. Запирайте дверь или не запирайте – мне все равно.

Огорченный, чувствуя передо мной свою вину, Жампеис молча вышел из дома.

Что делать? Идти было некуда, оставаться нельзя. Да и нога нестерпимо болела. Перед моим мысленным взором мелькали зловещие картины. Я думал о Зтулине, Лотайко, Маназарове, Романчуке, Забирове. Где они теперь? Что с ними? Может быть, и их уже нет в живых...

А в сумерки за мной на телеге заехал Жампеис и отвез меня на улицу Крайнюю, в неприметный домик, который принадлежал вдове рабочего скотобойни Абиля – женщине с мужским именем и густым, басистым голосом. При ней жил тихий, молчаливый подросток, младший брат ее покойного мужа. На его заработки они и существовали.

Уже в нынешние дни, спустя тридцать шесть лет после описываемых событий, я получил от этого тихого юноши письмо. Теперь это уже пожилой человек. Зовут его Аубакир Катаев. Он продолжает трудиться, как и в то далекое время. Письмо он мне написал в связи с сорокалетием Октября. Прочувствованно вспомнил он нашу встречу. «Тяжело жилось народу, коммунарам в тот горький год...»

Но продолжим наш рассказ.

Главное достоинство двухкомнатного маленького домика Абили для меня составлял подвал.

– Тебя тут тепло укутают и спрячут. Лучшего места и желать нельзя, – сказал мне в утешение Жампеис.

Он помог спустить меня в это обледенелое логово, где хранился кое-какой домашний скарб, уложил меня и закутал в огромный овчинный тулуп.

– Ну, выздоравливай, а я пока приходить не могу. Мақыжан будет наведываться.

Мужеподобная, грубоватая женщина, Абиль не очень стеснялась в выражениях. Стоило мне застонать от сильной боли, она прикикивала:

– Терпи, ты не баба!

А порою и ругалась совсем по-мужски.

Но за внешней этой грубостью скрывалось доброе, жалостливое сердце. В короткой своей шубейке и валенках часто она спускалась ко мне в подвал, кормила меня, рассказывала о своей безрадостной жизни, делилась новостями.

Однако уже на второй день моего пребывания в подвале правое мое бедро стало пухнуть. Я заметался в жару. Абиль где-то раздобыла термометр. Температура у меня была выше сорока. Слышал я, что при такой температуре человек может умереть.

Абиль волновалась. Больше всего она боялась, что я умру в подвале.

– А Мақыжан так и не приходит, так и не приходит!..

Но мой юный приятель не забыл про меня. Он принес добрые вести. Из Кургана и со стороны Омска прибыли сильные воинские части, они зажимают в тиски бандитов, и мятежники бегут из города.

Спустя некоторое время приехал и сам Жампеис, сообщивший, что город очищен от банд. В тарантасе Жампеис доставил меня в госпиталь, где лежали раненые коммунары.

СКОРБНЫЕ ДНИ

В госпитале я быстро стал поправляться. Спала температура, утихла боль в ноге. Спустя неделю я уже подымался, опираясь на костыли, а еще дней через пять мог самостоятельно ходить.

В палатах только и говорили о мятеже. Многие знали раненые коммунары, а самые последние вести доставляли посетители и сестры. Постепенно я представлял яснее и яснее, как были разгромлены мятежники. Они бежали из Петропавловска и хлынули вначале в сторону Кокчетава.

Части Красной Армии зажимали их в тиски и уничтожали. Путь белым к Кокчетаву был отрезан подоспевшими из Акмолинска и Атбасара новыми красноармейскими подразделениями. Мятежники повернули на восток к горам Ереймена.

В момент самого мятежа число вооруженных бандитов доходило до сорока тысяч. Командовал ими колчаковский генерал Белов. Но после поражения под Сухотином, в девяноста верстах от Петропавловска, после боев с атбасарскими и акмолинскими частями их осталось меньше половины. Но и участь остальных тоже была решена.

Как бодрили нас эти вести! Мы понимали: чем быстрее покончат с бандами, тем скорее успокоятся крестьяне, часть которых обманным путем привлекли на свою сторону белогвардейцы, баи, кулаки, тем лучше будет налаживаться советская жизнь.

Но в госпиталь к нам проникали и печальные известия. В газете «Мир труда», издававшейся в ту пору в Петропавловске, печатались заметки о замученных бандитами партийных и советских работников. Иногда публиковались целые списки коммунаров, погибших в дни восстания. В них я с душевной скорбью встречал имена добрых знакомых и таких близких товарищей, как Лотайко, Гришечко, Базарбаев.

Одной из самых горьких вестей, дошедших до меня, была весть о гибели Жакыпа Кыстаубаева и всей его семьи.

После возвращения с фронта Жакып, не жалея своих сил, боролся в ауле за победу Советской власти. Справедливости ради следует сказать, что он, как никто другой, ненавидел баев и был жесток с ними. Решительные его действия не могли не вызвать их озлобления. Не смея открыто выступить против Жакыпа, они искали и находили другие пути отомстить ему. В то время многие руководящие посты уездных учреждений Петропавловска заняли наспех перекусившиеся алашордынцы. По их наущению баи строчили на Жакыпа клеветнические доносы. Каких только небылиц там не было! В слепой злобе приписывали они ему грабежи и насилие, пытки и разбой. Байским лживым доносам дали ход, и Жакып был арестован.

Баймагамбету и мне не удалось его освободить – помешал начинавшийся мятеж.

Уже у Жампеиса, после ранения, я слышал, что бандиты, пытаясь захватить город, открыли тюрьму и выпустили заключенных. Тогда же я подумал: «А что стало с Жакыпом?» Мысль о нем и дальше не покидала меня. Подробности его гибели я неожиданно узнал от оказавшейся в госпитале учительницы станицы Становой – Веры Сакияловой. Во время мятежа коммунисты и советские служащие этой станицы, находящейся верстах в шестидесяти от Петропавловска, объединились в отряд и выступили против бандитов. Беспартийная Вера – ее муж был коммунистом и членом ревкома – примкнула к этому отряду.

– Вначале нас было всего двенадцать человек, – рассказывала она, – горсточка! А бандитов вокруг – не пересчитать! Но из аулов и поселков, окружающих Петропавловск, к нам вливались новые и новые бойцы. Через неделю нас было уже больше ста, и мы научились сражаться мелкими группами. В дни самых жарких схваток в наших рядах особенно отличался один казахжигит. Мало кто мог сравниться с ним отвагой и храбростью. Какое бы трудное задание ему ни давали, он его непременно выполнял. Красивый был, статный...

Стоит ли говорить, что этот жигит и был Жакыпом.

Слышала Вера и о том, как он освободился из тюрьмы.

В камерах заключенных передавался слух о начинавшемся мятеже. Бандиты подняли головы: дескать, Советской власти конец. Жакыпу, понятно, приходилось молчать. Тюремный режим стал более строгим, время прогулок было сокращено, свидания и передачи запрещены. Но соседи Жакыпа, уголовники, все-таки ухитрились поддерживать связь с волей, и ход событий, разворачивающихся в городе, был им известен. «Не сегодня-завтра белые возьмут Петропавловск», – утверждали они. Ночью 23 февраля волны мятежа проникли и за тюремные стены. Началось волнение. Жакып знал, какую бедою может все это для него обернуться, и обдумывал план своих действий.

...Под утро тюрьму окружили, и началась стрельба. Мятежники скоро сломали сопротивление охраны и сбили замки с железных дверей камер. Так очутился

Жакыш на воле вместе с уголовниками. Те присоединились к белым. Но не мог же храбрый и честный Жакып обидеться на Советскую власть только потому, что по навету алашордынцев он был посажен в тюрьму! Он решил выполнить свой коммунистический долг и быстро нашел путь к отряду борцов за Советскую власть.

Запомнил я во всех деталях рассказ Веры Сакияловой о гибели Жакыпа:

– Была бы я писательницей, я написала бы книгу о его героических делах. А пока я коротко расскажу вам, как он сражался и умер.

Наш отряд не выходил из боев. К тому времени у нас было уже больше семисот человек. Кроме винтовок, завелись в отряде и пулеметы. А тут боевой дух наш поднялся еще и потому, что стали доходить хорошие вести – жмет Красная Армия бандитов. И вдруг мы услышали отдаленные пушечные выстрелы. В этом районе у бандитов орудий не было, это мы знали твердо. Значит, подходят наши. И, решив идти к ним на соединение, мы повели с двух флангов наступление на Надеждинскую станицу. Бандиты упорно сопротивлялись. Взятие станицы стоило нам многих жертв. Схватки продолжались и на улицах. Кучка бандитов засела в церкви. Оттуда, с колокольни, нас поливали пулеметным огнем. Нужно было снять пулеметчика. И вот Жакып ринулся туда, рискуя жизнью... Вскоре пулемет замолчал. Но когда мы овладели церковью, Жакып уже был мертв – его сразил выстрел из револьвера.

О судьбе семьи Жакыпа Кыстаубаева мне рассказал его друг и земляк по аулу Сыздык Устемиров, навестивший меня в госпитале.

– Я ночью предупредил отца Жакыпа Кыстаубая, что баи сговорились с бандитами и решили уничтожить их семью. Ты ведь хорошо знал старика. Всю свою жизнь он работал на других и зла никому не сделал. Скромнее его трудно было найти человека. Да и дети у него такие же тихие, кроме разве Жакыпа. Но мое предупреждение не встревожило Кыстаубая. «Никому и никогда я ничего плохого не делал, ни в чью жизнь не вмешивался. И домочадцы мои тоже. Нам бояться

нечего. Они были злы на Жакыпа, но успокоились, посадив его в тюрьму», – говорил старик. И все-таки я посоветовал скрыться на время. По крайней мере, мужчинам. Детей и женщин, думал я, пожалеют. Однако старик не послушался меня: «Куда нам бежать? Уж если суждено погибнуть, погибнем все вместе».

Так говорил Сыздык, временами останавливаясь и тяжело вздыхая. Нелегко ему было передавать мне эту печальную повесть, нелегко мне было ее слушать.

– Когда бандиты ворвались в дом Кыстаубая, старика и его сына Бейсембая не было дома – они поехали в степь за сеном. Злодеи связали и погрузили в сани семью, оставшуюся в ауле, а потом разыскали в степи отца и сына. И повезли их на берег Ишима – топить в проруби с камнем или кусками железа на шее. Мольбы и слезы старика и его домашних не подействовали на озверевших убийц. Кыстаубай молил о детях, но у Кулыма-хаджи и Кожана-хаджи сердца оказались чугунными.

Один из земляков Жакыпа, бывший сперва заодно с бандитами, не смог вынести такого злодейства. Он просил пощадить хотя бы младенца, обещав взять его на воспитание, но Кулым-хаджи сказал, что из змееныша может вырасти змея, и швырнул ребенка в прорубь!

Может быть, читатель подумает, что здесь есть выдумка, преувеличение. Нет, дорогой читатель, я пишу, как было, ни на шаг не отступая от правды. В эти жестокие дни мятежа вся злоба, скопившаяся у наших врагов, хлынула наружу, и злодеи хладнокровно шли на самые тяжкие преступления.

В это скорбное время мне пришлось пережить еще одно бесконечно печальное известие – о гибели Баймагамбета. Эту черную весть принес мне Гриша Веренько, семнадцатилетний комсомолец, один из самых веселых парней в отряде ЧОНа, гармонист и запевала. Он мог заставить рассмеяться и в самые горькие часы. Я расстался с ним и Баймагамбетом после похода на Кондратьевку, когда нас зачислили в разные подразделения, а встретился лишь теперь, в госпитале. У Гриши было пулевое ранение в локоть левой руки. Верный своему неунывающему характеру, он приветствовал меня грустной шуткой:

– А! Ты, оказывается, еще здесь, а я думал – в Могилевекой губернии.

Но тут же переменялся в лице и уже совсем другим голосом, тихим и печальным, спросил меня:

– А ты знаешь, что Зтулин погиб?

Я долго не мог ни о чем расспрашивать Гришу, да и ему, вероятно, не очень хотелось об этом рассказывать.

Он шагал по опустевшей столовой госпиталя, где мы с ним встретились, и не обращал никакого внимания на нянечек, убиравших посуду со столов.

А потом помог мне выйти в коридор. Там, у окна, поглядывая на сумеречную заснеженную улицу, Гриша рассказал, как случилось нападение на тюрьму, которую они охраняли в ту грозную ночь. Телефонная связь между тюремной охраной и городским штабом была прервана. Разведка, посланная в город, не вернулась. Судя по ожесточенной стрельбе, весь Петропавловск был заполнен мятежниками. Чоновцы вначале решили покинуть тюрьму и вырваться из вражеского кольца, но было уже поздно. Взводный погиб, бандитам удалось перемахнуть через ограду и овладеть вышками, с которых мы отстреливались. Последнюю пулю из нагана Баймагамбет Зтулин пустил в себя. В это мгновение он уже был убежден, что ему не уйти от врагов: в его нагане оставался только один патрон. Гриша сам толком не мог вспомнить, как только ему удалось остаться целым в этой кутерьме и бежать к своим.

Пусто и тяжело было у меня на душе после его рассказа. Я многим был обязан своему другу Баймагамбету, на протяжении всей моей юности я встречался с ним и учился у него. Да разве только мне он был дорог, чудесный товарищ, молодой коммунист, поэт!

Немало мужественных и преданных партии бойцов погибло в дни мятежа. Свыше четырехсот человек было убито в одном Петропавловске. А сколько замученных было в аулах и селах... После разгрома белых они были похоронены на площадях родных сел и аулов. Над этими могилами возведены памятники, увенчанные красными звездами.

Я поторопился уйти из госпиталя, рана моя заживала быстро. Мне пришлось выписаться как раз накануне похорон коммунистов, павших жертвой белогвардейского мятежа. В этот день заканчивались розыск и опознание трупов. Все убитые свозились в здание Петропавловской пожарной команды. Нельзя без содрогания вспоминать эти окровавленные груды изуродованных тел, свезенных со всех концов города. Изрезанные, распиленные, с проломленными черепами, они будили чувство справедливой мести бандита, смертельно ненавидевшим молодую Советскую Россию.

Я долго искал среди убитых Баймагамбета. И, конечно, мне никогда не удалось бы опознать его по лицу – так изуродовано оно было. Но я узнал его по уцелевшим лоскутам ситцевого полосатого белья, сшитого аульным портным.

Каждого погибшего положили в отдельный гроб. Некрашенные, простые, стояли они один за другим печальными рядами.

Весь город был в глубокой скорби. И я думаю, что читатель хорошо представит себе без моего описания горестный день похорон коммунаров, павших в дни мятежа.

Прихрамывая, я помогал нести гроб Баймагамбета. Провожжающие плакали.

Гробы с телами коммунаров были опущены в братскую могилу, вырытую на центральной площади города. Останки погибших засыпали землей любимого края, землей Приишимья, которую отстаивали они в борьбе.

После похорон я пытался найти тетрадку Баймагамбета, в которую он записывал свои стихи: мне очень хотелось опубликовать их в местных газетах. Почти такая же тетрадка была у меня. Обе они служили прежде, в царское время, квитанционными книжками по сбору подушного налога с казахов. У Баймагамбета эта книжка была за 1915 год, заполненная с лицевой стороны и чистая на обороте. Длиннее обычного писчего листа, она была узкой в поперечнике и толще

обычной общей тетради, в плотном картонном переплете. Ее подарил Баймагамбету отец, бывший несколько лет аульным старшиной.

Моя тетрадка досталась мне чистой с двух сторон. Помню, Баймагамбет шутил:

– У тебя безгрешная книжка, а вот у меня очень грешна.

– Это почему же? – удивился я.

– А вот почему: в моей книжке записаны налоги в тяжелый для народа год войны. Тогда отец служил старшиной третьего аула нашей Аккусакской волости. В тетрадке этой и показано, кто какую подать платил, каким тяжелым было положение бедноты, которая несла всю тяжесть военного бремени, и как богатеи избегали всякими хитростями выплачивать налог. Эта книжечка, дорогой Сабит, – кусок истории. Отсюда и темы для стихов можно черпать. Вот все успокоится, и примусь за труд.

Эту свою книжку с черновиками стихов и налоговыми записями Баймагамбет отдал в дни начала восстания на сохранение одному знакомому. Но когда я пришел за ней, оказалось, ее уже нет – хозяин сжег тетрадку Баймагамбета из предосторожности. И я не стал его ругать, но как огорчила меня эта новая потеря! Не только друга лишился я, но и его творений.

Баймагамбет Зтулин был одним из первых казахских народных поэтов, воспевших Октябрьскую революцию, Советскую власть. Сколько было у него острых злободневных произведений! Кроме того, он перевел с русского языка много революционных песен и стихов. Баймагамбет казался мне тогда зачинателем казахской советской литературы.

Вместе с бойцом-коммунаром Зтулиным умер и поэт Зтулин.

Позднее, правда, удалось собрать кое-что из сохранившихся в руках друзей и родственников его произведений. Но большая часть их погибла безвозвратно.

И теперь, приезжая в Петропавловск, я всякий раз бываю у дорогой мне братской могилы и твержу тогдашнее короткое и горькое слово: «Прощай!»

НА ТРУДНОМ ПОСТУ

АБДОЛЛА АСЫЛБЕКОВ

На другой день после траурного митинга, в шесть часов вечера, в помещении городского театра начался открытый суд над главарями восстания белобандитов. Мятежников судил военный трибунал, специально прибывший из Омска.

Кто знает, как и откуда стало об этом известно жителям Петропавловска и окрестных поселков и аулов, но площадь перед театром к открытию суда была заполнена народом – сходились главным образом пострадавшие от мятежников.

Чтобы сохранить в зале порядок, уездный ревком заранее приготовил входные билеты и распределил их среди трудящихся города. Один билет достался и мне. Мест, как обычно водится в таких случаях, оказалось меньше, чем билетов, и все торопились прийти пораньше, чтобы сесть поближе к сцене. Несмотря на то, что я пришел в театр за час до начала процесса, свободного стула я уже не нашел.

Суровая сибирская зима давала о себе знать не только на улице, но и в зале. Театр не работал с прошлой осени и поэтому не отапливался. Только за день до суда кое-как протопили печки углем. Тепла прибавилось мало, а дышать стало труднее. Сырость и чад окутывали зал полумраком. Зал пробовали проветрить – тогда с улицы хлынули морозные струи, на стенах снова выступил иней, стало еще неуютнее и холодней. Попытки утеплить зал и проветрить оказались напрасными.

Это было старое здание купеческого клуба, выстроенное еще в конце прошлого века. Обычно в зал входили через фойе, а выходили прямо на площадь. Но сегодня в фойе находились под стражей арестованные, преступники, зрители же шли на процесс непосред-

ственно в зал. И не мудрено, что в нем, как на площади, клубилось людское дыхание, пол покрывался ледяной коркой и порой сосед не мог разглядеть соседа. Городская электростанция работала в те времена плохо, и тусклые красноватые лампочки еле мерцали во мгле.

Стали раздаваться выкрики:

– Прекратите доступ в зал! Нечем дышать... стоять негде...

В это мгновение зазвонил колокольчик, и кто-то из трибунала попросил публику успокоиться и соблюдать тишину.

Взоры всех обратились к дверям, выходящим в фойе, – стража вводила подсудимых.

Вместе со многими присутствующими я почувствовал глубокую ненависть к бандитам. Они шли с опущенными головами, не смея взглянуть в глаза людям, шли дрожавшие от страха и слепо ненавидящие тех, кто находился в зале, кто их будет судить.

Их посадили за барьер, где прежде располагался оркестр.

– Суд идет, прошу встать! – зычно возвестил комендант военного трибунала.

И вот на сцене появились председатель, члены суда, прокурор.

Один из вошедших бросался в глаза своей необычной для наших краев одеждой. Он был в кругловерхой меховой ушанке с длинными, спускающимися на грудь концами. Даже плохое освещение позволяло разглядеть короткую малицу с вышивкой и высокие, выше колен, унты. Эти богатые и просторные меховые наряды делали его издали похожим на большого таежного медведя. Протиснувшись ближе, я заметил широкий кожаный пояс с пристегнутой к нему кобурой нагана и успел рассмотреть усики на широком, слегка скуластом лице.

– Смотрите-ка, вся одежда его сшита из оленьих шкур! Наверное, якут! – с удивлением сказал кто-то из стоящих рядом со мной.

– Нет, якуты такими рослыми не бывают. Может, он из чукчей? – пробовал догадаться другой.

– Сибиряк, непременно сибиряк! С Лены, должно быть, а может, и с Амура.

Этим спорам положил конец председательский колокольчик. В зале стало спокойнее. В нарушение обычной судебной процедуры председатель трибунала, коротко сообщив о предстоящем суде, предоставил слово для доклада о внутреннем и международном положении заместителю председателя военного трибунала Абдолле Асылбекову. И тогда из-за стола поднялся человек в малице и унтах.

– Абдолла? Асылбеков? Кто же все-таки он? – прошел шепот по залу.

Я стал припоминать, где же и мне приходилось слышать эту фамилию. И в памяти всплыло начало 1919 года, когда я познакомился с большевиком Жумабаем Нуркиным, заключенным в колчаковскую тюрьму. Я уже рассказывал о нем на страницах этой книги. Коротко напомним, что Нуркин под охраной конвоиров выходил из тюрьмы и однажды получил возможность навестить своего отца. Там я с ним и встретился и слышал от Жумабая, что его хороший друг и товарищ Абдолла Асылбеков лежит при смерти в тифозной горячке. Абдолла вместе с Жумабаем создавал Акмолинский совдеп, а потом был схвачен колчаковцами и брошен в тюрьму, где и заболел, в довершение ко всем мукам и пыткам. У Нуркина тогда было мало надежды на его выздоровление. И я теперь, естественно, задавал вопросы: тот ли это Абдолла Асылбеков? И если тот, то как же ему удалось спастись и от тюрьмы, и от смертельной болезни?

А пока я внимательно слушал его доклад. Говорил он свободно, просто и увлекательно. Чтение докладов по бумажке не было в обычаях тех лет. У Абдоллы Асылбекова, насколько я помню, тоже не было никакой шпаргалки. Он не читал, а рассказывал, перемежая свою речь интересными эпизодами из борьбы с японскими интервентами. Особенно любопытно было мне узнать, что Асылбеков участвовал в поимке Колчака. Что касается обзора внутреннего и внешнего положения, то тут было много уже известного. Самая важная новость, которую он впервые сообщил, была замена продразверстки продналогом. Речь заместителя пред-

седателя трибунала много раз прерывалась аплодисментами. А когда Асылбеков кончил и был объявлен небольшой перерыв, я решил во что бы то ни стало познакомиться с ним.

И тут на помощь мне, не в первый раз, пришел мой добрый знакомый, начальник нашей уездной милиции Мукатай Жанибеков, больше известный под прозвищем Угар.

– Ладно!– засмеялся он.– Тебе, Сабит, везет! Сейчас пойду поговорю с ним.

Он прошел на сцену и через несколько минут поманил меня пальцем. Я пошел за ним и едва не столкнулся со спускавшимся навстречу нам Асылбековым.

– Вот тот юноша, который хочет повидаться с вами,– представил меня Угар.

– А! Так я его, пожалуй, уже знаю.

– Знаете?

– Знаю. Ведь это он вчера выступал на траурном митинге.

– Конечно, он!

И тогда Асылбеков взял мою руку и крепко пожал ее своей сильной и широкой ладонью. Тут я заметил под большим пальцем его правой руки нарост. За этот пальцеобразный нарост в народе Асылбекова называли Алты-бармаком – Шестипалым.

– А ведь ты слабоват, паренек!– шутил Асылбеков.

Но я не понял шутки и спросил его с недоумением:

– Почему же?

– Ты помнишь, как говорил вчера на митинге и вдруг заплакал...

– Не мог я не заплакать... Уж очень тяжело было,– признался я. Да, нелегко было хоронить своих верных товарищей и друзей, принявших мученическую смерть, в расцвете сил ушедших из жизни. Я нисколько не стыдился проявленной слабости. Мой голос задрожал снова, слезы подступили к горлу.

Асылбеков взглянул на меня добрыми, понимающими глазами. В это время снова зазвучал колокольчик, приглашающий на заседание.

– Ну, вот что,– сказал мне Асылбеков,– сейчас, сам понимаешь, беседовать нет времени. А судебное заседание кончится часам к десяти. Вот тогда и приходи.

И он мне дал свой адрес.

Суд, признаюсь, расстроил меня еще больше, чем похороны. Страшно было слушать рассказы обвиняемых об издевательствах над нашими людьми. К тому же бандиты так жестоко и хладнокровно смаковали подробности, словно речь шла не об убийствах, а о рубке леса. С ненавистью и страхом глядел я на их тупые, озлобленные лица.

Я не досидел до конца. Поздним вечером я отыскал квартиру Асылбекова.

В жарко натопленной комнате было светло и уютно. Асылбеков показался мне здесь куда более приветливым. И совсем не таким суровым, как на первый взгляд, было его скуластое, в легких рябинках лицо. Добротой светились его узковатые глаза с приподнятыми, как у японцев, углами. Позднее из его рассказов я узнал, что это сходство с японцем помогло ему однажды на Дальнем Востоке обмануть бдительность врагов.

– А-а, Сабит пожаловал!– И Асылбеков радушно ввел меня в свою комнату, усадив рядом с собой на нары, устланные кошмой и одеялами.

И беседовали мы с ним, словно добрые старые знакомые. Да он и в самом деле многое успел узнать обо мне, а временами казалось, что понимал меня лучше, чем я сам.

– Ты не обиделся, что я тебя назвал слабоватым парнем? Нет, говоришь? Ну, то-то... А я тебя так назвал и серьезно и в шутку. Ты еще молод и впервые видел смерть своих друзей. Те, кто много воевал, знают: близкий товарищ сам дорог при жизни, а после смерти в бою самое дорогое – месть за него. Человек, решивший мстить, не должен плакать: слезы застилают ему глаза и мешают видеть врага. Слезы – плохие помощники мстителю.

Я уже не помню в деталях, о чем мы беседовали. Знаю только, что речь шла о самом задушевном, самом близком. Была уже глубокая ночь, когда я собрался идти домой, чтобы дать отдохнуть уставшему Асылбекову. Но он оставил меня ночевать и попросил хозяйку постелить нам на нарах. Там, на нарах, было прохладнее, и мы улеглись рядом, сбросив гимнастерки.

До рассвета говорил Абдолла о своей жизни. Он рассказал мне, как был организован в Акмолинске первый совдеп, как он боролся с силами контрреволюции, с Алаш-Ордой. Печаль звучала в голосе Асылбекова, когда он вспоминал о разгроме совдепа, о временной победе контрреволюции, о колчаковской тюрьме в Омске. В начале 1919 года омские рабочие подняли восстание, освободили многих из тюрьмы. Но Абдолла, лежавший в тифу, остался в камере. Впоследствии обо всем этом написал в своей книге «Тернистый путь» известный казахский писатель-большевик Сакен Сейфуллин.

В эту ночь я узнал, как после кровавого подавления восстания колчаковские палачи стащили всех больных заключенных в одну камеру, лишив их врачебной помощи и передач. Больше ста больных оказалось в камере. За четыре-пять дней большинство из них умерли. Мертвые лежали рядом с больными. И только потому, что тюрьма не отапливалась, трупы не разлагались.

До самой весны пролежал в камере Абдолла.

– Худым я стал, как скелет. Как выжил – до сих пор удивляюсь! Но с первыми теплыми днями стал поправляться, а в июне меня уже гоняли на работы. Летом эшелон заключенных был отправлен на восток. После долгого и тяжелого пути – дорогой продолжались расстрелы – эшелон подошел к Чите. Партизаны, скрывавшиеся в тайге, напали на него и освободили заключенных.

С той поры Абдолла сражался в партизанском отряде, участвовал в разгроме Колчака и японских интервентов. А возвратившись в Омск, получил от Сибревкома назначение на пост заместителя председателя военного трибунала.

В зале городского театра я узнал, что Асылбеков приехал из Омска в наш Петропавловск уполномоченным Западно-Сибирского ревтрибунала разобрать дела белых бандитов. Он довольно быстро во всем разобрался и, завершив свою работу, направился с таким же заданием в Кокчетав. Для Асылбекова был сформирован конный отряд, куда вошел и я.

Уже наступили дни весеннего половодья. С дорог сошел снег, и земля кое-где начинала подсыхать. За два-

три дня можно было бы без труда добраться до Кокчетава. Но мы ехали что-то около десяти дней.

Только в городе самоуверенно считали, что этот путь свободен от банд. На самом деле остатки вооруженных мятежников встречались чуть ли не на каждом шагу. То и дело вспыхивали перестрелки между ними и нашим конным отрядом. Временами легкие стычки переходили в настоящие бои. Пролилась первая кровь.

В отряде принято решение – впереди по двум сторонам дороги выставлять дозорных и вести разведку. Однажды командир отряда сам отправился в разведку в сопровождении нескольких бойцов. Был среди них и я.

В пути мы узнали, что в селе Царицыно засел отряд бандитов, именуемый себя штабом. Разведка, посланная нами, подтвердила сообщение случайного встречного. Командир отряда Данилов решил ничего не говорить членам трибунала и своими силами уничтожить бандитов. Ночью мы внезапно ворвались в село и арестовали бандитов – их оказалось всего двадцать человек. Однако у них и впрямь было что-то вроде штаба, который помещался в одном из небольших домиков поселка. Над домиком этим трепыхался флаг из ветхой зеленой тряпки. Бандиты называли себя зелеными.

Местные жители рассказывали нам, как эта шайка, наводя страх на окружающих, распространяла слух, что они представляют собой лишь штаб небольшой части могущественной армии, которая вот-вот должна появиться здесь, и что будто эта армия уже победила Советскую власть. Бандиты не только говорили, но и действовали. Они посылали своих людей в окрестные поселки уговаривать население поднять новое восстание, а попавшихся им в руки коммунистов немедленно доставляли в этот самый «штаб» мифической армии.

Вскоре после того, как мы арестовали бандитов, наш разведчик донес, что сюда направляются трое верховых и четверо пеших людей впереди них.

– Вот увидите, – сказал нам Данилов, – бандиты обнаружили еще четырех коммунистов и теперь гонят

их в свой зеленый штаб. Давайте-ка сыграем с ними комедию – переоденемся по-крестьянски и в таком виде их встретим.

Ничего не подозревая, бандиты привели арестованных к зданию с зеленым флагом. Данилов и с ним еще несколько переодетых бойцов охраны почтительно приветствовали пришедших. Среди троих верховых один был офицер в поношенной шинели с погонами, в папаше с наискось прикрепленным к ней зеленым лоскутом. В правой руке у него был маузер. Спутники его были обыкновенные бородатые мужики.

Почему-то офицер и не обратил внимания на то, что перед ним незнакомые люди. Зеленые сдали нам четырех связанных пленных и спокойно прошли в дом. Там мы их схватили и только тут поняли, почему они так легковерно отнеслись к нам, – и от офицера и от мужиков разило самогоном. Они были настолько пьяны, что даже не соображали, что с ними произошло, и продолжали, отчаянно ругаясь и бахвалясь, считать шуткой и арест, и скрученные на спине руки, и отобранное оружие.

Данилову наконец надоело слушать болтовню офицера, и он, сбросив с себя крестьянский тулуп, предстал перед ним в военной форме красного командира.

– Теперь ты понял, кто я?

У офицера и его спутников от страха глаза на лоб полезли. Не теряя времени, Данилов пригласил в дом освобожденных коммунистов и стал допрашивать офицера. Насмерть перепуганный, он давал краткие и четкие ответы. Его фамилия была Кырчик. Он родился в семье белорусского помещика, был участником первой мировой войны, кончил курсы прапорщиков, дослужился до поручика, во время революции с армией Юденича наступал на Петроград. Потом по воле судьбы попал к Колчаку, а когда колчаковцы бежали на восток, остался здесь и долго жил под чужой фамилией в семье местного кулака, сын которого, тоже офицер, был его закадычным другом. В восстании баев и кулаков они участвовали вместе. После подавления мятежа Кырчик не сложил оружия, а продолжал преследовать коммунистов и советских работников.

– Все ясно!– Данилов закончил допрос.– Нечего с ним церемониться. В расход.– И уже тоном приказа добавил:– Тех двоих пусть расстреляют арестованные ими коммунисты, самого офицера расстреляет Муканов.

– А нельзя ли приказать кому-нибудь другому?– не без робости спросил я.

– Это почему же?

– Мне не приходилось стрелять в пленных.

Лицо Данилова налилось гневом.

– Что ты городишь? Какой он пленный?! Перед тобою враг Советской власти. Исполняй приказ!

Я стоял как вкопанный.

– Дайте ему маузер.

И мне передали пистолет в большой деревянной кобуре, отобранный у офицера при аресте.

– Трать только одну пулю,– приказал мне Данилов.– Остальные еще понадобятся.

Я знал, что маузер заряжен целой обоймой пуль и, если после первого выстрела не отпустить спусковую скобу, вся обойма будет израсходована одной очередью.

Мне впервые приходилось расстреливать, и, должно быть, поэтому я не выполнил приказа моего командира – вместо одной выпустил в Кырчика две пули, хотя он свалился после первого выстрела.

Я был как шальной и не понял сразу своей оплошности.

– Случится еще раз – будешь выполнять мой приказ точно?

– Точно выполняю.

Данилов, взяв у меня маузер, повертел его в руках.

– Хорошая штука,– сказал он,– еще сослужит нам службу! У Советской власти много врагов.– И Данилов протянул маузер мне.– Вот, возьми себе, будешь им бить врагов. И лишних пуль не трать!

Тут-то и догнали нас трибунальцы. Асылбеков узнал все подробности истории моего маузера. Он отечески поздравил меня.

– Знаешь, дорогой,– сказал он,– хоть ты много раз сражался с бандитами, расстрел белого офицера – это тоже боевое крещение.

Мы приехали в Кокчетав. По сравнению с Омском и Петропавловском городок этот показался мне жалким и убогим.

Прежде, когда мне приходилось слышать само это имя Кокчетау – Синюха, я воображал, как над городом возвышается синяя большая гора. Ведь до сих пор самая высокая гора, которую мне приходилось видеть, была Сырымбет, и, думая о Кокчетау, я рисовал себе нечто подобное Сырымбету. Но над городом высилась всего лишь небольшая сопка, да и она походила скорее на холм, поросший редким сосняком. Унылый вид местности несколько оживляло большое, заросшее по берегам камышом озеро, находившееся совсем рядом с городом.

Сам город был не больше средней станицы. Прямые широкие улицы едва достигали двух верст в длину. Среди низких, маленьких домов выделялось несколько двухэтажных зданий – они возвышались, словно одинокие верблюды среди косяка лошадей. В центре города – маленький сквер с низкорослыми деревьями, неказистая деревянная церквушка и мечеть. На окраине – два заводика, скорее мастерские – кожевенный и пимокатный.

Вот и весь Кокчетав. И всего удивительнее, что этот городок на протяжении целого столетия был сначала окружным, а потом уездным административным центром.

Когда мы сюда приехали, почти вся работа по ликвидации мятежа была уже закончена Кокчетавским политбюро, с одним из членов которого я вскоре близко познакомился. Звали его Сейфоллой Каскарбаевым. Ему тогда было лет тридцать пять. Выше среднего роста, с маленькими серыми глазками на бледном лице и темно-рыжими усами, он чем-то неуловимо напоминал птицу. Смешной и малопонятной была его манера изъясняться. Глаголов он не признавал и часто употреблял своеобразное слово «нетип», которое по-русски приблизительно можно перевести «так что». Кроме того, кстати и некстати он произносил на каждом шагу словечки «затем», «поэтому», «после этого», «когда было так». Родом Сейфолла был из Семиречья, до революции лет десять работал на пристанях Семипалатинска, Павлодара и Омска. Прошлой осенью его послали из Омска в

Кокчетав. Незадолго до кулацко-байского мятежа он стал членом Кокчетавского политбюро.

Бандиты, приблизившись к Кокчетаву, обошли его стороной, но все северные волости Кокчетавского уезда были охвачены восстанием, руководила которым в этих местах главным образом алашордынская казахская интеллигенция. Сейфолла много рассказывал нам о том, что он пережил во время восстания, находясь в Айыртау и Котырколе, не раз подвергаясь смертельной опасности. Говорил он и о продразверстке, и о трудностях, которые пришлось испытать, отбирая у озлобленных баев скот и хлеб у кулаков. Это были тяжелые, иногда трагические события, но Сейфолла все представлял в комическом свете, так что часто невозможно было удержаться от смеха. И в таком шутиливом тоне он рассказывал о серьезнейших событиях, незаметно подбадривая этим себя и других. Уважая Сейфоллу за жизнерадостность и честность, его называли почтительным именем Сефен.

Кончив работу, трибунал должен был возвращаться назад, уездный ревком предложил мне остаться здесь и стать председателем ревкома Кокчетавской волости. Я не хотел соглашаться, ссылаясь на свою молодость, — мне был всего двадцать один год.

В душе я хранил другое желание — вернуться в Петропавловск и учиться. Из газет мне было известно, что Акмолинская и Семипалатинская области с мая вышли из состава Западной Сибири и были включены в Казахскую автономию. Петропавловск теперь стал губернским центром, и там открылись разные курсы.

И если бы не Абдолла Асылбеков, я ни за что не согласился бы остаться в Кокчетаве. Но за дни нашей совместной работы в трибунале он стал больше, чем близким моим товарищем. В нем я видел своего духовного отца. После Жумабая Нуркина, впервые рассказавшего мне, кто такие большевики, и Абиляхаира Досова не было в моей жизни человека, который бы так открыл мне глаза на мир, как Абдолла. Каждый его совет я воспринимал, как воин воспринимает приказ.

— Тебе надо ехать в Кокчетавскую волость, чтобы увидеть жизнь и закалиться, — напутствовал меня

Асылбеков. – Это тяжелая волость. Она была гнездом бандитов. Да и теперь там кое-кто разгуливает на свободе. Надо быть осторожным и решительным. Езжай, Сабит!

И я, понятно, поехал.

На прощание он мне сказал:

– погоди, дружок! Скоро, наверно, я переберусь в Оренбург и тогда помогу тебе устроиться там на учебу.

Трибунальцы уехали. Мне особенно жалко было расставаться с полюбившимся мне Абдоллою. На мужественном его лице я тоже обнаружил признаки душевного волнения. Он крепко обнял меня, поцеловал и медленно, тише, чем обычно, произнес:

– Мы, голубчик, породнились с тобой на боевом посту. А это – родство навеки.

Асылбеков оказался прав. Стойкой и верной была наша дружба, покуда не оборвалась жизнь моего наставника и учителя, дорогого моего старшего товарища.

В ВОЛОСТНОМ РЕВКОМЕ

Трудная мне предстояла работа. Я познакомился с положением дел и узнал, что до восстания председателем ревкома Кокчетавской волости был бай Нуржан Нигметжанов, примкнувший к мятежникам. Когда было подавлено восстание, Нуржан попал в руки одного из наших отрядов и был расстрелян. Но у него было много сообщников, большинство которых рассеялось по соседним волостям, а некоторые скрывались и в самой Кокчетавской волости.

В помощь мне Кокчетавский ревком послал своего инструктора Абуталипа Масгутова, лучше меня знавшего русский язык, но очень нерешительного и робкого человека. Еще к нам присоединился и третий – Амиржан Наурызбаев. С ним я познакомился в не совсем обычной обстановке.

По дороге в Кокчетав, когда мы сопровождали трибунал, наша разведка задержала Амиржана, подозревая в нем лазутчика мятежников. Он оказался батраком одного из кулаков Алексеевки, ему было года двадцать три, и, разобравшись, в чем дело, мы отпус-

тили его. Я взял с него слово, что он непременно придет повидаться со мной в Кокчетав. И он сдержал его. Перед нашим отъездом в Кокчетавскую волость он явился ко мне, и я решил не отпускать его. Амиржан был, как говорится, нужным человеком. Он знал русский язык, ему были наперечет известны все окрестные баи, и, будучи уроженцем Кокчетавской волости, он прекрасно знал местность. К тому же Наурызбаев был весельчак и артист в своем роде – с большим чувством пел он своим негромким голосом русские и татарские песни, подыгрывая себе при этом на домбре.

Так мы и выехали втроем в тряском тарантасе. Снег растаял, дороги подсохли.

– Здесь недалеко живет один мой знакомый, – сказал Амиржан, – правда, знают его все не по настоящему имени, а по прозвищу – Шолак Шаймерден. Его так зовут потому, что у него нет большого пальца на правой руке. Совсем молодым он поступил шахтером на рудники за Иркутском и только десять лет назад вернулся на родину, теперь живет с женой и тремя детьми в Трофимовке. Он нам может помочь – человек честный, решительный и смелый, а баев ненавидит так, что готов ради их уничтожения и на смерть пойти. Да и русский язык хорошо знает – ведь жена его, Марфа, русская. Надо его взять с собой, – заключил Амиржан. – Мне кажется, он из таких людей, которые могут нам помочь.

Шаймерден оказался дома. Он жил в маленькой крестьянской избушке, хозяйства у него почти не было. Даже кур и тех мы что-то не заметили. Сам он – плотный, среднего роста человек, суровый на вид. По смуглому лицу рассыпались рябины, верхнюю губу почти закрыли густые усы. Лет ему было около пятидесяти.

И Шаймерден, и жена его, полная, белокурая женщина, встретили нас очень приветливо. Мы беседовали, уговаривая Шаймердена помочь нам; впрочем, он и не стал отказываться. И уже вечером мы продолжали наш путь.

Ревком Кокчетавской волости находился в ауле Нигметжана, расположенном в гуще небольшого леса. Увидев этот аул, я вспомнил богатый аул Альти: и здесь деревянные дома, длинные, поставленные рядами сараи, скотные дворы; все здания под железными

крышами, построены добротнo и прочно, а в центре аула мечеть с двумя минаретами.

Нас встретил стройный жигит с очень симпатичным лицом. Это был сын Нигметжана – Галимжан. Одному богу известно, как он узнал заранее о нашем приезде.

Мы спросили, где помещается канцелярия ревкома, и Галимжан провел меня в одну из комнат большого деревянного дома Нигметжана. В углу этой «канцелярии», на нарах, уткнувшись лицом в подушку, спал, свернувшись калачиком, маленький седобородый человек. В глубине комнаты – грубо сколоченный из досок столик и возле него же табуретка. В другом углу – покосившийся старый шкаф.

– Значит, это и есть канцелярия?– обратился я к Галимжану.

– Да,– смущенно ответил он.– А вот этот старик – секретарь. Он русский, зовут его Федором Лысовым, казахи кличут его Шодыр. Ему, должно быть, восемьдесят пять, а может, и больше.

– Что ж он спит при таком шуме?– спросил я.

– Да на ухо туговат.

– И давно он секретарствует?

– Что ж ты не расскажешь,– прервал мои расспросы Амиржан, обращаясь к жигиту,– что старик этот был секретарем твоего дедушки Бекмагамбета, потом его старшего сына Гашена, затем Нигметжана? Разве не правду я говорю?

Галимжан, вконец смутившись, покорно согласился.

Я удивился таким знаниям Амиржана, но Шаймерден своим последующим рассказом поразил меня еще больше.

– Да ведь это Лысов! Он служит здесь секретарем с пятнадцати лет, значит, уже семьдесят с лишним. Он один из тех, кто помогал баям грабить народ.

Я попросил Галимжана разбудить старика.

Старик был глух, и пока Галимжан будил его и кричал ему на ухо, объясняя, кто мы и зачем сюда приехали, прошло довольно много времени. Наконец что-то до него дошло, и он взглянул на нас такими злыми глазами, точно мы пришли по его душу.

Мы потребовали у старика все бумаги, которые имелись в его канцелярии, и он, порывшись в шкафу,

принес нам тоненькую тетрадку, где был какой-то перечень из десяти заголовков. Тетрадочку он назвал «перепиской».

– А где же сама переписка?– спросил я.

Таковой не оказалось. По словам старика, ее забрали военные, а какие военные – красные или белые,– он не сумел или не захотел ответить.

– Чем бумаги штампуете?

– Старым штампом, царским... Советских еще не давали.

Мы громко рассмеялись, несказанно зля своим смехом старика, и потребовали хотя бы царскую печатку. Старик нехотя достал кусочек гладкой, круглой резинки без единой буквы. По-видимому, эта резинка и звалась печатью.

Так мы приступили к работе в ревкоме, я стал председателем, Абуталип – секретарем, а Шаймерден и Амиржан – связными.

Прежде всего мы должны были распространить среди населения воззвание Сибирского ревкома, в котором предлагалось всем принявшим участие в восстании по подстрекательству белых и алашордынцев сложить оружие и добровольно возвратиться к мирному труду. У тех же, кто не захочет подчиниться этому требованию, будет конфисковано имущество, а сами они понесут строгое наказание.

Распространить это воззвание было особенно необходимо потому, что восстанием, как мы скоро установили, была охвачена вся Кокчетавская волость, а Нуржан Нигметжанов, председатель ревкома, был одним из самых активных его руководителей. Из восьми председателей аульных ревкомов этой волости пять оказались в рядах мятежников.

Среди трех председателей аульных ревкомов, оставшихся преданными Советской власти, был Сыздык Тлемисов. Сыздык всю территорию между Акмолинском, Омском и Петропавловском знал как свои пять пальцев. К тому же он был страстным любителем соколиной охоты, и в свободное от работы время мы иногда отправлялись с ним на зайцев и уток.

У Сыздыка был сын Жакан, мой ровесник. Он, как и я, сочинял стихи. С 1920 года он учительствовал в ауле

бая Альжана – аул этот находился в соседней Котыркульской волости, восстание там и застало Жакана. Сыздык не знал, жив ли его сын, – от него давно не было никаких вестей.

Я старался утешить Сыздыка в его горе, но сам почти не питал надежд на счастливый исход – ведь бай Альжан и его сын Исламбек не сложили оружия и продолжали в горах Борового убивать советских людей.

Сын Сыздыка, поэт Жакан Сыздыков, живет сейчас в Алма-Ате.

Наше воззвание распространялось по аулам, и многие участники восстания, явившись в ревком, сдали оружие, но главари и закоренелые враги Советской власти, вроде Нигметжана и Мукылая из того аула, где мы жили, и Сагита Сагизкозова из соседнего аула, все еще скрывались и не думали разоружаться. Тогда уездный ревком приказал взять на учет скот и все имущество баев для последующей конфискации.

Прежде всего мы взяли на учет скот Нигметжана и Мукылая – всего около трех тысяч лошадей.

Может быть, потому, что силы баев иссякли, а может, потому, что они боялись потерять скот, через месяц почти все участники мятежа вернулись в свои аулы. И только Нигметжан, Мукылай и Сагит продолжали скрываться, чувствуя, вероятно, всю тяжесть совершенных ими преступлений. Ведь в дни восстания в ауле, где был теперь наш ревком, находился штаб бандитов, по приговору которого они расстреляли двадцать коммунистов и потом сбросили трупы расстрелянных в давно заброшенный колодец. Желая замести следы, бандиты в день своего бегства извлекли из колодца трупы убитых коммунистов и закопали их так, чтобы никто не смог найти.

В числе исполнителей зверского приговора были Мукылай с Сагитом. После всего происшедшего разве могли они вернуться в свои аулы?

Постепенно налаживалась работа нашего ревкома. У него даже появились отделы, были приняты новые работники: активист бедняк Асан Болатов – заместитель председателя волревкома, Елжас Бекенов – заведующий отделом народного образования, получив-

ший в двадцатых-тридцатых годах известность как писатель, середняк Мукан Белтин – заведующий земельным отделом ревкома.

Одной из самых важных наших задач было налаживание работы аульных ревкомов. Мы задумали организовать в волости курсы батраков, чтобы подготовить кадры для аульных и волостных учреждений. Разумеется, это была очень хорошая идея, но прежде нужно было бы посоветоваться с уездным ревкомом. По молодости своей, по отсутствию ли опыта, мы этого не сделали и сами решили открыть курсы для двадцати пяти слушателей сроком на полтора месяца. Мы отобрали наиболее способных и хотя бы чуть-чуть грамотных батраков и сами составили программу. Конечно, это была не ахти какая удачная программа, но чем-то она напоминала, должно быть, программу курсов ликбеза – ликвидации неграмотности. Однако большая трудность была впереди – у нас не оказалось средств, чтобы хоть немного обеспечить своих курсантов. Тогда мы постановлением волревкома составили список баев, имевших более пятисот лошадей, и обязали каждого из них доставить недельный запас мяса, хлеба и кумыса на двадцать пять человек. Баи послушно исполнили наш приказ.

Работа ревкома и занятия на курсах шли своим чередом. Люди все больше верили в наши силы и к нам, в ревком, часто приходили теперь с просьбами и жалобами. Чаще всего нам приходилось защищать права батраков, которым баи отказывались платить. До революции батракам вообще ничего не платили, теперь они стали требовать оплаты своего труда за долгие годы, порою не только за себя, но и за своих отцов и даже дедов. Мы выносили решения, и нам удавалось заставлять баев выплачивать их долг.

Приходили к нам и женщины, требуя свободы и равноправия. И много раз мы освобождали женщин от ненавистного брака, давали развод и выделяли положенное им имущество. Не одну девушку избавили мы от необходимости выходить замуж за нелюбимого человека, с которым ее обручили в детстве. И никто не смел нам противоречить. В бракоразводных делах

мы строго придерживались классовой политики. Обычно вторые и третьи жены баев были из бедняцких семей и стремились уйти от седобородых мужей к молодым возлюбленным, чаще всего к пастухам и батракам этих же баев. Во всех этих случаях мы с особенной радостью соединяли молодых и наделяли их, понятно, за байский счет, скотом и имуществом.

Много приходилось нам заниматься и земельными делами. Правда, пастбищ в этой волости было в избытке, а земледелием здесь не занимались – в тот год, например, не было посеяно ни одной десятины. Но вот на неправильное распределение сенокосных угодий поступило много жалоб. Лучшими участками, заросшими диким клевером, ковылем и осокой, владели баи. А на землях, ранее предназначенных бедноте, свежие травы забивал годами некошенный сухостой. Мы шли навстречу жалобщикам и отбирали для них у баев удобные и урожайные участки.

Продразверстка к тому времени была уже заменена продналогом. Смирившиеся после подавления восстания баи и не пытались против него возражать, пригоняя в срок к указанным пунктам должное количество скота.

Так, по мере наших сил, выполняли мы обязанности представителей Советской власти.

А в свободное время, как я уже рассказывал, любимым нашим занятием были охота и песни. Мне удалось познакомиться с одним старичком, прекрасным тренером ловчих птиц. Звали его Ахмет Борушев. Этот сухой, худощавый старик с красноватыми слезящимися веками и седой бородой, несмотря на свои семьдесят лет, не хуже любого жигита мог вскочить на коня и лихо промчаться по степи. У него был великолепный сокол, и не случалось еще, чтобы эта птица, темного оперения с белыми крапинками, упустила свою добычу.

И еще мы любили песни. Среди моих знакомых певцов-домбристов особое место занимал юноша Габбас, – он еще и сейчас жив и трудится в колхозе имени Ленина, Энбекшильдерского района. Он, выросший в русском поселке Кантай, не умел играть

на домбре, но зато как он пел! Мне кажется, никогда до этого я не встречал такого сильного, приятного голоса, такого изумительного по мастерству пения.

Противоположностью ему был тридцатилетний Беркимбай Нуримов. Он обладал не очень сильным голосом, но был необычайно искусным домбристом и исполнителем речитативных песен.

Каждый по-своему был так хорош, что я не знал, кому отдать предпочтение.

Особняком стоял Шолак Шаймерден. Он пел всегда громко, грубовато, даже крикливо, но артистически владел интонацией и неподражаемо исполнял куплеты из айтыса Биржана и Сары. Из русских песен он особенно хорошо пел «Удалого купца». Пел он и татарские песни, и частушки, но в его передаче почти исчезала музыка песни, зато словам он придавал особый вес и значение. Вот одна из забавных песен-частушек, записанная мною в ту пору со слов Шолака Шаймердена:

Был Токмак ни так ни сяк...
В Омск отправился Токмак.
Знаменитым стал купцом.
С ним дружу я, с подлецом.

То ли конный, то ли пеший
К нам в аул опять спешит,
Не подарком ли потешить
Хочет девушку жигит?

Ох, сведут меня с ума
Новые ботинки.
Моя милая сама –
Яркая картинка.

Наши молодые курсанты все очень любили петь и по вечерам часто собирались в одной из самых просторных комнат соснового дома Нигметжана и подолгу слушали других и пели сами, вознаграждая себя за трудности нашей работы. На звуки домбр и песен сюда сходились многие жители аула.

НА ВЕРШИНЕ КОКЧЕТАУ

Баи Кокчетавской волости прозвали меня «Кара борик», что в переводе означает «Черная шапка». Я действительно приехал в волость в черной барашковой папахе, а на «любезности» моего обращения с баями, конечно, никто не мог бы пожаловаться. Мы круто поступали с ними, и если в случае чего нам не достало бы собственных сил, мы могли обращаться за помощью к отрядам, стоящим в Боровом, Сабды и Кырау-камысе.

Однажды к нам в ревком пришел какой-то человек и рассказал, что он пытался тайно увезти полюбившуюся ему девушку из аула Омара Молдажанова, но Омар поймал его и, жестоко избив, отнял невесту. Гонец, посланный нами за Омаром, быстро вернулся и сказал, что Омар скрылся. Это нас насторожило. Нужно было принять меры к розыскам: к тому же я собирался обязательно попасть в отряд Красной Армии, стоящий в Боровом и занятый ликвидацией остатков банд. Так вместе с певцом Габбасом и Абуталипом мы тронулись в путь.

Кокчетау – Синяя гора! Ее называют еще Бурабай – Боровое. Неясно, точно мираж, синела она вдаль, заметная и в ауле Нигметжана. Горы издали вообще кажутся синими, но у Кокчетау какая-то особенная синева, напоминающая аметист.

Сколько раз мечтал я увидеть гору, о которой создано столько легенд, но все не удавалось выбрать свободное время. И вот теперь наконец-то я ее увижу...

По дороге Габбас поет нам песню «Кара коз» – «Черные глазки». Припев я запоминаю навсегда:

О Кокчетау, склоны твои –
Сайгаков резвых приют!
О черных глазах, о моей любви
С тоскою струны поют.

Эй, ай!
Черноглазую скрыла даль.
Что я могу сказать?
О ненаглядной моя печаль,
Ну как мне ее унять?

Вот она, Кокчетау, кажется – совсем близко! Она становится все выше и выше, еще ярче синеют ее склоны, и мы торопимся поскорее добраться до цели.

– Все равно сегодня не доедем, – огорчает меня Абуталип. – Ведь это только кажется, будто гора близко. До нее еще верст пятьдесят-шестьдесят... Это значит, что мы приедем только ночью и тогда ничего не увидим. Лучше уж переночевать где-нибудь в ауле. У меня тут есть добрый знакомый, по имени Лятай. И он, и его сын Казыгожа – гостеприимные люди.

После небольшой паузы Абуталип подзадоривает меня:

– А какая дочь у него! Красавица, остроумная, музыкантша... Посмотришь – как приедем, сейчас же она скажет: «А ну, друзья, покажите, на что вы способны! Возьмите-ка домбру да спойте песню!»

– А что ж, и споем! – говорю я, стараясь представить себе по рассказу Абуталипа дочь Лятая.

Она и в самом деле оказалась красивой семнадцатилетней девушкой. И все было так, как предсказывал Абуталип. Мы пели по ее просьбе, хорошо пела и играла на домбре и она. И сам Лятай и его сын тоже произвели приятное впечатление.

У Лятая мы познакомились еще с одним человеком, который, представившись нам, назвался Омеке. Он был уже не молод, судя по редким седеющим усам, но очень привлекателен и даже красив.

– Это наш родич по матери, – добавил Казыгожа, не вдаваясь в подробности.

Омеке неожиданно оказался искусным домбристом. Пальцы его порхали по струнам и извлекали из домбры неповторимо нежные, переливающиеся звуки. Есть два способа настраивать домбру для песен и кюев, иных приемов владеть этим инструментом я не встречал. Ведь каждый лад требует соответствующего ему удара по струнам.

Омеке умел настроить домбру так, что две ее струны издавали звуки необычайной красоты и своеобразия, таили много неожиданностей.

Я слушал Омеке, весь вечер хвалил его игру, восхищаясь ею все больше и больше, чувствуя, что этот

человек способен околдовать своим искусством. Мы всю ночь не спали и, едва занялась заря, по предложению Казыгожи, отправились на охоту с ястребом. Я еще в сумерки видел его нахохлившуюся умную птицу, дремавшую на подставке.

Ястреб до восхода солнца взял пять уток, и нужно было видеть, какой самозабвенный азарт охватил при этом Амиржана, как горели его глаза, когда он следил за ястребом. Амиржан наконец не выдержал и стал просить Казыгожу дать ему поохотиться с ястребом. Казыгожа долго не соглашался, объясняя Амиржану, что ястреб может испугаться незнакомого человека и вовсе улететь, что с ним нужно и обращение особое. Видно было, что охотник очень дорожит своей ловчей птицей и вряд ли согласится. Но Амиржан так его упрасивал, что тот в конце концов уступил. Амиржан с ястребом в руке уже прищпорил коня, а Казыгожа давал ему последние наставления:

– Только смотри сильно не бросай, будь осторожен. Когда ястреб схватит птицу, пожалуйста, не мчись во весь опор: ведь он может испугаться. И добычу не сразу отнимай, а подожди, пока он сам не отпустит.

Но, скоро убедившись, что Амиржан действительно умелый охотник, Казыгожа успокоился и предложил мне:

– Давай с тобой подождем, пусть он сам ездит. А у нас и лошади отдохнут.

Так мы и остались вдвоем. Амиржан поскакал на другой край топи. Казыгожа взглянул на меня своими серыми глазами и заговорил:

– У меня есть к тебе большая просьба, Сабит. Искренность, говорят добрые люди, самая лучшая черта в человеке. Хочу быть искренним и я с тобой, потому что ты мне очень нравишься, хоть я недавно тебя знаю.

Я слушал, стараясь понять, куда клонит Казыгожа, но ничего не мог придумать. Зато следующее, что сказал он, меня удивило безмерно: он просил за Омеке, того самого Омеке, который околдовал нас своей игрой на домбре и который был не Омеке, а Омаром Молдажановым, так поспешно скрывшимся от нас!

Люди, знавшие о проступке Омара, напугали его тем, что грозный Кара борик, выехавший в отряд к

Донскому, непременно арестует его, а так как путь к этому отряду был один, то Омар, предполагая, что мы заночуем у Лятая, обратился к Казыгоже с просьбой о заступничестве.

Оказалось, что Омар жаловался и начальнику отряда Донскому, но тот заподозрил в клевете самого жалобщика и пригрозил ему наказанием. А тем временем существовавший в те годы в степи беспроволочный телеграф – узун кулак (длинные уши) – сообщил, что Кара борик выехал в отряд.

Все еще изумленный, я сказал ему, что мы действительно собирались арестовать Омара, и наша поездка в известной мере была вызвана его внезапным исчезновением.

Казыгожа продолжал уговаривать меня:

– Смени гнев на милость, Сабит, отдай свой нож вместе с ножнами. Он, правда, человек зажиточный, но ведь совсем темный. Он до сих пор ничего не понимает в происходящем и никак не может расстаться со своими убеждениями. Да стар он уже, разве его можно переделать? Простить надо неразумного старика! От этого мир не перевернется и Иртыш вспять не потечет. Свою вину он готов загладить и конем, и халатом.

Я не знал, что и делать. Казыгожа был отчасти прав в своих доводах, но и проступок Омара был серьезным. В моем споре с самим собой решающее слово взяла музыка.

Я не мог забыть искусных пальцев Омеке, его талантливой игры на домбре. «И в самом деле, – думал я, – что пользы в том, если мы его арестуем? Казыгожа прав, Иртыш вспять не потечет. А десяти славных пальцев не будет, талантливой игры тоже не будет, и долго никто не услышит его домбры».

И я согласился не трогать его. Радость Омара была безмерной. Он чуть не плакал, когда благодарил меня, и не уставал твердить о несправедливости клички Кара борик, которой наградили меня местные баи.

В тот же день к Лятаю совершенно случайно заехал и Донской, точно угадав, что он нам очень нужен. Я тут же переговорил с ним обо всем. Надо было возвращаться, но как мог я уехать, не повидав горы Кокче! Донской неодобрительно отозвался об этой затее. Хоть

банды в основном ликвидированы, все-таки там опасно, тем более что некоторые из них до сих пор скрываются в лесных зарослях на склонах Кокчетау.

– Балташ Даулетов и Алексей Кожедуб, – говорил Донской, – опасные враги, живыми не сдадутся. Многих коммунистов уже настигли их пули. Неужели ты хочешь подставить им свою голову?

– Э-э, Андрей Гаврилович, – сказал я, – жигит умирает только раз. Ничего не случится, авось буду жив! Уж очень хочется побродить мне по горе – рядом ведь! Неизвестно, когда еще доведется побывать в этих местах...

Казыгожа поддерживал меня, принимаясь расписывать прелести горы, к тому же он сомневался, чтобы на Кокчетау еще остались бандиты. И еще он упомянул о том, что я пишу стихи и чудесная Синяя гора будет кладом, который вдохновит поэта.

Разве мог устоять Донской перед наседавшими на него жигитами, которым вдруг так захотелось полюбоваться на небо, деревья и птиц!

– Смотри! Ответишь мне головой за Муканова! – шутиливо пригрозил Казыгоже Донской.

На следующий день из аула Лятая выехало шесть верховых – Казыгожа, Амиржан, Габбас, я и еще два вооруженных бойца, которых Донской все-таки прислал нам для полной безопасности.

Нужно, по крайней мере, дней пять-шесть, чтобы побывать во всех красивых местах этих гор. У нас не было столько времени, и поэтому мы решили посетить лишь самые достопримечательные уголки, полагаясь на знание нашего проводника Казыгожи.

Взбираясь вверх по извилистой тропе, мы достигли огромного озера, засверкавшего как серебряный слиток. Казыгожа объяснил:

– Его зовут Киши Шабак – Малое Чебачье. Кроме Малого, есть еще и Большое Чебачье озеро. Ты его, может быть, заметил из нашего аула? Два этих озера окружают Боровое с запада и севера, между ними и расположился аул Лятая. Малое Чебачье в длину имеет десять, а в ширину шесть верст. Ну, а Большое Чебачье в длину пятьдесят, а в ширину десять верст.

Озера и в самом деле были очень большими и глубокими, так что само название – Малое Чебачье –

звучало странно и непонятно. Уж оно никак не было малым – глазом невозможно было охватить его поверхность, а глубина его, как рассказывали, достигает двадцати пяти метров.

В тот день было ветрено. Волны, перегоняя друг друга, ударялись о гранит отвесной скалы и убегали прочь, и новые волны так же безуспешно продолжали бросаться на скалистый берег.

Двигаясь по кромке гранитной скалы, мы поднимались все выше и вот уже увидели и самую вершину горы, устремленную в яркую синеву неба. Тропа стала совсем узкой, и теперь становилось страшно, как бы не оступилась лошадь. Но местные кони привычны к высотам, они умеют делать передышки, подогнув передние ноги, и потом, раздувая ноздри, снова движутся дальше.

Мы идем по дороге, прорезающей сосновый лес. Вдали виднеется еще одно озеро. Это и есть озеро Боровое. Его окружают горы, похожие на расставленные круглые юрты, – с них стекают в озеро ручьи и родники. Весной в него вливаются талые воды, и ни одной речки не вытекает из Борового. Оно всегда полноводно и не убывает в берегах, а Чебачьи озера в засушливое лето становятся меньше, заметно мелеют.

...Сосновый бор остался позади, мы начали спускаться к озеру и вдруг увидели справа от себя высокий и конусообразный каменный пик, весь заросший хвойными деревьями. Даже на вершине его зеленело несколько одиноких сосен. Было непонятно, как могли они вырасти здесь, посреди камней, как попали туда их семена, куда они уходят корнями, как они вообще могут держаться на этих каменных крутых глыбах.

– Это и есть Окжетпес – Стрела не долетит, – сказал Казыгожа, приметив, с каким любопытством разглядывал я гранитную вершину. – О ней даже сложена легенда, очень увлекательная и поэтическая. Если говорить коротко, то, по легенде, в старину здесь состязались в стрельбе из лука богатыри, и ни одна стрела не достигла вершины. Вот откуда и происходит это название. Как-нибудь я тебе расскажу подробно. А теперь давай просто полюбуемся.

Снова и снова всматриваясь в сказочно красивую вершину, мы обнаружили на ней едва приметный, трепетавший на ветру флаг. Это было совсем удивительно. И мне сказали, будто флаг этот водрузила там неизвестная русская девушка. Как она смогла взобраться туда, было совершенно непонятно.

Чтобы лучше рассмотреть Боровое, Казыгожа предложил нам подняться на вершину Кокче, самую высокую среди окружающих гор.

День был ветреный, но ясный – редкость в здешних местах. Значит, нам повезло, и нельзя было упустить такой удобный случай.

– Когда горы в тучах, рассмотреть ничего нельзя. Сегодня же все будет видно как на ладони.

Петляя по извилистой тропинке, мы медленно поднимались к вершине. У меня, степного жителя, кружилась голова с непривычки к такой высоте, стучало сердце, и я жмурил глаза. Спутники мои были совершенно спокойны, как будто не на гору взбирались, а ехали по гладкой равнине.

На вершине, которой мы достигли в полдень, я спешил и прилег на землю отдохнуть. А когда поднялся, невольно вскрикнул от изумления. Громоздились горы, синели леса, как изумрудные чаши сверкали озера. Окжетпес, казавшийся снизу таким недостижимо высоким, был теперь у наших ног.

Казыгожа сказал, что озер здесь около восьмидесяти. Насколько хватает глаз, тянулись горные гряды. Вершины их устремились к небу. И все это вместе звалось Кокчетау.

Казыгожа орлиным взглядом всматривался в дали и, протягивая руку, называл по имени каждую вершину.

– Самая ближняя к нам гора, – говорил Казыгожа, – вон та, Зеренда. Она всего в девяноста верстах от нас. А это – Айыртау – Двугорбая гора, она и в самом деле издала похожа на двугорбого верблюда. До нее сто сорок верст. А там – Сандыктау – Гора-сундук. Она еще дальше.

Мне трудно удержаться от восклицания:

– Как далеко отсюда видно!

Габбас вторит мне.

– Это и народ увидел в песне. Спой ты ее нам, Габбас! – просит Казыгожа.

Высокий голос Габбаса странно звучал здесь, на вершине горы, сливаясь с шумом ветра, и отдавался эхом в ближних ущельях.

О Кокчетау, так ты высока,
К тебе наши песни летят...

ОПАСНАЯ НОЧЬ

Борьба многому учит человека. Многому научились и мы за первые месяцы работы в ревкоме. Нужно было прежде всего так поставить дело, чтобы враг не мог застать нас врасплох. Для этого мы должны были подготовиться ко всяким неожиданностям, знать, что делается в чужом лагере, знать, где скрываются бандиты, что они замышляют. Был у нас непревзойденный ловкий разведчик, от глаз которого, по моему, вообще невозможно было укрыться, – Шабал Сарсенбаев, известный всем как Букур – Горбатый; стоило назвать этого человека именно так, прозвищем, всякий указал бы его. Услышав о каком-то Шабале Сарсенбаеве, местные жители пожимали плечами и говорили, что не знают такого.

Шабал в действительности не был горбатым, а просто сутулился, но он так свыкся со своим прозвищем, что если б кто-нибудь назвал его настоящим именем, он, пожалуй, и не откликнулся бы.

Маленького роста, верткий, как юла, он обладал незаурядной силой и при надобности мог бы стащить с лошади и великана. Всегда веселый и остроумный, умеющий тонко подметить характерное во всяком человеке, он был другом и больших и маленьких. Кажется, ему приходилось даже странствовать из аула в аул как профессиональному артисту.

У него не было своего хозяйства, но одевался он хорошо, даже с некоторым франтовством. Первое время я не очень-то доверял ему, но, несмотря на это, сам не заметил, как близко сошелся с ним. Я стал давать ему разные, довольно трудные поручения, и всякий раз он их прекрасно выполнял.

Вскоре после того, как я возвратился из Борового в аул Нигметжана, случилось так, что Абуталипа нужно

было срочно командировать в Кокчетав по ревкомовским делам, Асан и Мукан отправились тоже с поручением в аулы, а Елжас уехал на день погостить к своим родным. Шаймерден и Амиржан были в отъезде, и в ревкоме оставались только я да Букур.

Однажды Букур с тревогой сказал, что мне нужно немедленно уехать.

Я удивился.

– Уезжай сейчас же, – повторил он. – Тебя хотят пригласить в гости к Карибаю – ведь ты же ухаживаешь за Ыраш, его дочью?

– Ой, шайтан, ты и об этом уже узнал?! – изумился я.

– Еще бы я не знал! – с некоторой гордостью сказал Букур. – Но не в этом дело. Тебе грозит опасность. Они тебя заманят туда, на этот пир, и убьют. Припомнят тебе и ревком, и бедняцкие курсы, присчитают и сорок голов скота, которые вчера забрали у Нигметжана и Мукылая для тех же курсов. У них уже все решено: кто будет в доме Карибая, кто на окраине аула, чтобы поймать тебя, если удастся бежать. Нельзя тебе оставаться дома. Уезжай, скорее уезжай!

Положение было затруднительное. Правда, кроме нас двоих, в ауле жили еще двадцать пять батраков-курсантов, но что могли сделать они, совсем безоружные? Выход был один: приняв приглашение Карибая и дав слово быть на празднике, с наступлением ночи незаметно исчезнуть из аула.

В лошадях недостатка не было. У меня – прекрасный скакун, неизменно бравший первые призы на состязаниях. У Букура – скаковая кобыла Ак коян – Белая зайчиха, резвая и очень проворная. Кажется, можно было надеяться, что мы сумеем перехитрить бандитов и уйти от них.

В ауле, по сведениям Букура, было тихо и спокойно, никто из преданных нам людей не подозревал, что готовится в эту ночь. И только два обстоятельства показались нам подозрительными: неожиданно вернулся в аул некий Нуруш, сын Кожамета, бывший мулла, принимавший активное участие в восстании, а младший брат мачехи Нигметжана, скромный и добродушный на первый взгляд и к тому же известный домосед Мухаммедияр, уехал сегодня утром куда-то в степь.

В полдень, как и предполагал Букур, к нам приехал младший брат Карибая Абдильман с приглашением на семейный праздник. Абдильман и с виду не очень-то располагал к себе. У этого рыжеволосого сорокалетнего человека особенно неприятными были глаза с покрасневшими веками. Он знал, что я – это было в известной мере правдой – интересуюсь Ыраш, и всякий раз при встрече заводил о ней речь, сыпля доброжелательными намеками. И в этот день, приглашая меня, он дал понять, что празднество устраивается главным образом для меня и Ыраш и что мне не стоит отказываться. Отказываться я не собирался, а, напротив, тотчас пообещал приехать к ночи и даже постарался изобразить на лице счастливое выражение.

В сумерках мы оседлали лошадей и выехали из аула, объясняя всем встречным, что едем к Карибаю. Углубившись в лес, около которого был расположен наш аул, мы вскоре достигли дороги, ведущей в аул Карибая, и, немного проехав по ней, круто свернули на Кокчетав. Букур и в непроглядной темноте леса ориентировался прекрасно, по каким-то одному ему известным приметам сворачивая то вправо, то влево, и всегда выезжал именно туда, куда было нужно.

– Смотри-ка, – сказал мне Букур, – вот появилась небольшая чаща. Это зимовка аула Асана.

– Неужели мы уехали так далеко? – удивился я, вглядываясь в темноту.

Там впереди действительно светлели какие-то строения. Зимовка пустовала. Аул Асана давно уже откочевал на джайляу. Позади зимовки был глубокий овраг, в котором до самой середины лета задерживалась талая вода. Нам пришлось приподнять стремяна, когда наши лошади переходили вброд этот овраг. Выбравшись из оврага, мы снова поскакали по дороге. Лес кончился, вокруг расстилалась равнина.

– Сабит, – обратился ко мне после долгого молчания Букур, – замечаешь, наши лошади прядут ушами? Верно, почуяли что-то. Неладно это!

Мы пришпорили скакунов и прибавили ходу. Скоро впереди, на дороге, увидели оседланную лошадь. Значит, поблизости должен был находиться и всадник. Наконец мы увидели и его. Он был в стеганом на

верблюжьей шерсти халате и широких казахских сапогах. Увидев нас, он сразу вскочил в седло.

Забыв всякую осторожность, я подъехал к нему и спросил его, кто он.

– Ишу коней, отбившихся от табуна, – ответил мне незнакомец.

Я приблизился к нему почти вплотную, пытаюсь рассмотреть его. В это мгновение бородач спрыгнул с лошади и бросился на меня, крепко схватив за шею и пытаюсь стащить с седла всей тяжестью своего тела.

– Это же Мухаммедияр! – услышал я голос Букура, уже поравнявшегося со мной.

Мухаммедияр крепко держал меня своими могучими руками. Я сопротивлялся, как только мог, вцепившись из последних сил в лошадиную гриву. Букур подоспел вовремя. Он ударил напавшего по голове и кричал при этом:

– Ой, Сабит, стреляй... Бей Мухаммедияра...

Но в ту же самую секунду оторвался ремень, и моя винтовка очутилась в руках у Мухаммедияра.

Я пришпорил коня и помчался прочь. Вслед затрещали беспорядочные выстрелы. Горбатый скакал за мной. Впереди была открытая во весь горизонт степь. Если бы не мой зоркий товарищ, я бы сразу сбился с пути. Мне казалось, что засада скрывается за каждым камнем, что со всех сторон мы окружены преследователями.

И так было не только в моем воображении. Мы отъехали, должно быть, совсем недалеко, как появилась группа верховых, мчавшихся наперерез нам. Снова раздались выстрелы. Мы быстро свернули в сторону.

– Негодяи! – гневался Букур. – Они и здесь подстерегали нас! Слушай, Сабит, скачи один, моя кобыла за твоим скакуном не поспеет. Рискуй, им тебя не догнать.

– А как же ты? Ведь тебя поймают...

– Об этом ты не горюй. Если тебя не догонят, и меня не убьют. Скачи, Сабит! Впереди горы.

О бесценный скакун! Он летел как птица. Спокойной, тихой была погода, но я слышал, как ветер свистит в ушах от скачки. «Бандиты, – подумал я, – уже убедились в бесполезности погони». Только изредка раздавались выстрелы, и я припадал к гриве коня. Но скоро прекратилась и стрельба.

Над горизонтом поднималась оранжевая луна, круглая и огромная, словно колесо арбы. Оглянувшись назад, я увидел, что мои преследователи отстали. Луна поднималась выше и выше, побеждая темноту и заливая степь бледным своим сиянием. И в распахнувшемся передо мной просторе что-то сверкнуло впереди, по-видимому, озеро. Отставшие от меня преследователи продолжали ехать справа, и я догадался, что они собираются прижать меня к берегу. Я подобрался, замедлил бег коня, дал ему небольшую передышку.

Путь пересекала глубокая балка, какие обычно встречаются вблизи солончаковых озер. В начале очень узкие и извилистые, они, по мере приближения к озеру, расширяются все больше и больше, превращаясь в глубокие овраги. Их дно чаще всего затянуто топкой трясиной, только легкие птицы могут ходить по ней. Передо мной была самая широкая часть балки. Выход был один – заставить скакуна перепрыгнуть балку. Но с места он не одолел бы ее, нужен был разбег. Я круто повернул назад, отъехав шагов триста от балки, снова повернулся к ней лицом и что было силы пришпорил коня. Он понесся, как на байге, точно птица, перелетел через балку, ударив сразу четырьмя копытами оземь на той ее стороне. Я едва не вылетел из седла, но, не сбавляя хода, помчался дальше. Не знаю, сколько времени продолжалась эта байга. Наконец я натянул поводья и заставил скакуна перейти на мерный шаг. Остановившись на мгновение, я прислушался. Вокруг было тихо, и только отдаленный, чуть различимый в степной тишине топот лошадей напоминал о минувшей опасности.

РАСПЛАТА

Только начала заниматься заря, как я увидел впереди знакомый аул. Около месяца назад несколько молодых людей из этого аула, скрываясь от преследовавших их бандитов, наткнулись на наш красноармейский отряд. В скрывавшихся бойцы заподозрили участников восстания и уже собрались расстрелять их. Но тут вмешался я и смог довольно скоро установить, что они

в действительности никакого отношения к бандитам не имеют, а, наоборот, прячутся от них. Конечно, они были отпущены. Должно быть помня, как внимательно разбирался я в истории, приключившейся с ними, жигиты аула встретили меня радушно.

Я рассказал им обо всем, что произошло со мной, и о своем намерении ехать немедленно в Кокчетав, чтобы посоветоваться с уездным ревкомом о дальнейших действиях.

Меня накормили, достали тарантас, запряженный двумя сытыми лошадьми, и часа через четыре я уже был в Кокчетаве. Председателя уездного ревкома я не застал – он был на Первой партийной конференции Казахстана, созванной в Оренбурге. Поэтому мне пришлось говорить с его заместителем, которого я мельком встречал и прежде, Сукен – так звали заместителя председателя ревкома – всегда страдал насморком, и окружающие прозвали его поэтому Сумурун Сукен – Мокроносый Сукен. Он встретил меня более чем холодно, и едва я раскрыл рот, как он отрезал в ответ:

– Сейчас я занят. Позже зайдите, позже!

– У меня срочное дело, Сукен... – попробовал настаивать я.

Но он прикрикнул на меня, повторив ту же фразу; его узкие, кошачьи глаза неприязненно уставились на меня. Он всем своим видом говорил: «Убирайся отсюда подобра-поздорову!»

Однако я совсем не собирался уходить и, разозлившись, крикнул:

– Что значит некогда? Меня чуть не убили бандиты!

Сукен и слушать не хотел и еще больше повысил голос. Не сдавался и я.

– Что вы на меня кричите? Я не домой в гости к вам пришел. Я председатель волостного ревкома и нахожусь у вас в служебном кабинете, вы обязаны меня выслушать.

– Ты анархист! – выкрикнул Сукен и забегал по кабинету. – Тебя нужно расстрелять!

– Меня? Расстрелять? За что это?

– За безобразие, вот за что!

– За какие безобразия?

– А вот какие... – Сукен грозно стал наступать на меня, словно собирался ударить.

Но я продолжал стоять. И, наверное, испугавшись моего независимого вида, он резко повернулся, подошел к столу, налил себе воды, жадно ее выпил, протер платком нос и глаза и сказал уже спокойнее:

– Ну, вот что: приходи завтра.

Я вышел из его кабинета, с горечью и удивлением раздумывая, что бы мог означать такой прием. Конечно, Сукен мог вспылить, когда к нему вдруг появился какой-то человек и принялся докучать своими делами, когда, может быть, у него были и свои заботы поважнее. Авдуг он получил какое-нибудь неприятное известие, озабочен им, сердит – и все постороннее раздражает его еще больше? Но когда он услышал о таком серьезном происшествии, которое случилось со мной, кто дал ему право вести себя так?

Я ничего не понимал, и единственное, что оставалось, – это пойти к Сейфолле Каскарбаеву. Из ревкома я позвонил ему, и к счастью, Сефен был у себя в политбюро. Он сразу узнал меня по голосу.

– Ты, значит, жив, Сабит?! – воскликнул он.

Почему-то у меня задрожал голос, когда я стал говорить, что жив и что не дай бог перенести кому-нибудь то, что я перенес этой ночью. Бросив трубку, я побежал к Сефену в политбюро. Едва он увидел меня, как бросился навстречу и чуть не задушил в своих объятиях. Каково же было мое удивление, когда я увидел через плечо все еще обнимавшего меня Сефена участника моего ночного приключения Букура!.. Он стоял чуточку поодаль и молча улыбался.

Оказалось, бандиты не смогли догнать его быстроногую Зайчиху, и к тому же, очевидно, им не так важно было поймать Букура, как меня, поэтому они и не стали преследовать его. Я все удивлялся тому, что мы остались живы, а Сефен глаз с меня не спускал, будто не мог поверить, что перед ним сидит живой, невредимый Сабит. Немного позже мы втроем отправились к Сефену на квартиру. Он с семьей занимал две небольшие комнаты во флигеле купеческого дома.

Встретила нас жена его Бадигул – высокая, стройная женщина тридцати трех лет. В ее глазах и мягких чертах миловидного лица отражался живой и веселый характер. Дочка Мукатай, девушка лет пятнадцати, чем-то

напоминала узбечку. Она была тоже хорошенькой и, должно быть зная об этом, забавно кокетничала с нами.

Я тотчас же рассказал Сефену обо всем, что с нами произошло, уже не так отрывисто, впопыхах, как при первой встрече. Напротив, я теперь рассказывал возможно подробнее, вдаваясь в размышления о сложившейся за последнее время обстановке. Вспомнил я и о Мокроносом Сукене.

– Не торопись,– остановил меня Сефен,– вот приедут товарищи с конференции, тогда и посмотрим, что делать. А говорить с Сукеном бесполезно.

– Вот видишь! – распалился еще больше я.– Тут что-то не так!

– Не горячись,– спокойно произнес Букур.– Здесь, правда, и в самом деле не все чисто. Но шуметь не надо, надо просто за ним последить: он ведет себя подозрительно.

– Это дело,– поддержал Букура Сефен,– тем более, что живет он в доме Кошимбая, где постоянно останавливаются Нигметжан и Мукылай. Что касается меня, то я тоже ни капли не верю Мокроносому: от бывшего писаря бая многого нельзя ждать.

После ужина Букур отправился к дому Кошимбая.

– На всякий случай,– сказал он, уходя.

Мы улеглись спать. Но не успели мы даже задремать, как раздался стук в ворота – это вернулся Букур.

– Вставайте!– поднимал он нас, блестя возбужденными глазами.– Я говорил – так и есть! У Кошимбая в доме полно гостей, а во дворе оседланные лошади. Заглянул я в щелочку окна – там все в сборе: Мухаммедияр, весь перевязанный, в ссадинах и синяках,– верно, свои бандиты и избили его,– Нигметжан, Мукылай и даже Сагит Бескозов.

– Вот так-так!– удивился Сефен, натягивая на себя одежду.– Точно специально собрались – иди и бери их всех!

– Ты прав!– воскликнул Букур.– Но это еще не все! У них председательствует, насколько я понял, сам Мокроносый! Он так важно расселся среди них, что можно подумать, будто он и там самый главный.

– Ах, собака!– выругался Сефен.– Точно в воду смотрели. Ну что ж, мы им покажем! Пошли в политбюро!

В политбюро мы застали заместителя начальника уездной милиции Федотова. Он не согласился с предложением Сефена окружить дом и арестовать бандитов. Он даже подумал, что они явились добровольно сдать оружие и Сукен присутствует там как представитель ревкома.

К нашему счастью, в этот день в Кокчетав приехал на автомобиле Абиляхаир Досов. Когда я рассказал ему, как бандиты издеваются надо мною и нахально гуляют по городу, Досов приказал Федотову немедленно арестовать их. Тут же мы с пятью вооруженными бойцами во главе с чекистом Матросовым отправились в бандитское логово.

К сожалению, в доме Кошимбая мы уже не застали Сукена. Он был осторожнее своих сообщников и улизнул. Беседа была в самом разгаре и в деревянной чаше еще белел кумыс, когда мы ворвались в комнату.

– Руки вверх! – крикнул Матросов своим громозвучным голосом.

В комнате началась паника.

– Нигметжан Бекмагамбетов, выходи!

– Мукылай Ташенов!

– Сабит Бескозов!

– Мухаммедияр Бекмагамбетов!

Бандиты по очереди поднимались и подходили к нам.

Мухаммедияр в самом деле был весь перевязан. Это было явно бандитской уловкой – свалить потом все на нас, прикинуться пострадавшим и от тех, кого они сами едва не убили.

– Что ты меня не хотел жалеть, это понятно, но неужели тебе не жалко было родного брата? – спросил я Нигметжана, кивая головой в сторону Мухаммедияра. – Эх вы, трусы жалкие! Видите, спета ваша песенка.

– Да что ты разговариваешь с ними! – сказал Сефен. – Они, спасая шкуры, и своих не щадят. Один бай, чтобы обвинить врага в убийстве, бросил в котел с кипящим сыром своего же ребенка от младшей жены.

– А этот злодей чем же лучше? – ткнул пальцем Букур в Нигметжана. – Ты ведь не сможешь, Нигмет, отрицать, что убил старуху, мать твоего чабана, чтобы обвинить своего соперника на волостных выборах? А потом приехал пристав из Борового и за взятку составил акт,

будто старуха убита сыновьями Байтека, напавшего на твой аул. Ты ведь и выкуп потребовал за убитую? Что, не правда?

Нигметжан нахмурился, опустив глаза.

– Изверги вы, без совести!– воскликнул я.– Все вокруг вы спалить готовы!

– Совесть!– насмешливо произнес Сефен.– Какая у них может быть совесть...

Бандиты один за другим выходили под конвоем из дома Кошимбая.

ГЛУБОКИЕ КОРНИ

– Ну, отлегло?– спрашивал меня Сефен, когда мы, отправив бандитов куда следует, возвратились домой. Было уже очень поздно.

И крепко же спали мы в эту ночь! Когда я проснулся, время перевалило за полдень. Сефен был уже на ногах, а Букур и не думал просыпаться, спал сном хорошо поработавшего человека. В комнате было душно, и мы с Сефеном, стараясь не разбудить товарища, отправились в сарай, где было куда прохладнее.

– Ну как, это самое, ничего не приснилось?– спросил меня Сефен.

– Что же «это самое» мне могло присниться?– ответил я, улыбаясь привычке Сефена употреблять ничего не значащие слова.– Бандиты под арестом,– куда уж лучше!

– И ты думаешь, это конец? – Сефен стал неожиданно серьезным.– Поймали только четверых, самых ярых, а сколько их еще, прячущихся и тайных! Они рады нас живьем проглотить, да не тут-то было! Впереди борьба еще труднее – идеологическая. Ведь ты знаешь поэта Магжана Жумабаева! Знаешь, что он настоящий буржуазный националист и контрреволюционер?

– Еще бы не знать!– вспомнил я литературный вечер прошлым летом на учительских курсах.

– Ну вот, хорошо, что это ты знаешь. А вот об остальном, наверно, не слышал.

Нашу начавшуюся было беседу прервал заспанный Букур. Проснувшись, он нас не нашел и решил, что мы где-нибудь во дворе.

– Ну и нюх у тебя!– заметил я шутливо.– Нигде от него не укроешься, все знает.

– Сходи-ка в мою комнату,– сказал Сефен Букуру,– да принеси газеты «Бостандык туы». Я хочу кое-что вам показать и рассказать.

Букур быстро вернулся с газетами и сел рядом с нами.

– Ну вот,– сказал Сефен, перелистывая газеты,– после установления Советской власти в Омске начала выходить на казахском языке газета «Кедей сози» – «Слово бедняка». Организовал эту газету один из старейших деятелей большевистской партии – Емельян Ярославский, который еще в двадцатом году приехал работать в Сибирское бюро ЦК РКП (б). Он знакомился главным образом с вопросами идеологии, а значит, и печати. Так вот, эту газету, «Кедей сози», основал он, Ярославский. Потом, после того как Акмолинская и Семипалатинская области вошли в состав Киркрая, эта газета перекочевала в Петропавловск и там была переименована в «Бостандык туы» – «Знамя свободы». На страницах этой газеты и стал печататься Магжан Жумабаев.

И Сефен показал нам несколько номеров с его стихами.

В одном из них была напечатана большая поэма Жумабаева. И во всех его произведениях сквозила вражда к Советской власти.

Я был очень удивлен тем, что Жумабаева печатают,– ведь, наверно, не один я знал, что собою представляет этот человек! Но еще больше я изумился, когда увидел, что редактор этой газеты – Жанабыл Наймангожин. И вместе с тем мне стало ясно, почему стихи Жумабаева принимаются в «Бостандык туы» так же гостеприимно, как знатные баи в байских юртах.

Ведь в 1919 году Жанабыл Наймангожин из Омска уехал в школу прапорщиков, готовившую офицеров для белой армии. С тех пор я больше ничего не слышал о Наймангожине. И вот теперь неожиданно узнал, что он не только член партии, но и редактор советской газеты. Я пылко возмущался, а Сефен хладнокровно продолжал:

– Что ж, бывает и хуже. Ты же знаешь, как три вождя Алаш-Орды: Букейханов, Байтурсунов и Дулатов – боролись в рядах армии Колчака против Советской

власти. Не знаю, где Букейханов и Дулатов, но Байтурсунов сейчас народный комиссар просвещения Казахской республики. Говорят, он член РКП (б).

– Куда же все смотрят?! – возмущаюсь я. – Их расстрелять всех надо!

– Нельзя, дорогой. Прямых улик нет. Колчак – дело прошлое, а о их нынешних делах и тем более убеждениях мы только догадываемся. Мы, конечно, понимаем, что они не могут быть настоящими коммунистами. Но дело даже не в них. Суть в том, что они будут помогать алашордынской молодежи проникать в партию. Вот с чем надо бороться, вот где самая главная трудность.

– Вы сегодня с голоду умрете! – услышали мы вдруг голос тети Бадигул и от неожиданности, точно по команде, обернулись в ее сторону. Пока мы говорили, тетя Бадигул успела приготовить чудесный пирог с начинкой из мяса и овечьего сыра.

После этого позднего завтрака мы с Сефенам стали собираться в политбюро.

По дороге Сефен спросил:

– Ты вернешься в волость или здесь останешься?

– Как решит ревком, – не очень уверенно сказал я.

– Ну, а если он все-таки пошлет тебя обратно?

– Не знаю. Если бы я был свободен в выборе, я не возвратился бы в волость. Эти бандиты не успокоятся, пока не убьют меня. Пусть выловлены главари, но родичи-то остались.

– «Волков бояться – в лес не ходить, саранчи бояться – хлеба не сеять», – возразил словами народной пословицы Сефен. – Неужели ты думаешь, что имеешь право бросить работу, хотя бы тебе и грозила месть бандитов?

Я смутился.

– Конечно, я поеду, Сефен! Мне просто немного неприятно... Разве я не понимаю, что трудно везде?

– Слава богу! – усмехнулся Сефен. – Но, если говорить прямо, я сам против твоего возвращения в волость, хотя совершенно по другим соображениям. Тебе учиться надо, Сабит. Пока молод – учись. Мы прозевали свое время, да и не наша это вина. А ты молод, и чтобы стать хорошим коммунистом, надо учиться.

– Да я уж много думал об этом.

– Я тебе советую сделать так. Учеба начинается с осени, а сейчас мы возьмем тебя к нам в политбюро. Работа интересная и очень полезная, особенно в эти дни, когда мы разбираем как раз дело бандитов и мятежников. Ты можешь многому научиться.

Так я оказался на работе в политбюро. Мой рыжий скакун и кобыла Букура перешли в собственность уездной милиции. Букур поехал в одну из волостей председателем аульного Совета. А я работал в политбюро. Мне часто приходилось выезжать в командировки.

В одну из таких командировок мне довелось расследовать дело об убийстве двоюродных племянников известного ученого и просветителя Чокана Валиханова – Рахимжана и Нурыша Валихановых. Оба были коммунистами, и оба были убиты во время байского мятежа. Их аул расположен у горы Сырымбет. До восстания Нурыш был председателем волостного ревкома, а Рахимжан – аульного. Во время расследования мне удалось найти некоторых виновников убийства, их я арестовал и отправил в Кокчетав. Но главных организаторов я не смог обнаружить.

Занимаясь дальше расследованием убийства Рахимжана и Нурыша, мы узнали, что бандиты из урочища Жаман жалгызтау – Одинокая страшная гора – убили председателя одного аульного ревкома, бывшего батрака, преданного Советской власти. Бандиты напали на него в лесу и, связав по рукам и ногам, повесили на дереве.

Когда мы составили протокол на месте убийства, жена убитого обронила фразу, на которую нельзя было не обратить внимания.

– Убить человека из-за какой-то бумажки! – говорила женщина, обливаясь слезами.

– О какой бумажке говорите вы? – поинтересовался я.

Все еще плача, женщина рассказала, что у них есть родственник, учитель, во время восстания примкнувший к мятежникам. Однажды, незадолго до восстания, он передал ее мужу связку книг и бумаг и велел хранить в тайне от всех. Ее муж перебирал эту связку и на вопрос жены, что в этих бумагах, сердито ответил: «Байская писанина!» Учитель вскоре пришел за своими

книгами и, пересмотрев их, пожаловался, что одна важная бумага пропала. Стали искать пропавший листок – не нашли. Тогда учитель, в ярости набросился на мужа, обвиняя его в том, что он передал бумагу в советские органы. Они наговорили много дерзостей друг другу, и, покидая юрту, учитель погрозился отомстить. И вскоре ее мужа убили.

Женщина снова залилась слезами. Надо было попытаться найти этот листок, и мы принялись осматривать всю юрту. Нам помогали родственники женщины. Они заглянули всюду, где только можно было, – потерянного листка бумаги не было. Наконец нам открыли небольшой сундучок, где посреди разной рухляди оказался какой-то сверток в газете. Это была куча листков разных размеров, написанных по-арабски. Оказалось, покойный очень любил песни и сам собирал и переписывал их.

Но на одном из листков неожиданно мне бросилась в глаза подпись Смагула Садвокасова, который в то время был секретарем краевого комитета комсомола.

Я держу в руках письмо этого человека, отправленное из Москвы. Из письма следовало, что Советская власть висит на волоске, Антанта усиливает наступление, не останется в долгу Дальний Восток, в Средней Азии поднимают головы басмачи во главе с Энвер-пашой. Везде голод. Надо думать, подаст свой голос и Сибирь. «Неужели твой край будет терпеть? События назревают... Не оставайся в стороне...»

Это было страшное письмо, если учитывать, что написано оно было еще до восстания. Значит, мятеж был организован не только местными баями и не только в их интересах действовали алашордынские прихвостни. Значит, предполагалось не просто восстание, а грандиозная битва, битва не на жизнь, а на смерть. Вот почему в мятеже приняли участие не только байы, но и казахская интеллигенция алашордынского толка. Может быть, впервые представилась мне со всей ясностью непримиримая злоба наших классовых врагов.

«Ах, злодей! – подумал я. – Вот они где, глубокие корни!»

ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ

РОЖДЕНИЕ НОВОГО

Еще работая в Кокчетавском политбюро, я отправил заявление в губком, в Петропавловск, с просьбой послать меня на учебу. Очень скоро меня вызвали из Кокчетава и дали направление в открывшуюся этой осенью совпартшколу.

В белом каменном доме, принадлежавшем ранее одному богатому купцу, собралось около двухсот курсантов. Преобладали русские и казахи, других национальностей было совсем немного. Все курсанты были, конечно, коммунистами или комсомольцами, все имели практический опыт партийно-советской работы на местах.

Моя учеба, как впрочем, и у многих других, осложнялась двумя обстоятельствами: я был плохо обеспечен материально и с большим трудом понимал русский язык, на котором проводились занятия.

Школа не могла заботиться о нас как следует – вся страна терпела тогда большие лишения. Как мы знали из газет, в тот год был неурожай во многих местах России и в стране начинался голод. Для помощи голодающим повсюду были созданы комитеты, известные под названием Помгол.

Хлеба Акмолинской губернии могло бы хватить ее населению, если бы не многочисленные переселенцы, и в особенности спекулянты-мешочники. Вольная торговля хлебом была запрещена, хлебные запасы в аулах и селах взяты на учет, а в городах введена карточная система.

И в совпартшколе, как и в других организациях, для курсантов был установлен очень скудный продовольственный паек. Мясо мы видели очень редко.

Только в так называемые мясные дни суп приправлялся требухой. На второе была каша. В остальные дни тот же суп или жидкие щи, но уже без требухи, неизменная каша, из смеси пшеницы, овса и куколя. Каша, понятно, варилась на воде и не сдабривалась маслом. Ржаной хлеб был до того плохо пропечен, что из него сочилась вода, стоило его чуточку сжать. Хлеб отпускался на всю школу раз в неделю или даже реже и хранился на складе. Зимой он промерзал и становился твердым, как камень. Когда такой хлеб вносили в теплую комнату, подгоревшая корка слегка отставала, а мякоть оставалась мерзлым комком теста. Курсанты придумали оригинальный способ раздачи хлеба. Конечно, каждому хотелось получить пропеченную корку, а не сырую мякоть, но ее, этой-то корки, и не хватало всем. Чтобы никто не пользовался особыми преимуществами и не оставался в обиде, мы разрубали буханку топором на равные куски, по числу курсантов. Потом один из нас укладывался на кровать, ему окутывали голову одеялом, брали в руки кусок хлеба и спрашивали: «Кому?» Курсант называл чью-либо фамилию, и тот без всякого ропота брал доставшийся ему кусок. Этого хлеба давали нам по фунту в день – норма считалась очень высокой. Взамен чая утром и вечером мы пили горячую воду.

Мы привыкли к скудной пище. Мне кажется, верна казахская поговорка: «Когда нет печали, в вода – еда». Никто не жаловался на плохое питание, мы были беспечны и веселы.

Слушателям совпартшколы приходилось не только учиться, они заготавливали топливо, выполняли обязанности истопников, выгребали завалы снега, скопившегося в обширном школьном дворе, вывозили его за город. Кроме того, ни один из курсантов не оставался в стороне от еженедельных субботников. Это было время, когда была опубликована статья Ленина «Великий почин». На них мы работали со всей энергией и энтузиазмом. Чаще всего это была погрузка и разгрузка вагонов, весной – очистка городских улиц и заготовка дров.

Обычно в пятницу на фасадах учреждений, на заборах появлялись красные кумачовые полотнища с

большими печатными буквами: «Все на субботник!» А в субботу, перед окончанием занятий, в учреждениях и даже на площадях города проводились краткие митинги, посвященные значению этих коллективных трудовых походов.

И агитация приносила свои плоды, и вообще высокой была сознательность трудящихся – на субботники выходили тысячи людей. Возглавляли их секретарь губкома и председатель губмеволкома.

В то время в Петропавловске была одна-единственная улица, мощенная булыжником. Теперь это улица Ленина, а тогда она называлась Вознесенской. Тротуары на ней были деревянные, как и во многих других сибирских городах. За годы войны и революции тротуары пришли в негодность – доски обветшали, проломилась или просто пошла на топку в печки горожан. То же случилось и с большинством заборов в городе. От грязи и навоза многие дворы и улицы стали непроезжими и даже непроходимыми. С весны многочисленные ямы и рытвины наполнялись вонючей водой и покрывались зеленой пленкой плесени. Канализации тогда не было и в помине. Канавы вдоль тротуаров засорились, часть водопроводных труб требовала капитального ремонта. Многим приходилось пить воду из своих колодцев, тоже основательно загрязненных и грозивших стать источниками эпидемических заболеваний.

Вот поэтому многие субботники были посвящены неотложным работам по наведению в городе элементарного порядка и чистоты.

А за городом работы было еще больше. Требовалось очистить окрестности от свалок, образовавших за несколько лет разрухи целые горные хребты. Таких «гор» особенно много было около фабрик и заводов и вдоль железной дороги.

Почти все учреждения города, дома горожан, заводы и фабрики в те годы отапливались дровами. Вокруг Петропавловска раскинулись большие леса. Рубка и распиловка леса, погрузка дров на подводы или в вагоны тоже производилась на субботниках.

На работы в городе или на его окраинах все ходили пешком, но чтобы добраться до леса, уже были необхо-

димы подводы. Ведь тогда автомашин в Петропавловске почти не было совсем, их заменял конный транспорт. В то время в городе у частных лиц и в учреждениях насчитывалось около пяти-шести тысяч лошадей. Существовало и особое постановление о гужевой трудоповинности. На его основании владельцы подвод под угрозой привлечения к судебной ответственности съезжались к условленному пункту и доставляли участников субботника на место работы. Однако с подводами дело обстояло далеко не всегда гладко. Лошади так отошали в этом году, что еле-еле передвигались. Ехать на них было мучением. И случалось, что часть подвод останавливалась на полдороге, а нередко лошади издыхали, тут же, на месте.

Никакого питания участникам субботника не полагалось, каждый должен был заботиться сам о себе. Но работавшие обыкновенно сгруппировывались в небольшие артели и пищу, принесенную с собой, складывали на общий стол.

Мы, курсанты совпартшколы, первый месяц работали в черте города, а потом нас обычно посылали куда-нибудь на окраину или даже в лес.

На субботниках меня больше всего удивляло, как это сотни полуголодных, изнуренных, плохо одетых людей и в жестокий мороз и в весеннюю слякоть напряженно и весело работают, без ропота и жалоб, с шутками и песнями.

Так я воочию постигал силу великого почина, о котором писал Ленин.

Поздним вечером, уставшие, но бодрые духом, мы возвращались домой, оглашая улицы «Варшавянской» и «Смело, товарищи, в ногу!» — любимыми революционными песнями тех лет.

Так, вместе с нами регулярно ходил на субботник некто Флейшман, преподаватель физики в совпартшколе. Хороший педагог, он никак не мог научиться нехитрому искусству орудовать ломом или пилой. Ему, здоровенному на вид мужчине, даже пудовый груз казался непомерно тяжелым.

На субботниках были равны все, независимо от служебного положения. Каждый обязан был трудиться на положенном ему участке до седьмого пота.

Любителей командовать, работать языком быстро выводили на чистую воду и подымали на смех. Поэтому все старались на совесть.

Иные белоручки быстро привыкли к физической работе и спустя недолгое время трудились не хуже других. Но у Флейшмана ничего не получалось. Стоило ему немного повозиться с пилой или лопатой, как на его ладонях появлялись кровавые мозоли. К чести его надо сказать, что он никогда не избегал субботников, не притворялся больным.

Как наш Флейшман не смог приспособиться к физическому труду, так и мне не удалось приноровиться к занятиям в совпартшколе, которые, как я уже говорил, велись на русском языке. К моему большому стыду, я был в числе последних учеников. Вот поэтому я решил пойти к секретарю горкома и откровенно рассказать ему о своих затруднениях. Он выслушал меня и неожиданно спросил:

– Ты знаешь о существовании у нас в городе киргизско-татарского клуба?

Я знал о нем.

– Так вот, – продолжал секретарь, – мы создаем при этом клубе партячейку, которая объединит всех коммунистов мусульманских наций в Петропавловске.

– Мусульманских наций? – удивился я, ничего не понимая. Мне не было известно, что тогда официально употреблялся такой термин.

– Ты не бойся слова «мусульмане», – улыбнулся секретарь одним уголком рта, – наша партия ни с мусульманской, ни с христинской религией не имеет ничего общего. Мы вообще против религии. Создавая же такую «мусульманскую» ячейку, мы собираем вместе коммунистов киргизской, башкирской, татарской национальностей. Такая ячейка нужна для тех, кто плохо знает русский язык или не знает его совсем. Значит, мы облегчим ликвидацию и обычной безграмотности, и политической. Понял меня, надеюсь?

И вот тут секретарь сказал самое главное:

– А что, если ты будешь секретарем этой ячейки? У нас будешь числиться инструктором, получать зарплату и паек.

– А как же мне быть с учебой?

– А ты найми себе учителя по русскому языку. Совпартшколу тоже надо непременно посещать.

Когда я дал согласие, секретарь стал называть мне фамилии товарищей, которых горком будет рекомендовать членами бюро.

– Забирова ты знаешь?

– Вы говорите о Шахизамане Забирове из губчека?

– Да, именно о нем. Как ты думаешь, подходящий он человек?

– Вполне подходящий!

– А что скажешь ты об Адамкуле Алданазарове? Знаком ты с ним?

– Знаю его немного...

– Ну, а он как? Достойный товарищ?

Тут я задумался. Адамкула, как, может быть, помнит читатель, я видел впервые осенью 1918 года в доме Жампеиса, но познакомиться как следует тогда не было времени. Позже я узнал, что детство его прошло в одном из аулов Нуринской волости Каркаралинского уезда. В Петропавловске он работал кучером у богача Нурке Мустаева, потом дворником и истопником у татарского купца Шакира Мухаммедиева. В 1916 году его отправляли на тыловые работы, но он как-то сумел устроиться коневодом у коннозаводчика Владимира Вефера. После национализации завода Адамкул остался там старшим конюхом и наездником. Вступил он в партию в начале 1920 года, участвовал в подавлении восстания, а в прошлое лето его неожиданно, выдвинули председателем городского Совета. На этой должности он пробыл недолго. Когда ему давали на подпись какую-либо бумагу, Адамкул решительно отказывался:

– Я бумажной волокиты не признаю.

Он умудрился за все, правда довольно короткое, время работы в горсовете не подписать ни одной бумаги. Этим довольно странным поведением заинтересовались в горкоме, и когда стали разбираться, в чем дело, выяснилось, что Адамкул был совершенно неграмотным человеком, он не умел даже расписываться. Конечно, ему нельзя было дальше оставаться на посту председателя горсовета.

Таким был Адамкул Алданазаров. Уже после возвращения из Кокчетава я сблизился с ним и бывал у него

дома. Он, уже сорокалетний человек, только что женился на молоденькой дочке крупного богача Даулеткельдеева – Саре. Несмотря на разницу в годах, жили они в согласии и дружбе.

У меня не было никаких сомнений в честности Адамкула. Но задумался я и не сразу высказал свое мнение о его выдвижении в бюро ячейки лишь потому, что он был неграмотен.

Обо всем этом я откровенно рассказал секретарю. На его лице промелькнула усмешка, а потом он заметил вполне серьезно:

– Помни – не один Алданазаров среди коммунистов неграмотен. И конечно, надо добиваться, чтобы и он и другие учились. Но заслуги его вполне достаточны для работы в бюро ячейки.

Третьим членом бюро секретарь рекомендовал рабочего пимокатного завода башкира Баттала Закирьянова, которого я совсем не знал, а четвертым – начальника милиции Мукатая Жанибекова, Угара, о котором мне уже не раз приходилось рассказывать.

– Ну, за этого я поднимаю обе руки.

– А, пятый? Пятым будешь ты сам, – сказал в заключение секретарь.

Работа «мусульманской» ячейки началась вскоре после беседы с секретарем. Двухэтажный деревянный дом казахского бая Сакау Баймагамбета был национализирован, и теперь в нем помещался Киртат-Киргизско-татарский клуб. Наша ячейка заняла в нем одну комнату.

Вокруг «мусульманской» ячейки начали собираться коммунисты из «мусульманских» наций. Большинство – промышленные рабочие, но были и интеллигенты. В течение месяца число коммунистов нашей ячейки перевалило за сто. Мы составили план и стали проводить политическую и агитационно-массовую работу среди «мусульманской» части населения Петропавловска. В свое время это сыграло значительную роль.

При клубе было несколько культурно-просветительных самодеятельных кружков – музыкальный, драматический, хоровой и другие. Изредка их силами устраивались клубные вечера, собиравшие много народу. Часто ставились спектакли. Вы спросите: «Но

откуда же вы брали пьесы?» Ведь до революции у казахов не было театра, значит, в нашей литературе не было и драматургии. Это, конечно, справедливо, как верно и то, что кое-кем из алашордынских писателей были написаны пьесы в 1917-1919 годах. Но все эти пьесы, без исключения, были чужды духу и интересам Советов, ячейка не могла разрешить их постановки. А настоящие пьесы на советскую тему тогда еще не были написаны. Как же мы все-таки нашли выход?

В нашем клубе появился близкий нам по духу человек, он умел быстро мастерить пьески. Стоило ему подсказать тему, как он своим высоким, почти женским голосом отвечал: «Напишу за два-три дня» – и действительно в срок изготавливал трех-четырех-актную пьеску. Наши «артисты» за какую-нибудь неделю подготавливали ее. В первую постановку публики бывало довольно много. Но постановка очень скоро приедалась из-за наивности сюжета и плохой игры наших скороспелых артистов-любителей. Приходилось снова заказывать пьесу.

Помню до сих пор – в ту зиму наш ловкий доморощенный драматург написал около тридцати пьес, и все они были поставлены! Но каждую из них приходилось снимать после одного-двух спектаклей.

Вскоре Киртатклуб стал настоящей ареной идеологической борьбы. Буржуазные националисты, алашордынцы, не сидели сложа руки и старались осуществлять свое влияние через литературные вечера и концерты. На одном из таких литературных вечеров известный алашордынец, поэт Магжан Жумабаев прочитал свои новые стихи: там было и произведение в паназиятском духе – «Пророк», и в пантюркистском – «Брату!», и националистические стихи «Пожелтевшая степь». Среди слушателей Магжана преобладали нэпманы.

Мы обсудили этот случай на собрании ячейки. Кто-то сказал:

– Запретить Жумабаеву выступать со своими стихами нетрудно, а чем заменить? Есть ли у нас хорошие стихи на советские темы?

Я назвал несколько фамилий молодых поэтов, начавших писать в большевистском духе.

– В таком случае сделаем вот как, – предложил Угар. – Как я слышал, этот Жумабаев собирается на днях устроить еще один вечер. Нам нужно заранее подготовить своих поэтов и на этом вечере организовать их выступления. А выступление Жумабаева я предлагаю сорвать.

– Но если он захочет читать стихи? – спросил кто-то.

– Не захочет! – многозначительно ответил Угар.

– А свобода слова?

– Если ты так болеешь за свободу слова, то вытащи из могилы Колчака и тащи его на трибуну! – рассердился Угар.

– Колчак-то сдох, а Жумабаев живой! – не унимался тот.

– Уж не думаешь ли ты, что и сейчас мало людей, желающих возвращения монархии или белогвардейщины? О-го-го-го! Сколько их еще осталось! Дай им свободу слова – они тебе наплетут! Нет, друг мой, свобода слова у нас не для этого! Запомни: для контрреволюционной агитации ее нет! Свобода слова для трудящихся, а не для врагов!

– Значит, Жумабаеву надо запретить читать его стихи?

– Конечно! – безоговорочно подтвердил Угар.

– И запретить ему приходить на литературные вечера?

– Приходить пусть приходит, но выступать ему не позволим!

– А если он будет настаивать?

– Не морочь ты мне голову больше с Жумабаевым! Вечер открыт для всех, пусть приходит, кто хочет. Но читать на нем будут только советские, наши стихи. Предоставьте мне там распоряжаться, и все будет в порядке, – сказал Угар.

Все знали пылкий и горячий нрав Угара. Некоторые даже побаивались, как бы он не натворил бед, но большинству понравились его предложения, и они были приняты.

Клубные завсегдатаи, в том числе и поклонники Жумабаева, откуда-то узнали, что очередной вечер не будет обычным. Зрителей собралось много. Среди них мелькали петропавловские нэпманы. Раздался звонок. Обладатели билетов до отказа наполнили зал. Забиты

были даже все проходы между рядами. Кто-то с шумом ломился в уже закрытые двери, но на этот шум никто не обращал внимания.

Несколько наших молодых поэтов, приготовившихся выступить на вечере, по предложению Угара, собрались за сценой. Там же оказался и Магжан Жумабаев, Насупившийся, с опущенной головой, он стоял отдельно от них. Вероятно в предчувствии неприятностей, его довольно красивое лицо было искажено гримасой. Я вышел в коридор.

В это же мгновение открылась наружная дверь, и появился наш Угар в сопровождении нескольких вооруженных милиционеров. Возбужденный и гневный, он действовал решительно.

– Закрыть двери и никого не выпускать!– скомандовал он милиционерам. Они немедленно отправились выполнять распоряжение своего начальника.– За мной!– кивнул он мне и направился к сцене.

Я поторопился за ним. Грозный вид Угара внушал страх не только алашордынским, но и нашим молодым поэтам. И без того большие карие глаза Жумабаева расширились еще больше.

– А ну-ка, открой занавес!– приказал Угар перепуганному администратору.

Тот немедленно потянул веревку.

Первым на сцену поднялся сам начальник милиции.

– Слушай-ка ты, байский поэт,– повернулся он к Магжану Жумабаеву,– подойди сюда поближе.

Не рискуя перечить Угару, Жумабаев молча вышел на сцену.

– А теперь выходи сюда и ты, бедняцкий поэт,– позвал Угар меня.

Я шагнул к нему и увидел, что свет в зале уже погас. Среди зрителей поднялся ропот.

– Молчать!– заорал Угар.– Я тут всех вижу и знаю. Кто вздумает затеять беспорядок, с тем поговорю после концерта!

Зал напряженно притих.

– Ты, алашордынский выродец,– обратился Угар с речью к Магжану,– перестань морочить голову советским людям своими бредовыми контрреволюцион-

ными стихами! Они нам не нужны! Неужели ты не понимаешь, что твоя песенка спета?

Жумабаев испуганно посмотрел на пышущее гневом лицо Угара и быстро опустил глаза.

– Читай теперь свои стихи, бедняцкий поэт! – сказал мне Угар и, уже обращаясь к зрителям, крикнул: – Слушайте все!

С трудом преодолев свою смущенность и волнение, я прочитал стихи «Сын бедняка».

Стихи Баймагамбета об Октябре, гражданской войне и победе советского строя читал его школьный друг, коммунист-журналист Абдрахман Айсарин. Стихи-памфлеты, выводящие на чистую воду казахских буржуазных националистов, читал поэт Мажит Даулетбаев. Слушатели с удовольствием принимали фельетоны Байбатыра Ержанова, высмеивающего мусульманское духовенство. Был среди поэтов и рабочий – наборщик Малик Токишев, он читал стихи на злобу дня. А стихи о молодежи декламировал старшеклассник казахской семилетней школы Габдолла Садвокасов. Словом, в Петропавловске обнаружилась целая плеяда молодых казахских поэтов и писателей.

С этого вечера мы разошлись с видом победителей.

Но на следующий день меня вызвал секретарь губкома. Я догадался о причине вызова только после того, как он стал расспрашивать меня о подробностях прошедшего вечера. Крепко досталось мне за партизанщину. Секретарь пригрозил разобрать это дело на бюро губкома, но потом громко рассмеялся и уже дружеским тоном долго объяснял мне, как должна вестись идеологическая борьба на литературном фронте.

Соглашаясь в душе с секретарем, я посетовал на отсутствие у нас литературных кадров, чем и пользуются наши враги.

– Будут и у нас свои писатели, – обнадежил меня секретарь. – Для этого таким талантливым жигитам, как ты, надо учиться.

Тут я пожалел, что вынужден был уйти из совпартшколы.

– Ничего, ты сможешь скоро наверстать упущенное.

– Но когда же, товарищ секретарь?

– Мы еще подумаем об этом...

Попрошавшись с секретарем, я ушел, повторяя про себя его слова: «В литературе не может быть партизанщины». Но не мог я не радоваться и тому, что в нашей казахской литературе рождается новое.

РЕСПУБЛИКА МОЯ!

В Оренбурге в феврале 1922 года была созвана Вторая всеказахстанская партконференция. На губернской партконференции в Петропавловске, предшествовавшей краевой, участвовал известный Смагул Садвокасов. Он остановился в Петропавловске проездом из Семипалатинска в Оренбург. Я узнал, что он приезжал в Семипалатинск как представитель КирЦИКа (Киргизский Центральный Исполнительный Комитет – таково было первоначальное название КазЦИКа) и требовал, чтобы все руководители учреждений были казахи. Местные руководители не согласились с этим требованием, сочли его противоречащим советской национальной политике дружбы народов. Тогда Садвокасов телеграфировал в Оренбург, в обком партии и КирЦИК, что губернские организации проводят шовинистическую политику, и настаивал на роспуске Семипалатинского губисполкома и создании там ревкома. В Оренбурге раскусили Садвокасова, лишили его полномочий и срочно вызвали обратно. Он же, не считаясь с этими указаниями, выехал в Омск. Там он побыл недолго и оказался в Петропавловске.

У нас его встретили не слишком приветливо, да он и сам делал все, чтобы коммунисты от него отвернулись. Правдами и неправдами заполучив мандат на губернскую конференцию, он выступил с большой речью по национальному вопросу. Там он снова защищал порочную националистическую идейку: «Казахстан должен быть для казахов, русских переселенцев надо вернуть обратно, а их земли и поселки передать коренному населению».

За исключением немногих его приверженцев, участники конференции решительно отвергли эти

выводы, аннулировали мандат Садвокасова и самого его с позором изгнали из зала.

Одним из тех, кто сорвал маску с Садвокасова и разоблачил его с ног до головы, был все тот же Угар. Он не только доказал, что речь Садвокасова была враждебной и буржуазно-националистической, но и раскрыл его настоящее лицо.

– Садвокасов, – говорил он, – это замаскированный Букейханов. Это только кажется, что они разные люди, корень у них один. Он ведь и женился в Семипалатинске на единственной дочери Букейханова. А Букейханов выступал против Советской власти с оружием в руках, как союзник и друг Колчака и Анненкова. Где он сейчас прячется, об этом знает Садвокасов, который обо всем советуется с ним. Но и нам известно, что Букейханов скрывается в своих родных местах, в степях Токрауын, недалеко от озера Балхаш. Он все равно не уйдет из наших рук, а пока мы сорвем маску с его агентов.

Зал горячо поддержал Угара. Многие ораторы выступали так же резко.

По национальному вопросу конференция приняла постановление в духе решений X съезда партии, состоявшегося в марте 1921 года.

В начале февраля мы выехали в Оренбург, на Вторую всеказахскую партконференцию.

В те годы Оренбург был столицей Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики, как называли тогда Казахстан.

Казахская республика. Советская социалистическая. Автономная – значит, самостоятельная. Как ласкали мой слух весомые эти слова, говорившие о великих переменах на земле моих предков.

Издревле известны в истории отдельные племена казахов. По-разному объясняют ученые время образования казахской народности. Но дело, в конце концов, не в точных хронологических датах. Главная беда в том, что до советского строя казахские племена никогда не составляли одного государства. В разные времена они входили в разные ханства. С принятием русского подданства эти ханства распались, а Казахстан стал колонией русского царизма. Многолетняя

борьба казахов за свое освобождение не привела ни к каким ощутимым результатам.

Только Великий Октябрь дал свободу казахам.

Когда казахская земля была очищена от контрреволюционных полчищ, летом 1920 года Лениным и Калининым был подписан декрет об образовании Казахской республики. Ее центром стал город Оренбург.

На первых порах в Казахскую автономию вошли казахи бывших Тургайской и Уральской областей. В 1921 году к ним присоединились области сибирских, как их называли тогда, казахов – Семипалатинская и Акмолинская.

Пусть я еще ни разу не был в столице Казахской республики, но я уже привык говорить: моя республика! Моя столица! Иначе я не мог думать. Советская социалистическая республика! Сердцем я понимал значение этих слов. Повсюду, где мне приходилось бывать в это время, я выступал агитатором и пропагандистом моей республики, моей родной Советской власти.

Стоило мне было произнести эти слова, как мечта звала меня в Оренбург. Как мне хотелось там побывать! Но не так-то легко было сразу осуществить заветное желание. И наконец-то подвернулся счастливый случай: я еду в Оренбург делегатом на партийную конференцию.

В составе нашей губернской акмолинской делегации было двадцать четыре делегата, из них пятнадцать казахов.

В тот год, после войны и разрухи, с железнодорожным сообщением было еще трудно. Делегации была предоставлена теплушка – почти не оборудованный для пассажиров товарный вагон с веревочной лестницей, напоминающей стремянку, и с железной печуркой «буржуйкой».

Долго мы ехали до Оренбурга. Наш вагон прицепляли то к пассажирскому, то к товарному составу. На станциях приходилось простаивать не часами, а сутками. Целую неделю делегация добиралась до Кинели. Из Самары через Кинель в сторону Оренбурга проходило очень много поездов, но никто не соглашался пропустить наш вагон. Начальник станции отказался помочь нам без

специального разрешения Комиссариата путей сообщения. Мы отправили несколько телеграмм, вызывали к прямому проводу начальника службы движения, но все оказалось тщетным.

До открытия конференции оставались считанные дни, еще одна задержка – и мы бы опоздали. Выручил нас тот же Угар.

Однажды со стороны Самары прибыл поезд, следующий в Ташкент через Оренбург. Начальник поезда категорически отказался прицепить наш вагон. Дежурный по станции ушел передавать жезл машинисту.

– Ну, я пошел!– решительно заявил Угар.

– Куда?

– К машинисту.

– Зачем?

– Добьюсь, чтобы прицепили наш вагон.

Зная горячий нрав и неуравновешенность Угара, мы попробовали его отговорить, но безрезультатно. За ним побежали я и еще два-три товарища.

Машинист не успел принять жезл, как Угар, отстранив дежурного, вскочил на паровоз и пожал ему руку.

– Здравствуй, друг! Ты знаешь, что здесь, на станции, стоит наш вагон?

– Какой вагон? Кто вы такой?– вытаращил глаза машинист.

– Мы делегаты партконференции из Акмолинской губернии и торопимся в Оренбург.

– Ничего я не знаю...– растерялся машинист.– Да и что я могу сделать?

– Прицепи наш вагон к своему составу!

– Поговорите с начальником поезда. Это не мое дело. Слезайте!– И машинист дал гудок к отправлению.

– Без нашего вагона поезд не тронется с места!– крикнул Угар.

– Бросьте шутки, уходите отсюда!– рассердился машинист.– Что это за беззаконие!

– А задерживать делегатов партийной конференции законно?

Машинист стал выталкивать Угара, но тут наш боевой начальник милиции взорвался.

– Осторожно, мой друг!– Он выхватил наган.

Машинист испуганно отшатнулся. Короче говоря, после очень недолгих, но достаточно жарких споров наша теплушка была прицеплена.

В Оренбурге мы устроились в гостинице «Дом Советов». И в тот же день, зарегистрировав в обкоме свои мандаты, я зашел к одному из секретарей обкома – Абдолле Асылбекову (после трибунала он занимал этот высокий пост) – и рассказал ему обо всем, что случилось со мною за год после нашей разлуки. Он еще тогда одобрял мой план – на следующую осень приехать в Оренбург на учебу. Теперь, назвав несколько учебных заведений, он твердо пообещал помочь мне устроиться туда, куда я захочу. А когда он познакомился с моими новыми стихами, то много говорил об их достоинствах и промахах и тут же назвал имя Сакена Сейфуллина. Но встретить мне тогда Сакена не удалось, его не было в Оренбурге. Я очень пожалел, что не смог его повидать. На страницах казахских газет и журналов я читал много его стихов и статей, исполненных высокого революционного духа.

До открытия конференции я с несколькими товарищами пошел бродить по городу. Здания на центральных улицах города выглядели куда красивее не только петропавловских, но и омских. Особенно бросилось в глаза обилие церквей. Говорили, что здесь было шестнадцать православных церквей и семь мусульманских мечетей. Оренбургский собор показался мне невиданно большим, как и внушительный трехэтажный дом казарменного типа – бывший Борисоглебский кадетский корпус, с которым Омский корпус не шел ни в какое сравнение. Гражданская война оставила на нем зияющие следы – все окна были выбиты, часть стен разрушена. Корпус, огороженный высоким забором, теперь пустовал.

Большое впечатление произвел караван-сарай. Он занимал квартала два и был обнесен высокой кирпичной стеной, на ее углах и над воротами высились башни с полумесяцем на верхушках. Во дворе – мечеть, медресе и торговые службы. Караван-сарай был построен царским правительством для торговли с Бухарой, Кокандом, Хивой.

По южной окраине города текла река Урал, которая называлась до восстания Пугачева Яиком и сохранила старинное имя в памяти жителей и казахских аулов и казачьих станиц.

За рекой раскинулась роща. Стены прежней крепости, возведенной на берегу, теперь уже обратились в развалины, только одинокая башня возвышалась среди обломков.

Казахи называли Оренбург – Орымбором, приблизив это слово к своему произношению. Что касается названия Оренбург, то оно, так я думаю, произошло из двух слов: латинского «ориенс» – восток – и немецкого «бург» – город. Ведь до середины восемнадцатого века Оренбург был самым крайним городом на юго-востоке России.

От Омска и Петропавловска он отличался не только более высокими и нарядными зданиями. Большинство его улиц было вымощено камнем. Однако это было лишь в центральном районе, а на окраинах и неказистые дома, и путаная планировка улиц делали его похожим на знакомые мне города.

...Партийная конференция длилась с девятнадцатого по двадцать седьмое февраля. Первые два вопроса – о международном положении и борьбе с голодом – были обсуждены сравнительно быстро и без особых споров. Но по третьему пункту повестки дня – о национальном вопросе – развернулись горячие споры, и обсуждение его затянулось.

Среди делегатов конференции было много рабочих, приехавших из Риддера, Экибастуза, Караганды, Спасовки, Карсакая, Доссора, Илецкой Защиты. Они-то и составили большинство, выступившее против националистов. Говорил на конференции и я, посвятив свою речь дружбе русского и казахского народов. Прения по национальному вопросу, растянувшиеся на несколько дней, завершились полным поражением националистов. Им досталось крепко, как досталось и великодержавным шовинистам. Конференция приняла постановление, соответствующее решениям X съезда партии. Многие националисты были разоблачены и изгнаны с руководящих постов в республике.

Националистам наносились удары и до этого. Например, на Первой республиканской партконференций летом 1920 года были разоблачены перекрасившиеся алашордынцы. Были исключены из партии и сняты с ответственных постов Ахмет Байтурсунов – комиссар просвещения республики, обманным путем пробравшийся в партию, и его заместитель Биахмет Сарсенов.

На Второй партконференции был нанесен еще один удар национализму.

Дело в том, что в работе конференции участвовали люди, которые не прочь были забить клинышки между русскими и казахами и разжечь национальную вражду. Но и это им не удалось. Дух пролетарского интернационализма прочно сплотил большинство делегатов.

На эту тему выступил и я. Конечно, я говорил по-казахски. На русский язык мою речь перевел делегат Абдрахман Байдильдин. Но при переводе он грубо искажил одну мою мысль. Я так огорчился, что даже пожаловался наставнику моему Абдолле Асылбекову. Он успокоил меня, а в заключение не без насмешки заметил:

– Ну, теперь ты, надеюсь, понял, что надо самому научиться говорить по-русски.

Я до сих пор помню многие уроки, усвоенные мною на конференции.

Мне стали ясны задачи не только в масштабах всей нашей республики, но и мои личные. Теперь я знал, что мне надо делать.

Встречаясь с делегатами, слушая их речи, я испытывал чувство гордости за родной казахский народ, выдвинувший из своей среды зрелых руководителей, настоящих большевиков. К ним принадлежал и Абдолла Асылбеков, который заведовал орготделом Киргизского (казахского) обкома РКП (б). Выделялся среди них и председатель КирЦИКа Сейткали Мендешев. Эти два товарища пользовались особенно большим уважением. Назову еще несколько широкоизвестных в те годы фамилий: Капи Мурзагалиев, председатель Совнаркома, Нугман Залиев – нарком просвещения, Алиаскар Алибеков – рабоче-крестьянской инспекций, Шафкат

Бекмухаммедов – юстиции, Абдрахман Айтиев – внутренних дел, Мухтар Саматов – продовольствия, Тель Жаманмурунов – земледелия, Алибий Джангильдин – собеса.

В своем большинстве они были участниками гражданской войны, организаторами Советской власти в Казахстане, грамотными людьми, приобщившимися и к русской культуре.

Перечисляя наших руководящих товарищей, я назвал сейчас и Алибия Джангильдина. О нем я слышал больше, чем о других. Я знал, что он был первым большевиком-казахом, встречался с Лениным за границей и в России, был организатором знаменитого похода с транспортом оружия в песках Прикаспия и Приаралья.

В нашем активе было еще очень мало казашек. С одной из них – Алмой Уразбаевой – познакомил меня Асылбеков. Она заведовала женотделом обкома. Было ей тогда двадцать четыре. Глядел я на нее – маленькую, смуглую, худенькую, – и мне не верилось, что она еще до революции учительствовала в одном из аулов Букеевской губернии и потом участвовала в борьбе за установление Советской власти.

Несколько раз Алма приглашала меня и Асылбекова к себе на чай. Умная, добрая к людям, она относилась ко мне очень внимательно и душевно. И еще одна подробность: она очень хорошо исполняла песни западных казахов. Заслушаться можно было.

Как-то я сказал Абдолле, что мне хотелось бы видеть побольше таких казашек-большевичек.

– Эх, Сабит, их еще так немного, – отвечал мне Асылбеков, – и до десятка не досчитаешь. Но, поверь мне – будут! Обязательно будут! Они уже поступают в наши учебные заведения. У нас есть рабфак, педагогический институт, совпартшкола, опытно-показательная школа. И это только в одном Оренбурге. Открываются учебные заведения и в других городах. Учатся тысячи молодых казахов, и среди них немало казашек.

И тут я представил себе будущее моей республики, свет знания на ее просторах, соотечественников, строящих новую жизнь.

АУЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Я уехал из Оренбурга в родные места. На прощанье я пообещал Асылбекову, что как только возвращусь домой – сяду готовиться к экзаменам на рабфак, особенно по русскому языку, и осенью снова буду в Оренбурге.

Но я не смог выполнить свое слово. Как только мы вернулись в Петропавловск, сразу же пришлось заняться весенним севом. Важнее всего было заготовить семена. Наша губерния располагала нужным их количеством, но беда заключалась в том, что запасы эти были разбросаны в отдаленных селах. Их нужно было доставить за сотни верст, а транспорта не было. Большинство лошадей и волов были настолько истощены, что еле волочили ноги.

Нам предстояло и другое, не менее важное дело – объединить маломощные и бедняцкие хозяйства на время сева в артели для коллективной обработки земли. Тут необходимо было разъяснять, убеждать. Кроме того, у большинства бедняцких хозяйств не было никаких сельскохозяйственных орудий. Надо было снабдить их тем немногим, что имелось на складах потребкооперации, усилить работу кредитных товариществ, организовать выдачу ссуд. Стояла перед нами еще одна задача – использовать все возможности середняков, имеющих сельскохозяйственный инвентарь. Возник вопрос о том, как привлечь к хлебопашеству бедняков и середняков из казахских аулов, ранее занимавшихся только скотоводством. Государственная помощь семенами, тягловой силой и инвентарем им оказывалась в больших размерах, чем русским крестьянам. Но этой помощью нужно было воспользоваться умело. Ведь земледельческого опыта у большинства казахов не было.

Одним из самых трудных мероприятий было использование тягла и инвентаря баев и кулаков. Окрыленные новой экономической политикой Советской власти, они подняли головы и наглели с каждым днем. Добровольной помощи беднякам от них нечего было и ждать.

Все эти вопросы организации весеннего сева были обсуждены на бюро губкома. Городской актив был привлечен для выполнения задач посевной кампании. Выехал на свой участок и я.

Чтобы попасть в Явленку, мне надо было перебраться через разлившийся Ишим. Мост, снесенный половодьем, еще не был восстановлен, а у паромы порвался канат. Ждать не было времени, пришлось нанять старого лодочника, владельца такой же старой, видавшей виды лодки. Не успели мы оттолкнуться от берега, как из всех щелей в нее хлынула вода. Но лодочника это нисколько не обескуражило.

– Ты, парень, бери ковш и выливай помаленьку, – с удивительным спокойствием посоветовал он.

Однако это мало помогло. Когда наша лодка достигла почти середины, широко разлившегося Ишима, она уже наполовину была наполнена водой.

– Ничего, не робей, скоро и тот берег, – продолжал успокаивать старик.

Но я уже начинал терять надежду:

– Утонем, старик, не доберемся.

– Ничего, бог милостив.

А лодку, несмотря на божью милость, заливало все больше и больше. Меня охватил страх. В это время показалась другая лодка. Она плыла наперерез нашей. Тут оказалось, что и мой храбрый лодочник перепугался не меньше меня.

– Тонем! На помощь! – крикнул он во все горло.

Пока подросла выручка, наша лодка стала погружаться. Старик бросился в Ишим и саженьками поплыл к берегу. Но я не умел плавать и стал погружаться в воду вместе с лодкой.

В приближающейся ко мне лодке сидели три парня. Во всю мочь я закричал:

– Спасите! – И, захлебнувшись, стал задыхаться.

В это мгновение меня схватили за шиворот и вытащили из воды.

Придя в себя, я огляделся. В лодке сидели три русских парня, мои спасители. День был воскресный, и ребята решили покататься по реке. Все они оказались комсомольцами. Мы быстро познакомились.

– Чуть-чуть не погиб!– сокрушенно сказал один из них.– Разве можно было ехать в такой паршивой лодчонке, коли и плавать не умеешь?!

Тут я вспомнил о своем чемодане. Увы, он пошел ко дну! Мне нисколько небыло жалко ни белья, ни других вещей, находившихся там, но с чемоданом пошла ко дну тетрадь, в которую вот уже пять-шесть лет я записывал свои стихотворения.

Я теперь не помню и сотой доли этих стихов, и мне трудно судить об их достоинствах. Но могу ручаться в одном – они были рождены настоящей жизнью, бурной жизнью тех лет. Они имели бы и теперь для меня, а может быть, и для моих читателей, известную ценность.

Потеря моя была велика, но в эту поездку я испытал, и немалую радость. В середине июня я вернулся в Петропавловск с докладом, что мой участок перевыполнил план весеннего сева. Я даже хотел немного похвалиться этим на бюро губкома, но секретарь с улыбкой предупредил меня:

– Конечно, мы и тебя можем похвалить. Только не думай, что ты один такой. По всей губернии нет ни одной волости, которая не перевыполнила бы план сева. Сто двадцать пять процентов! Шутка сказать! Прошли хорошие дожди. Если и дальше так будет, в этом году получим богатый урожай. Есть надежда, что урожай будет и в других губерниях России. А значит, мы победим еще одного нашего злейшего врага – голод!

...Через месяц начались перевыборы местных Советов. Губисполком поручил мне и выделенному мне в помощь инструктору уездного Совета провести их в трех волостях Петропавловского уезда.

На всем своем пути, неторопливо вникая в мелочи, я приглядывался к аульной жизни и заметил большие перемены, происшедшие даже за этот краткий срок. Хлеба шли в рост, пастбища и сенокос были замечательны, скот поправился. Поздоровел, повеселел народ.

Лучше стали работать и Советы. Некоторые баи и их сынки, сумевшие на прошлых выборах пролезть к руководству, уже были изгнаны. На их местах сидели коммунисты или уважаемые в аулах грамотные и честные люди, ревностно старавшиеся наладить дело.

Впервые тогда появились и «красные юрты». Вокруг них уже кипела немаловажная агитационно-пропагандистская работа. Они комплектовались и оборудовались в уезде. В штат «красных юрт» входили судебные работники, врачи и политические агитаторы. Каждый занимался своим делом. «Красные юрты» через каждый месяц перекочевывали в другой аул в пределах волости. Это было новое, очень хорошее дело.

Наряду с «красными юртами» хочется отметить и другую деталь, свидетельствующую уже о некоторых признаках оседлости. Раньше аульные и волостные администраторы не имели постоянного местопребывания своих канцелярий и всю переписку возили с собой в коржунах, а дела вершили, разъезжая из аула в аул. Теперь же аульные и волостные Советы стали закрепляться на одном месте. Кое-где даже начали строить деревянные здания для канцелярий волостных Советов. Возле них стали жить люди, образовались новые селения. Это был уже первый шаг к землеустройству кочевых аулов.

При каждом волостном исполкоме были организованы так называемые батрачкомы. Они контролировали и регулировали взаимоотношения батраков с их хозяевами – баями. Баи теперь имели право нанимать батраков только по трудовому договору, заключенному при батрачкоме. Это повышало сознательность батраков и бедняков, облегчало в какой-то мере их жизнь. Моя поэма «Батрак вчера и сегодня» была плодом моего непосредственного знакомства с работой батрачкомов.

С начала года в отдельных волостях уже были созданы волостные ячейки партии и комсомола. На их плечах лежала большая тяжесть агитационно-пропагандистской работы среди трудящихся.

К этому же времени относится и организация первых коммун. Так, например, в Кыласкерской волости Петропавловского уезда (ныне Приишимский район Северо-Казахстанской области) возникла коммуна «Орнек» («Образец»), спустя несколько лет преобразованная в колхоз того же названия. Подавляющее большинство ее участников составляли казахи разных родов и уездов. Среди немногих остальных –

русские и татары. Все бедняки и батраки. Коммуне была предоставлена обширная, богатая заимка бежавшего на восток петропавловского купца-толстосума Бажанова. Вместе с заимкой в собственность коммуны отошли постройки, рабочий и молочный скот и сельскохозяйственный инвентарь.

Чтобы сделать эту коммуну образцовой, туда была послана из губернских учреждений группа ответственных работников. Еще недавно голые и голодные, батраки стали хозяевами богатого бажановского наследства. На отдаленной заимке вырос поселок с улицей, напоминающей городскую. С помощью государства были построены школа и больница. Коммунары в этом году сняли богатый урожай и заготовили вдоволь сена. Настроение у них было отличное. И в хозяйственном, и в культурном отношении коммуна «Орнек» уже становилась действительно образцом для соседних казахских аулов.

Так, подробно знакомясь с новой жизнью в попутных селениях, я добрался до волостей, где должен был проводить переборы. Но здесь, в отдаленном от уездного и губернского центра крае, влияние баев было еще сильное.

Например, в Смаильской волости на посту председателя волисполкома продолжал сидеть все тот же Беке Жукенов, известный читателю по предшествующим главам.

По дороге мне пришлось остановиться у него. Его большая белая юрта возвышалась посреди байского аула, состоявшего из таких же светлых богатых юрт. Отец Беке, непомерно толстый Жукен, седой старик лет шестидесяти, ввел в дом молодую жену-красавицу.

Беке и его отец Жукен встретили нас с подчеркнутым радушием. Юрта Жукенова внутри была отделана с богатством и блеском. Широкие, в поларшина, перевязочные ленты были ковравыми, а шнуры и арканы, стягивающие войлок, из шелка. У задней стены в несколько рядов высились сундуки, закрытые войлочными вышитыми чехлами.

Деревянные подставки к сундукам были украшены резьбой и костяной инкрустацией. На сундуках гро-

моздились персидские ковры, шелковые одеяла, горы пуховых подушек в шелковых наволочках. Место у правой стенки занимала двуспальная варшавская кровать под балдахином. У ее изголовья стояла высокая, посеребренная, многоветвистая вешалка, чуть не сгибавшаяся под тяжестью одежды. От входа до задней стены пол был устлан ковром, а на почетном месте раскинуты мягкие одеяла. У иных баев собственная юрта служила и кухней, но у Беке кухня помещалась отдельно. Кроме огромной кожаной сабы, полной ароматного, крепкого кумыса, другой посуды и утвари здесь не было. Возле сабы большая и маленькая деревянные чаши для кумыса, покрытые белоснежными полотенцами.

Внимательно оглядев меня, Жукен начал беседу с откровенной лести, прикидываясь этаким простачком.

– Лицо твоё светлое, симпатичное, ты мне сразу понравился, – сладким голосом заговорил он. И тут же прикинулся горемычным бедняком: – Говорят, новая власть защищает бедных и сирот... Как это мне по сердцу! Ведь я от моего отца Токая остался семилетним сироткой. В то время в наших краях властвовали шестьдесят баев Алтая. Как только не измывались они надо мной, чего только не пришлось мне от них претерпеть!

Такое бесстыдное вранье отца смутило и рассмешило даже Беке. Он отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Старик взглянул на него недобрыми глазами и продолжал как ни в чём не бывало:

– Правда, все аулы вокруг почитают мой дом как священный очаг главы рода. Но не за богатство мое! Да разве у меня когда-нибудь было настоящее богатство? Пятьсот голов лошадей в самое лучшее время. А в год Свиньи, накануне войны, после джута, не осталось кобыл даже для дойки. Кумысную сабу пришлось повесить на колышек. Долго пришлось поправлять дела. Сейчас, конечно, есть немного лошадей.

– Ну, сколько, аксакал? – поинтересовался мой спутник.

– Косяк одного-двух жеребцов, – уклончиво ответил Жукен.

– Все-таки сколько же голов? – повторил свой вопрос инструктор.

– Да так, что-то около пятидесяти голов. Словом нет и четверти того, что имеет Сады или Альти.

Старику очень хотелось сохранить за сыном пост председателя волисполкома, и он всячески намекал нам на это.

«Болтай, болтай!» – думал я про себя. – Все равно из этого ничего не выйдет». Но положение гостя обязывало быть по крайней мере вежливым, и я дипломатически ответил Жукену:

– На это есть воля народа. Изберут вашего сына – мы возражать не станем.

Жукен собирался еще что-то сказать, рассчитывая склонить нас на свою сторону, но сын, гораздо лучше отца разбиравшийся в обстановке, прервал его:

– Не беспокой, отец, гостей. Уважение человеку можно сделать, но закон преступать нельзя. Они сделают так, как закон им велит, понимаешь.

Он говорил сердито, словно не одобряя отца, но, оставшись со мной наедине, стал тоже задабривать меня, только с несколько иной тактикой.

– Сабит, дорогой, – нашептывал он мне, – из нашего рода керей ты только один вошел в доверие к новой власти и занял большое положение. У нас с тобой одна кровь, я радуюсь за тебя и от всего сердца желаю добра. Как хорошо, что ты приехал к нам проводить выборы! Ведь ты для нас не чужой. Но знаешь, как говорят: «Знакомого по лицу узнают, о незнакомом судят по одежде». Ты на службе недавно, многие тебя совсем не знают. Вот ты и покажи себя с блеском. В аулах любят это. Хочешь, я тебе предоставлю для разъездов свою новую повозку с парой хороших коней. На все время выборов. А если пожелаешь, уезжай на них в Петропавловск.

Я, понятно, сразу сообразил, что это деликатно предложенная взятка, но не подал виду.

– Зачем беспокоиться об этом и утомлять таким долгим путем коней? Я лучше буду ездить на подводах.

На следующий день мы покидали аул Жукена. Беке хотел меня сопровождать, но я отклонил и это:

– Нет, уж лучше до поры до времени оставайтесь дома, а то еще люди подумают, что мы в сговоре.

Он вынужден был остаться.

Путь наш лежал в Пресновский волисполком. Председателем там был Сейтак, сын известного миллионера Альти. В ауле стояли четыре юрты: одна – самого Альти, две – его сыновей. Садвокаса и Сейтака, одна – для приема гостей. Но приезжих в эту пору в ауле не было, и Сейтак принял меня в своей юрте. После неизбежного кумыса и чая началась беседа, в которой участвовали оба брата. Вели они беседу с чисто казахскими иносказаниями, и в заключение Сейтак предложил:

– А теперь, Сабит, наверно, ты хочешь зайти к нашему старику хаджи и поприветствовать его?

Мне ничего не оставалось делать, как согласиться. Альти, уже подготовленный к встрече, был гостеприимен по-родственному и всячески старался подчеркнуть нашу близость:

– Вот наконец и из кереев вышел достойный человек, способный к участию в государственных делах, – подлизывался он. – Очень меня это радует, сынок.

Старик, завладев беседой, стал намекать, что мы не просто родичи-керейцы, но близкие, единокровные.

– Ты ведь знаешь, – вкрадчиво рассказывал он, – мы из подрода кошебе, ты из сыйбанов. Их, как братьев, часто называют нераздельно: кошебе-сыйбан. Но я к тебе еще ближе. Я ведь племянник твоей родне. Слышал ты это?

– Слышал, – ответил я коротко.

– Ну вот и хорошо, что слышал. Я тебе напомним одно старинное изречение: «Если перед домом холм – это все равно что оседланный конь: с него можно обозревать дали. Если в ауле живет бывалый старик – это все равно что написанная книга». В твоём ауле еще жив Нуртаза, а он многое знает. Ведь это он тебе рассказывал о моей близости к вашей семье. Не правда ли?

– Да, дядя Нуртаза вспоминал об этом.

– А что он обо мне говорил? – Старик подошел к самому главному для него. – Что я разбогател своим трудом или мне все досталось по наследству?

– Важно то, что вы стали богатым, – ответил я, – а не все ли равно, каким путем.

– Нет, далеко не все равно, – возразил Альти. – Кто сам не знал нужды, не испил горя, тот и цены богатству не

знает. Я же, вроде тебя, остался сиротой и разбогател своим трудом. Поэтому я и умею жалеть бедных.

Я смолчал, но про себя подумал: «И кому, он это все говорит? Не он ли, когда умер мой отец – я был еще маленьким, – обманул всех, сказав, что за покойником долг в пятьдесят копен сена, и отобрал у меня, беззащитного сироты, последнюю годовалую телку! Помнит ли он об этом?»

И вот этот Альти говорил, выделяя каждое слово, как весомое и правдивое:

– Да, я остался сиротой, голым бедняком, мне помогли пробиться в люди старательность и упорство. Благодарение богу, я стал одним из самых уважаемых керейцев. В те годы Торсан сошелся с единственной дочкой Есенея и завладел ее несметным богатством. Туго пришлось нам, керейцам, всех он прижал, но в твоих сыйбанов и когти вонзил. Вот тогда я и встал на защиту сыйбанов ради духа нашего праотца керея и заставил Торсана поклониться им в ноги. Это было наше с Нуртазой время...– Тут Альти даже вздохнул. – Мы жили в мире и согласии, говорили на одном языке, вместе вершили дела. Теперь наступило ваше время – моих сыновей и твое, мой светик. Что мне остается пожелать вам, кроме такой же дружбы? Да будут и меж вами мир и согласие. А об остальном вы договоритесь сами.

– Мудро сказано! – воскликнул Садвокас, восхищенный дипломатическим талантом своего отца. – Сабит – наш близкий родич, этим сказано все. До окончания выборов он поживет у нас, а в Петропавловск мы отвезем его сами.

Я слушал эти слова и удивлялся не столько Альти, сколько его сыну. Мне отчетливо припомнилась зима 1918 года в Омске. Садвокас приехал тогда в Омск по своим торговым делам. Мне было очень тяжело жить, я буквально голодал и отправился в дом, где остановился Садвокас, рассчитывая на его, хоть небольшую, помощь. Он выслушал меня, нахмурился и не сказал ни слова. «Что же вы молчите, Саке?» Садвокас не удостоил меня ответом, вытащил из кармана толстый бумажник, извлек оттуда одну бумажку и, не глядя на меня, сунул ее стоявшему ближе приказчику Самрату, а уж Самрат дал ее мне. Оказалось, это были десятико-

печечные колчаковские дензнаки, отпечатанные в форме почтовых марок, всего на рубль. «Спасибо и на этом, Саке. Но на эти марки я не куплю даже хлебной булки. Пусть уж лучше они останутся у вас!» Я бросил марки и вышел. «Не обязан я тебе помогать!» – кричал мне вслед Садвокас.

Всего четыре года прошло после этой встречи. Вспоминая этот эпизод, я пристально вглядывался в Садвокаса. Неужели он забыл? Или не узнает меня? А если узнает, так почему же так спокойно разговаривает со мной, будто и не было той встречи?

Нет, он, оказывается, все хорошо помнил. Это стало ясно в день выборов.

Накануне, справившись с делами, мы заночевали в доме Торежана Шогелева. Задолго до рассвета кто-то разбудил меня. В темноте я не мог сразу узнать лица.

– Это я, Сабит, я. Рамазан, твой дядя...

– Ибраев?

– Ну конечно, он...

Он рассказал, к моему удивлению, что вместе с дядей Нуртазой приехал сюда из Жаман-Шубара. Какие срочные дела могли привести их за пятьдесят верст в ночную пору, трудно было догадаться. Я оделся и вышел за Рамазаном, который мне толком так ничего и не объяснил.

К озеру сошлось довольно много людей. В центре сидели Нуртаза и Садвокас. Неяркий костер отбрасывал бледный, мигающий свет на их сосредоточенные лица.

Нуртаза поздоровался со мной, как самый близкий родич. Пуская в ход все свое красноречие, он говорил и о старости, и о нашем родстве, и о своем праве на мое уважение. Он прямо сказал, что заставило его, хилого и больного, пуститься в такую даль ночной порой. Речь шла о переизбрании во что бы то ни стало Садвокаса, сына Альти, на пост председателя волисполкома.

Сразу ответить прямо я своему дяде не мог, не смел. Я стал объяснять, что это зависит не от меня, а от избирателей. Это было, конечно, правдой, но я не говорил напрямик о своем желании вмешаться в ход выборов, пока хитрый, как старая лиса, Нуртаза не припер меня к стенке.

– Можете обижаться на меня, дядя, но я не буду и ради вас отступать хоть на шаг от советских законов. Не возвратятся баи на посты начальников.

На этот раз Нуртаза не рассердился, не стал кричать на меня, как бывало прежде, а снова принялся просить. Я еще раз отказался, и уж тогда заговорил Садвокас, метнув на меня сердитый взгляд:

– Мы с первого дня твоего приезда заметили неприязнь к нам, мой дорогой, вот поэтому, обратившись к духам наших предков Кошебе и Сыйбана, сами вызвали твоего дядю Нуртазу, надеясь, что ты поверишь его словам. А ты и Нуртазу не хочешь слушать. Как это горько, нехорошо!

Слова Садвокаса разозлили меня. Наступил час, когда я смог с ним рассчитаться.

– Так вы почитаете наших праотцев Кошебе и Сыйбана?– спросил я его в упор.

– А как же! Разумеется, почитаю...

– Вы лжете! Вы не уважаете их!– сказал я.

Садвокас опешил.

– Не помните, как я в восемнадцатом году в Омске пришел к вам и по молодости своей и нищете, «ради духов наших общих предков», попросил у вас помощи? И вы дали мне колчаковский рубль десятикопеечными марками... Садвокас покраснел до ушей и отвел глаза, от смущения стал ковырять землю.

– Допустил ошибку!– вздохнул он.

– Вот видите,– я оглядел всех собравшихся,– кто виноват из нас – он или я?

– Он, он виноват!– зашумели собравшиеся у озера.

– Садвокас искупит свою вину, я его заставлю!– сказал Нуртаза.– Только исполни мою просьбу!

– Его искупление мне не нужно, я рассказал об этом лишь потому, чтобы показать вам скупость и лицемерие баев, в частности вот этого Садвокаса. Еще раз говорю: будет избран тот, кого пожелают сами труженики.

С этими словами я вернулся к себе, не слушая причитаний Нуртазы.

На следующий день начались выборы. В те годы они проводились открытым голосованием. Фамилии своих кандидатов называли сами избиратели и голосовали

поднятием рук. Получившие большинство считались избранными. В голосовании ни сам Альти, ни его сыновья не приняли участия. На лишенных избирательных прав само общество составляло так называемый «черный список». Сами избиратели его и утверждали. Попавшие в список лишенцы до окончания выборов изолировались. Когда мы приступили к составлению такого списка, одними из первых в него попали сам Альти и его сыновья Садвокас и Сейтак и много еще других баев. Нуртаза, потеряв всякую надежду на меня, в ту же ночь уехал к себе в аул.

...Вскоре мы вернулись в Петропавловск. В губкоме были обсуждены результаты перевыборов аульных и волостных Советов. В этом году впервые аульные и волостные Советы были очищены от баев, и всюду труженики аулов избрали своих настоящих представителей.

ЗНАКОМСТВО С САКЕНОМ СЕЙФУЛЛИНЫМ

В августе 1922 года я приехал в Оренбург, чтобы поступить на рабфак. Из задуманной мною подготовки так ничего и не вышло. Я уже рассказывал, что начал было заниматься русским языком и даже нашел себе репетитора, но работа в партячейке и командировки отнимали все мое время.

В прошлом году на рабфаке было около тысячи учащихся, а казахов из них меньше ста человек. В этом году казахи должны были составить, по крайней мере, половину.

Руководил рабфаком некто Шейнессон. Он сам принимал заявления, тут же решал, допускать или не допускать к экзамену, предоставлял место в общежитии и прикреплял к столовой. Среди нас, поступающих, многие поговаривали, что Шейнессон очень строг и даже придирчив и многим отказывает в приеме. Когда я попробовал выяснить, по каким именно причинам, мне сказали, что чаще всего по малограмотности.

– Вообще по малограмотности, – спросил я, – или же по слабому знанию русского языка?

– И по той, и по этой причине,– ответили мне, и это усилило мою тревогу: особенно волновался я из-за русского языка.

Прежде чем идти к Шейнессону, я попросил одного знакомого студента составить мне текст заявления на русском языке, а потом тщательно его переписал. Почерк у меня был хороший, и я рассчитывал, что это заявление вместе с документами – выпиской из постановления губкома о посылке на учебу и характеристикой – должны произвести впечатление.

Подучилось, однако, не совсем так.

Шейнессон внимательно прочитал заявление и посмотрел мне прямо в глаза.

– Ты сам писал?

Признаться в обмане – значило бы запутать дело. И как мне ни было совестно, я отвел взгляд в сторону и, смущаясь, произнес:

– Сам...

Шейнессон понял, что я соврал, но, не желая окончательно вогнать меня в краску, только улыбнулся.

Зато документы мои не вызвали у него никакого сомнения.

С характеристикой ознакомился он неторопливо и с явным удовольствием.

– Хорошо! Хорошо!– кивал он головой, и у меня отлегло от сердца.

– Да, а где справка об образовании?

Такой справки, увы, у меня не было. Я принялся коротко рассказывать, где и как я учился.

Шейнессон хмыкнул.

– Маловато этого для поступления на рабфак. И кроме того, вы действительно неважно владеете русским языком.

Я виновато потупился, как человек, уличенный во лжи, чувствуя на себе долгий, изучающий взгляд Шейнессона.

– Говорите по совести,– спросил он,– экзамен выдержать сможете, не срежетеесь?

– Постараюсь!

– А к примеру, по-русски?

– Постараюсь!– повторил я.

– Пойми самое главное, – перешел Шейнессон на «ты», – все предметы преподаются по-русски. А ты ведь русский язык знаешь плохо. Трудно тебе будет. Подумай об этом. – Он помедлил немного и, не дожидаясь моего ответа, предложил: – А может быть, лучше отложить поступление еще на одну зиму и подготовиться как следует по русскому языку?

Как я ни настаивал, все мои просьбы висли в воздухе. Шейнессон был непреклонен. Он говорил со мною вежливо, но решительно. «Нельзя, понимаете, нельзя».

Теперь у меня оставался один-единственный выход – обратиться за помощью к тем старшим товарищам, которые меня немного знали. И первый, чье имя пришло мне на память, был Абдолла Асылбеков. Он выслушал меня и замялся:

– Жаль, дорогой, очень жаль. Но именно я вряд ли могу тебе помочь. Неудобно мне вмешиваться в дела учебных заведений.

– Что же мне делать, Абдолла-ака?

Асылбеков наморщил лоб. Раздумье длилось недолго.

– Советские органы должны тебе помочь. И лучше всего, дорогой, иди к Сакену.

Я слышал много об этом человеке. Я знал, что его, поэта и революционера, осенью этого года избрали на III съезде Советов председателем Совета Народных Комиссаров. Когда я приехал в Оренбург, он уже работал на этом посту.

Мне давно хотелось увидеть Сакена. Но я решил навестить его только после поступления на рабфак. А тут получилось не по-моему. Но возвращаться в аул было нельзя. И значит, пришлось перерешать.

Мне показали дом, где жил Сакен. Синий деревянный дом с разноцветными резными наличниками, большим подворьем с дощатым забором и тесовыми воротами. Много с той поры прошло лет, но я до сих пор помню табличку на воротах – Деевская, 5.

Было уже за полдень, когда я подошел к этому дому. Я никак не мог набраться храбрости постучать и топтался у ворот.

Неожиданно из-за угла вылетел фаэтон. Белый аргамак стремительно мчался на меня. Я отбежал в сторону и сделал вид, будто прогуливаюсь без всякой

цели. Возница, возвышавшийся на козлах, туго натянул вожжи, и фаэтон резко остановился. По степной привычке я стал рассматривать коня. Да, это был настоящий аргмак – высокий, поджарый, с коротким негустым хвостом. Он прят ушами и шумно раздувал ноздри.

«Ишь какой конь», – подумал я и ближе подошел к фаэтону. Вот тут-то я и разглядел седока. Ростом выше среднего, он обращал на себя внимание и гордой посадкой головы, и своей выправкой. Красивое энергичное лицо: черные глаза, густые черные усы, нос с горбинкой. Я не решался взглянуть еще раз, но когда мы разминулись – оглянулся и посмотрел ему вслед. Как хорошо на нем сидело дорогое драповое пальто и кепка из такого же материала.

«Это и есть Сакен», – с волнением догадался я. – Ну кто же еще мог так по-хозяйски входить в дом, кто еще мог сюда приехать фаэтоном, запряженным белым аргмаком».

Между тем возница пересел с козел на хозяйское место и стал медленно поворачивать обратно. Он был молод. Признав в нем татарина, я его приветствовал по-мусульмански.

– Алейкум ассалам! – ответил он мне с приметным татарским акцентом.

– Кто этот человек? – спросил я его, проверяя свою догадку.

– Ты это о ком?

– А вот о красивом, усатом, кого ты приезз сейчас.

– Эх, парень, будто ты не знаешь...

– Ну, если бы знал, не спрашивал.

– Тогда знай, чужак, это сам Сакен Сейфуллин...

Тут я не преминул узнать на всякий случай даже имя моего возницы. Его звали Нигматуллой Бикмаевым. Он перебросился со мной еще несколькими словами и укатил.

А я постоял, постоял у ворот, да и пошел восвояси. Сакен, должно быть, обедает. Неудобно.

Вечером я снова навестил Абдоллу Асылбекова и спросил его, какой у Сакена характер.

– На первый взгляд он может показаться, пожалуй, надменным. Но только на первый взгляд. Правда, с теми, кто ему не придется по душе, он держится на расстоянии и действительно надменен. Но если ты ему понравишься, он будет прост и приветлив с тобой. Да ты заходи к нему завтра утром в контору.

КирЦИК и Совнарком помещались в одном здании еще со времени Второй партийной конференции, на которой я был делегатом. Знающие люди рассказывали мне, что здесь до революции была канцелярия генерал-губернатора. Дом был очень удачно расположен на южной окраине и окнами своими выходил на берег Яика. Когда-то давно говорили мне, что на месте губернаторского дома стояла крепость, обнесенная высокой кирпичной стеной. Стена развалилась. Лишь кое-где можно было встретить полуразрушенные высокие башенки. Здание канцелярии генерал-губернатора казалось мне тогда замечательным. Парадный вход, обращенный к Яику, был украшен цветным мозаичным стеклом.

Секретарь КирЦИКа и отделы работали на третьем этаже, кабинеты председателя Совнаркома и его заместителей разместились на втором, первый этаж занимали технические работники.

В те времена никаких пропусков еще не было, как не было и паспортов.

Так я очутился в комнате, – ее можно было бы назвать и приемной, – где сидели помощники председателей Совнаркома и КирЦИКа; одна массивная дубовая дверь вела к председателю Совнаркома, другая к президенту нашей Казахской республики.

Помощник Сакена несколько не препятствовал мне. Мол, иди, если тебе надо. И я открыл тяжелую дубовую дверь и оказался в просторном кабинете. За круглым столом, занимавшим центральное место, сидели Сакен и еще три-четыре человека. Видимо, беседа шла о чем-то веселом, увлекательном. Иначе почему бы они улыбались... Я поздоровался и стал у двери. Все разом посмотрели в мою сторону. Я успел заметить, что все, кроме Сакена, были в одинаковых, наглухо застегнутых френчах, которые я называл по-

аульному камзолами. И конечно, все были в широких галифе и сапогах. Тогда все ответственные работники считали своим долгом так одеваться. Только Сакен, наперекор моде, был в двубортном пиджаке, белой сорочке и при галстукe. На этот раз я внимательно разглядел поэта. Да! Он действительно был удивительно красив. Теперь-то я смог заметить и волнистые, зачесанные назад волосы, открывавшие широкий светлый лоб, и приятные черты лица. Внушительно чернели короткие усы.

– Ну, юноша?– Полувопросительно воскликнул Сакен и чуть прищурил блестящие черные глаза. Голос его оказался негромким, но сильным.

– У меня к вам дело,– не без робости обратился я к нему.

– Ну, значит, подходи ближе и рассказывай.

Я начал торопливо и сбивчиво излагать цель своего прихода. Однако до главного я так и не успел добраться.

– погоди!– остановил меня Сакен.– Я чувствую, у нас с тобой будет большой разговор, а я сейчас занят срочными делами. Ты лучше приходи ко мне вечером на квартиру.

Адреса, понятно, я не стал спрашивать. Наступил вечер, и я уже был у знакомого дома. Стоило мне позвонить, как двери открылись и меня стали спрашивать, кто я и зачем пришел. Тускло освещенным коридором меня провели в гостиную. Вокруг низкого казахского стола было довольно много людей. Среди них я сразу узнал Сакена, одетого по-домашнему просто, и старого моего знакомого Абдоллу Асылбекова.

Только один Абдолла знал, что я пишу стихи, а быть может, и я проговорился об этом в кабинете. Во всяком случае, сразу после взаимных приветствий Сакен в упор спросил меня:

– Так, так... Стихами, говоришь, занимаешься?

– Немножко,– скромно отвечал я.

– Зачем немножко,– вмешался в разговор Абдолла,– признайся, что пишешь много.– И, уже обращаясь к Сакену, добавил:– Мне нравятся стихи Сабита. Но ведь я не поэт и не критик. Ты уж сам посмотри.

– А где твои стихи, жигит?– Испытующе посмотрел на меня Сейфуллин.

– Здесь!– И я показал на карманы.

– Тогда усаживайся и читай!

Пожилой незнакомый мне мужчина с шутливой строгостью заметил:

– К чему так торопить парня, пусть освоится, а уж потом почитает.

– Давай, жигит, давай! Покажи, как шагаешь. А об остальном поговорим после.

Первое стихотворение, которое я прочел, называлось «Конилим» («Душа моя»). Я написал его в 1917 году.

– Еще читай!– приказал Сакен.

Я прочитал стихи «Свобода», написанные двумя годами позднее.

– Еще, еще!– настаивал Сакен.– Читай подряд, не останавливаясь.

Должно быть, я познакомил слушателей с добрым десятком моих стихов. И тут Сейфуллин сказал:

– Пожалуй, теперь достаточно. Приходи завтра ко мне на службу.

– Ну как? Хорошие стихи?– попробовал кто-то узнать мнение хозяина.

Но он уклонился от прямого ответа:

– Не стоит сейчас об этом говорить. И разве я один могу дать оценку. Народ должен сказать свое слово, читатели...

– Но для того, чтобы читатели сказали свое слово, нужно стихи напечатать. В газете или журнале.

– Ну что ж,– ухмыльнулся Сакен,– они и будут напечатаны.

Один из гостей подмигнул мне:

– Считай, мальчик, что у тебя сегодня удачный день. Стихи появятся в газете. Ведь наш Сакен – он же и редактор газеты «Энбекши казах».

Так тепло, так радостно стало у меня на душе. До этого только один мой рассказ «Сон» был напечатан в газете. Значит, стихи понравились Сакену. Значит, он их напечатает и уж, конечно, поможет устроиться на учебу.

Утро следующего дня принесло мне новые радости. В приемной у Сакена сидел заведующий рабфаком Шейнессон. Я сразу догадался, что он приглашен по моему делу. Моя догадка тут же подтвердилась: помощник пригласил к председателю нас двоих.

Сакен был в это утро рассеян и задумчив. Расхаживая по кабинету, скрестив руки на груди, он едва ответил на наше приветствие.

И вдруг круто повернулся к нам навстречу и в упор спросил Шейнессона:

– Ты знаешь этого жигита?

Шейнессон посмотрел на Сакена, потом перевел взгляд на меня:

– Знаю немного.

– И что ты можешь о нем сказать?

– Он приходил к нам поступать на рабфак. А фамилии я не помню.

– Ну, и вы приняли его?

– Нет, он непригоден для рабфака.

– Почему же это непригоден?

– Русского языка не знает.

– Попробуем тогда говорить короче. Вначале познакомимся с жигитом. Зовут его Сабит, фамилия его Муканов. Запомни и другое. Если ты к семнадцати годам уже окончил гимназию, то он в семнадцать лет узнал лишь арабскую азбуку. Ты слышишь меня?

Шейнессон растерянно кивнул головой.

– Так я продолжаю. Не пришла бы к нам Советская власть, он бы и эту азбуку забыл. Ты понимаешь?

– Понимаю, понимаю...

– Он батрак. Солдат гражданской войны. Поэт-коммунист. Поэт казахских тружеников. Понимаешь?

– Понимаю, Сакен Сейфуллаевич.

– Если понимаешь, так скажи, – кому же давать образование, как не таким жигитам! Он должен быть принят. – И уже другим тоном добавил: – Я уверяю, к концу учебного года у него с русским языком будет все в порядке.

И взглянул на меня черными потеплевшими глазами.

– Обещаешь?

– Обещаю! – взволнованно воскликнул я.

– Теперь уже, надеюсь, все понятно?

Взгляд Сейфуллина снова стал острым и строгим.

– Значит, выполнишь то, что я говорил?

Шейнессон опустил голову.

– Как же я могу не выполнить указание главы правительства?

– Дело тут не в указании, не в силе. Я прошу меня понять по-человечески. – В голосе Сакена появились мягкие душевные нотки. – Нам нужно готовить людей, преданных Советской власти. Нам нужно готовить тех, кто будет строить новую жизнь. И обязательно писателей. Их почти нет среди казахов. Ясно вам теперь, товарищ Шейнессон?

На этот раз заведующему рабфаком, кажется, все было ясно.

УРОКИ

Шейнессон привел меня в канцелярию рабфака и оформил все документы для моего поступления.

Тут же мне был выдан пропуск в общежитие, находившееся на восточной окраине города, в большом кирпичном здании бывшего епархиального училища. В это время большинство старых студентов рабфака еще не вернулись с каникул, и в комнатах общежития жили главным образом новички, поступающие вместе со мной.

Я присматривался к новым моим товарищам. И среди русских, и среди казахов часто встречались едва-едва умеющие читать и писать, но было и немало образованной молодежи, знающей куда больше, чем, например, я. Вот, скажем, мой земляк Саруар Ташатов окончил двухклассное училище, а кустанаец Хаким Иманбаев – реальное в Троицке. Многие получили среднее образование на татарском языке, преимущественно в мусульманских духовных школах: Умит Балкашев, Баязит Баширов, Таласпай Нурпеисов и другие.

Значительная часть поступающих – к ней принадлежал и я – были с начальным образованием. На первых порах я поселился вместе с Анатолием Шашковым. Он мне казался тогда уже немолодым. Он прошел всю гражданскую войну, сражался в рядах Первой Конной Буденного и был награжден орденом боевого Красного Знамени. На весь рабфак это был единственный орденосец. Окончил Анатолий только два класса и писал, пренебрегая всеми прави-

лами грамматики: «пиридать» вместе «передать», «в консе консоф» вместо «в конце концов» и «борш» вместо «борщ». Но русский язык был не единственным пробелом в его знаниях. Герой-кавалерист, бесстрашный рубака и меткий стрелок, он с трудом решал задачи на четыре действия арифметики в пределах сотни и не слишком твердо помнил таблицу умножения.

– Ты же провалишься, Анатолий, ты не сдашь экзамен, – говорили ему.

– Страшашаешь, браток, а мы не из пужливых, – спокойно отвечал он. – Я куда поступаю? На рабочий факультет. А кто я? Потомственный пролетарий. Как же они меня не примут? Права у них такого нет.

– Ну, а все-таки если провалишься?

– Примут, как пить дать!

– Ну, а вдруг не примут?

– Заставят, найду на них управу.

И когда в этом шутилом товарищеском разговоре кто-нибудь из нас и дальше расспрашивал Шашкова, как же он заставит руководителей рабфака изменить свое решение, наш кавалерист называл имя Семена Михайловича Буденного.

– Семен Михайлович мой первый друг! – с гордостью заявлял он. – Сам письма мне пишет. Пожалуюсь ему, что меня не принимают, – он не то что рабфак, весь Оренбург перевернет.

Были среди поступающих и совершенно неграмотные. Услышав, что сюда принимают рабочих, батраков и бедняков, из шахтерских и заводских поселков, из далеких сел приехали парни, не знавшие как следует даже алфавита. Так, знакомый мой Амиржан Наурызбаев не умел писать ни по-арабски, ни по-русски.

Чтобы дать представление о пестроте и своеобразии съехавшихся на учебу, расскажу о Баязите Баширове. Ученик духовного медресе, он знал толк в Коране, но ничего не понимал в мирских науках и слабовато разговаривал по-русски. Из Петропавловска до Оренбурга мы ехали вместе, в одной теплушке. Как это ни странно, Баязит оказался очень религиозным человеком. Он не отступал от мусульманских правил и пять раз в день молился богу. Мы подшучивали над ним,

мешали ему класть земные поклоны, даже стаскивали его с нар за ноги, но он как ни в чем не бывало снова принимался за свое.

Он продолжал молиться и на рабфаке. Когда в общежитии его окончательно подымали на смех, он забирался в конюшню и совершал моление там. Как он умудрился поступить на рабфак, не помню. Но год он учился с нами, потом перевелся в медицинский техникум и стал заядлым атеистом. Впоследствии он окончил медицинский институт, был известен как замечательный хирург и погиб в годы Великой Отечественной войны.

Вскоре мы приступили к занятиям и ближе познакомились со своими учителями. Учебный корпус рабфака помещался в здании бывшей мужской гимназии. Почти все ее преподаватели теперь перешли к нам. Это были в своем большинстве пожилые и даже старые люди. Требовательность и строгость гимназических педагогов они перенесли и к нам. Старичок Лошкарёв, преподававший химию, никого не пускал в класс после звонка. Стоило опоздать на минуту, как он оставлял рабфаковца в коридоре и целую неделю потом укорял его. Он терпеть не мог систематически опаздывающих и проваливал их в дни контрольных ответов. Но даже самые недисциплинированные приноравливались к его строптивому характеру, стремились быть аккуратными, сидели тихо, зубрили уроки.

Строгостью отличались и физик Васильев, и историк Григорьев.

Васильев любил вызывать к доске и приводить студентов в смущение нетерпеливым понуканием. Отстающих он откровенно презирал. Говорил он обыкновенно скороговоркой и не очень внятно, за что и был награжден прозвищем Трещотка.

Не давал снисхождения и историк Григорьев, прозванный Старым Котом за густые усы и прищуренные глаза. Он свои лекции отбарабанивал с закрытыми глазами, невероятно громко. Слова вылетали у него изо рта, как из гулкой бочки.

Я вспоминаю Козицына, с его привычкой смеяться без видимых причин. Козел, как его мы звали, осо-

бенно следил за тем, чтобы мы старательно выписывали формулы и в тетрадах, и на доске.

Добрее других был биолог Купцов, не так давно окончивший Петровско-Разумовскую академию. Купцов был известен у нас как Бота – Верблюжонок, что, впрочем, мало соответствовало его облику: худощавый, высокий, белобрысый, подстриженный ежиком, он разве что тонким, стонущим голосом мог вызвать представление о верблюжонке.

Совсем мало спрашивал с нас Карл Карлович Безин, преподаватель языка и литературы из обрусевших немцев, которому я обязан был своим поступлением на рабфак. Часы, отведенные на эти предметы, он заполнял чтением художественных произведений. Читал он обычно сам, а потом приступал к разбору прочитанного. Такой метод называл он Дальтонпланом, модным в те годы и впоследствии осужденным.

Безин не без основания считал себя хорошим чтецом, он знал на память много произведений Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Из современных поэтов любил читать «Двенадцать» Блока и стихи Маяковского, особенно «Левый марш», охотно знакомил нас с Горьким и популярным в то время писателем Неверовым. Нравилось ему, когда, высказывая свое мнение, спорили о прочитанном.

Полюбившиеся ему стихи Карл Карлович постоянно декламировал нам.

Часто мы слышали от него стихи Кириллова о Карле Марксе, под названием «Пророк».

Пр-ро-р-рок грядущих р-радных веков,
Кр-рылатой мысли пламенный титан...

Начав так это стихотворение, он его читал громко, с вдохновением. Вот за это и за мягкий его характер мы и прозвали Безина Пророком.

Именно его уроки научили меня понимать русскую литературу и прирастили к чтению по определенному плану. Ту зиму я посвящал учебе все свое время, особенно много просиживал над художественной литературой.

Жили студенты-рабфаковцы небогато, но питание здесь было лучше, чем в Петропавловской совпартшколе. Правда, и тут варили суп с требухой и капустой, зато нравившейся нам гречневой каши и хлеба было вволю.

Южноуральский климат мало чем отличается от ишимского. Долгие месяцы тянулись здесь жестокие морозы. Наше общежитие не топилось. Спали мы на соломенных матрацах и подушках, набитых пушистыми верхушками куги, а укрывались одеялами из черного сукна. Теплой одежды у большинства не было, кроме шинелей, выданных рабфаком. Но мы умели довольствоваться тем, что у нас было, и не унывали.

Я быстро перезнакомился почти со всеми рабфаковцами. Должно быть, этому помогло то, что на собрании партийной ячейки рабфака в самом начале учебного года я был избран членом бюро. Секретарем у нас был Муташ Даулеткалиев.

На рабфаке училось около пятисот человек, треть из них – казахи. Девушек было много, больше ста, но из них только три казашки.

Почти все мы были коммунистами, пришли на учебу, обладая большим жизненным опытом, приобретенным на фронтах гражданской войны, на советской и партийной работе.

Недаром наша партиячейка считалась одной из самых многочисленных и сильных в Оренбурге. Дисциплина у нас была строгая. Никому не позволяли отлынивать ни от учебы, ни от партийных обязанностей.

И вот еще о чем мне хотелось рассказать.

В стране шла жестокая классовая борьба, ее отголоски проникали и к нам. Дирекция и партиячейка зорко следили за тем, чтобы к нам не проникали «чужаки», дети эксплуататорского класса. Но в интересах правды следует сказать и другое. Ячейка наша в те годы сочетала строгость и четкость классовой линии с гуманным отношением к людям.

Приведу один пример. Одновременно со мной на рабфак поступил, помню как сейчас, Султан Кадыров. Скоро стало известно, что его отец – известный в Кустанайском уезде бай и волостной правитель Саим

Кадыров. Он властвовал долго и отличался жестокостью характера.

Оренбургский генерал-губернатор Эверсман в благодарность за верную службу «царю и отечеству» послал его в Петербург на празднование 300-летия дома Романовых представителем от казахов Тургайской области. В эти дни в журнале «Айкап» был напечатан портрет Саима в ханских пышных одеяниях. Вероятно, именно в таком виде он возвратился с празднеств в Тургай. Саим стал еще более важным и жестоким. Он дошел до того, что насильно отнимал от семей молодых женщин и раздаривал их тем, кому они приглянулись.

Но недолго своевольничал лютый хан. Вспыхнуло восстание 1916 года. Повстанцы убили Саима и разграбили его скот и имущество. Генерал-губернатор разгневался. Он отомстил за гибель своего любимца и выслал карательный отряд, устроивший кровавое побоище.

Немало пришлось поразмышлять, когда в ячейку за несколькими подписями поступило письмо о том, что сын жестокого хана Саима учится у нас на рабфаке. Факт подтвердился, но Султана Кадырова все-таки не исключили из рабфака. Мы установили, что после гибели отца и раздела между повстанцами его табунов и отар, уже после 1917 года, его кто-то устроил в интернат в городе Троицке. Он получил советское воспитание вместе с детьми бедняков. Теперь ему было семнадцать лет. Вот ячейка и постановила: «Сын не в ответе за отца. Он рос в интернате, поэтому нет оснований исключать его из рабфака».

После нелегкой учебы и многочисленных общественных нагрузок времени на стихи не оставалось. А жили рабфаковцы бедновато.

Конечно, хорошо было тем, кто получал помощь от родственников.

Но у меня не было таких близких людей, которые могли бы позаботиться обо мне.

Я бы еще мог рассчитывать на Асылбекова, он хорошо ко мне относился. Но обращаться к нему было неудобно. Да и стыдно: у него жил мой младший двоюродный брат – пятнадцатилетний Шакен Мустафин. Еще в прошлом году он был батраком, а

теперь поступил в образцовую школу, но в государственном пособии ему было отказано. Тогда Абдолла Асылбеков взял его к себе.

И однажды наступил такой тяжелый день, когда я решил обратиться за помощью к Сакену. Я уже не раз встречался с ним после первой нашей встречи, познакомился со многими его произведениями, читал ему свои стихи. Он стал, что называется, моим литературным наставником. Выслушав меня, он сказал:

– Привыкай к литературному труду, юноша. Ты ведь печатался уже. Вот и приноси снова стихи в газету «Энбекши казах» и журнал «Кзыл Казахстан». Я тебе помогу опубликовать. И получай гонорар: вот тебе и поддержка.

С той поры мои стихи публиковались все чаще и чаще. И жить мне стало легче.

Как мы проводили свой досуг?

Танцы в те годы были под запретом. Коммунистам и комсомольцам, уличенным в пристрастии к этим «мелкобуржуазным предрассудкам», грозили самые тяжкие наказания. Тогда самый обычный галстук считался признаком мещанства.

Но молодежь тянулась к танцам. Особую страсть к ним из знакомых мне рабфаковцев имел Амиржан Наурызбаев, учившийся в первом приготовительном классе. Занимался он плохо, но любил пофрантить и начищал ваксой свои сапоги до зеркального блеска. У него одного из всех учащихся были огромные ручные часы.

Рядом с рабфаком находился Казахский педагогический институт. Там учился известный акын-импровизатор Иса Байзаков. Он владел большими, приметными часами.

Бывало, выходя на перемену, Иса и Амиржин хвастались друг перед другом на потеху всем товарищам:

– Эй, который у тебя час?

– А у тебя?

– Давай-ка посмотрим.

И оба демонстрировали свои ручные часы, похожие на будильники.

На танцевальных вечерах, организованных тайно от преподавателей, Амиржан был завсегдатаем. Из своей двадцатидвухрублевой стипендии он пять

рублей платил учителю танцев, а сам жил впроголодь. Межчу прочим, этим учителем был Нургали Нурсеитов, небольшого роста, курчавый молодой человек, знаток всех известных тогда танцев.

Меня танцы не привлекали. Часами сидел за учебниками и готовил уроки, отрываясь только для пения. Это мое увлечение подогревалось, можно сказать, исключительными обстоятельствами. Дело в том, что в те годы в Оренбурге жил известный собиратель казахских песен и превосходный музыкант Александр Викторович Затаевич. Теперь широко известны его неоценимые заслуги в изучении казахской музыки. Он опубликовал два сборника песен и кюев казахского народа, представляющих настоящее музыкальное сокровище. Затаевич тогда был частым гостем в нашем общежитии. Он усаживался на жесткую студенческую койку и просил нас петь.

– Казахский народ – один из самых талантливых, музыкальных народов, – убедительно говорил он своим задушевным и мягким голосом. – Ваши песни создавались веками. Это ведь клад национальной культуры! И ваша святая обязанность – помочь мне его собрать. Вы же преступление сделаете, если откажете мне.

Нельзя было после таких слов ему отказать. В комнате появлялась домбра, мы усаживались в кружок и один за другим исполняли знакомые с детства родные мелодии, а он их терпеливо записывал.

Немало песен, любимых мною, записал тогда Затаевич.

Вот так и проходили мои рабфаковские дни. Первый семестр учебного года принес мне больше радостей, чем огорчений. По географии, математике и экономполитике я получил «хор», а по физике, ботанике и русскому вытянул на «удовлетворительно». Но я отчетливо понимал и сам – многого мне недостает. Особенно тяжело было по русскому языку. Запас слов у меня был до обидного мал. Это и приводило порою к конфузным случаям. Об одном из них я и расскажу.

Стихи мои печатались в газетах и журналах, я получал гонорар и уже не испытывал нужды. Но мне хотелось лучше усвоить русский язык, и я занялся

переводами в газете «Энбекши казах». Чаще всего это были постановления, доклады и другие официальные документы.

В одном из таких документов я как-то натолкнулся на слово «труженик». Слово это было для меня новым и непонятным. Мои товарищи тоже толком не знали его значения. Не помню уже кто, считавший себя знатоком русского языка, глубокомысленно мне разъяснил:

– Я, Сабит, тоже встречаюсь с этим словом впервые. Тут надо искать корень. А корень, вероятно, это «трус».

Мне надо было перевести примерно такую фразу: «Труженики сельскохозяйственных полей, проявив подлинный героизм, в этом году раньше срока завершили посевную кампанию...»

В моем переводе эта фраза выглядела так: «Трусы сельскохозяйственных полей, проявив подлинный героизм, в этом году раньше срока завершили посевную кампанию...»

В редакции не заметили ошибку, и она прошла.

На другой день меня вызвал Сакен.

– Объясни, что это такое?

Я прочитал и все понял. Мне хотелось сквозь землю провалиться. Я дал обещание Сакену не заниматься переводами с русского до тех пор, пока не буду его знать как следует.

Наступил январь 1923 года – время зимних каникул. Рабфаковцы, чьи семьи жили неподалеку от Оренбурга, разъехались отдыхать по домам. В городе остались немногие. В том числе и такие, как я, которым нужно было наверстывать упущенное, заниматься русским языком или каким-либо другим предметом.

Вскоре после начала второго семестра была созвана Третья конференция Коммунистической партии Казахстана. В списке делегатов от Акмолинской губернии значилась и моя фамилия. Представителем от ЦК РКП (б) был Емельян Ярославский.

За пять дней работы конференция рассмотрела много важных проблем и приняла решения, оказавшие большое влияние на жизнь республики. О них известно по историческим документам. Вся наша страна, в частности и Казахстан, к тому времени преодолели разруху и окрепли. Прошлым летом повсюду был

собран хороший урожай зерна, и народ стал поправляться после голода.

Продразверстка, как известно, была заменена продналогом, и крестьянам это принесло большое облегчение. Спокойнее стала сама жизнь. Мирная жизнь после стольких лет гражданской войны и интервенции.

Но делегатам конференции привелось не только радоваться нашим успехам, но и быть свидетелями и участниками одного острого спора.

Этот спор разгорелся, вокруг той проблемы, которая в повестке дня конференции называлась созданием новой общественной социальной базы в ауле. Речь шла о том, чтобы наряду с улучшением материального благосостояния трудящихся и развитием чувств коллективизма усилить наступление на класс эксплуататоров – баев и беков. В докладе председателя Казсовпрофа Вайнштейна звучал боевой призыв оставаться непримиримыми к угнетателям. Большинство делегатов поддержало докладчика. Однако нашлись у него и противники. Главным противником был Смагул Садвокасов. О нем стоит рассказать несколько подробнее.

Я его впервые увидел осенью 1918 года в Омске. Еще до революции Смагул окончил Омское реальное училище, а потом учился в политехническом институте. У нас, на курсах учителей, он преподавал естествознание.

Светлоглазый, с широкоскулым, чуть рябоватым лицом, он производил впечатление мягкого, обходительного человека. Во всяком случае, он всегда был вежливым и, по крайней мере, стремился казаться добрым. Помнится, он даже считал себя толстовцем. Другие преподаватели держали себя с курсантами строго, требовали почтительности. А он вел себя запанибрата, охотно вступал в беседы и споры, любил давать советы учащимся. Когда союз алашордынской молодежи «Жас азамат» («Молодой гражданин») проводил свой съезд, его деятельным участником был и Садвокасов. Но, надо сказать, он умел держаться скромно, не выпячивал своей персоны. А если и выходил на трибуну, то выступления его были краткими, сдержанными, без модных в те времена ораторских приемов.

Я уже рассказывал в этой книге, что видел Смагула Садвокасова и позднее – в начале 1922 года на Акмолинской губернской партконференции и потом на Второй казахстанской партконференции в Оренбурге. И там, и тут он проявил себя националистом.

На Третьей казахстанской партконференции Садвокасов и его единомышленники выступили открыто. Они откровенно заявляли, что в казахских аулах никогда не было угнетателей и угнетенных, а значит, не могло быть и никакой классовой борьбы. Всякие другие утверждения на этот счет, настаивали они, глубоко ошибочны. Свою, на сей раз прострannую, речь Садвокасов так и закончил:

– Прочтите наоборот слово «база». Получится «азаб». («Азап» по-казахски – беда, мука, мученье.) Буква «п» звучит в разговоре почти как «б». Классовая борьба, кроме беды и мук, ничего не принесет казахскому аулу.

Группа Садвокасова и на Третьей конференции потерпела крупное поражение. Членов этой группы с этой поры презрительно стали называть садвокасовцами. Подавляющее большинство делегатов конференции показали себя мужественными и стойкими коммунистами.

...В тот учебный год партийная конференция явилась для меня самым серьезным жизненным уроком.

«ОРНЕК»

Я не был, как теперь говорят, отличником, не был и отстающим, когда закончил первый курс рабфака: я находился где-то в «золотой середине». Отметки «неудовлетворительно» я не имел, а «удовлетворительно» получил по русскому языку. Но я сам был виноват в этом.

На примере своего товарища Хасена Нурмухамметова я убедился в том, что взрослый человек при настойчивом желании может быстро овладеть русской грамматикой и синтаксисом. Когда я перешел на второй курс, Хасен уже закончил рабфак. Он родился в 1899 году в далеком атбасарском ауле, в семье бедняка, немного учился азбуке у муллы и долго, до самой

революции, пас байские отары. В 1917 году Хасен встретился с известным большевиком Адильбеком Майкотовым и принял участие в революционных событиях. С Адильбеком зверски расправились колчаковцы, а Хасен скрывался в аулах. Когда осенью 1919 года в Атбасаре установилась Советская власть, Хасен стал коммунистом и работал в ревкоме. А еще спустя год ревком послал его на шестимесячные партийные курсы в Омск.

– Я ведь до поступления на курсы, – рассказывал мне Хасен, – знал всего лишь несколько русских слов. Абилях-хаир Досов уговорил меня не бояться трудностей и поехать на курсы. Всю зиму я сутрадо ночи изучал русский язык и, представь, стал сносно и говорить и писать.

Хасен не преувеличивал. Он поступил на рабфак в Оренбурге сразу на второй курс. Я близко познакомился с ним на казахстанской партконференции. Мне понравились его честность и прямота. Свои речи он произносил на русском языке. По-русски он говорил и на рабфаковских собраниях. Мы все удивлялись чистому его произношению. Помню, мой сокурсник из Атбасара Шорман Ибраев говорил:

– Ведь до отъезда в Омск я учил Хасена русскому языку, а теперь мне самому приходится у него учиться. Каким он способным был, наш Хасен! Он хорошо занимался на рабфаке и был обременен множеством общественных дел. Он участвовал в работе газеты «Энбекши казах» в качестве члена редакционной коллегии, писал стихи, и публиковал под псевдонимом Сын бедняка, был членом правительства Казахстана, работал во многих комиссиях. Два казаха первыми закончили Оренбургский рабфак: Мухаммеджан Фаризов, ныне доктор медицинских наук, и Хасен. Позднее Хасен учился на агрономическом факультете Тимирязевской академии в Москве и там же закончил аспирантуру. Он занимал многие ответственные посты в Алма-Ате.

...Но вернусь к повествованию о себе. Я уже говорил, что первый курс рабфака дался мне нелегко. Более или менее успешно закончив учебу, я решил во время каникул навестить родные края, чтобы отдохнуть и набраться

сил. К тому времени из аула приходили хорошие вести – дела поправлялись, жить становилось легче.

Моими попутчиками в поезде оказались – мой сокурсник Абушахман Жанболов, которого мы называли просто Шахманом, и Оспан Шарбаев с первого курса окружной совпартшколы. Шахман вместе с тремя своими братьями до революции батрачил у русских кулаков. Арабской грамоте он научился в мектебе, а по-русски говорил, как на родном языке. Шахман был старше меня года на два и уже побывал и на советской, и на партийной работе. Он получил закалку, приобрел твердость духа, но изрядно подорвал свое здоровье. Вот по этой причине учеба ему давалась с большим трудом. Другой мой попутчик Оспан Шарбаев жив и поныне. Он уже на пенсии. Помнит ли он наш путь? Помнит ли, как рассказывал мне о годах своего батрачества у отпрысков знатного купеческого толстосума Усербая в Петропавловске?

Шахман и Оспан были типичными представителями казахской молодежи, учившейся в те годы в Оренбурге. Как и многие мои сверстники, они деятельно участвовали в общественной и партийной жизни и очень чутко отзывались на все новое, что давало ростки на казахстанской земле.

Неудивительно, что именно Шахман и Оспан на пути из Оренбурга в Петропавловск сообщили мне одну радостную новость.

В Петропавловском уезде, Кыласкерской волости, организована казахская коммуна «Орнек». Вошли в нее и родственники моих спутников. Теперь Шахман и Оспан ехали в «Орнек» не только отдохнуть, но и помочь коммунарам. Коммуна «Орнек» стояла на берегу Ишима на пути в мой аул. Все места вокруг были мне хорошо знакомы. До революции там были разбросаны хутора и заимки русских помещиков. Почти все эти крупные хозяева после падения Колчака разбежались. Богатые помещичьи земли – и степные черноземы, и пойменные приишимские луга, и леса, и озера – теперь принадлежали коммуне так же, как и те сельскохозяйственные машины, которые их владельцы не успели распродать перед своим бегством.

Еще в Челябинске я дал в Петропавловск телеграмму председателю Акмолинского губисполкома Сабиру Шарипову. Один из старейших наших коммунистов, позднее известный казахский писатель, Сабир относился ко мне как к младшему брату.

Он сам встретил нас на вокзале в Петропавловске, в Кызыл-Жаре, как мы продолжали называть его по-казахски.

Сабир-ага приехал на американском фордике. «Эгэ! – подумал я. – Богатеем! Ведь прежде в Кызыл-Жаре и в помине не было автомобилей».

– Все поедет ко мне, – пригласил нас Сабир.

А когда Шахман и Оспан стали вежливо отказываться, ссылаясь на занятость и всякие другие причины, Сабир-ага пошутил:

– Кто овцу по частям стрижет, может и вовсе без шерсти остаться. Поняли, к чему я клоню?

И уже вполне серьезно:

– Усаживайтесь, поехали!

Фордик примчал нас к высокому рубленому дому, построенному когда-то не без затей татарским купцом Тайматовым.

Наш гостеприимный хозяин отвел для нас отдельную комнату.

Но о нем, Сабире Шарипове, надо сказать несколько слов. Это человек необычной судьбы, редкостной биографии.

Он родился в Елабужском уезде Вятской губернии, в бедной татарской семье. Рано осиротел и еще мальчуганом начал бродить по белу свету. Где он только не побывал, пока не осел в самом дальнем углу Атбасарского уезда у подножий Улутау! Его взял под свое покровительство ссыльный социал-демократ Демецкий и постепенно стал втягивать живого и сообразительного молодого человека в революционные дела. В дни Октябрьской революции – ему было тогда уже лет тридцать пять – он оказался в Кокчетаве. Сабир был там одним из организаторов первого совдепа. Когда белобанднты подняли восстание, Сабир через пустыню Бетпак-Дала добрался до Туркестана и продолжал там борьбу за Советскую власть. Одна из его

больших заслуг в годы гражданской войны – это налаживание дружеских связей между туркестанскими и казахстанскими коммунистами. Потом он вернулся в Сибирь и вскоре стал председателем Акмолинского губисполкома.

Татарин по национальности, Сабир хорошо знал казахский язык. Впоследствии в своих художественных и публицистических произведениях он обнаружил глубокое знание жизни казахского народа. Хотя Шарипову не пришлось получить систематического образования, он был очень начитанным человеком и хорошо говорил по-русски. Я уж не говорю о его прекрасных душевных качествах.

Сувлечением рассказывал он нам о коммуне «Орнек».

– Вы помните Третью партконференцию? Помните спор о базе? Тогда Садвокасов выступал против. Но жизнь движется, классовая борьба идет. И вот мы решили сделать первый шаг для построения социалистического общества – создать коммуну «Орнек». Пока в нашей коммуне около семидесяти семей. Родовые связи ни в какой расчет здесь не принимались. Но зато баев и кулаков в коммуне не встретишь. Всех членов коммуны решили обеспечить жильем, к осени переселить хотя бы в саманные дома, а года через два-три и в деревянные. В коммуне будет дворов пятьсот. Уже на будущий год построим больницу, клуб, школу, общежитие для ребят. Деньгами государство поможет. О коммуне заботятся в губкоме партии и у вас в исполкоме. Чтобы дела там шли лучше, послали в «Орнек» Хусайна Макина, одного из самых образованных и боевых губернских партработников. Хочется, чтобы коммуна была образцовой для всей акмолинской степи.

Мы внимательно слушали Сабира, еще не представляя себе, какую действительно важную роль сыграет коммуна «Орнек», преобразованная потом в колхоз, в социалистическом строительстве Казахстана.

Сабир-ага вскоре отвез нас в коммуну на своем быстром фордике. Посевная кампания уже кончилась. На трехстах гектарах – по тому времени это была большая площадь – дружно подымались всходы, предвещающая хороший урожай. И на лугах трава стояла по пояс: широко разливался нынешней весной Ишим.

Хусаин Макин уже полностью вошел в курс своих дел и, с восторгом оглядывая пышное луговое разнотравье, говорил нам:

– Сена нынче будет сотни скирд, жигиты!

С уважением смотрели мы тогда на Хусаина, соратника знаменитого Адильбека Майкотова. С уважением вспоминаю я его и теперь, когда он ушел на отдых.

...Из коммуны «Орнек» я поехал к себе, на озеро Дос. Шахман и Оспан остались помогать Хусаину.

ИЗ АУЛОВ – ЗА ПАРТЫ!

Снова на моем пути знакомые села и аулы. В одних – мои друзья, в других – просто соседи, в третьих – родичи. И со всеми мне хочется встретиться, поговорить. Особенно с Габитом Мусреповым.

Он жил и работал тогда в селе Жекекуль, как называли мы по-казахски русское село Благовещенку.

Мы происходили с ним из одного рода сыйбанов, только он из долинных, а я из степных. Расстояние между нашими аулами всего тридцать-сорок верст. Как рассказывали старики, Жолгутты, праотец Габита в пятом колене, по происхождению был туркменом. Еще юношей он какими-то путями попал к сыйбанам и стал приемным сыном некоего Беспая. От Жолгутты происходит Еламан, от Еламана – Мусреп, от Мусрепа – Кажимбай, от Кажимбая – Махмет, от Махмета – Габит.

Мусреп в те отдаленные времена считался отцом рода, уважаемым и почтенным человеком. У него было два сына – Кажимбай и Ботбай. Ботбай был довольно зажиточным, мои родители батрачили у него, и я родился в его доме. Об этом я подробно рассказал в первой книге «Школы жизни».

Кажимбай еще в молодости отделился от Ботбая и был всю свою жизнь бедняком. У него четыре сына – Махмет, Мекан, Акан и Самырат. Все они, кроме Махмета, до Советской власти батрачили у баев. Махмет оказался предприимчивее своих братьев. Ботбай, став аткаминером, брал его с собой в поездки по аулам, приучал к степной дипломатии, к умению управлять. Чтобы

укрепить родовые связи и поднять свое положение, Махмет женился на Дине из рода аргын, чьи аулы находились верст за двести от наших мест.

Дина родила Махмету пять сыновей – Хамита, Сабита, Габита, Баязита и Ашима. У моего же отца было много дочерей, а я был первым и единственным сыном. Вот поэтому, по обычаям старого аула, меня нарекли именем одного из пяти сыновей Махмета – Сабитом, памятуя, что племя Мусрепа широко разветвляет корни.

Махмет при всей своей ловкости остался бедным человеком, но своих сыновей по мере возможности в батраки не отдал и стремился сделать их образованными людьми. Его старший сын Хамит, родившийся в 1896 году, сперва учился у муллы своего аула, а потом у Камала Жайсакова, окончившего Уфимское мусульманское высшее духовно-мирское училище, медресе «И-Галия». Хамит с 1917 года учительствовал в своем ауле. Приходилось ему учить грамоте и меня. В 1951 году он был награжден орденом Ленина и продолжает свою работу в школе и теперь. Сабит занимался хозяйством в колхозе и умер незадолго до начала Великой Отечественной войны.

Правильное имя Габита Мусрепова – Габдулгабит, раб праведных. Но приставка «Габдул» была им давно отброшена. Судя по документам, он родился в 1902 году, однако его престарелая мать Дина утверждала, что Габит появился на свет осенью в год Коровы, значит в 1901 году.

Детство Габита было нелегким. Ему даже приходилось пасти скот в соседних русских поселках. Но и Габита послали учиться в аул Сергали Сагирбаева, родственника по материнской линии. Там, в ауле Сергали, на территории нынешнего Урицкого района Кустанайской области, была открыта двухклассная школа, в которой преподавал известный в наших краях поэт Бекет Утетлеуов. Габит поступил туда в 1916 году и проучился только один год, но за одну зиму при своих хороших способностях он сделал большие успехи по изучению русского языка. На следующий год он поступил в Пресногорьковское высшеначальное училище. Я знал Габита с детства, но близко сошелся с

ним летом 1918 года, когда занимался у его брата Хамита. О том, как Габит экзаменовал меня по русскому языку, как я раздобыл у него образец удостоверения на продажу коня и как опозорился с этим удостоверением, читатели, может быть, помнят по первой книге моей повести.

Тогда Габит служил писарем у нашего аульного старшины Машика. Его очень хвалили. «Способный он, человека с полуслова понимает, а по-русски говорит и пишет как никто из казахов». И это было верно: в роде сыйбан, состоящем из двухсот юрт, Габит лучше всех знал русскую грамоту. Я завидовал ему и в особенности его красивому почерку.

Спустя два года я снова побывал в своих краях. Габит учился уже в пятом классе. Той зимой он участвовал в работе по продразверстке. В феврале 1921 года, во время кулацко-байского восстания, он примкнул к отряду коммунаров Дмитрия Ковалева и оставался в нем, пока с бандитами не было покончено. Позднее Габит был военкомом Таузарской волости. В это время он и женился на Каншаим.

Летом 1922 года было решено организовать в губернии несколько районных штабов милиции для обслуживания казахских волостей. Штабы эти укомплектовывались преимущественно работниками казахской национальности. Один из таких штабов и создан был в селе Благовещенке, неподалеку от Пресновки.

Начальники и заместители районных штабов утверждались губернским центром, а милиционеры, понятно, набирались на месте. Я работал тогда инструктором губкома и участвовал в комиссии, ведавшей подбором руководителей этих штабов. Председателем комиссии был начальник губернской милиции. Его поведение внушало некоторое подозрение, которое потом подтвердилось. В предложенном им списке начальником штаба жекекульской милиции был выдвинут сын известного бая Аблая Рамазанова – Султан. Я хорошо знал и сына, и отца. Султан еще до революции окончил реальное училище и с тех пор жил дома. На словах он как будто сочувствовал Советской власти, но еще нигде не служил. Я сомневался не столько в Султানে, сколько

в его отце, бесспорном враге Советской власти, участнике восстания 1921 года. Обстановка в аулах была сложной, и сын бая Аблая не годился на пост начальника штаба раймилиции.

Мои соображения, однако, не были приняты во внимание. Мне удалось только одно – провести заместителем начальника штаба верного Советской власти человека Габита Мусрепова.

Когда я вернулся в Петропавловск из Оренбурга, до меня дошли известия, что жекекульский штаб раймилиции сливается с пресновским райштабом. Я подумал, что надо бы мне повидаться с Габитом и увезти его, если он захочет, в Оренбург, учиться на нашем рабфаке.

С этими мыслями, возвращаясь в родной аул, я и заехал в жекекульский райштаб.

– Я и сам хочу уехать отсюда, работа в штабе не по мне, – ответил на мое предложение Габит. – И учиться надо обязательно. Только трудно мне будет убедить родителей. Попробуй поговори с отцом. Может, он согласится...

Мы договорились так: я немного отдохну в родном ауле, а за это время Габит уволится из штаба и приедет к себе. У него в ауле мы и встретимся, чтобы вместе потолковать с отцом.

Наш аул, как всегда, стоял на берегу Доса. Мои земляки действительно чувствовали себя куда лучше, поправили свои дела.

А школы все еще не было. Дети зажиточных ездили учиться в соседние аулы, а дети бедняков продолжали оставаться неграмотными. Я решил кое-кого повезти с собой и устроить на учебу в Петропавловске и Оренбурге. Удалось мне уговорить бедную многодетную вдову Дандибалу отпустить со мною ее сына Казымбета. Собрался ехать и его ровесник, подросток Умитпай, сирота, работавший батраком у дяди Нуртазы. Дядя Нуртаза отчаянно сопротивлялся, но мать Умитбая была согласна. Решил учиться и Габдолла, сын середняка Курмангожи.

Должна была поехать с нами и Заира, дочь известного читателю дяди Шаина, уже взрослевшая девушка, очень способная, горячо желавшая учиться.

Юноши, остававшиеся в ауле, завидовали отъезжающим. Особенно те, кого не пускали родители или родственники. Я успокаивал их как мог: мол, погодите, устрою одних, а на будущий год и вы поедете со мной.

В утро наших проводов весь аул поднялся на ноги. В юрту покойного Мустафы, где я жил, пришли со своими котомками Казымбет, Умит и Габдолла. За ними – их сверстники с заплаканными лицами. Уж очень хотелось всем уехать!

– Не огорчайтесь, ребята, – утешал я их напоследок, – и в нашем ауле откроется осенью школа, поучитесь в ней, а потом я вам помогу уехать в город.

Но юноши не становились веселее и после моих утешений.

Уже надо было трогаться в путь. Запоздывала Заира. Еще недавно прибегала ее мать сообщить, что собирают дочку в дорогу. Но вот мать прибежала снова вся в слезах.

– Пришел к нам сейчас дядя-сапожник, выругал нас, сказал, что ученье не девичье дело, увел к себе Заиру силой и не пускает. Не можем мы ее вызволить, уговорил сам упрямого старика.

Я знал этого своенравного аксакала Хусаина Сурганова, дядю Шаина по отцу, и отправился к нему, не очень-то веря в успех. Угрюмый старик, правда, открыл мне дверь, но встретил недружелюбно. Но подымая глаз от колодки и продолжая орудовать сапожной иглой, он сказал густым басом:

– Не обижайся, дорогой мой, я старший и считаю Заиру своей дочерью. Никуда я ее не пущу. Не трать попусту время. А будешь настаивать, просить – поругаемся!

Заира лежала на деревянной кровати, закрыв лицо руками. Она горько всхлипывала, но боялась старика и не смела ему перечить.

И только когда я вышел из юрты Хусаина с опущенной головой, оттуда донеслись громкие рыдания. Увы, я был не в силах увезти Заиру.

С тремя юными спутниками я покидал аул. Грустно глядели нам вслед парни, остававшиеся дома. К слову сказать, я не обманул их, осенью того же года открылась школа и в нашем ауле.

...Аулы всех долинных сыйбанов стояли на берегах озер Кудайкул и Карагайлы. Туда мы и держали путь.

Только я завел разговор с Махметом о поездке Габита на учебу, как он решительно воспротивился.

– Он не поедет! – был короткий и жесткий ответ.

Уговоров Хамита он слушать не захотел.

– Что ты суешь нос не в свое дело?

Досталось и мне:

– Если тебе не сидится на месте, делай, что хочешь, учись, но сына моего не смей подстрекать!

Габит во время этого разговора и голоса не подал. Признаться, я обиделся и на него, и на его отца. Родители нескольких подростков из соседних аулов, уже согласившиеся отправить со мной своих детей, глядя на сурового Махмета, изменили прежнее решение. И только хромой Абулхаир, сын покойного батрака Оразалы Мынжасарова, нищенствующий сирота, присоединился к нам. По дороге мы заночевали в ауле, утром туда прискакал обрадованный Хамит:

– Понимаешь, согласился отец, разрешил. Габит сам его убедил после твоего отъезда. Напрямик сказал отцу: «Не пошлешь – дома все равно не останусь». Старик сначала упрямылся, а потом смирился. Поедем обратно в аул!

Так нам пришлось вернуться. Посоветовались мы там с Габитом и взяли с собой в Оренбург группу юношей.

В ночь перед отъездом мы гостили то у одних, то у других многочисленных родичей Габита, рассчитывая отправиться в путь на рассвете.

Были уже готовы подводы, собрались и отъезжающие, но тут нагрянули родители, сестры и даже жены некоторых учеников. Прощание началось сызнова. Плакали, обнимались, причитали. Словом, подняли такой шум в ауле, будто провожали, не на учебу, а на казнь. И конечно, выехать на рассвете не удалось, солнце взошло, поднялось над горизонтом, а прощание все продолжалось.

Я чуть не забыл упомянуть, что к нам примкнул в Жаман-Шубаре мой однокашник Амиржан, заехавший за мной из своего аула. Этот изобретательный весельчак раздобыл где-то граммофон и заводил его всю дорогу. Сообразив, что долинные сыйбаны могут

прощаться со своими родичами до вечера, он поставил граммофон на бричку и завел его. Внимание всех было отвлечено, и Амиржан крикнул:

– Садитесь в тарантасы! Трогай!

Отъезжающие бросились к тарантасам и стали усаживаться.

– Трогай!– еще раз крикнул Амиржан и погнал лошадей, запряженных в бричку с граммофоном.

За ним двинулись и остальные тарантасы. Провожжающие расступились, давая им дорогу.

– На учебу!– раздался протяжный клич неугомонного Амиржана, и этот клич подхватили слитные голоса и детей и взрослых, и он разнесся по широким степным далям в утренней безветренной тишине.

По дороге в Петропавловск в попутных аулах к нам присоединялась тамошняя молодежь. Перед посадкой в поезд на станции Петропавловск нас было уже около тридцати человек. В уездных организациях будущих учащихся снабдили деньгами и пожелали доброго пути.

Шутник Амиржан не устал повторять свой лозунг:

– На учебу!

Тронулся поезд, и зычный его голос был слышен и в соседних вагонах.

– На учебу!– дружно подхватывали мы эти два кратких, ясных и звонких слова.

«СУД ИДЕТ»

Мы в пути. По сравнению с прошлыми годами на железных дорогах установился порядок. Поезда не скапливались на станциях, как это бывало раньше, не простаивали сутками. Они двигались теперь по расписанию, их остановки исчислялись минутами. И все же пассажирам далеко не всегда приходилось легко. Хорошо еще было тем, кто ехал прямым сообщением, без пересадок. Пересаживаться с поезда на поезд было трудным, утомительным делом. В то время от Петропавловска до Оренбурга были две пересадки: одна – в Челябинске, другая – в Кинели. Одиночки еще могли

устраиваться, но каково было нам, когда из тридцати аульных жигитов многие впервые ехали в поезде! В Челябинске мы так и не сумели закомпостировать наши билеты и зайцами забрались в вагоны. Неподалеку от Златоуста нас обнаружил контроль и высадил на станции. Дней пять пришлось ожидать очереди у кассы в незнакомом уральском городе. Добрались кое-как до Кинели, там снова дни ожидания и, наконец, поезд до Оренбурга, составленный из теплушек. После вокзальной бессонной сутолоки я заснул глубоким сном.

Меня разбудил Габит:

– Вставай. Приехали...

Я вскочил и сквозь раскрытую дверь теплушки увидел знакомые стены Оренбургского вокзала. Хотел одеться, но никак не мог обнаружить сложенных на нарах брюк и сапог. Думал, что подшутили товарищи, – оказалось, и в мыслях у них этого не было. Значит, украли.

У студентов-рабфаковцев, конечно, не водилось запасного костюма, ничего не нашлось и у моих спутников. Только Габит мне смог предложить старенькие брюки-галифе, но они, к сожалению, оказались мне малы.

А на перроне нас уже ждали встречающие – в Кинели мы дали телеграмму. Хорошо бы, если среди них были только мужчины, но встречать нас пришли и рабфаковки-однокурсницы. Как им покажешься без брюк! Стыдно...

Но ничего поделать было нельзя. В жаркий день я напялил на себя пальто и, окруженный хохочущими друзьями, босиком, отправился в город.

Юноши, приехавшие с нами из аула, все устроились.

Одни поступили в школу подростков, другие – в так называемую образцово-показательную школу. Кому-то удалось устроиться в Киргизский институт народного образования, кому-то в совпартшколу. На рабфак из нашей группы попал только Габит Мусрепов. Как окончивший высше-начальное училище, он был принят сразу же на второй курс.

В этом учебном году на рабфаке многое изменилось к лучшему. Занятия начались вовремя. Учебный корпус и общежитие были отремонтированы. Был пригото-

лен достаточный запас топлива на зиму. В столовой кормили три раза в день, вкусно и питательно.

Я бы расходовал всю свою энергию на учебу, но в ту зиму у нас произошли такие события, в которые никак нельзя было не вмешаться. Среди рабфаковцев вдруг распространился слух о предстоящем праздновании юбилея Ахмета Байтурсунова в связи с его пятидесятилетием. «Ака», – почтительно называли его националисты. Слух подтвердился. Скоро мы узнали и подробности. Националисты, в том числе и бывшие алашордынцы, готовили большое юбилейное торжество. Афиши, расклеенные на заборах и в стенах учебных заведений, извещали о вечере, на котором будут чествовать юбиляра. С докладом должен был выступить Смагул Садвокасов, а потом состоится литературная часть с чтением отрывков из произведений Байтурсунова.

Студенты-казахи нашего рабфака и учащиеся других оренбургских учебных заведений разделились на два лагеря: в меньшинстве оказались те, кто решил от имени студентов преподнести юбиляру портфель с адресом.

Мы, противники Байтурсунова, неоднократно собирались и обдумывали свой план действий, ясно себе представляя, что устраивать праздничный юбилей этому «деятелю» могут только те, кому не по душе Советская власть.

Что же, в конце концов, представлял собой Ахмет Байтурсунов, человек безусловно известный в Казахстане?

Его отец – Байтурсун Шошакулы, влиятельный бай Тургайского уезда, к тому же «ель агасы», старший в роду. Это он в 1885 году избил в своем ауле уездного начальника, за что царскими властями и выслан был на десять лет в страну, «где на чертях ездят», – на Чукотку. Ахмет уже взрослым поэтом писал: «Тринадцать лет всего мне было, а сердце пуля поразила». Конечно, он подразумевал ссылку отца. В тот год он учился в Оренбурге, в русской школе для казахских детей.

После начальной школы Ахмет поступил на учительские курсы, в 1895 году получил звание учителя и

учительствовал в аулах Актюбинского, Кустанайского и Каркаралинского уездов. Революция 1905 года отозвалась эхом и в казахских степях. Ахмет Байтурсунов вошел тогда в ту группу казахских интеллигентов, которая на первый план выдвигала идею национальной свободы. Сам он увлекался поэзией, переводил басни И.А. Крылова, изданные тогда же отдельной книжкой под названием «Сорок басен». В 1911 году вышел и его оригинальный сборник «Маса» («Комар»). Четыре года перед революцией он был редактором газеты «Казах», выходившей в Оренбурге. Идея национальной свободы преобладала в его статьях. После Февральской революции 1917 года он впервые создал казахский алфавит и грамматику.

Эта инициатива Байтурсунова явилась прогрессивной стороной его деятельности.

Сейчас всем известно, что после Февральской революции казахские националисты создали партию Алаш-Орда, вступившую в союз с русской контрреволюцией против Советской власти, против диктатуры пролетариата. Ахмет Байтурсунов стал одним из вождей этой партии буржуазных националистов. Конные полки алашордынцев сражались плечом к плечу с колчаковцами и белобандитами атамана Дутова. Пал Колчак, пала и Алаш-Орда. Ахмет Байтурсунов, как и многие другие вожаки Алаш, понял, что их дело проиграно. Он поехал в Москву, добился приема у В.И. Ленина. Вскоре после этого некоторые алашординцы, принимавшие участие в боях против Красной Армии, были амнистированы. В списке амнистированных находился и сам Ахмет Байтурсунов.

Говорят, что во время встречи с Лениным Байтурсунов пообещал не только не выступать против Советской власти, но и служить ей верой и правдой. Этим только и можно объяснить, что в 1920 году он был принят в Коммунистическую партию, а после создания казахской автономии назначен комиссаром по народному образованию.

Ахмет Байтурсунов не сдержал своего обещания. Как только он стал советским работником, так и начал выступать против Советской власти. И словами, и делами своими.

Вот поэтому в 1921 году он и был снят с поста комиссара народного просвещения, а в 1922 году исключен из партии.

И все же, несмотря на это, идеи Байтурсунова еще имели влияние в некоторых группах молодой казахской интеллигенции.

В те годы в Оренбурге в бывших дворянских хоромах был создан клуб имени Я.М. Свердлова. Это был просторный клуб с вместительным залом, с многочисленными комнатами для отдыха. Он поражал нас тогда своей красотой, своей архитектурой. В клубе всегда бывала молодежь. Но особенно многолюдно было на так называемых «вечерах Востока». Татарская, башкирская, казахская молодежь, преимущественно учащиеся, участвовала в концертах, затевала веселые национальные игры. Казахский вечер проводился, например, так: в фойе сооружались юрты, а в них шла бойкая торговля кумысом, копченой конской колбасой – казы, сыром – куртот, ирымчиком и другими казахскими лакомствами. Девушки и жигиты в национальных одеждах играли на домбрах, пели. В зале силами молодежи давались концерты, а иногда ставились и спектакли. Так, уже в 1923 году на сцене клуба имени Свердлова была поставлена пьеса Мухтара Ауэзова «Енлик-Кебек». Роль Енлик исполняла жена тогдашнего председателя РКИ Алиаскара Алибекова – Шамеля; роль ее матери играла жена Мендешева – Разия; учитель Абдулла Байтасов исполнял роль Кебека; а ныне народный артист Казахской ССР, тогда студент педагогического института, Серке Кожамкулов – Еспембета; курсант военной школы Рахим Асылбеков был Есеном, а я исполнял роль Кобея.

Среди песен, которые певались в этом клубе, были и две песни, написанные Ахметом Байтурсуновым.

Вот строки одной из них:

На утлой лодке мчимся без весла,
Нет берегов, одни мы на просторе...
Пусть буря грянет и сгустится мгла –
Мы будем плыть, судьбу вручая морю.

А вот другая:

Где твой нежный голос, Казбек?
Где ты, черный силач Жакыбек?

Хоть на миг спуститесь с высот, –
Сиротой остался народ...

Эти строки – преклонение перед байским прошлым. Вот любители таких «элегий» и решили широко отпраздновать пятидесятилетие Байтурсунова.

Но не дремали и мы, противники юбилея. Мы пытались во всем как следует разобраться, объяснить и себе и другим, почему мы выступаем против. Я хорошо помню доводы, сформулированные в те дни. Правильно, до революции мы все уважали Ахмета, боровшегося за права казахского народа. Правильно, мы все, кто учился в казахских школах, познавали азбуку и грамматику по его книге. Но он, Ахмет Байтурсунов, ни в какое сравнение не может идти с теми, кто дал свободу казахским трудящимся. И ничего нет дороже для нас Советской власти. И если Ахмет Байтурсунов против Советов, значит, он против нас, детей бедняков, против казахских трудящихся.

Как же мы его можем после этого уважать, зачем его чествовать?

И нам удалось помешать торжеству. Мы заранее припасли к юбилейному вечеру гнилой капусты и других овощей, завернутых в газеты. Это были «гостинцы» для докладчика – Смагула Садвокасова.

Докладчик оказался хитрым. Опасаясь, что студенты сорвут его доклад, если он сразу начнет расхваливать Байтурсунова, Садвокасов прибегнул к своеобразной тактике – начал с истории, чтобы постепенно подвести слушателей к обоснованию выдающейся роли юбилера.

По схеме докладчика, у казахского народа было пять национальных вождей – Кенесары, Чокан Валиханов, Ибрай Алтынсарин, Абай Кунанбаев и Ахмет Байтурсунов.

Но как ни старался Садвокасов, стоило ему дойти до Байтурсунова, как на трибуну и в президиум дождем полетели гнилые овощи. Собрание было сорвано, торжественный юбилей не состоялся.

Посоветовавшись с Сакеном Сейфуллиным, я написал статью, которая сразу же была напечатана вместо передовой в газете «Энбекшиказах» (№69, 1923 г.). Статья называлась «Ораторы, не угодите на

черную доску!» В ней я разоблачал антисоветские действия Байтурсунова.

Заканчивалась моя статья так: «Короче говоря, дело господ в белых воротничках молиться на Ахмета и называть его не только ака, но и самим господом богом. Но все же казахские трудящиеся не присоединяются к его, Байтурсунова, лозунгам, а присоединяются к тем, кто призывает к единству и братству бедноты всех стран. Стало быть, ораторы, рассчитывающие на свое красноречие, должны отказаться от пустой затеи представить Байтурсунова в розовом свете. Ахмет-ака для баев, для хамелеонов и двурушников, он отец для людей в белых воротничках. Но для трудящихся он не ака, не отец, не друг. У трудящихся казахов Отец тот, кто добыл им свободу, кто является вождем Октябрьской революции. Это – Ленин. И мы предупреждаем ораторов: смотрите, не угодите на черную доску, восхваляя кровных врагов – байтурсуновых».

Действительность подтвердила справедливость этого предупреждения. Имена Байтурсунова и его апологетов навечно занесены на черную доску истории казахского народа. Приговор совершился.

НАША КЛЯТВА

Зимой 1923/24 учебного года и учиться мне было легче, и жилось хорошо. Осенью 1923 года я был избран членом КазЦИКа и получал в месяц семьдесят пять рублей. Этого за глаза хватало на жизнь при тогдашнем курсе червонца. Мужской костюм стоил, к примеру, всего пятнадцать рублей. Как член КазЦИКа, я жил бесплатно в гостинице. Вместе со мной поселился и Габит Мусрепов. Мы поддерживали не только своих братьев, моего – Шакена и брата Габита – Баязита, но и некоторых своих земляков из аулов.

Однако активное участие в общественных делах все-таки мешало моей учебе, и с начала 1924 года я начал наверстывать свое отставание.

Наряду с русским языком и литературой, много внимания уделял я еще одному предмету – полит-

грамоте. Читая политическую литературу, я стал особенно интересоваться трудами Ленина. В те годы произведения Владимира Ильича еще не были переведены на казахский язык, поэтому приходилось читать их по-русски.

Обычно ленинские труды выпускались отдельными книгами и брошюрами. Но при моей невысокой политической грамотности и плохом знании марксистской теории многие работы Ленина были еще недоступны мне. Порой я улавливал только общее направление, не будучи в состоянии понять все оттенки ленинской гениальной мысли и многие детали. Но я был настойчив и упорно стремился изучать произведения великого учителя.

Я уже тогда знал: ленинская наука – самое идейное оружие в классовой борьбе нашего времени. Я знал: Ленин – основатель партии большевиков, знал, какие трудности преодолевали партия и ее вождь Ленин на путях борьбы, как победили они в Октябрьскую революцию, любил Ленина и тянулся к его трудам, как к животворному источнику. Да разве я один? Все студенты рабфака с непреодолимым рвением читали ленинские труды. И только ли они? Все трудящиеся прислушивались к каждому слову Ленина.

С любовью думали о Ленине и в казахских аулах.

До того, как у нас в Казахстане победила Советская власть, лишь немногие труженики аулов слышали о Ленине и воспринимали его имя как легенду, как сказку. Но теперь, у кого бы из казахских тружеников ни спросили, можно было услышать только один ответ:

– Наш заступник – Ленин...

И эти слова произносились с любовью и гордостью. Народ верил, что власть Советов, что партия, руководимая Лениным, приведут трудящихся к счастливым вершинам. Обретут свое счастье и казахи. Не страшась повседневных трудностей, с радостью и надеждой глядят они в будущее. Потому-то они от всей души желали здоровья Ленину, долгой жизни, видя в нем создателя своего счастья.

От всей души желал этого и я.

Однако тревога за жизнь и здоровье Ильича не покидала нас. Еще в начале моей учебы на рабфаке ходили слухи о его болезни, но после выступления Ленина в ноябре 1922 года на пленуме Московского Совета мы перестали им верить.

Однако весной 1923 года слухи о болезни подтвердились. В газетах появились правительственные бюллетени.

В апреле в Москве состоялся XII съезд партии. На всех предыдущих съездах после 1917 года политический отчет о работе Центрального Комитета всегда делал Ленин. На этот раз он впервые не был докладчиком. И хотя официального сообщения не было, но все знали, что из-за болезни он не мог присутствовать на последнем съезде.

С большой тревогой переживали все трудящиеся советской страны это тяжелое время. Каждый бюллетень читался и перечитывался по нескольку раз. Опасения сменялись надеждой.

В те времена радиофикация только-только начиналась. И почти нигде не было радиоустановок. Новости мы узнавали только из газет «Советская степь» и «Энбекши казах», выходивших в Оренбурге. И первым долгом искали мы сообщений о здоровье Владимира Ильича.

...Со мною вместе жил в ту зиму однокурсник, атбасарский парень Шорман Ибраев. Как и я, с детских лет он остался сиротой и вырос в нужде. Учился он хорошо, неплохо владел русским языком. Характер у него был спокойный, ровный. После того, как Габит Мусрепов с начала 1924 года стал жить самостоятельно, я охотно пустил Шормана к себе в комнату и дружил с ним.

Иногда Шорман уходил к своим землякам, ответственным работникам Оренбурга. Так случилось и в ту памятную январскую ночь.

Шорман ушел сразу после уроков и долго не возвращался. Я приготовил домашние работы и, решив, что он остался ночевать у кого-нибудь из своих земляков, лег спать. Разбудил меня громкий стук. Полусонный, я скатился с кровати, побежал к двери и открыл ее. Бледный, с покрасневшими от слез глазами, передо

мною стоял Шорман. С испугом я взглянул на него, еще не в силах вымолвить: что случилось? А он вошел, упал в кресло и, закрыв лицо ладонями, содрогался от плача.

– Шорман, Шорман, что с тобой?

Он не отвечал, продолжая рыдать.

Потом, немного придя в себя, едва слышно проговорил:

– Умер... Ленин...

– Неправда!– закричал я, не желая верить, но сердце мучительно заныло.– Кто тебе сказал?

– Знакомый мой, он в обкоме работает... Ночью пришла телеграмма.

Не знаю, сколько часов прошло, когда мы очнулись и решили выйти на улицу.

Было еще очень рано, до начала занятий оставалось не меньше часа. Стоял трескучий мороз. Когда мы пришли в общежитие рабфака, у всех были красные, распухшие от слез глаза. И хотя никаких официальных сообщений еще не было, но все уже знали и тихо, вполголоса, спрашивали друг друга:

– Неужели это правда?

– Неужели умер?

Правдивость скорбной вести подтвердили сообщения газет, вышедших к полудню в траурных рамках. На первой странице – портрет Ленина, обращение ЦК РКП (б) ко всем трудящимся.

Начались дни всенародной печали. На улицах и дома у всех на устах одно и то же:

– Дорогой Ленин... Умер Ленин...

...После первых дней тяжелого переживания безвозвратной потери люди стали задавать вопрос: кто же заменит Ильича?

Трудно

будет

республике без Ленина!

Надо заменить его –

кем?

И как?–

спрашивал Маяковский в своей поэме «Владимир Ильич Ленин». И у поэта, как у каждого советского человека, был только один ответ: «Партия большевиков».

День похорон Ленина, двадцать седьмое января. Все трудящиеся с утра вышли на траурную демонстрацию. Жестокий ночной мороз, когда слезы замерзали льдинками на ресницах, не смягчился и днем. Казалось, стало еще холоднее. Темное, багрово-красное солнце тускло просвечивало сквозь морозный туман. Лютый мороз никого не пугал, никто не искал укрытия. Все, кто только способен двигаться, включая детей и стариков, вышли на улицы разделить народное горе.

К полудню траурная демонстрация начала стекаться к площади в центре Оренбурга. Слитые толпы напоминали безбрежное море, но не тогда, когда оно в бурном движении перекачивает свои волны, а когда замирает в покое. Тысячи людей застыли на площади в немой печали, словно боясь резким движением неосторожно нарушить торжественную тишину.

Ленин был похоронен в три часа дня. Я готов поручиться, что хотя радио на площади в Оренбурге тогда еще отсутствовало, но если бы и установили громкоговорители, то я был в таком состоянии, что не смог бы воспринять ни одного слова. Может быть, я замерзал в своей рабфаковской шинельке, может быть, сердце щемило под тяжестью непомерного горя, но в те мгновения я был глух к любому звуку. Помню только, как я задрожал от грохота оружейного залпа... В эти секунды траурный салют вырвал меня из оцепенения, и я заметил, как у каждого из тех, кто стоял вокруг меня, капали слезы и застывали, леденея, на лице и груди.

...Только через два-три дня после похорон я немного пришел в себя. И пробудился я не у себя в комнате, а в палате городской больницы. Я горел как в огне. У меня оказалось воспаление легких.

Через несколько дней мне стало легче, хотя я еще продолжал температурить и кашлять. Однажды ко мне обратилась сестра:

– Вас хотят навестить товарищи. Они сейчас войдут в палату. Можно?

– Можно, пусть заходят.

Вошли трое в белых халатах. Я узнал Умита Балкашева, Веру Солдатову и Шормана Ибраева.

После обычных расспросов о здоровье Умит сказал:

– Ой, Сабит, что ты вздумал заболеть в такое время, когда болеть нельзя?

– О каком таком времени ты говоришь?– спросил в свою очередь я. Не скрою, мне мало понравился его тон.

Он понял меня и объяснил:

– Начался ленинский призыв. Ленин ушел от нас, и Центральный Комитет обратился с призывом к трудящимся, к рабочему классу сплотиться теснее вокруг партии, созданной Лениным, поднять еще выше его знамя. Короче говоря, призывают рабочих вступать в ряды партии.

И жар, еще мучивший меня, и боль в груди как-то отодвинулись, я их словно перестал замечать и только переспрашивал Умита.

– Вот,– сказал он,– смотри, в сегодняшних газетах об этом уже напечатано.

И положил мне на постель несколько номеров. Я развернул газету и увидел, что со всех концов страны идут отклики на призыв партии.

– Мы тоже к нему присоединимся!– улыбнулся Умит.

– Призыв в первую очередь касается тебя, как беспартийного,– пошутил я,– а я уже четыре года ношу на груди партийный билет.

Умит, кажется, немного обиделся и нахмурил свои густые черные брови.

– Я еще не старик! У меня, Сабит, есть в запасе время ответить партии.

– Конечно, есть! Тебе же только двадцать пять. Для комсомольца, однако, многовато. Пора уже вступать в партию!

– Я уже решил. С этим к тебе и пришел.

Тогда я его поздравил от чистого сердца и пожал ему руку. И так же тепло поздравили его у моей постели Вера и Шорман.

Иначе не могло и быть. Мы все хорошо знали, что у простых тружеников есть только один путь – указанный великим Лениным. И мы, дети трудового народа, могли идти только этим путем.

1949-1953

Конец второй книги

ПРИМЕЧАНИЯ

Во второй том трилогии вошли главы, где повествуется о становлении юноши Сабита Муканова, его первые поэтические и революционные «ликбезы». Учеба на учительских курсах в Кызыл-Жаре (Петропавловск) и в Омске, знакомство и учеба поэтическому мастерству у Магжана Жумабаева, принятие революционных принципов и пролетарского мировоззрения Сакена Сейфуллина, Абильхаира Досова, Абдоллы Асылбекова, запоминающееся знакомство со всесоюзным старостой Михаилом Калининным.

Писатель остается верен своему писательскому кредо: описывая тот или иной биографический факт или же революционное явление, он щедро, с большим писательским мастерством перемешивает, словно бы «аттической солью», живописными картинами природы того периода, легендами и сказаниями нашего далекого прошлого. Необходимо отметить, что писатель незадолго до своей кончины не раз признавался в том, что он постигал уроки поэтического мастерства Магжана Жумабаева, даже был некоторое время его литературным секретарем. Разумеется, во времена продразверстки, когда Сабит Муканов находился в ряде частей особого назначения (ЧОН), революционный водораздел пролегал между ним и деятелями либерально-буржуазного направления «Алаш-Орды». Автор сам принимал непосредственное участие в подавлении антиреволюционного мятежа и восстания в Кызыл-Жаре. Это все и определило его дальнейшую судьбу, как поэта и писателя пролетарско-революционного направления. И писатель остается верен идеалам новой жизни, во многом прогрессивной, но в то же время и трагедийной для первой плеяды интеллигенции казахского народа.

Яростная противоположность этих воззрений и общественно-политической позиции писателем без утайки показана в главе, где повествуется о праздновании пятидесятилетнего

юбилея Ахмета Байтурсынова, а также в описании вечера поэзии Магжана Жумабаева.

Запоминаются картины природы Кокшетау и Борового, описываемые автором в конце книги, а затем описание Оренбурга – первой столицы Советского Казахстана. И здесь писатель, как всегда, остается верен себе. Озеро Алуа и его берега, охота с шапшаном-соколом, объяснение каждого месяца восточного летоисчисления, аульные летние свадьбы, белые ночи Северного Казахстана – все это становится неотъемлемой частью второй книги трилогии «Школа жизни».

Интересно выписано народное лечение, когда в майский кумыс «тосап» кладут кусочки казы и конского жира, и это все выпивается утром натощак.

Кенесары, Садык, Ахмет Жантелин, Канапья, сын Басагары, образы и характеры этих известных людей Степи даны, разумеется, с точки зрения автора и сугубо индивидуальны от объективного взгляда до субъективного, идущего вразрез с нынешней трактовкой и постановкой вопроса о роли и влиянии этих далеко неординарных личностей на определенном этапе развития истории и национального самосознания вне идеологического диктата советско-партийного времени.

СОДЕРЖАНИЕ

Я еду учиться

Зимовка степного миллионера.....	5
Тайна аульных кооператоров.....	19
Кзыл-Жар.....	25
Грустные советы доброго Жумабая.....	33
На окраинах Петропавловска.....	38
Ветер крепчает!.....	49

Под властью правителя омского

Спасительный сон и печальное пробуждение.....	56
В землянке железнодорожника.....	58
«Вот тебе и аульная родня!».....	62
Я курсант, и конюх, и дворник.....	69
Американский аукцион.....	75
Тревоги, восстание, пожары.....	80

Трудные времена

Почему хитрил Аблай-хаджи.....	90
Горемычный Сауыт.....	108
Дед Жабай, знаток старины.....	114
Среди новых друзей.....	137
У озера Алуа.....	154
Снова в пути.....	163

Новое и старое

Украденное счастье.....	169
Волчата.....	189
«Смело, товарищи, в ногу!».....	204
Беда за бедой.....	217

С революционным мандатом

Айтжан.....	228
Верный курс.....	239
Абильхаир Досов.....	246
Ишим разливается.....	256
Жестокий спор.....	266
Магпи победила.....	294
Начало большой борьбы.....	302

Мятеж

Калинин в Петропавловске.....	312
Тревожные вести.....	320
Коммунары.....	327
В боях.....	338
Скорбные дни.....	349

На трудном посту

Абдолла Асылбеков.....	357
В волостном ревкоме.....	368
На вершине Кокчетау.....	376
Опасная ночь.....	383
Расплата.....	387
Глубокие корни.....	392

По ленинскому пути

Рождение нового.....	397
Республика моя!.....	408
Аульные Советы.....	416
Знакомство с Сакеном Сейфулиным.....	427
Уроки.....	435
«Орнек».....	445
Из аулов – за парты!.....	450
«Суд идет».....	456
Наша клятва.....	462
Примечания.....	468

Литературно-художественное издание

Серия
“БИБЛИОТЕКА КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ”

Сабит МУКАНОВ
ШКОЛА ЖИЗНИ

Книга вторая

Под общей редакцией **Б. Канапьянова**

Редактор *А. Кадикенова*
Технический редактор *С. Бейсенова*
Компьютерная верстка *А. Кадикеновой*
Корректор *М. Еркенкызы*

Разработка суперобложки
дизайнцентра издательства «Аударма»

ISBN 9965-18-327-9



9 789965 183270

ИБ №328

Подписано в печать 26.04. 2011 г. Формат 84х108¹/₃₂.

Гарнитура . “NewBaskervilleCTT”. Печать офсетная. Усл.-печ. л. -25,00

Уч.-изд. л. - 24,5 Тираж 3000 экз. Заказ №

Издательство “Аударма”

010009, г. Астана, ул. Г. Мусрепова, 5/1, ВП-2